

Пан Володыевский. Генрик Сенкевич

Вступление

По окончании венгерской войны и после женитьбы пана Андрея Кмицица на панне Александре Билевич должен был вступить в законный брак с панной Анной Божобогатой-Красенской не менее прославленный воин Речи Посполитой пан Юрий-Михал Володыевский, полковник Ляуданского полка.

Но встретились препятствия, которые заставили отложить свадьбу на довольно долгое время. Панна Божобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и ни за что не соглашалась выйти замуж без ее разрешения; ввиду этого пан Михал вынужден был оставить панну в Водоктах, так как время было беспокойное, а сам отправился в Замостье за благословением и разрешением княгини.

Но судьба не благоприятствовала ему: он не застал княгини в Замостье. Чтобы дать сыну хорошее воспитание, она переехала в Вену к императорскому двору. Неутомимый рыцарь последовал за нею в Вену, хотя это отняло у него много времени. Благополучно окончив это дело, он, счастливый и полный надежд, возвратился на родину.

Когда он вернулся, время было тревожное: часть войск отказала в повиновении, восстание на Украине продолжалось, а пожар на востоке все не потухал. Стали собирать новые войска, чтобы хоть как-нибудь защитить границы. Но еще ранее, прежде чем пан Михал доехал до Варшавы, он получил письма, адресованные на его имя по приказанию воеводы русского. Всегда считая, что отчизна важнее личных дел, он отложил свадьбу и отправился на Украину. Несколько лет воевал он в тех краях, лишь изредка пользуясь свободной минуткой, чтобы послать письмо любимой девушке, и проводя время в боях и в неустанных трудах. Затем он был отправлен послом в Крым; потом случилась несчастная междоусобная война с паном Любомирским, и пан Михал сражался под знаменами короля против этого изменника; потом он снова отправился на Украину с паном Собеским. Слава о его подвигах все росла, и его стали считать первым рыцарем Речи Посполитой; но жизнь его проходила в заботах, тоске и тревоге. Но вот наступил 1668 год, когда он по приказанию пана каштеляна получил разрешение отдохнуть и в начале лета поехал к своей возлюбленной и, взяв ее из Водокт, отправился к Кракову.

Княгиня Гризельда в то время уже вернулась из Вены и предлагала ему сыграть свадьбу у нее, выразив желание быть посаженной матерью невесты.

Кмицицы остались в Водоктах; они не рассчитывали на скорое известие от Володыевского и всецело были заняты новым гостем, который вскоре должен был появиться в Водоктах. Ибо до этих пор Провидение отказывало им в детях; теперь должна была наступить счастливая и столь желанная для них перемена.

Это был очень урожайный год. Жатва была так обильна, что гумна с трудом ее вмещали, и вся страна, во всю ширь и даль, покрылась скирдами. В округах, опустошенных войной, молодой лес так разросся, как в другое время не разросся бы и в два года. В лесах было обилие зверей и грибов, в водах – рыбы; казалось, будто эта необычайная плодovitость земли сообщилась и всем живущим на ней существам.

Друзья Володыевского видели в этом хорошее предзнаменование для его женитьбы, судьба решила иначе.

Часть первая

I

В один прекрасный осенний день в тени садовой беседки сидел пан Андрей Кмициц и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитую диким хмелем решетку беседки на жену, которая прогуливалась перед беседкой по тщательно выметенной дорожке.

Она была красива необычайно; с ее светлыми волосами и ясным, почти ангельским выражением лица. Она ходила медленно и осторожно, ибо все было в ней полно благодати и благословения. Пан Андрей смотрел на жену влюбленными глазами. Он следил за каждым ее движением с тем выражением привязанности, с каким собака следит глазами за хозяином. Порой он улыбался, так как был очень доволен тем, что видел. И улыбка эта была похожа на улыбку веселого повесы. Рыцарь был, видно, от природы проказник и в свои холостые годы пошалил немало.

Тишина в саду нарушалась лишь шумом падающих на землю спелых плодов и жужжанием насекомых. Погода установилась. Было начало сентября. Солнце уже не припекало, но светило ярко. В этом свете горели красные яблоки среди серой листвы; их было так много, что казалось, будто деревья были ими сплошь облеплены. Ветви слив сгибались под тяжестью плодов, подернутых легким пухом. Первые нитки бабьего лета, зацепившиеся за деревья, колебались от дуновения легкого ветерка, – такого легкого, что он не шелестел даже листьями.

Быть может, и эта погода наполняла душу пана Кмицица радостью. Его лицо сияло все более и более. Наконец, он отхлебнул меду и сказал жене:

– Оленька, поди сюда, я тебе что-то скажу!

– Только не такое, чего я не люблю слушать.

– Да нет же, ей-богу! Дай ушко!

Сказав это, он обнял ее, приблизил свои усы к ее белокурым волосам и прошептал:

– Если будет мальчик, назовем Михалом.

Она отвернула вспыхнувшее лицо и прошептала в свою очередь:

– А ведь ты обещал не спорить, если мы назовем его Гераклием.

– Видишь ли... Это в честь Володыевского.

– А разве память деда не важнее?

– Моего благодетеля?.. Да, правда! Но второго мы назовем Михалом. Иначе и быть не может!

Тут Оленька встала и попыталась освободиться из объятий пана Андрея, но он прижал ее к себе еще сильнее и стал целовать ее в губы, глаза, повторяя:

– Ах ты, мое сокровище! Клад мой бесценный, любя моя! Дальнейший разговор прервал слуга, который показался в конце дорожки и направлялся прямо к беседке.

– Что нужно? – спросил Кмициц, выпуская жену из объятий.

– Пан Харламп приехал и дожидается в покоях, – сказал слуга.

– А вот и он! – воскликнул Кмициц, увидав мужчину, который шел к беседке. – Господи боже, как у него усы поседели! Здравствуй, дорогой товарищ, здравствуй, старый друже!

С этими словами он выбежал из беседки и бросился навстречу пану Харлампу с распростертыми объятиями. Но пан Харламп сначала низко поклонился Оленьке, которую видывал некогда в Кейданах при дворе князя-воеводы виленского, потом поднес ее руку к своим огромным усам и тогда уже бросился в объятия Кмицица и зарыдал у него на плече.

– Ради бога, что с вами?! – воскликнул удивленный хозяин.

– Одному Бог послал счастье, а у другого отнял его, – ответил Харламп. – Но причину моей печали я могу рассказать только вам.

Тут он взглянул на жену пана Андрея. Она сразу догадалась, что он не хочет говорить при ней, и сказала мужу:

– Я пришлю вам меду, а пока оставлю вас одних!

Кмициц повел Харлампа в беседку и, усадив его на скамейку, спросил:

– Что такое? Тебе нужна помощь? Надейся на меня, как на каменную гору!

– Со мной ничего не случилось, – ответил старый солдат, – в помощи я не нуждаюсь, пока эта рука может владеть саблей. Но наш приятель, достойнейший кавалер Речи Посполитой, в большом горе, не знаю даже, жив ли он еще...

– Господи боже! Уж не приключилось ли чего-нибудь с Володыевским?

– Да! – ответил Харламп, проливая новые потоки слез. – Знайте же, ваць-пане, что Анна Божобогатая покинула сию юдоль скорби!

– Умерла?! – воскликнул Кмициц, хватаясь обеими руками за голову.

– Как пташка, пронзенная стрелой...

Наступила минута молчания. Только яблоки, падая местами, тяжело стукались об землю, только пан Харламп сопел все больше, сдерживая плач. Кмициц ломал себе руки, кивал головой и повторял:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

– Не удивляйтесь, ваць-пане, моим слезам! – сказал, наконец, Харламп. – Ибо если у вас при одной вести об этом скорбью сжимается сердце, то каково же мне, бывшему свидетелем ее кончины и ее страданий, которые перешли всякие пределы!

Вошел слуга с ковшом и вторым стаканом, а за ним пани Александра, которая не могла побороть свое любопытство. Взглянув на мужа, она прочла в его лице глубокую скорбь и сказала:

– Какие же вести привезли вы, ваць-пане? Не удаляйте меня! Я постараюсь утешить

вас по мере сил, или поплачу вместе с вами, или дам вам какой-нибудь совет.

– Уж тут и ты ничем не поможешь! – ответил пан Андрей. – Я боюсь, как бы эта весть не повредила твоему здоровью.

– Я сумею многое вынести, – ответила она. – Незвестность еще хуже.

– Ануся умерла! – сказал Кмициц.

Оленька побледнела и тяжело опустилась на скамейку. Кмициц думал, что она лишится чувств, но она только зарыдала, и оба рыцаря ей завторили.

– Оленька, – сказал, наконец, Кмициц, желая отвлечь ее мысли в другую сторону, – разве ты не думаешь, что она в раю?

– Я не из тревоги за нее плачу – я плачу потому, что ее больше нет, и над сиротством пана Михала. Ибо, что касается ее вечного блаженства, то я желала бы и себе такой уверенности в спасении. Другой такой девушки, с таким добрым сердцем, такой честной, не было. Ох, Анулька моя! Милая моя Анулька!

– Я видел ее кончину, – сказал Харлам. – Дай боже каждому такую благочестивую смерть!

Тут опять наступило молчание, и, когда они выплакали горе в слезах, Кмициц сказал:

– Расскажите, ваць-пане, как было дело, а в наиболее скорбных местах подкрепляйтесь медом!

– Благодарю, выпью, если и вы не откажетесь. Горе хватает не только за сердце, но и за горло, точно волк, а когда схватит, то, если останешься без помощи, и задушить может. Дело было так. Я ехал из Ченстохова в свою родную сторону, чтобы на старости лет отдохнуть и взять какое-нибудь имение в аренду. Довольно было с меня войны, ведь я служить стал подростком, а дожил до седых волос. Если уж мне совсем невмочь будет сидеть без дела, я, пожалуй, зачислюсь в какой-нибудь полк; но те союзные войска, что собираются на погибель отчизне и на потеху врагам, и эти междоусобные войны внушили мне отвращение к Беллоне. Господи боже! Пеликан кормит детей собственной кровью, но у нашей отчизны и крови уже не стало. Свицерский был великий воин. Пусть там Господь его судит.

– Ануля, моя дорогая! – прервала с плачем пани Кмициц. – Без тебя что случилось бы со мной и со всеми нами? Ты была нам утешением и защитой! Анулька, моя дорогая!

Харлам, услышав это, опять всплакнул, но Кмициц прервал его вопросом:

– Где же вы встретились с Володыевским?

– С Володыевским я встретился в Ченстохове, где были они оба, исполняя данный обет. При встрече он тотчас же мне сказал, что приехал с невестой из ваших краев, направляясь в Краков к княгине Гризельде Вишневецкой, ибо без ее разрешения и благословения панна никак не хочет выходить замуж. В то время панна была еще здорова, а он был весел, как птица. «Смотри, – говорит, – вот дал мне Бог, наконец, награду за мои труды!» И как он гордился тогда! Даже посмеивался надо мной. Когда-то мы с ним, изволите ли видеть, повздорили из-за нее и хотели

драться. Где-то она теперь, бедняжка...

И опять всплакнул пан Харламп, но ненадолго. Кмициц снова его прервал:

– Вы говорите, что она была здорова? Откуда же это так вдруг случилось?

– Да, именно вдруг! Гостила в Ченстохове пани Замойская с мужем, и панна Анна жила у нее. Пан Володыевский просиживал с нею целые дни, жаловался, что дело идет так медленно, что по дороге их все задерживают, что в Краков они приедут не раньше чем через год. И неудивительно. Такого солдата, как пан Володыевский, каждый рад угостить, и кто его поймает, тот не скоро отпустит. Он водил меня к своей панне и грозил, шутя, что если я влюблюсь, то он меня зарубит. Она же души в нем не чаяла. А мне порой, действительно, становилось грустно при мысли, что на старости лет я один как перст. Ну, да что! Однажды ночью вбегает ко мне Володыевский, сильно встревоженный. «Ради бога, – говорит, – не знаешь ли ты здесь какого-нибудь медика?» – «Что случилось?» – «Больна, никого не узнает». Спрашиваю, когда захворала. Говорит, что только сейчас ему дали знать от пани Замойской. А тут ночь! Где же искать медика? В монастыре его нет, а в городе одни развалины. Наконец я нашел фельдшера, да и тот не хотел ехать, пришлось его гнать дубинкой до самого места. Но там уже ксендз был нужнее, чем медик; и мы уже застали там отца паулина, который своими молитвами привел ее в чувство, так что она могла приобщиться святых Тайн и нежно проститься с паном Михалом. На другой день в полдень ее уже не стало. Фельдшер говорил, что ее сглазили, да это невероятно: в Ченстохове чары недействительны. Но что с паном Володыевским было! Что он говорил!.. Надеюсь, Господь Бог простит его: в такой скорби человек со словами не считается. Словом, говорю я вам, – пан Харламп понизил голос, – богохульствовал, себя не помня!

– Господи боже! Богохульствовал?! – прошептал Кмициц.

– Выбежал от одра покойницы в сени, из сеней во двор и шатался, как пьяный. Поднял кулаки к небу и кричал неистовым голосом: «Так вот мне награда за мои раны, за труды, за кровь, за любовь к отчизне?.. Один, – говорит, – был у меня ягненок, и того ты, Боже, отнял! Поразить вооруженного мужа, надменно ступающего по земле, – дело, достойное рук Господних, но задушить невинную голубку смог бы и кот, и ястреб, и коршун, и...»

– Ради бога, – воскликнула пани Александра, – не повторяйте этого, вы еще несчастье и на наш дом накличете!

Харламп перекрестился и продолжал:

– Думал солдатик, что дослужился, а вот какая награда! Но ведь Господь лучше знает, что делает, хоть мы этого не можем разумом постичь и справедливостью нашей измерить. После всех этих богохульств он обессилел и упал на землю, а ксендз стал читать над ним молитвы, чтобы отогнать злых духов: их легко могли привлечь его богохульные слова.

– Он скоро пришел в себя?

– С час лежал замертво, потом очнулся и, вернувшись в свою квартиру, никого не хотел видеть. Во время похорон я сказал ему: «Пан Михал, уповай на Бога!» Он молчал. Три дня просидел я еще в Ченстохове – жаль мне было оставить его одного, но даром стучался в его двери. Не захотел меня видеть. Я долго раздумывал, что

делать, продолжать ли стучаться или уехать? Как же оставить такого человека без всякого утешения? Но, убедившись, что с ним ничего не поделаешь, я решил ехать к Скшетускому. Он и пан Заглоба – его лучшие друзья; быть может, они сумеют что-нибудь сделать, особенно же пан Заглоба: он человек ловкий и знает, как с кем разговаривать...

– И были вы у Скшетуского?

– Был, но и тут мне не повезло: оба они с Заглобой отправились в Калишский повет к ротмистру пану Станиславу. Никто не мог сказать, когда они возвратятся. Тогда я подумал: Жмудь мне по дороге, я заеду к вам и расскажу, что случилось.

– Я давно знаю, что вы достойный кавалер! – сказал Кмициц.

– Дело не во мне, а в Володыевском, – ответил Харлам, – и должен признаться, что я боюсь, как бы он не помешался!

– Господь сохранит его от этого, – сказала пани Александра.

– Если и сохранит, то все же он, наверное, пойдет в монахи: в жизни я не видал такой глубокой скорби... Эх, жаль солдата, жаль!

– Почему же жаль? Приумножится слава Господня! – отозвалась пани Александра.

Харлам повел усами и потер лоб.

– Изволите ли видеть... либо приумножится, либо не приумножится... Вспомните, сколько еретиков и язычников он истребил в своей жизни, а этим, полагаю, он больше угодил Спасителю и его Пресвятой Матери, чем любой ксендз проповедями. Гм... стоит над этим призадуматься... Пусть каждый служит Богу по мере своих сил... Конечно, между иезуитами найдется много таких, что поумнее его, но другой такой сабли не сыщешь во всей Речи Посполитой.

– Твоя правда, видит бог! – сказал Кмициц. – Ты не знаешь, остался он в Ченстохове или уехал?

– Он был там до моего отъезда. Что он сделал потом, не знаю. Знаю только, что надо бояться за его рассудок и здоровье... Болезнь зачастую – спутник отчаяния. А он один, без родных, без друзей, некому его утешить.

– Да хранит тебя Пресвятая Дева в своей обители, верный друг! Родной брат не сделал бы для меня столько, сколько сделал ты! – воскликнул Кмициц.

Пани Александра глубоко задумалась; молчание продолжалось долго; наконец она подняла свою русую головку и сказала:

– Ендрек, ты помнишь, чем мы ему обязаны?

– Если я забуду, мне придется глаза у дворового пса одолжить – своими стыдно будет на честного человека смотреть.

– Ендрек, ты не можешь его так оставить.

– Как же это?

– Поезжай к нему.

– Вот это настоящее женское сердце, – добрая пани! – воскликнул Харламп и, схватив руки пани Александры, стал покрывать их поцелуями...

Но совет жены не пришелся Кмицицу по вкусу; он покачал головой и сказал:

– Я бы для него на край света поехал, но... ты сама знаешь... будь ты здорова, – другое дело... Но ты сама знаешь... Сохрани бог, какой-нибудь испуг, какая-нибудь неосторожность... Я умер бы от беспокойства! Жена дороже лучшего друга! Пана Михала мне жаль... но ты сама знаешь...

– Я останусь под опекой ляуданцев. Теперь здесь спокойно, и бояться нечего. Без воли Божьей ни один волос не упадет с моей головы... А там, быть может, пан Михал в спасении нуждается.

– Ох, и как нуждается! – вставил Харламп.

– Слышишь, Ендрек? Я здорова. Меня здесь никто не обидит. Я знаю, что тебе нелегко уезжать...

– Легче с голыми руками против пушек идти, – сказал Кмициц.

– А ты думаешь, что, оставшись здесь, ты не будешь себя упрекать, что лучшего друга покинул в горе? Как бы Господь в справедливом гневе не лишил нас своего благословения!

– Ты меня в самое сердце кольнула! Говоришь, Бог может лишить нас благословения? Это было бы ужасно!

– Спасать такого друга, как пан Михал, – священная обязанность.

– Да ведь я люблю пана Михала от всего сердца! Ну, что ж делать! Если ехать, то надо спешить – здесь каждая минута дорога. Сейчас иду на конюшню. Видит бог, тут ничего другого не придумаешь... И понесла же нелегкая тех двоих в Калиш! Ведь не о себе беспокоюсь я, а о тебе, сокровище мое! Я предпочел бы все состояние потерять, чем прожить один день без тебя. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я тебя когда-нибудь покину не для защиты отчины, я бы его саблей к земле пригвоздил. Ты говоришь: долг? Пусть будет так. Дурак, кто долго раздумывает! Ни для кого другого, кроме Михала, я бы этого не сделал.

Потом он обратился к Харлампу:

– Мосци-пане, прошу со мной на конюшню, осмотреть лошадей. А ты, Оленька, прикажи уложить мои вещи. Пусть кто-нибудь из ляуданцев присмотрит за молотью... Пан Харламп, вы должны у нас погостить хоть две недельки – присмотреть за женой. Может быть, найдете какую-нибудь аренду поблизости. Берите Любич, а? Пойдем на конюшню. Через час надо ехать. Коли надо, так надо.

II

Еще задолго до захода солнца Кмициц отправился в путь; жена простилась с ним со слезами и дала ему на дорогу крест, в котором была частица Животворящего Креста. А так как пан Кмициц давно уже привык к стремительным походам, то, двинувшись,

он так гнал лошадь, точно преследовал убежавших с добычей татар.

Доехав до Вильны, он отправился на Гродну, Белосток и оттуда в Седлец. Проезжая через Луков, он узнал, что Скшетуские с детьми и паном Заглобой еще накануне вернулись из Калиша, и он решил заехать к ним, чтобы вместе придумать, как спасти Володыевского.

Они были очень удивлены и обрадованы его приездом. Но радость их сменилась печалью, когда он сообщил о причине своего посещения. Пан Заглоба не мог успокоиться весь день и, сидя над прудом, так плакал, что, как он говорил потом, вода вышла из берегов и пришлось открывать шлюзы. Но выплакавшись, он все обдумал, и вот что посоветовал:

– Ян не может ехать – он выбран в депутаты; дел будет немало, – как всегда после стольких войн, волнение еще не улеглось. Из того, что говорит пан Кмициц, видно, что аисты зимуют в Водоктах, ибо их причислили там к рабочему инвентарю, и им придется сделать свое дело. Не диво, что при таком хозяйстве ему не очень сподручно пускаться в путь, тем более что он не знает, сколько на это потребуется времени. Еще раз доказал он тем, что выехал, доброту своей души, но чтобы быть искренним, я скажу: возвращайтесь! Здесь нужен более близкий друг, который не обидится, если его не захотят принять и будут еще ворчать на него. Тут нужны и терпение, и опыт, а у вас только сильная дружба к Михалу, но она в таких случаях беспомощна. Не сердитесь: вы должны согласиться, что оба мы с паном Яном его давнишние друзья и пережили вместе немало тяжелых минут. Боже мой! Сколько раз он спасал меня, а я его!

– А если бы я отказался от обязанностей депутата? – прервал Скшетуский.

– Ян, это общественное дело! – строго ответил Заглоба.

– Видит бог, – говорил огорченный Скшетуский, – что моего двоюродного брата Станислава я люблю искренне, как родного брата, но Михал все-таки мне ближе.

– А мне он ближе родного, тем более что родного у меня никогда не было. Но не время спорить о чувствах! Видишь ли, Ян, если бы это несчастье только сейчас обрушилось на пана Михала, я бы первый тебе сказал: «Брось к черту депутатские полномочия и поезжай к Михалу». Но ведь сколько времени прошло с тех пор, как Харламп уехал из Ченстохова на Жмудь, а пан Кмициц из Жмуди к нам. Теперь надо не только ехать к пану Михалу, но и оставаться с ним, не только плакать с ним вместе, но и убеждать; не только ставить ему в пример Распятого, но и стараться развлечь его шутками. Знаете ли вы, кто к нему должен ехать? Я! И поеду, да поможет мне Бог! Если найду его в Ченстохове, привезу сюда, не найду, то пусть бы мне пришлось ехать за ним на край света – поеду и буду искать его до тех пор, пока сил хватит поднести к носу вот эту щепотку табаку.

Услышав это, оба рыцаря бросились обнимать пана Заглобу, а он расчувствовался над несчастьями пана Михала и над своими предстоящими невзгодами. Прослезился и сказал:

– Только за Михала не благодарите, вы не ближе ему, чем я!

– Мы благодарим не за Володыевского, – сказал Кмициц, – но ведь надо иметь железное, даже не человеческое сердце, чтобы не тронуться такой готовностью вашей помочь друг другу в несчастье, невзирая на все трудности дороги и ваши

преклонные годы. Ведь другие в ваши годы только о теплой лежанке думают, а вы об этой дальней дороге говорите так, будто вы ровесник мне или пану Скшетускому.

Пан Заглоба не скрывал, правда, своих лет, но не любил, когда при нем говорили о старости, как спутнике бессилия и, хотя у него глаза были еще красны от слез, он быстро и даже с некоторым неудовольствием взглянул на Кмицица и сказал:

– Мосци-пане! Когда мне минуло 77 лет, у меня на сердце стало как-то жутко, что вот уж две секиры повисли над моей головой, но когда мне 80 минуло, я так приободрился, что даже о женитьбе подумывал. И тогда бы мы посмотрели, кто из нас двоих мог бы первый похвастаться!

– Я и не хвастаюсь, да и для вас бы не пожалел похвал!

– И уж, конечно, я бы вас пристыдил, как пристыдил пана гетмана Потоцкого в присутствии короля. Когда гетман вздумал было намекать на мою старость, я ему предложил: кто из нас большее число раз перекувыркнется. И что же оказалось? Пан Ревера перекувыркнулся три раза, и гайдуки должны были его поднимать, сам он встать не мог, а я кувыркался вокруг него и не меньше тридцати раз кувыркнулся. Спросите Скшетуского, он это собственными глазами видел!

Скшетуский знал, что Заглоба имел обыкновение всегда ссылаться на него, как на очевидца, а потому даже не сморгнул глазом и стал опять расспрашивать о Володыевском. Заглоба замолчал и о чем-то задумался. После ужина он повеселел и обратился к товарищам:

– Я скажу вам то, до чего не всякий додумается. Я полагаюсь на Бога и думаю, что пан Михал скорее забудет свое горе, чем это нам казалось сначала!

– Дай бог, но почему вы так думаете? – спросил Кмициц.

– Гм... надо иметь от природы быстрый ум и большую опытность, которой вы в ваши годы иметь не можете, а кроме того, знать Михала. У каждого человека своя натура. Одно несчастье поразит, что камень, брошенный в реку; вода-то сверху и течет, а он лежит на дне и задерживает течение и будет лежать, и будет задерживать, пока вся вода не уплывет в Стикс. Ты, Ян, можешь быть причислен к таким людям. Но таким плохо жить на свете: они горя не забывают. На других несчастья действуют так, точно их обухом по голове хватили. Ошеломит их сразу, потом они приходят в себя, и, когда рана заживет, они о ней забывают. Ох, таким натурам лучше в этом мире, полном превратностей!

Рыцари со вниманием слушали мудрые слова Заглобы, а он, польщенный этим, продолжал:

– Я Михала знаю насквозь, и Бог мне свидетель, что я не хочу его осуждать, но мне кажется, что он больше оплакивает несостоявшуюся женитьбу, чем эту девушку. И говорить нечего, отчаяние его охватило страшное: ведь это действительно несчастье, страшное несчастье, особенно для него. Вы себе представить не можете, как хотелось ему жениться. В нем нет ни алчности, ни себялюбия, ни тщеславия, он все бросил, лишился состояния, отказался даже от жалованья, но за все свои труды, за все заслуги он от Бога и Речи Посполитой ничего не просил – только жены. И он был искренне убежден, что такая награда должна достаться ему по праву; он был как тот человек, который долго голодал и ему поднесли ко рту кусок хлеба: «На, ешь!», а потом вдруг этот кусок вырвали у него из зубов.

Неудивительно, что его охватило отчаяние. Я не говорю, что он и девушку эту не оплакивает, но, как Бог свят, он больше жалеет о неудавшейся женитьбе, хотя сам вам поклянется, что это не так!

– Дай бог! – повторил Скшетуский.

– Подождите, пусть только его раны заживут, тогда мы увидим, не захочет ли он снова жениться. Опасность в том, как бы он теперь под бременем несчастья не сделал или не решил чего-нибудь такого, в чем ему потом пришлось бы раскаиваться. Но если что-нибудь должно было случиться, то оно уже случилось, так как в несчастье люди решают быстро... Казачок уже укладывает мои вещи, и я все это говорю не потому, что ехать не надо, а лишь для того, чтобы вас утешить!

– Вы опять будете целебным бальзамом для Михала, отец! – сказал Скшетуский.

– Как это было и с тобой! Помнишь? Только бы поскорей его найти; я боюсь, как бы он не спрятался где-нибудь в пустыне или в далеких степях, к которым он привык смолodu. Вы, пане Кмициц, попрекали меня старостью, а я скажу вам, что ни один гонец с письмом не скакал так, как поскачу я, а если это будет не так, то, когда я вернусь, прикажите мне выдергивать нитки из старых тряпок или лущить горох! Никакие неудобства меня не задержат, не искусит ничье гостеприимство, ни яства, ни напитки. Вы еще не видали такого похода. Я уже теперь сижу словно на горячих угольях; я уже велел приготовить дорожное платье и смазать его козьим салом, чтобы насекомые не заводились.

III

Но пан Заглоба ехал совсем не так скоро, как обещал товарищам. Чем ближе подвигался он к Варшаве, тем ехал медленнее. Это было время, когда Ян Казимир, политик и великий вождь, закончив внешние войны и спасши Речь Посполитую из бездны несчастий, отказался от престола. Он все вытерпел, все перенес, подставляя свою грудь под все удары врагов; но, когда он потом задумал внутренние реформы и вместо поддержки народа встретил только противодействие и неблагодарность, тогда он добровольно снял со своей головы корону, которая стала для него невыносимой тяжестью.

Поветовые и окружные сеймики уже закончились, и ксендз-примас Пражмовский назначил конвокацию на 5 ноября[1]. Кандидаты соперничали друг с Другом, боролись друг с другом различные партии, и хотя все должен был решить только элекционный сейм, но все сознавали важность и этого сейма. Ехали в Варшаву депутаты и верхом, и в экипажах, с дворней и челядью; ехали сенаторы, окруженные блестящей свитой. На дорогах было тесно, постоянные двory все были переполнены, и найти приют для ночлега было трудно. Но пану Заглобе все уступали место из уважения к его преклонным годам. Зато его слава и замедляла путь.

Бывало, заедет он в корчму, где яблоку упасть негде: вся она занята свитой какого-нибудь вельможи; но вот вельможа из любопытства выйдет посмотреть, кто приехал, и, увидев почтенного старца с белыми, как лунь, усами и бородой, скажет:

– Прошу вас, ваша милость, пожаловать ко мне закусить, чем бог послал!

Пан Заглоба никогда не был неучтивым и никогда не отказывался, зная что знакомство с ним каждому будет приятно. Когда же хозяин, пропустив его в комнату, спрашивал: «С кем имею честь?» – он только подбоченивался и отвечал

двумя словами, зная, что они произведут впечатление:

– Заглоба sum!

И никогда еще не случалось, чтобы после этих двух слов не раскрылись горячие объятия и не послышался восторженный крик: «Этот день я буду считать счастливейшим днем моей жизни!» И все кричали товарищам и приближенным: «Смотрите, вот пример мужества, вот слава и честь рыцарства Речи Посполитой!» И все сбегались взглянуть на пана Заглобу, а молодые люди подходили целовать полы его дорожного жупана. Затем из повозок вытаскивали бочонки с вином и начинался пир, продолжавшийся иной раз по несколько дней. Все думали, что Заглоба едет на сейм в качестве депутата, а когда он отрицал это, то вызывал всеобщее удивление. Но он объяснял, что уступил полномочия пану Домашевскому, пусть, мол, и молодые привыкают к общественным делам. Некоторым он объяснял причину своего путешествия, а от других, когда они слишком настойчиво допытывались, он отделялся словами:

– Да вот, с малых лет я привык к войне, и захотелось на старости лет с Дорошкой повоевать!

После таких слов на него смотрели еще с большим удивлением. Оттого, что Заглоба ехал не в качестве депутата, его ценили не меньше: всем было известно, что и между арбитрами есть такие, которые имеют большее значение, чем сами депутаты. Впрочем, даже самый знаменитый сенатор не мог не понимать, что, когда через несколько месяцев наступят выборы, каждое слово столь славного между рыцарями мужа будет иметь огромный вес. И обнимали пана Заглобу, низко кланялись ему даже самые знатные паны. Пан Подляский угощал его три дня; братья Пацы, с которыми он встретился в Калушине, носили его на руках.

Многие клали ему тайком в повозку богатые дары: водку, вина, ларцы в дорогой оправе, сабли, пистолеты.

Немало перепадало и слугам пана Заглобы. И он, несмотря на свое обещание и решение спешить, ехал так медленно, что только на третий день доехал до Минска.

Зато в Минске он не останавливался. Когда он въехал на рынок, то увидел, что здесь остановился какой-то вельможа с таким пышным двором, какого он до сих пор не встречал по дороге. Все придворные были в роскошных нарядах, и хотя на конвокационный сейм не принято было ездить с войском, все же Заглоба увидел небольшой отряд пехоты, которая видом своим напоминала лучшую гвардию шведского короля. Весь рынок был запружен множеством возов с дорожными коврами, которыми обивались стены в заезжих домах во время остановок в пути, массой повозок с посудой и съестными припасами; слуги, по-видимому, все были иностранцы, и мало кто из них говорил понятным для всех языком.

Пан Заглоба увидел, наконец, одного из придворных, одетого по-польски, приказал остановиться и, высунув одну ногу из повозки, спросил:

– Чей это двор? Сам король не мог бы иметь лучшего!

– Чей же, как не нашего пана князя-конюшего литовского!

– Чей? – переспросил Заглоба.

– Глухи вы, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на конвокацию и, даст Бог, после выборов будет избран в электоры.

Заглоба поставил ногу на прежнее место и крикнул кучеру:

– Пошел! Тут нам делать нечего! И поехал, трясясь от негодования.

– Великий Боже, – говорил он, – неисповедимы пути твои, и если ты молнией не поразишь этого изменника, то у тебя есть на то свои причины, которые разуму человеческому не постигнуть, но по нашему, человеческому, разумению эта каналья заслуживает хорошей трепки! Но, знать, неладно в великолепной Речи Посполитой, если такие продажные души, без чести и совести, не только не наказаны, но еще разъезжают во всем великолепии и несут общественные обязанности. Уж, верно, придется нам погибать... Ведь в каком другом государстве могло бы случиться что-нибудь подобное? Добр был король Joannes Casimirus, но слишком всем и все прощал и приучил самых последних людей верить в безнаказанность. Но это не только его вина; видно, и в народе гражданская совесть и любовь к добродетели окончательно погибли... Тьфу, тьфу! Он – депутат! В его бессовестные руки передали охрану и безопасность отчизны, в те самые руки, которыми он ее же терзал и заковывал в шведские цепи! Мы погибнем, иначе и быть не может! Его еще и в короли прочат... Ну, что же... Все возможно для такого народа. Он – депутат! Господи боже! Ведь законы говорят ясно, что депутатом не может быть тот, кто занимает какие-либо должности в иноземном государстве, а ведь он – генерал-губернатор у своего паршивого дядюшки в Пруссии. Ну, стой, уж ты у меня попадешься! А проверка полномочий – на что?! Пусть я буду бараном, а мой кучер мясником, если я не явлюсь в зал и хоть в качестве арбитра не подниму этого вопроса. И между депутатами найдутся такие, которые меня поддержат. Не знаю, смогу ли добиться того, чтобы тебя, изменник, исключили из числа депутатов, но что это на элекционном сейме твою репутацию подмочит, это уж верно. А бедняге, Михалу, придется меня подождать, ибо тут задето общее благо!

Так размышляя, пан Заглоба дал себе слово следить за проверкой полномочий и привлекать на свою сторону депутатов. И из Минска он торопился в Варшаву, чтобы не опоздать на открытие сейма.

И приехал он вовремя.

Съезд депутатов и посторонних был так велик, что нельзя было найти свободного угла ни в самой Варшаве, ни в Праге, ни даже за городом. Трудно было даже напроситься к кому-нибудь, и так в каждой комнате помещались уже по три, по четыре человека.

Первую ночь пан Заглоба провел довольно сносно в винном погребе у Фукера; но на следующий день, протрезвившись, он решительно не знал, что ему делать.

– Боже мой! Боже мой! – говорил он, впадая в дурное настроение духа и Разглядывая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот бернардины, вот развалины дворца Казановских. Неблагодарный город! Трудом и собственной кровью вырвал я его из рук неприятеля, а он для меня теперь даже угла жалеет, где бы я мог преклонить свою седую голову.

Но город нисколько не жалел угла для его седой головы, а попросту ни одного свободного угла в нем не было.

Но видно пан Заглоба родился под счастливой звездой: только лишь он поравнялся с дворцом Конецпольских, как чей-то голос крикнул его кучеру:

– Стой!

Слуга придержал лошадей, и к повозке подошел незнакомый шляхтич, с сияющим лицом:

– Пане Заглоба, не узнаете меня?

Заглоба увидел перед собой мужчину лет за тридцать; он был одет в рысий колпак с пером, какой носили военные, в черный жупан, темно-красный кунтуш, подпоясанный золотистым поясом. Лицо незнакомца было необыкновенно красиво. Кожа бледная, несколько загорелая, голубые глаза, полные какой-то грусти и задумчивости, черты лица необыкновенно правильные и для мужчины даже слишком красивые; несмотря на польский наряд, он носил длинные волосы и бороду, подстриженную на иностранный лад. Остановившись около повозки, он широко открыл объятия, и пан Заглоба, хотя и не мог сразу припомнить, кто это такой, наклонился и обнял его за шею.

Они горячо расцеловались, время от времени отстраняя друг друга, чтобы лучше рассмотреть. Наконец, Заглоба сказал:

– Простите, ваць-пане, я все еще не могу вспомнить, кто вы..

– Гасслинг-Кетлинг!

– Боже мой! Лицо мне показалось знакомым, но одежда совсем вас изменила. Прежде я вас видал в рейтарском колете. А теперь вы по-польски одеваетесь.

– Потому что я признал Речь Посполитую, которая меня еще ребенком приютила и своим хлебом выкормила, своей матерью, и другой знать не хочу. Знаете ли вы, что я после войны получил права гражданства?

– О, какую приятную новость вы мне говорите! Как это вам так посчастливилось?

– Да, посчастливилось и в этом, и в другом: в Курляндии, на самой жмудской границе, я сблизился с человеком одной фамилии со мной; он меня усыновил, дал свой герб и оделил состоянием. Сам он живет в Курляндии, но и в этих краях у него есть имение Шкуды, и он отдал его мне.

– Помогите вам боже! Так вы совсем бросили войну?

– Пусть только что-нибудь случится, я опять не заставлю себя ждать. Я и деревеньку свою отдал в аренду и только жду случая.

– Вот это поистине рыцарский дух! Совсем как я, когда был молод, хотя, правду сказать, у меня и теперь кости еще крепки. Что же вы делаете в Варшаве?

– Я депутат на конвокационном сейме.

– Боже ты мой! Так вы уж поляк с головы до ног!

Молодой рыцарь улыбнулся:

– Душою поляк, а это важнее.

– Женаты?

Кетлинг вздохнул.

– Нет.

– Только этого вам недостает. Но погодите немножко. Неужели вы все еще питаете нежные чувства к панне Билевич?

– Я думал, что это для всех тайна, но раз вы знаете, то скажу вам, что нового чувства у меня ни к кому нет...

– Оставь это! Она скоро произведет на свет маленького Кмицица. Оставь ее в покое! Что за охота вздыхать по ней, когда она счастлива с другим? Скажу тебе откровенно, что это даже смешно...

Кетлинг поднял свои грустные глаза к небу.

– Я ведь только сказал, что нового чувства ни к кому у меня нет.

– Будет, не бойтесь, мы вас женим. Я по собственному опыту знаю, что слишком большое постоянство в любви приносит много страданий. Я тоже в свое время был постоянен как Троил[2]: немало прекрасных случаев из-за этого упустил, а сколько настрадался...

– Дай бог каждому сохранить такую веселость, как у вас!

– Ибо я всегда вел скромную жизнь, потому у меня в костях и не стреляет. Где вы живете? Нашли место?

– Около Мокотова у меня есть собственный домик, я его после войны выстроил.

– Счастливец! А я со вчерашнего дня тщетно по всему городу пристанища ищу.

– Ради бога, благодетель! Не откажите мне в моей просьбе, остановитесь у меня! Места много: кроме домика есть и флигель, и конюшня. Найдется помещение и для прислуги, и для лошадей.

– Вы для меня точно с неба свалились, ей-богу!

Кетлинг сел в возок рядом с Заглобой, и лошади тронулись.

По дороге Заглоба рассказал ему о несчастье с Володыевским. Кетлинг заламывал руки, ибо ничего еще не знал.

– Это тем больнее для меня, – сказал он, наконец, – что за последнее время мы с ним очень сошлись и подружились. Мы участвовали вместе во всех последних войнах в Пруссии, в осаде крепостей, в которых еще оставались шведские гарнизоны. Вместе ходили и на Украину, и на пана Любомирского, а потом, после смерти воеводы русского, снова на Украину под предводительством пана маршала коронного Собеского. Одно седло служило нам подушкой, ели мы из одной миски; нас прозвали Кастором и Поллуксом. И расстались мы только тогда, когда он поехал за панной

Божобогатой на Жмудь. Кто бы мог ожидать, что его надежды так скоро рассеются, как дым!

– Нет ничего постоянного в этой юдоли слез! – заметил Заглоба.

– Кроме истинной дружбы! Надо будет постараться узнать, где он теперь. Быть может, узнаем что-нибудь у коронного маршала, который любит Володыевского, как родного сына. Если же не от него, так от какого-нибудь Депутата. Невозможно, чтобы никто из них не слышал о столь славном рыцаре. Я помогу вам всем чем могу, и буду стараться больше, чем если бы дело касалось меня самого.

Беседуя так, они, наконец, подъехали к владению Кетлинга, которое оказалось огромной усадьбой. Внутри дома был большой порядок, много ценных вещей, отчасти купленных, отчасти взятых в добычу. Особенно великолепен был выбор оружия. Увидав это, пан Заглоба обрадовался и сказал:

– О, да вы тут можете у себя и двадцать человек поместить! Счастье для меня, что я встретился с вами. Я бы мог остановиться у пана Антония Храповицкого: он мой знакомый и приятель. Звали меня и Пацы, которые ищут сторонников против Радзивиллов, но я предпочитаю остановиться у вас.

– Я слышал от литовских депутатов, – сказал Кетлинг, – что так как теперь очередь Литвы, то маршалом сейма хотят выбрать пана Храповицкого.

– И правильно! Он человек отличный, хотя немного своевольный. Для него нет ничего дороже мира; он только и смотрит, как бы кого-нибудь с кем-нибудь примирить, а все ни к чему. Но скажите мне откровенно, какое отношение имеете вы к князю Богуславу Радзивиллу?

– С тех пор, как под Варшавой меня взяли в плен татары пана Кмицица, никакого. Я покинул службу у него и больше о ней не заботился. Радзивилл, хотя и знатный пан, но человек вероломный. В Таурогах я достаточно насмотрелся на него, когда он хотел посягнуть на честь этого неземного создания...

– Какого неземного? Что вы болтаете! Она тоже из глины и, как всякая фарфоровая кукла, может разбиться. Впрочем, бог с ней.

Тут пан Заглоба покраснел от гнева, и даже глаза у него вышли из орбит.

– Представьте себе, эта шельма здесь депутатом!

– Кто такой? – спросил с удивлением Кетлинг, мысли которого были около Оленьки.

– Богуслав Радзивилл! Но проверка полномочий зачем? Слушайте! Вы – депутат и можете затронуть этот вопрос, а я с галереи вас поддержу. Не бойтесь! Закон на нашей стороне, а если они захотят обойти его, можно будет между арбитрами поднять такое волнение, что дело не обойдется и без крови.

– Не делайте этого, ради бога! Я этот вопрос подниму во имя справедливости, но упаси боже расстроить сейм.

– Я пойду и к Храповицкому, хоть он, к сожалению, слишком мягок, а от него, как от будущего маршала, будет многое зависеть. Я подстрекну и Пацов. По крайней мере, мы ему публично напомним все его интриги. Я слышал по пути, что эта шельма

метит в короли...

– Неужели народ дошел до последнего падения, если он хочет избирать в короли таких людей? – сказал Кетлинг. – Ну, отдохните пока, а потом мы как-нибудь пойдем к маршалу коронному и разузнаем про нашего приятеля.

IV

Спустя несколько дней последовало открытие конвокационного сейма. И, как предвидел Кетлинг, маршалом был выбран пан Храповицкий, тогда еще подкоморий смоленский, а потом воевода витебский. Так как дело касалось назначения срока выборов и установления временного правительства и интриги различных партий не могли еще найти себе подходящей почвы, то можно было предполагать, что сейм пройдет спокойно. Только в самом начале спокойствие это было нарушено вопросом о проверке депутатских полномочий. Когда депутат Кетлинг возбудил вопрос о сомнительности прав пана писаря бельского и его товарища князя Богуслава Радзивилла, то в группе арбитров чей-то громкий голос крикнул: «Он изменник! Он на иностранной службе!» За этим голосом раздалась и другие; к ним присоединились и некоторые депутаты, и совершенно неожиданно сейм распался на две партии: одна требовала проверки прав бельских депутатов, другая же настаивала на признании их выбора. Решено было передать дело следственной комиссии, и права депутатов были утверждены. Тем не менее это было тяжким ударом для князя-конюшего: одно то, что поднят был вопрос, достоин ли князь заседать на сейме, перечисление всех его измен во время шведской войны – напомнили Речи Посполитой о его недавнем позоре и в корне подорвали все его честолюбивые замыслы.

Он рассчитывал, что если иностранные претенденты взаимно будут мешать друг другу, то выбор может пасть на коренного жителя страны.

Гордость его и льстецы говорили ему, что этим коренным жителем может быть не кто иной, как вельможа, одаренный великим гением, человек могущественный и знатного рода, иначе – он сам.

Храня все это до поры до времени в тайне, он уже заранее раскинул свои сети на Литве, а потом в Варшаве, и вдруг увидел, что в самом начале ему порвали эти сети и сделали в них такую большую дыру, что все рыбы могут через нее уйти. Во все время расследования его дела он скрежетал зубами, и так как Кетлингу, как депутату, он отомстить не мог, то объявил своим придворным, что наградит того, кто ему укажет арбитра, который первый за Кетлингом крикнул: «Изменник и предатель».

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло остаться в тайне. Да он и не думал скрываться. Услышав, что у него поперек дороги стал такой популярный человек, посягать на жизнь которого было не безопасно, князь пришел в бешенство.

Пан Заглоба сознавал свою силу и потому, услышав об угрозах князя, он сказал на одном большом шляхетском собрании:

– Не думаю, чтобы было безопасно снять хоть один волос с моей головы. Выборы не далеко, а когда соберется до ста тысяч дружеских сабель, может дойти и до резни.

Слова эти дошли до князя, он закусил губы и презрительно улыбнулся, но в душе подумал, что Заглоба прав.

На другой же день князь явно переменял свои намерения относительно старого

рыцаря, и когда на пиру у князя-кравчего кто-то упомянул о Заглобе, Богуслав сказал:

– Шляхтич этот очень не любит меня, я слышал, но я в людях больше всего люблю рыцарский дух, и если даже он будет продолжать вредить мне, я все же буду любить его.

Неделю спустя он повторил то же самое в глаза пану Заглобе, когда они встретились у великого гетмана Собеского.

При виде князя сердце пана Заглобы забилося сильнее, хотя лицо оставалось совершенно спокойным: ведь это был пан, руки которого далеко хватали, к тому же людоед, которого все боялись.

Богуслав обратился к нему через весь стол:

– Мосци-пане Заглоба, до меня дошли слухи, что хотя вы и не депутат, но хотели исключить меня из сейма; я вам это по-христиански прощаю и в случае нужды всегда готов вам покровительствовать.

– Я только придерживался конституции и делал то, что обязан сделать каждый шляхтич; что же касается покровительства, то мне в мои годы нужнее всего покровительство Господа Бога – мне уже под девяносто.

– Прекрасные годы, если они были столь же добродетельны, сколь долги, в чем я не сомневаюсь!

– Я служил отчизне и государю и других богов не искал. Князь слегка поморщился.

– Вы служили и против меня, – я знаю. Но да водворится между нами мир! Все уже забыто, даже то, что вы поддерживали чужую личную ненависть ко мне. С тем преследователем у меня еще есть счеты, но вам я протягиваю руку и предлагаю дружбу.

– Я человек маленький, и дружба вашего сиятельства для меня честь слишком высокая – пришлось бы по лестнице взбираться или подпрыгивать, а на старости лет это трудно. Если же вы, ваше сиятельство, говорите о счетах с Кмицицем, моим приятелем, то от всего сердца советую вам за эту арифметику не приниматься...

– Почему же? – спросил князь.

– Потому что в арифметике четыре правила. И вот, хотя у Кмицица большое состояние, но в сравнении с вашим это капля в море, и на деление он не согласится; умножением он сам занимается; отнять у себя он тоже ничего не позволит, вот разве прибавить что-нибудь он может, но не знаю, так ли это нужно вашему сиятельству...

Хотя Богуслав никогда за словом в карман не лазил, но в эту минуту доводы пана Заглобы, или же его дерзость так смутили князя, что он не нашелся что ответить. У присутствующих животы запрыгали от смеха, а пан Собеский расхохотался во все горло и сказал:

– Это збаражский герой! Он умеет рубить саблей, но и языком работать мастер. Лучше оставить его в покое!

Богуслав, видя, что в лице Заглобы он наткнулся на непримиримого врага, не пытался более привлечь его на свою сторону; он заговорил с кем-то другим и только бросал злобные взоры через стол на старого рыцаря.

Но пан Собеский развеселился и продолжал:

– Вы мастер, пане-брат, настоящий мастер! Случалось ли вам встречать равного в Речи Посполитой?

– Саблей, – отвечал Заглоба, довольный похвалой, – не хуже меня работает теперь Володыевский. Да и Кмицица я подучил недурно.

И сказав это, Заглоба покосился на Богуслава, но тот продолжал разговаривать с соседом, сделав вид, что не слышит.

– Володыевского, – сказал гетман, – я не раз видал в деле и мог бы за него поручиться, если бы от этого зависела участь всего христианства. Жаль только, что в столь великого рыцаря словно гром грянул.

– А что с ним случилось? – спросил пан Сарбевский, мечник цехановецкий.

– По пути, в Ченстохове умерла его невеста, – ответил Заглоба, – а что хуже всего, я нигде не могу узнать, где он теперь находится.

– Господи боже! – воскликнул пан Варшицкий, каштелян краковский. – Да ведь я по дороге в Варшаву встретился с ним; он говорил мне, что, питая отвращение к жизни и познав ее суету, он собирается на Mons regius, чтобы в молитве и размышлениях окончить свое печальное житие.

Заглоба схватился за остаток своей чуприны.

– Богом клянусь, он камедулом[3] сделался! – воскликнул он в отчаянии.

Известие это произвело на всех удручающее впечатление. Пан Собеский, который очень любил солдат и знал, как в них нуждается отчизна, сильно огорчился и минуту спустя сказал:

– Трудно противиться свободной воле человека и славе Божьей, но я не могу скрыть от вас, что мне его очень жаль. Он солдат из школы князя Еремии и хорош против всякого неприятеля, особенно против орды. Есть всего несколько таких загонщиков в степях: среди казаков пан Пиво, в регулярном войске пан Руциц, но и этим далеко до Володыевского.

– Счастье еще, что время теперь спокойное, – ответил мечник цехановецкий, – и что язычники верны мирным трактатам подгаецким[4], вынужденным непобедимым мечом моего благодетеля. – И мечник поклонился пану Собескому, а тот, польщенный публичной похвалой, ответил:

– Прежде всего надлежит благодарить Бога за то, что он дал мне лечь у порога Речи Посполитой и искусать неприятеля, а затем наших славных воинов, всегда на все готовых! Что хан рад сохранять нерушимо мирные трактаты, это я знаю; но в самом Крыму постоянные восстания против хана, а Белгородская орда совсем его не слушается. Я получил известие, что на молдавской границе их собираются целые

тучи и готовятся к набегам. Я велел внимательно следить по проселочным дорогам, но у меня солдат мало. Если в одном месте прибавлю, в другом нехватка. Особенно же не хватает у меня опытных солдат, знающих все приемы орды; вот почему я так жалею о Володыевском.

Заглоба отнял руки, которыми держался за голову, и воскликнул:

– Но не бывать ему камедулом, хотя бы мне пришлось осадить Mons regius и отнять его силой! Боже мой! Завтра же к нему поеду. Может быть, мне удастся убедить его, а если нет, то я отправлюсь к ксендзу-примасу, к самому генералу камедулов. Если придется в Рим ехать, я и туда поеду. Я не хочу приуменьшать славы Господней, но какой же он камедул, когда у него и борода не растет? Как у меня на руке! Ей-богу! Он и обедни не сумеет пропеть, а если запоет, то все монастырские крысы убегут: они подумают, что кошка мяукает, справляя свою свадьбу. Простите, ваць-панове, за эти слова, но я говорю то, что подсказывает мне моя печаль. Если бы у меня был сын, я не любил бы его больше, чем этого малого. Бог с ним! Бог с ним! Сделайся он хоть бернардинцем, но только не камедулом! Не бывать этому. Завтра же еду к ксендзу-примасу и попрошу его дать мне письмо к настоятелю.

– Ведь обета он еще дать не мог, – сказал пан маршал, – но вы его не торопите, чтобы он не стал упорствовать. Надо и с тем считаться, нет ли тут воли Божьей...

– Воля Божья! Воля Божья не объявляется так вдруг. Даже пословица есть: спешить – черта смешить! Если бы тут была воля Божья, я бы давно заметил в нем склонность к этому, а он был драгун, а не ксендз. Если бы он в здравом уме и полной памяти решился на это, я бы ничего не говорил; но в отчаянии воля Божья не объявляется. Я торопить его не буду. Прежде чем идти, я хорошенько обдумую, что мне ему сказать. Но я надеюсь на Бога. Володыевский, бедняга, всегда больше доверял моему уму, чем своему. Надеюсь, что и теперь так будет, если только он окончательно не изменился.

V

На другой день, запасшись письмом ксендза-примаса и обсудив сообща с Гасслингом весь план действий, пан Заглоба позвонил у монастырской калитки на Mons regius. При мысли, как примет его пан Володыевский, сердце его тревожно билось; хотя он и обдумал заранее все, что скажет ему, но сознавал, что многое будет зависеть от того, как его примут. С этими мыслями он вторично дернул звонок, а когда ключ скрипнул в замке и калитка чуть приоткрылась, он протиснулся в нее не без некоторого насилия и сказал оторопевшему молодому монаху:

– Я знаю, чтобы войти сюда, надо иметь особое разрешение, но у меня есть письмо от ксендза-примаса, которое соблаговолите, *carissime frater*[5], передать ксендзу-настоятелю.

– Воля ваша будет исполнена, – ответил привратник, склоняясь при виде печати примаса.

Сказав это, он дернул за ремень, привязанный к языку колокола, и позвонил два раза, чтобы позвать кого-нибудь: отойти от калитки он не имел права. На звук колокола появился другой монах и, взяв письмо, молча с ним удалился. Пан Заглоба положил на скамью бывший с ним сверток, сел и начал сильно сопеть.

– Брат, – сказал он наконец, – давно вы в монастыре?

– Пятый год, – ответил привратник.

– Скажите пожалуйста, такой молодой и уже пятый год! Значит, если бы вам и хотелось отсюда выйти, то теперь уже поздно. А верно не раз приходилось вам тосковать о свете, ибо у одного, сударь вы мой, на уме война, у другого – веселье, у третьего – красотики...

– Араге[6], – сказал монах, набожно крестясь.

– Ну, как же? Разве у вас никогда не было искушения выйти отсюда? – повторил Заглоба.

Монах недоверчиво поглядел на архиепископского посланника, который вел с ним такой странный разговор, и сказал ему:

– За кем здесь закрылись двери, тот уже отсюда не выходит.

– Ну, это мы еще увидим! А как там пан Володыевский, здоров ли?

– У нас нет никого, кто бы так назывался.

– Ну, брат Михал? – сказал наудачу Заглоба. – Прежний драгунский полковник, который сюда недавно поступил.

– Его мы зовем братом Георгием; но он еще не давал обета и раньше срока дать его не может.

– И, конечно, никогда не даст! Вы себе представить не можете, что это за повеса. Для женщин это был бич божий. Другого такого ни в одном монастыре... я хотел сказать, ни в одной войске не найти.

– Мне не годится это слушать, – возразил еще с большим удивлением и негодованием монах.

– Слушайте же, брат! Я не знаю, где у вас мода принимать посетителей, но если здесь, на этом месте, то, когда придет брат Георгий, я советую вам удалиться, вот хотя бы в ту сторожку у калитки: мы будем говорить о слишком светских вещах.

– Предпочитаю удалиться уже теперь, – отвечал монах.

Между тем появился Володыевский или, как его здесь звали, брат Георгий, но Заглоба не узнал его: пан Михал очень изменился.

В длинной белой рясе он казался выше, чем в драгунском колете; торчавшие когда-то вверх усики опустились книзу; по-видимому, он пытался отпустить бороду, но она состояла из двух желтых клочков не длиннее пальца; наконец он очень исхудал и побледнел; глаза утратили прежний блеск; шел он медленно, с опущенной головой и руками, скрещенными на груди.

Заглоба, не узнав его, подумал, что это идет сам настоятель; он поднялся со скамьи и сказал:

– Laudetur...[7]

Но всмотревшись ближе, он раскрыл объятия и воскликнул:

– Пан Михал! Пан Михал!

Брат Георгий дал обнять себя, и что-то вроде рыдания вырвалось из его груди, но глаза остались сухи. Заглоба обнимал его долго и наконец начал говорить:

– Не ты один оплакивал свое несчастье. Плакал и я, плакали Скшетуские и Кмицицы. Воля Божья! Да утешит тебя Господь Милосердный. Ты хорошо сделал, что на время заперся в этих стенах. В несчастье нет ничего лучше молитвы и благочестивых размышлений. Дай же еще раз тебя обнять. Я едва могу разглядеть тебя сквозь слезы.

И пан Заглоба, действительно, плакал, растроганный видом Володыевского, и так продолжал:

– Прости, что я прервал твои размышления, но я не мог сделать иначе, и ты сам согласишься со мной, когда я изложу тебе мои доводы. Эх, Михал, много мы с тобой пережили и хорошего, и дурного. Нашел ли ты хоть какое-нибудь утешение за этой решеткой?

– Нашел, – ответил пан Михал, – в словах, которые я ежедневно слышу и повторяю, и которые буду повторять до самой смерти: «Memento mori!»[8] Смерть для меня утешение.

– Гм... Смерть легче найти на поле брани, чем в монастыре, где жизнь тянется так однообразно, как нитка от бесконечного мотка...

– Здесь нет жизни, ибо нет дел земных, и даже прежде, чем душа покинет тело, чувствуешь уже себя словно в ином мире.

– Если так, то тебе уже нечего говорить, что белгородская орда с большими силами готовится идти на Речь Посполитую – теперь тебе до этого нет дела...

Пан Михал зашевелил вдруг усиками и дотронулся до левого бока, но, не найдя сабли, сейчас же спрятал обе руки под рясу, опустил голову и сказал:

– Memento mori!

– Правильно! правильно! – сказал Заглоба, моргая с некоторым нетерпением своим здоровым глазом. – Вчера еще пан гетман Собеский говорил: «Пусть Володыевский хоть эту войну еще прослужит, а там пусть себе идет в какой хочет монастырь. Бог не разгневался бы на него за это, и ему, как монаху, это поставили бы в заслугу...» Но трудно удивляться тебе, что ты свое собственное спокойствие ставишь выше счастья отчизны: своя рубашка ближе к телу...

Настало долгое молчание, и только усы пана Михала поднялись вверх и стали еле заметно, но быстро двигаться.

– Ты еще не давал обета, – спросил наконец Заглоба, – и можешь уйти каждую минуту?

– Я еще не монах – я ждал милости Божьей, чтобы все земные и горестные помыслы

покинули мою душу. Но Божья благодать уже снизошла на меня, спокойствие возвращается; я могу выйти отсюда, но не хочу, ибо приближается срок, когда я, с чистой совестью и свободный от земных помыслов, смогу произнести обет.

– Я не буду тебя отговаривать: напротив, я хвалю такое решение, хотя помню, что когда Скшетуский некогда возымел намерение сделаться монахом, то все-таки ждал, пока отчизна не освободится от врагов. Но ты делай как знаешь. Не мне тебя отговаривать, ибо я сам в былые времена чувствовал призвание к монастырской жизни. Пятьдесят лет тому назад я даже начал послушание, будь я шельма, если лгу!.. Но Бог решил иначе... Одно только скажу тебе, Михал, что хоть на несколько дней ты должен со мной выйти.

– Почему должен? Оставь меня в покое! – ответил Володыевский, Заглоба поднял полу своего кунтуша и зарыдал.

– Для себя, – говорил он прерывающимся голосом, – я помощи не прошу, хотя князь Богуслав Радзивилл преследует меня и из мести подсылает ко мне убийц, и меня, старика, некому защитить... Я на тебя надеялся... Ну, да что! Я тебя всегда буду любить, если бы ты даже и знать меня не хотел. Молись только за мою душу – мне не уйти из рук Богуслава. Чему быть, того не миновать! Но другой твой приятель, который делился с тобою каждым куском хлеба, – при смерти и, прежде чем умереть, хочет обязательно повидаться с тобой и сделать тебе какие-то признания, без которых он не найдет душевного покоя.

Пан Михал, который сильно взволновался, узнав об опасностях, угрожавших пану Заглобе, схватил его за плечи и спросил:

– Скшетуский?

– Не Скшетуский, а Кетлинг!

– Ради бога, что с ним?

– Защищая меня, он был ранен людьми князя Богуслава, не знаю, проживет ли он еще хоть день. Из-за тебя, Михал, мы и попали в такую переделку, ибо и в Варшаву приехали ради тебя, чтобы как-нибудь тебя утешить. Выйди хоть на два дня – прости с умирающим... Вернешься потом и... станешь монахом. Я привез письмо от примаса к настоятелю, чтобы тебе не делали никаких затруднений. Но спеши: каждая минута дорога!

– Господи боже! – воскликнул Володыевский. – Что я слышу! Но препятствий мне и так не могут ставить, я пока только послушник. Боже! Просьба умирающего – святая вещь! В ней я отказать не могу.

– Это было бы смертным грехом! – воскликнул Заглоба.

– Да! Вечно этот изменник Богуслав... Но не вернуться мне сюда, если я не отомщу за Кетлинга! Я найду тех палачей и изрублю их в куски. Боже мой, уже грешные мысли мной овладели. Memento mori... Подождите меня здесь, я пойду переоденусь в старое платье: в монашеской одежде мне выходить нельзя.

– Вот платье! – воскликнул Заглоба, хватая сверток, который лежал около него на скамье. – Я все предвидел, все приготовил... Есть сапоги, есть отменная рапира и шапка.

– Пойдем в келью, – быстро сказал маленький рыцарь.

Они отправились, а когда показались снова, то рядом с паном Заглобой семенил уже не белый монах, а офицер в желтых сапогах выше колен с рапирой и белой портупеей через плечо. Заглоба моргал своим здоровым глазом и улыбнулся из-под усов, увидев, как привратник с явным негодованием открывает им калитку.

Недалеко от монастыря их ожидала бричка пана Заглобы, а при ней двое его людей; один из них сидел на козлах с вожжами в руках; Володыевский взглядом знатока окинул отличную четверку лошадей. Второй слуга стоял у брички и в одной руке держал покрытую плесенью бутылку, в другой две чарки.

– До Мокотова конец не малый, а у одра Кетлинга нас ждет великая скорбь! Выпей, Михал, соберись с силами, чтобы перенести горе, – ты очень исхудал...

Сказав это, Заглоба взял бутылку, налил в чарки старого вина, такого старого, что оно даже сгустилось от старости.

– Благородный напиток! – сказал Заглоба, ставя на землю бутылку и принимаясь за чарку. – За здоровье Кетлинга!

– За здоровье! – повторил Володыевский. – Надо торопиться! И они залпом осушили чарки.

– Надо торопиться! – повторил Заглоба. – Наливай, парень! Здоровье Скшетуского! Надо торопиться...

И они опять выпили залпом: надо было спешить.

– Ну, садитесь! – уговаривал Володыевский.

– А за мое здоровье ты не выпьешь? – спросил жалобным голосом Заглоба.

– Только скорей!

И они выпили поспешно. Заглоба сразу осушил чарку, хотя в ней помещалось полкварты, и, даже не вытерев усов, сказал:

– Я был бы неблагодарным, если бы не выпил за твое здоровье! Наливай, парень!

– Спасибо, – ответил брат Георгий.

Бутыль опорожнилась. Заглоба схватил ее и разбил вдребезги: он не выносил пустой посуды.

Они сели и поехали.

Благородный напиток тотчас разлил по их жилам приятную теплоту и наполнил сердца бодростью. Щеки брата Георгия покрылись легким румянцем, а глаза загорелись прежним блеском. Он невольно раз, другой прикоснулся рукой к усам и так их закрутил, что концы их почти касались глаз. При этом он стал осматривать окрестности с таким любопытством, точно видел все это в первый раз в жизни.

Вдруг Заглоба ударил себя руками по коленям и ни с того ни с сего воскликнул:

– Гоп, гоп! Я надеюсь, что, как только Кетлинг тебя увидит, он сейчас же выздоровеет. Гоп, гоп!

И, схватив Михала за шею, он стал обнимать его изо всей силы.

Володыевский не хотел оставаться в долгу, и они горячо расцеловались.

Некоторое время они ехали в приятном молчании. Между тем по обеим сторонам дороги показались домики предместья.

Перед домиками было большое движение. В ту и в другую сторону сновали мещане, слуги в разных одеждах, солдаты и шляхта, зачастую очень нарядная.

– Масса шляхты приехала на конвокацию! – сказал Заглоба. – Многие хоть и не депутаты, а все же им хочется послушать, посмотреть. Все гостиницы, все постоянные дворы заняты; трудно найти свободный уголок. А шляхтянок сколько на улицах, и в бороде столько волос не насчитаешь... Уж и хороши они, черт их дери! Иной раз так и хочется взмахнуть руками, как петух крыльями, и запеть... Смотри вот на эту чернушку, за которой гайдук несет зеленую шубку... Хороша, а?

Тут Заглоба толкнул Володыевского в бок, а тот поглядел, шевельнул усиками, глаза у него засверкали, но в ту же минуту он опомнился, опустил голову и, после некоторого молчания, сказал:

– Memento mori!

Заглоба опять обнял его за шею.

– Если ты хоть каплю любишь меня, если хоть каплю уважаешь, женись. Столько красавиц на свете! Женись!

Брат Георгий с удивлением взглянул на своего приятеля. Ведь пан Заглоба не был пьян, он мог много выпить, даже втрое больше, и этого по нему не было бы заметно; значит, он говорит так от наплыва чувств. Но подобные мысли были так далеки от пана Михала, что в первую минуту он был более изумлен, чем возмущен.

Наконец, он строго поглядел в глаза Заглобе и спросил:

– Вы, верно, захмелели?

– Я тебе говорю от всего сердца: женись!

Пан Володыевский взглянул на Заглобу еще суровее:

– Memento mori!

Но Заглобу нелегко было смутить.

– Михал, если ты меня любишь, сделай это для меня, пошли ты в болото свое «Мemento». Повторяю: ты сделаешь, как захочешь, но я так полагаю: пусть каждый служит Богу тем, к чему его Господь создал. А тебя он создал для рапиры, и в этом явная его воля, ибо в этом искусстве он позволил тебе дойти до

совершенства. Если бы он хотел сделать тебя ксендзом, он наделил бы тебя совсем другими талантами и создал бы тебя склонным к книгам и латыни. Заметь также, что святое воинство пользуется в небе не меньшим почетом, чем святые монахи, оно сражается с адскими силами, и когда возвращается с победными знаменами, то получает награды из рук Господних... Ведь все это правда? Ты отрицать этого не будешь?

– Не отрицаю и знаю, что переспорить вас трудно; но и вы не будете отрицать, что монастырь дает лучшую пищу печали, нежели суетный свет...

– А если лучшую, то монастыря-то и надо избегать! Глуп тот, кто питает свое горе, вместо того чтобы уморить его голодом.

Пан Володыевский не нашелся, что ответить; он смолк и только минуту спустя сказал с тоской:

– Вы мне о женитьбе не говорите, эти воспоминания только растрavляют мои раны! У меня нет и прежнего желания, оно уплыло вместе со слезами; да и годы не те: у меня седина появилась. Мне сорок два года и двадцать пять лет прошли в военных трудах, – это не шутка! Не шутка!

– Господи, не карай его за богохульство! Сорок два года! Тьфу! Мне вдвое больше, а иной раз приходится бичевать себя, чтобы усмирить волнение крови и выколачивать его как выколачивают пыль из платья. Чти память твоей покойницы, Михал! Раз для нее ты был молод, то почему же для других ты стар?

– Оставьте это! Оставьте! – сказал печальным голосом пан Володыевский. И слезы потекли у него из глаз на маленькие усики.

– Я не скажу более ни слова, – сказал Заглоба, – дай мне только рыцарское слово, что в каком бы состоянии ты ни застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц. Тебе надо повидаться и со Скшетуским. Если потом ты захочешь надеть монашескую рясу, мы препятствовать тебе не будем!

– Даю слово! – сказал пан Михал.

И они сейчас же заговорили о другом. Пан Заглоба стал рассказывать о конвокации, о том, как был затронут вопрос о незаконности полномочий Радзивилла, о приключении Кетлинга. Иной раз он прерывал рассказ и погружался в раздумье. Но, должно быть, это были веселые мысли, так как он время от времени ударял себя по коленям и повторял: «Гоп, гоп!»

Но по мере того, как они приближались к Мокотову, на лице Заглобы появлялось некоторое беспокойство. Он вдруг обратился к Володыевскому и сказал:

– Помни! Ты дал мне слово, что в каком бы состоянии ни застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц!

– Я дал слово и останусь, – ответил Володыевский.

– Вот и дом Кетлинга! – воскликнул Заглоба. – Он прекрасно живет. Потом он крикнул кучеру:

– Щелкни-ка бичом! В этом доме сегодня праздник будет!

Раздалось громкое хлопанье бича. Еще повозка не успела въехать в ворота, как на крыльцо высыпала толпа товарищей и знакомых пана Михала. Были между ними старые товарищи по войне с Хмельницким, и молодые – последних времен; был тут и пан Василевский, и пан Нововойский, еще почти дети, но уже лихие рыцари; они еще мальчишками убежали из школы и уже несколько лет служили в войске под начальством пана Володыевского. Маленький рыцарь очень их любил.

Из прежних товарищей здесь был пан Орлик, с черепом, запаянным золотом, так как он треснул от шведской гранаты; был пан Рушиц, полудикий степной рыцарь, несравненный загонщик, уступавший только Володыевскому; было и много других. Увидев, что в повозке сидят двое, они закричали громко:

– Едет! Едет! Победил Заглоба! Едет!

И, бросившись к бричке, схватили маленького рыцаря на руки и понесли его на крыльцо, повторяя:

– Здравствуй! Здравствуй, товарищ дорогой! Ты теперь с нами, и мы тебя не пустим. Да здравствует Володыевский, первый кавалер, украшение всего войска! В степь с нами, брат! В Дикие Поля! Там ветер развеет твою печаль.

И только на крыльце они отпустили его. Он здоровался со всеми, растроганный оказанным ему приемом, потом сейчас же спросил:

– Как здоровье Кетлинга? Жив еще?

– Жив, жив! – ответили все хором, и усы старых солдат зашевелились от какой-то странной улыбки. – Пойдем, пойдем скорее, не то он еще вскочит: с таким нетерпением тебя ожидает.

– Видно, он уж не так близок к смерти, как говорил пан Заглоба! – заметил маленький рыцарь.

Они вошли в сени, а оттуда в большую комнату, где посередине стоял стол с заранее приготовленными закусками; в одном углу стоял мягкий диван, покрытый белой конской шкурой; на нем лежал Кетлинг.

– Друг мой! – сказал Володыевский, бросаясь к нему.

– Михал! – воскликнул Кетлинг и, вскочив на ноги, как совершенно здоровый человек, бросился в объятия маленького рыцаря.

Они обнимались так крепко, что поднимали друг друга кверху.

– Мне велели притвориться больным, – говорил шотландец, – даже Умирающим, но, увидев тебя, я не выдержал! Я здоров, как рыба, и ничего со мной не случилось. Мы только хотели тебя вырвать из монастыря. Прости, Михал! Эту ловушку мы устроили из любви к тебе!

– В Дикие Поля с нами! – снова крикнули рыцари и стали ударять мощными руками по саблям. В комнате раздалось грозное бряцание оружия.

Пан Михал изумился. С минуту он молчал, потом стал смотреть на всех, особенно на

пана Заглобу, и, наконец, сказал:

– О, изменники! Я думал, что Кетлинг смертельно ранен.

– Как же это, Михал?! – воскликнул Заглоба. – Ты сердисься на то, что Кетлинг здоров? Ты желаешь ему смерти, а не здоровья? Вот как окаменело твое сердце, ты рад видеть всех нас на смертном одре, – и Кетлинга, и пана Орлика, и пана Рушица, и этих мальчиков, даже Скшетуского и меня, который любит тебя, как сына!

Тут пан Заглоба закрыл глаза и продолжал еще более жалобным голосом:

– К чему нам жизнь, мосци-панове, если на свете нет благодарности, а одна черствость сердец!

– Ради бога! – ответил Володыевский. – Я вам зла не желаю, но вы надсмеялись над моей скорбью!

– Он жизни нам желает! – повторил Заглоба.

– Да оставьте вы его!

– Он говорит, что мы надсмеялись над его скорбью, а мы над его несчастьем пролили целые потоки слез. Бога беру в свидетели, что твою скорбь мы готовы саблями изрубить, как всегда должны делать друзья. Но ты дал слово, что останешься с нами целый месяц, так хоть этот месяц люби нас!

– Я до самой смерти буду вас любить, – ответил Володыевский.

Дальнейший разговор был прерван появлением нового гостя. Солдаты, занятые паном Володыевский, не слышали даже, как этот гость приехал, они заметили его только тогда, когда он уже был в дверях. Это был мужчина огромного роста, с лицом римского цезаря, в котором отражались царственная мощь вместе с добротой и приветливостью. Он совершенно не был похож на всех этих солдат: он выделялся среди них, как орел, царь птиц, среди ястребов, коршунов и соколов.

– Пан гетман великий! – воскликнул Кетлинг и, как хозяин, бросился к нему навстречу.

– Пан Собеский! – повторили другие.

Все головы низко, почтительно склонились.

Кроме Володыевского, все знали, что гетман должен был приехать: он обещал Кетлингу; но все же прибытие его произвело большое впечатление, и с минуту никто не осмеливался заговорить первый. Это была великая милость с его стороны. Но пан Собеский очень любил своих солдат, особенно тех, которые вместе с ним громили татарские чамбулы; он смотрел на них, как на свою семью, и поэтому решил лично встретить Володыевского, утешить его и изъявлением особенной благосклонности удержать его в рядах войска.

Поздоровавшись с Кетлингом, он сразу протянул руки маленькому рыцарю, а когда тот подбежал и склонился к его коленам, гетман обнял его за голову.

– Ну, старый солдат, – сказал он, – ну же! Десница Божья пригнула тебя к земле,

но она же тебя и подымет и утешит... Бог с тобой! Ты ведь останешься с нами?

Рыдания потрясли грудь пана Михала.

– Останусь! – сказал он сквозь слезы.

– Вот и хорошо! Таких, как ты, нам бы побольше! А теперь, старый товарищ, вспомним то время, когда мы с тобой садились за стол в походных палатках, в русских степях... Хорошо мне с вами! За дело, хозяин, за дело!

– *Vivat Joannes dux!*[9] – закричали все хором.

Начался пир и продолжался долго.

На следующий день пан гетман прислал Володыевскому в подарок гнедого жеребца большой ценности.

VI

Кетлинг и Володыевский дали себе слово, как только представится случай, ездить по-прежнему стремя у стремени, греться у одного костра, спать на одном и том же седле в изголовье.

Но случай их разлучил не позднее как через неделю после их встречи. Из Курляндии прибыл гонец с известием, что тот Гаслинг, который усыновил и наделил состоянием молодого шотландца, теперь внезапно заболел и пожелал видеть своего приемного сына. Молодой рыцарь, недолго думая, сел на лошадь и поехал.

Перед отъездом он просил пана Заглобу и Володыевского считать его дом своим и жить у него до тех пор, пока им не надоест.

– Быть может, Скшетуские приедут, – говорил он, – к выборам сам Скшетуский, наверное, приедет, но если бы приехала и вся его семья, то и для нее найдется место. У меня нет родных, но и родные мне не были бы дороже вас!

Заглоба был особенно доволен этим приглашением: ему было очень удобно у Кетлинга; но и Володыевскому это было на руку.

Скшетуские не приехали, зато дала знать о своем приезде сестра Володыевского, которая была замужем за паном Маковецким, стольником летичевским. Нарочный поехал прежде всего к гетманскому двору, чтобы расспросить, не слышал ли кто-нибудь из придворных про маленького рыцаря. Ему указали дом Кетлинга.

Володыевский очень обрадовался: много лет уже не видался он со своей сестрой, и, узнав, что она, не найдя подходящего помещения, остановилась в Рыбаках, в жалкой лачуге, он тотчас же помчался туда, чтобы пригласить сестру в дом Кетлинга.

Были уже сумерки, когда он приехал к ней; он узнал ее сразу, несмотря на то, что кроме нее в комнате находились еще две другие женщины. Она была низенькая и кругленькая, точно клубок ниток. Она тоже узнала его, и, упав друг другу в объятия, они долго не могли выговорить ни слова; он чувствовал ее теплые слезы на своем лице и сам всплакнул. Другие две женщины стояли тут же и молча смотрели на эту встречу.

Пани Маковецкая опомнилась первая и начала выкрикивать тонким и пискливым

ГОЛОСОМ:

– Столько лет, столько лет! Помоги тебе бог, дорогой брат! Как только пришло известие о твоём несчастье, я тотчас же собралась ехать. И муж меня не удерживал: со стороны Буджака идет гроза... Поговаривают и о белгородских татарах. И, должно быть, скоро зачернеют дороги – птицы тучами слетелись: это всегда бывает перед каждым набегом. Да утешит тебя Господь, брат дорогой! Муж сам приедет на выборы и сказал мне так: «Поезжай вместе с паннами раньше меня! Михала, говорит, в печали утетишь, да и без того надо куда-нибудь скрыться от татар: край будет в огне, все одно к одному и складывается». – «Поезжай, – говорит, – в Варшаву, займи, пока еще время есть, хорошее помещение, чтобы было где жить». Сам он отправляется на границу следить за неприятелем. Войска у нас мало. И всегда у нас так! Михал, ты мой дорогой! Подойди-ка к окну, дай тебя разглядеть получше! С лица ты похудел, но в печали иначе и быть не может. Мужу легко было сказать, сидя на Руси: «Поищи себе помещение получше» – а тут нигде ничего не найдешь. Вот мы все в этой избе, и я едва достала три вязанки соломы на ночь...

– Позволь, сестра!.. – сказал маленький рыцарь.

Но сестра не хотела позволить и продолжала трещать:

– Мы остановились здесь – больше нигде было. Хозяева смотрят волками; может, они и дурные люди. Правда, с нами четверо людей, все молодцы-парни, да и сами мы не трусы: в наших краях и у женщин должно быть рыцарское сердце, иначе там жить нельзя. У меня всегда с собой ружье, а у Баськи два пистолета. Только Кшися не любит оружия... Варшава город чужой, и лучше было бы нам остановиться в каком-нибудь надежном месте...

– Позволь, сестра! – повторил пан Володыевский.

– А где ты живешь, Михал? Ты должен мне помочь отыскать помещение, ведь ты в Варшаве человек бывалый...

– Квартира для тебя готова, – перебил ее Володыевский, – и такая просторная, что в ней мог бы поместиться и сенатор со всем своим двором. Я поселился у своего друга, капитана Кетлинга, и тебя сейчас же к нему перевезу.

– Но помни, что нас трое, да еще две служанки и четверо челядинцев. Ах, боже мой, я до сих пор тебя и не познакомила с нашей компанией!

Тут она обратилась к своим спутницам:

– Вы знаете, ваць-панна, кто он, но он не знает, кто вы; познакомьтесь, хоть впотьмах. У нас до сих пор даже печки не затопили. Вот это – панна Кристина Дрогоевская, а та – панна Барбара Езерковская. Мой муж их опекун, они сироты, живут с нами. Жить самостоятельно таким молодым паннам не подобает.

Пока сестра говорила это, Володыевский поклонился обеим паннам по-военному, а они, слегка приподняв пальчиками платья, присели, причем панна Езерковская мотнула головой, как молодой жеребенок.

– Итак, садимся и едем, – сказал Михал. – Живет со мной пан Заглоба, которого я просил похлопотать насчет ужина.

– Тот самый знаменитый Заглоба? – вдруг спросила панна Езерковская.

– Баська, молчи! – сказала пани Маковецкая. – Я только боюсь, не хлопотно ли вам с нами будет?

– Уж если об ужине хлопочет пан Заглоба, – ответил маленький рыцарь, – то нас может приехать вдвое больше, и на всех хватит. Прикажите выносить вещи, ваць-панни. Для вещей я взял тележку, а шарабан Кетлинга такой удобный, что мы вчетвером разместимся. Вот что мне пришло в голову: если слуги у вас не пьяницы, то пусть они подождут здесь до утра с вещами и с лошадьми, а мы захватим только самое необходимое.

– Незачем вещи оставлять, возы еще не распакованы, надо только запрячь лошадей и можно ехать. Баська, поди присмотри!

Панна Езерковская бросилась в сени и вскоре вернулась с известием, что все готово.

– Ну, и пора! – сказал Володыевский.

Через минуту они сидели уже в шарабане и ехали к Мокотову.

Пани Маковецкая с панной Дрогоевской поместились на заднем сиденье, а на передней скамейке – маленький рыцарь с панной Езерковской. Было уже темно, так что он не мог разглядеть их лица.

– Вы знаете Варшаву, ваць-панни? – спросил маленький рыцарь, наклоняясь к панне Дрогоевской и возвышая голос, чтобы заглушить стук колес.

– Нет, – ответила она низким, но звучным голосом. – Мы настоящие провинциалки и до сих пор не знаем ни знаменитых городов, ни знаменитых людей.

Сказав это, она немного наклонила голову, как бы желая дать этим понять, что к числу таких людей она причисляет и Володыевского. Он с благодарностью принял ответ. «Какая обходительная девица!» – подумал он. И тотчас же начал ломать голову, каким бы комплиментом ей отплатить.

– Если бы этот город был в десять раз больше, то и тогда ваць-панни могли бы служить лучшим его украшением, – сказал он наконец.

– А вы почему это знаете, ваць-пане? Ведь темно! – сказала вдруг панна Езерковская.

– Ишь, коза! – подумал пан Володыевский.

Но он ничего не ответил, и некоторое время они ехали молча; вдруг панна Езерковская опять обратилась к маленькому рыцарю:

– Вы не знаете, ваць-пане, хватит ли места в конюшне? У нас десять лошадей и две верховых.

– Хватит места и для тридцати.

– Фью, фью! – просвистела в ответ Бася.

– Баська! – остановила ее пани Маковецкая.

– Да, хорошо – Баська, Баська! А кто всю дорогу должен был думать о лошадях?

Беседуя так, они, наконец, подъехали к дому Кетлинга. По случаю приезда гостей все окна были ярко освещены. Навстречу им выбежала прислуга с паном Заглобой во главе, он бросился к повозке и, увидав трех женщин, спросил:

– В лице кого я буду иметь честь приветствовать сестру моего лучшего Друга Михала и мою благодетельницу?

– Это я, – сказала пани Маковецкая.

Тогда Заглоба схватил ее руку и, целуя ее, повторял:

– Бью челом! Бью челом!

Потом он помог ей выйти из шарабана и почтительно проводил ее до сеней, шаркая ногами.

– Да будет мне позволено приветствовать вас еще раз за порогом этого дома! – говорил он по дороге.

Тем временем пан Михал помогал выходить паннам. А так как шарабан был высокий и впотьмах трудно было отыскать ногой подножку, то он взял панну Дрогоевскую за талию и, приподняв ее, быстро поставил на землю; она, не сопротивляясь, на мгновение коснулась своей грудью его груди и сказала:

– Благодарю вас!

Потом Володыевский обратился к панне Езерковской, но та уже соскочила по другую сторону экипажа, и ему оставалось только подать руку панне Дрогоевской. В комнате они познакомились с паном Заглобой, который при виде двух девиц пришел в отличное настроение и тотчас пригласил всех к Ужину. На столе уже стояли дымящиеся миски, и как предвидел пан Володыевский, всего было так много, что будь народу вдвое больше, хватило бы на всех.

Все сели за стол. Пани Маковецкая заняла первое место; по правую руку от нее сел пан Заглоба, за ним панна Езерковская, Володыевский сел по левую сторону, рядом с панной Дрогоевской.

И только теперь маленький рыцарь мог разглядеть девиц. Обе они были красивы, но каждая в своем роде. У Дрогоевской были черные, как смоль, волосы, такие же брови, большие голубые глаза, несколько смуглая, но бледная кожа, такая нежная, что сквозь нее на висках просвечивали синие жилки. Едва заметный темный пушок покрывал ее верхнюю губу, оттеняя прелестный рот, как бы сложенный для поцелуя. Она была в трауре, так как недавно лишилась отца. Черный цвет, при нежности ее кожи и цвете ее волос, придавал ей грустный и даже строгий вид. На первый взгляд она казалась старше своей подруги, но всмотревшись лучше, пан Михал заметил, что и под этой прозрачной кожей текла кровь первой молодости. Чем больше он смотрел на нее, тем больше любовался: и ее величественной осанкой, и ее лебединой шеей, и ее стройным, полным девической прелести, станом.

«Это, должно быть, панна знатного рода, с величественной душой, – думал он. – Зато та, другая, настоящий мальчишка!»

И сравнение это было очень удачно.

Езерковская была гораздо ниже Дрогоевской и вся была миниатюрна, хотя и не худа; розовенькая и светловолосая. Ее волосы были острижены, очевидно, после болезни, и накрыты золотистой сеткой. Но на этой беспокойной головке даже волосы не хотели лежать спокойно: они торчали изо всех отверстий сетки, а на лбу образовывали светлую прядь, которая падала на брови, что при ее быстром, беспокойном взгляде и при задорном выражении лица делало это розовое личико похожим на лицо школьника, который только и думает, как бы безнаказанно напроказничать. Но она была такая свеженькая и такая хорошенькая, что трудно было оторвать от нее глаза; тоненький носик, несколько вздернутый кверху, с подвижными, постоянно раздувающимися ноздрями, ямочки на щеках и на подбородке – говорили о веселом нраве.

Теперь она сидела смиренно, ела со вкусом и то и дело бросала быстрые взгляды то на пана Заглобу, то на пана Володыевского; и смотрела на них с детским любопытством, точно на какую-нибудь диковинку.

Пан Володыевский молчал, хотя чувствовал, что ему следовало бы занять разговором панну Дрогоевскую: он не знал, с чего начать. Маленький рыцарь был вообще не очень ловок с женщинами, а теперь к тому же он был еще печален: вид этих двух девушек так живо напомнил ему его дорогую покойницу...

Зато пан Заглоба занимал пани Маковецкую, рассказывая ей о подвигах пана Михала и о своих собственных. В середине ужина он начал рассказ о том, как некогда они с княжной Курцевич и с Жендзяном спасались от целого чамбула татар и как, наконец, чтобы спасти княжну и остановить погоню, они вдвоем с Володыевским бросились на весь чамбул.

Панна Езерковская даже есть перестала; опершись подбородком на руку, она слушала внимательно, ежеминутно встряхивая своими волосами, моргая глазами и щелкая пальцами от нетерпения в самых интересных местах, и повторяла:

– Ага! Ага! Ну, и что? Ну, и что?

А когда Заглоба дошел до того места, как драгуны Кушеля неожиданно подоспели к ним на помощь и разбили татар, бросившись за ними в погоню, и продолжали рубить их на протяжении полумили, панна Езерковская не могла уже удержаться и, изо всех сил захлопав в ладоши, воскликнула:

– А чтоб его! Вот бы мне там быть...

– Баська, – остановила ее толстая пани Маковецкая, – ты приехала к воспитанным людям, отучись ты от своего «А чтоб его!». Только того недостает, чтобы ты крикнула: «А чтоб меня разорвало!»

Девушка засмеялась своим свежим, звучным, серебристым смехом и, вдруг ударив руками по коленям, воскликнула:

– А, чтоб меня разорвало, тетушка!

– О, Господи! Уши вянут! Извинись перед всем обществом, – сказала Маковецкая.

Тогда Баська, желая начать извинение с пани Маковецкой, быстро вскочила с места, уронив при этом нож и ложку, и юркнула вслед за ними под стол.

Толстушка Маковецкая не могла больше удержаться от смеха. Смеялась она странно: сначала тряслась всем телом, а потом начинала пищать тоненьким голоском. Все развеселились. Заглоба был в восторге.

– Ну, смотрите, что мне делать с этой девочкой! – повторяла, трясясь от смеха, пани Маковецкая.

– Просто – прелесть! Ей-богу! – говорил Заглоба.

Между тем панна Бася вылезла из-под стола; она нашла ложку и нож, но потеряла сетку с головы; волосы совсем упали ей на глаза. Выпрямившись и шевельнув ноздрями, она сказала:

– Ага! Вы над моим конфузом смеетесь? Ладно!

– Никто не смеется! – сказал тоном убеждения Заглоба. – Никто и не думает смеяться. Мы только довольны, что в лице ваць-панна Бог послал нам радость!

После ужина все перешли в гостиную. Панна Дрогоевская, увидав висевшую на стене лютню, начала перебирать струны. Володыевский попросил ее спеть что-нибудь, на что она просто и ласково согласилась.

– Я готова, если только смогу хоть немножко рассеять вашу грусть.

– Благодарю вас, – ответил маленький рыцарь, поднимая на нее с благодарностью глаза.

Вскоре раздалось пение:

Рыцари, верьте,
В поле от смерти
Латы стальные спасают...
Но и без крови
Стрелы любви
Сердце сквозь латы пронзают...

– Уж я и не знаю, как мне благодарить вас, пани, – говорил Заглоба, сидя поодаль с пани Маковецкой и целуя ее руки, – что вы и сами приехали, и привезли с собой таких красавиц, что они и граций за пояс заткнут. Особенно по сердцу мне вот этот гайдучок; такая шельмовочка какую хотите печаль разгонит, что кошка – мышей. Ибо что есть печаль, как не мыши, которые грызут зерна веселья, сложенные в наших сердцах? Надо вам знать, пани, что наш прежний король Joannes Casimirus так любил мои сравнения, что ни одного дня не мог без них обойтись. Я должен был составлять для него пословицы и мудрые изречения – он приказывал их читать ему на сон грядущий и согласно с ними вел свою политику. Но это другой вопрос. Я уверен, что в столь приятном обществе Михал окончательно забудет свое несчастье. Вы не знаете, пани, что только неделю тому назад я вырвал его из монастыря камедулов, где он уже собирался произнести обет. Но я снискал покровительство нунция, который заявил настоятелю, что если Михала сейчас же не выпустят, то он

всех монахов отдаст в драгуны. Ему там нечего делать! Слава богу! Слава богу! Я знаю его! Не сегодня, так завтра которая-нибудь из этих двух высечет такие искры, что сердце его вспыхнет от них, как трут. Между тем панна Дрогоевская продолжала петь:

...Стрелы любви

Сердце сквозь латы пронзают...

– Женщины так же боятся этих стрел, как собака сала, – шепнул Заглоба пани Маковецкой. – Но сознайтесь, ваць-пани, что вы не без некоей скрытой цели привезли сюда этих синичек? И что за девушки! Особенно этот гайдучок. Ей-богу! Хитрая сестричка у пана Михала, не правда ли?

Пани Маковецкая действительно сделала очень хитрую мину, которая совсем не шла к ее открытому простодушному лицу, и сказала:

– Разное в голову приходило. У нас, женщин, нет недостатка в проницательности... Муж мой приедет на выборы, а я с девушками приехала раньше; того и гляди, к нам татары пожалуют. А если бы из всего этого вышло что-нибудь хорошее для Михала, то я дала бы обет пешком на богомолье отправиться.

– Выйдет, выйдет! – сказал Заглоба.

– Обе девушки знатного рода и обе богаты, а это в нынешнее тяжелое время что-нибудь да значит.

– Не мне это говорить! Состояние Михала война съела, но я знаю, что у него есть деньги, отданные под расписку разным знатым панам. Не раз брали мы с ним богатую добычу, мосци-пани, и хотя все это поступало в распоряжение гетмана, все же часть шла в дележку, как это у нас говорится по-солдатски: «на саблю». На долю Михала приходилось не раз так много, что если бы он сберег все, то у него было бы прекрасное состояние. Но ведь солдат о завтрашнем дне не думает, а гуляет, коли есть деньги. Михал спустил бы все, если бы я его не удерживал. Вы говорите, что эти девушки знатного рода?

– В Дрогоевской сенаторская кровь. Конечно, наши пограничные каштеляны не то что краковские, есть и такие, про которых в Речи Посполитой никто не слышал; но все же раз кто занял сенаторское место, то блеск сего звания он передает и потомству. Что же касается родственных связей, то Езерковская еще знатнее Дрогоевской.

– Скажите пожалуйста! Я сам происхожу от некоего короля масагетов, а потому люблю слушать о происхождении других.

– Ну, у Езерковских столь высоких предков нет, но если вам угодно послушать... мы ведь в наших краях по пальцам можем перечислить родословную каждого дома... Так вот, она родственница и Потоцких, и Язловецких, и Лащей. Было это вот как.

Тут пани Маковецкая расправила складки своего платья, уселась поудобнее, чтобы ничто не могло помешать излюбленному рассказу. Она расставила пальцы на одной руке и приготовила указательный палец другой для пересчитывания дедушек и бабушек, затем начала:

– Дочь пана Якова Потоцкого, Елизавета, от второй его жены Язловецкой, вышла за пана Яна Сметанко, хорунжего подольского.

- Усвоил!
- От этого брака родился пан Миколай Сметанко, тоже хорунжий подольский.
- Гм... Прекрасное звание!
- Он был женат первый раз на Дорогостай... нет, на Рожинской... нет, на Воронич... А чтоб ее! Забыла.
- Царство ей небесное, как бы там ее ни звали! – сказал серьезно Заглоба.
- А второй раз он женился на панне Лащ.
- Я так и знал! Ну, и каковы же были последствия этого брака?
- Сыновья их перемерли...
- Никакая радость не долговечна на этом свете...
- А из четырех дочерей самая младшая, Анна, вышла за Езерковского, герба Равич, комиссара по разграничению Подолии; если не ошибаюсь, он был потом мечником подольским.
- Был, помню! – с уверенностью подхватил Заглоба.
- От этого брака, видите ли, родилась Бася.
- Вижу, как вижу и то, что она сейчас целится в окно из кетлингского мушкета.

И действительно, панна Дрогоевская и маленький рыцарь были заняты беседой, а панна Бася развлекалась прицеливанием из мушкета. Увидев это, пани Маковецкая затряслась и запищала:

- Вы представить себе не можете, сколько мне хлопот с этой девушкой! Настоящий гайдамак!
- Если бы все гайдамаки были такие, я бы сейчас же к ним пристал...
- У нее на уме только оружие, лошади и война. Однажды вырвалась она из дому с ружьем на охоту за утками. Залезла куда-то в камыши, смотрит: тростник раздвигается, и что же она видит? Голову татарина, который камышами пробирался к деревне... Другая бы испугалась, а эта, бедовая, трах из ружья – татарин бултых в воду. Представьте себе: на месте! И чем? Утиной дробью!..

Тут пани Маковецкая затряслась и захихикала над приключением с татаринком, а потом прибавила:

- И правду говоря, она спасла нас всех, так как шел целый чамбул. Вернувшись домой, она подняла тревогу, и мы с челядью успели спрятаться в лес. У нас так постоянно!

Лицо Заглобы выражало такой восторг, что он даже прищурил глаз на минуту, потом, вскочив с места, подбежал к девушке и, прежде чем она успела опомниться,

поцеловал ее в лоб.

– Это от старого солдата за того татарина в камышах! – сказал он.

Девушка тряхнула своими светлыми волосами.

– А что? Задала я ему перцу?! – воскликнула она своим свежим детским голосом, который так не соответствовал смыслу ее слов.

– Ах ты, мой гайдучок дорогой! – сказал растроганный Заглоба.

– Ну что там один татарин! Вы их целыми тысячами рубили – и шведов, и немцев, и венгров. Что я в сравнении с вами, – таких рыцарей, как вы, нет во всей Речи Посполитой! Я это прекрасно знаю.

– Если ты такой воин, так мы тебя подучим работать саблей. Я уж тяжеловат стал, но ведь и пан Михал мастер.

В ответ на это предложение девушка подпрыгнула от радости, затем поцеловала пана Заглобу в плечо и, сделав реверанс маленькому рыцарю, сказала:

– Благодарю за обещание! Я уже немножко умею!

Но Володыевский был всецело занят разговором с Кшисей Дрогоевской и ответил рассеянно:

– Все, что только прикажете, ваць-панна!

Заглоба с сияющим лицом опять присел к пани Маковецкой.

– Благодетельница моя! Я знаю: уж на что хороши турецкие лакомства (я долго в Стамбуле пробыл), но знаю и то, что до них есть много охотников. Как же могло случиться, что не нашлось охотников и до этой девушки?

– Господи! В женихах недостатка не было у обеих. А Баську мы в шутку называем вдовой трех мужей, ибо за нею ухаживали сразу три достойных кавалера: пан Свирский, пан Кондрацкий и пан Цвилиховский. Все трое – шляхтичи и помещики; я могу изложить вам и их родословную.

Сказав это, пани Маковецкая опять расставила пальцы левой руки, оттопырила указательный правой, но пан Заглоба успел спросить:

– Что же с ними случилось?

– Все трое сложили голову на войне, потому мы и называем Баську вдовой.

– Гм... А она это перенесла?

– Видите ли, у нас это дело обыкновенное, и редкий человек умирает естественной смертью, дожив до старости. У нас даже говорят, что шляхтичу и не подобает умирать иначе, как на поле брани. Как Бася перенесла? Поревела немного, бедняжка, и все пряталась на конюшню: у нее как только горе – сейчас на конюшню! Пошла я раз за ней и спрашиваю: «Ты по ком из них плачешь?» А она отвечает: «По всем по трем». Из этого ответа я сейчас же поняла, что ни один из них ей

особенно не нравился... И думаю, что до сих пор голова ее не тем занята и воли Божьей она еще не чувствует. Кшися скорее, а Бася еще как будто не чувствует.

– Почует! – сказал Заглоба. – Мы с вами это лучше всего понимаем! Почует! Почует!

– Таково уж наше назначение! – ответила пани Маковецкая.

– Верно! Я только что хотел это сказать.

Но подошла молодежь и прервала их разговор.

Маленький рыцарь уже совсем освоился с Кшисей, а она, очевидно, по доброте души, утешала его и занималась Володыевским, как лекарь занимается больным. И быть может, поэтому выказывала она ему больше расположения, чем это позволяло такое короткое знакомство. Но пан Михал был братом пани Маковецкой, а панна – племянницей ее мужа, и потому это никого не удивляло. Зато Бася осталась как-то в стороне, и только пан Заглоба все время обращался к ней. Впрочем, ей это, по-видимому, было все равно, интересуются ею или нет. Сначала она с удивлением глядела на обоих рыцарей, но с таким же удивлением смотрела она и на прекрасное оружие Кетлинга, развешанное на стенах. Потом она стала позевывать, потом глаза ее стали слипаться, и, наконец, она сказала:

– Как завалюсь спать, так проснусь разве лишь послезавтра!

После этих слов все тотчас же разошлись: дамы были очень утомлены с дороги и только ждали, когда им постелят постели. Когда же, наконец, пан Заглоба остался наедине с Володыевским, он сначала стал многозначительно подмигивать, а потом слегка колотить маленького рыцаря по спине.

– Михал! Ну что, Михал? Настоящие репки? А? Монахом сделаешься? А та лесная ягодка, Дрогоевская, хороша? А розовенький гайдучок, ух! Ну что, Михал?

– Да что, – ничего! – отвечал маленький рыцарь.

– Особенно мне понравился этот гайдучок. Скажу тебе, что, когда я за ужином сидел с ней рядом, мне так жарко было, точно у печки.

– Она еще постреленок... Та, другая, степеннее.

– Дрогоевская – венгерская слива, настоящая венгерская слива! Но та – орешек! Ей-богу! Будь у меня зубы... то есть, я хотел сказать, будь у меня такая дочь... я бы тебе одному ее отдал! Миндалинка! Говорю тебе, миндалинка!

Володыевский вдруг стал грустен: ему припомнились прозвища, которые пан Заглоба давал когда-то Анусе Божобогатой. Она встала перед ним, как живая; ее маленькое личико, ее темные косы, ее веселость, ее щебетание, ее взгляды. Эти две были моложе, но та ведь была во сто раз дороже всех самых молоденьких.

Маленький рыцарь закрыл лицо руками, и тоска охватила его с тем большею силой, что она была неожиданна.

Заглоба удивился; молча и с беспокойством смотрел он некоторое время на пана Михала, потом сказал:

– Михал, что с тобой? Скажи хоть слово, ради бога!

Володыевский сказал:

– Так их много, столько их ходит по свету, и только моего ягнечка уж нет, только ее одной я уже больше никогда не увижу...

Боль сдавила ему горло, он опустил голову на край стола, сжал губы и прошептал:

– Боже! Боже! Боже!

VII

Панна Бася все-таки подкараулила Володыевского и заставила его учить ее фехтованию. Он ей не отказал, ибо хотя по-прежнему предпочитал Дрогоевскую, но любил и Басю, да, впрочем, трудно было ее не полюбить. Первый урок был как-то утром. Бася хвасталась и уверяла, что она владеет уже фехтовальным искусством очень недурно и что немногие смогут устоять против нее.

– Меня учили старые солдаты, – говорила она, – а у нас в них нет недостатка. А ведь всем известно, что нет лучше наших рубак... Еще вопрос, не найдете ли вы там равных себе?

– Что вы говорите, ваць-панна, – сказал Заглоба, – в целом свете нам равных нет.

– Хотела бы я, чтобы оказалось, что и я равная! Не надеюсь, но хотела бы!

– В стрельбе из пистолета и я бы попробовала состязаться! – сказала, смеясь, пани Маковецкая.

– Ей-богу, в Летичеве, должно быть, одни амазонки живут! – сказал Заглоба. И обратился к Дрогоевской: – А вы, ваць-панна, каким оружием лучше всего владеете?

– Никаким, – отвечала Кшися.

– Ага! Никаким?! – воскликнула Баська и, передразнивая Кшисю, запела:

Рыцари, верьте,
В поле от смерти
Латы стальные спасают...
Но и без крови
Стрелы любви

Сердце сквозь латы пронзают...

– Вот каким оружием она владеет. Не бойтесь! – прибавила она, обращаясь к Володыевскому и к Заглобе. – Она тоже стрелок не последний.

– Выходите, ваць-панна! – сказал пан Михал, желая скрыть свое смущение.

– О, Господи! Если бы оказалось так, как я думаю! – воскликнула Бася, краснея от радости.

И сейчас же стала в позицию: держа в правой руке легкую польскую сабельку, левую она заложила за спину; с выдвинутой головой, она в эту минуту была так хороша, что Заглоба шепнул пани Маковецкой:

– Никакая бутылка, пусть даже столетнего венгерского, не обрадовала бы меня своим видом так, как эта девушка!

– Заметьте, – сказал Володыевский, – я буду только защищаться и ни разу не ударю, а вы нападайте сколько душе угодно.

– Хорошо! Когда вы захотите, чтобы я перестала, скажите только слово!

– Я бы и так мог кончить, если бы только захотел...

– Как же так?

– У такого фехтовальщика, как вы, я легко мог бы вышибить саблю из рук.

– Увидим!

– Не увидим, ибо я этого не сделаю из учтивости.

– Никакой учтивости мне не нужно! Сделайте, если сможете! Я знаю, что дерусь хуже вас, но до этого не допущу!

– Итак, вы позволяете?

– Позволяю!

– Да брось ты, гайдучок миленький! – сказал Заглоба. – Он это проделывал с величайшими мастерами.

– Увидим! – повторила Бася.

– Начинайте! – сказал Володыевский, несколько раздраженный хвастовством девушки.

Они начали.

Бася ударила с силой, подпрыгнув, как полевой кузнечик. Володыевский, по своему обыкновению, стоял на месте, делая едва заметные движения саблей и почти не обращая внимания на ее нападение.

– Вы от меня, как от назойливой мухи, отмахиваетесь! – раздраженно крикнула Бася.

– Я ведь с вами не дерусь, а только учу вас, – ответил маленький рыцарь. – Вот так, хорошо! Как для женщины, совсем недурно. Спокойнее рукой!

– Как для женщины? Вот вам за женщину! Вот вам! Вот вам!

Но пан Володыевский, несмотря на то, что Бася пустила в ход все свои излюбленные приемы, был неуязвим. Он еще нарочно заговорил с Заглобой, чтобы показать, как мало обращает внимания на удары Баси.

– Отойдите от окна, а то панне темно; хоть сабля и больше иголки, но все же иголкой панна лучше владеет, чем саблей.

Ноздри Баси еще больше раздулись, а ее волосы совсем упали на ее сверкающие глазки.

– Что же это – пренебрежение? – спросила девушка, тяжело дыша.

– Но не лично к вам. Боже сохрани!

– Я терпеть не могу пана Михала!

– Вот тебе, бакалавр, за науку! – ответил маленький рыцарь. И, обращаясь к Заглобе, сказал:

– Ей-богу, снег идет!

– Вот вам снег, снег, снег! – повторяла Бася, наступая.

– Баська, довольно! Ты уже еле дышишь, – сказала пани Маковецкая.

– Ну, держите саблю крепче, а то выбью! – сказал Володыевский.

– Увидим.

– А вот!

И сабелька, выпорхнув, как птичка, из руки Баси, со звоном упала около печки.

– Это я сама! Нечаянно! Это не вы!.. – воскликнула Бася со слезами в голосе; и, мигом подняв саблю, стала снова наступать.

– Попробуйте-ка теперь!..

– А вот! – повторил пан Михал.

И сабелька опять очутилась у печки.

– На сегодня довольно, – сказал пан Михал.

Пани Маковецкая затряслась и запищала еще больше обыкновенного. Бася стояла среди комнаты, смущенная, ошеломленная, тяжело дыша и кусая губы, чтобы сдержать слезы, которые упорно подступали к глазам: она знала, что, если она заплачет, над нею еще больше будут смеяться, и во что бы то ни стало старалась удержаться от слез, но видя, что ей это не удастся, она вдруг выбежала из комнаты.

– Господи! – воскликнула пани Маковецкая. – Она, верно, на конюшню убежала, а разгорячилась так, что, пожалуй, простудится! Надо идти за нею! Кшися, не ходи!

Сказав это, она схватила шубку и побежала в сени, за нею побежал Заглоба, беспокоясь за своего гайдучка. Хотела бежать и Дрогоевская, но маленький рыцарь схватил ее за руку.

– Вы слышали приказание? Я не выпущу этой ручки, пока они не вернутся.

И действительно не выпускал. А ручка была мягкая, как атлас. Пану Михалу казалось, что какая-то теплая влага переливается из этих тонких пальчиков в его

кости и вызывает во всем теле сладкую истому; и он сжимал эту руку все крепче.

Смуглые щеки Кхиси покрылись легким румянцем.

– Видно, я пленница, взятая в неволю! – сказала она.

– Кому досталась бы такая пленница, тот бы и султану мог не завидовать; да и сам султан за такую добычу отдал бы полцарства.

– Но вы бы меня басурманам не продали?

– Как и души дьяволу, не продал бы!

Тут пан Михал спохватился, что в этом минутном увлечении он зашел слишком далеко, и прибавил:

– Как не продал бы и сестры!

Дрогоевская на это ответила серьезно:

– Вот это вы хорошо сказали. По чувству я сестра пани Маковецкой, буду и вам сестрой.

– От всего сердца благодарю! – сказал пан Михал, целуя ее руку. – Я очень нуждаюсь в утешении.

– Знаю, знаю, – сказала девушка, – я тоже сирота!

Тут слезинка скатилась у нее с ресниц и упала на пушок, покрывавший верхнюю губу.

А Володыевский глядел на слезинку, на губы, слегка оттененные пушком, и, наконец, сказал:

– Вы добры, как ангел. Мне уже легче!

Кхиса ласково улыбалась.

– Дай вам Бог!

Маленький рыцарь чувствовал, что если бы он еще раз поцеловал ее руку, то ему стало бы еще легче; но как раз в эту самую минуту вошла пани Маковецкая.

– Баська шубку взяла, но она так сконфужена, что ни за что не хочет идти. Пан Заглоба бежит за ней по всей конюшне.

И, действительно, Заглоба, не жалея ни утешений, ни убеждений, не только гонялся за ней по всей конюшне, но даже заставил ее бежать во двор, в надежде, что она скорее вернется в теплую комнату.

А она убежала от него, повторяя: «Вот и не пойду! Пускай простужусь, а не пойду!» Наконец, увидав около дома столб с перекладинами, а на нем лестницу, она вскарабкалась как белка, вскочила на лестницу и остановилась только на крыше. Усевшись там, она, уже смеясь, сказала Заглобе:

– Хорошо, пойду, если вы влезете сюда за мной.

– Да разве я кот, чтобы за тобой по крышам лазить, гайдучок? Так-то ты мне платишь за мою любовь?

– И я вас люблю, да с крыши!

– Дед свое, а баба свое. Слезть мне сейчас же!

– Не слезу!

– Смешно, ей-богу! Так принимать к сердцу конфуз. Ведь не одной тебе, сорванец, самому Кмицицу, который считался мастером, каких мало, Володыевский сделал то же самое, и не в шутку, а в поединке. Самые знаменитые итальянские, немецкие и шведские фехтовальщики не могли против него устоять дольше минуты, а тут такой жук, как ты, принимает это к сердцу. Фи, стыдно! Слезай, слезай! Ведь ты только учишься!

– А пана Михала я ненавижу.

– Бог с тобой! За то, что он искусен в том, чему ты сама хочешь учиться? Ты должна его тем более любить!

Пан Заглоба не ошибался. Бася, несмотря на свою неудачу, стала еще больше преклоняться перед маленьким рыцарем, но ответила:

– Пускай Кшися его любит.

– Слезай, слезай!

– Не слезу!

– Хорошо, сиди; скажу тебе только, что молодой девице неприлично сидеть на лестнице. Ведь снизу-то для всех – прекрасное зрелище!

– Неправда, – сказала Бася, оправляя руками юбку.

– Я – старик, глядеть не стану, но вот сейчас позову сюда других.

– Слезая! – воскликнула Бася.

Тут Заглоба повернулся в сторону дома.

– Ей-богу, кто-то идет! – сказал он.

И, действительно, из-за угла показался молодой пан Нововейский, который приехал верхом, привязал лошадь около боковых ворот, а сам обошел кругом дома, чтобы пройти парадным ходом.

Бася, увидав его, в два прыжка очутилась на земле. Но было уже поздно. Пан Нововейский видел, как она прыгала с лестницы. Он смутился, изумился и покраснел, как девушка. Бася была смущена не менее его. И, наконец, воскликнула:

– Второй конфуз!

Пан Заглоба, очень довольный, подмигивал своим здоровым глазом и, наконец, сказал:

– Пан Нововейский, приятель и подчиненный пана Михала, а это панна Лестницовская... Тьфу... Я хотел сказать: Езерковская.

Нововейский скоро пришел в себя, а так как он был находчив, хоть и молод, то поклонился и, подняв глаза на чудное видение, сказал:

– Господи! В саду Кетлинга розы на снегу цветут!

А Бася, присев, пробормотала: «Только не для твоего носа!» Потом прибавила любезно:

– Пожалуйте в комнаты!

И побежала вперед и, влетев в комнату, где сидел пан Михал и дамы, она объявила во всеуслышание, намекая на красный кунтуш пана Нововейского:

– Снегирь прилетел!

Потом уселась, сложила руки, сложила губки бантиком, как подобает скромной и благовоспитанной панне.

Пан Михал представил сестре и Кшисе Дрогоевской молодого приятеля, а он, увидав еще одну панну, хотя и в другом роде, но тоже красавицу, смутился опять; но скрыл свое смущение поклоном и, чтобы приободриться, протянул руку к усам, которых у него еще не было. Потом, обратившись к Володыевскому, он рассказал ему о цели своего приезда. Пан гетман великий очень желал видеть маленького рыцаря. Насколько Нововейский догадывался, дело касалось какого-то военного предприятия: гетман получил несколько писем от пана Вильчковского, от пана Сильницкого, от полковника Пива и от других комендантов, рассеянных по всей Украине и Подолии. В письмах сообщалось о крымских событиях, которые не предвещали ничего хорошего.

– Сам хан и султан Галга, который заключил с нами подгаецкий мирный трактат, – продолжал Нововейский, – хотят поддерживать мир; но Буджак шумит, как роящийся улей; Белгородская орда тоже. Они не хотят слушаться ни хана, ни султана Галги.

– Мне уже сообщал об этом пан Собеский и спрашивал у меня совета, – сказал Заглоба. – Ну а что там теперь толкуют о весне?

– Говорят, с первой же травой опять нахлынет эта татарская саранча, которую опять придется давить! – ответил пан Нововейский. И сделал такую грозную мину, так усердно стал покручивать несуществующие усы, что у него даже покраснела верхняя губа.

Бася сейчас же это заметила, откинулась немного назад, чтобы ее не видал пан Нововейский, и, подражая молодому кавалеру, тоже начала покручивать усы. Пани Маковецкая останавливала ее взглядом, но в то же время вся затряслась от сдерживаемого смеха. Пан Михал кусал губы, а Дрогоевская опустила глаза так, что ее длинные ресницы бросали тень на лицо.

– Хотя вы еще и молодой человек, ваць-пане, но опытный солдат! – сказал Заглоба.

– Мне двадцать два года, и семь из них я служу отчизне, ибо пятнадцати лет я убежал из школы, – ответил юноша.

– Он и со степью знаком, и в траве ходить умеет, и нападать на ордынцев, как ястреб на куликов, – прибавил Володыевский. – Загонщик хоть куда! От него татарин в степи не скроется!

Пан Нововейский покраснел от удовольствия, что его похвалил такой славный рыцарь в присутствии дам.

Это был не только степной ястреб, но и красивый малый, смуглый, загорелый от ветров. На лице у него был рубец от уха до носа. Глаза у него были зоркие, привыкшие смотреть вдаль; над ними черные, густые, сросшиеся посередине, наподобие татарского лука, брови. На бритой голове поднимался черный взъерошенный чуб. Басе он понравился и разговором, и осанкой, а все же она не переставала его передразнивать.

– Приятно видеть старикам, как я, что растет достойное нас молодое поколение!

– Нет. Еще не достойное! – ответил Нововейский.

– Хвалю за скромность! Того и гляди, что вам скоро поручат команду над небольшим отрядом.

– Как же! – воскликнул пан Михал. – Он уже командовал отрядом и на собственную руку громил неприятеля.

Пан Нововейский стал так сильно крутить усы, что чуть не оторвал себе губы.

А Бася, не спуская с него глаз, подняла обе руки к лицу и подражала ему во всем.

Но догадливый воин вскоре заметил, что глаза всех присутствующих направлены куда-то в сторону, в том направлении, где несколько позади его сидела панна, которую он видел спрыгивавшей с лестницы, и он сейчас же догадался, что она что-то против него затевает.

И как будто ничего не замечая, он продолжал разговаривать и по-прежнему покручивал усы; наконец, улучив минуту, он вдруг обернулся, и так быстро, что Бася не успела ни отвернуться, ни отнять рук от лица.

Она страшно покраснела и, не зная, что ей делать, встала с кресла. Все тоже смешались, и наступила минута молчания.

Вдруг Бася всплеснула руками и крикнула своим серебристым голоском:

– Третий конфуз!

– Мосци-панна, – сказал Нововейский, – я сейчас же заметил, что там за мной что-то неладно... Признаюсь, по усам я тоскую, но если я их не дождусь, то только потому, что раньше сложу голову за отчизну, а в таком случае я надеюсь, что скорее заслужу у вас сожаление, чем насмешку.

Бася стояла, опустив глаза: искренние слова молодого человека пристыдили ее еще больше.

– Вы должны простить ее, – сказал Заглоба, – молодо-зелено, но сердце у нее золотое!

А она, как бы подтверждая слова пана Заглобы, шепнула тихонько:

– Извините, ваць-пане! Очень прошу!

В эту самую минуту пан Нововейский схватил ее руки и начал целовать их.

– Ради бога! Не принимайте этого к сердцу! Ведь я не варвар какой-нибудь! Мне нужно просить у вас прощения, что посмел помешать вашей забаве. Мы, военные, сами любим шутки. Mea culpa! [10] Еще раз поцелую эти ручки, и если мне придется целовать их до тех пор, пока вы мне не простите, то, пожалуйста, не прощайте хоть до вечера.

– О, какой вежливый кавалер! Видишь, Бася? – сказала пани Маковецкая.

– Вижу! – ответила Бася.

– Ну, вот и хорошо! – воскликнул Нововейский.

Сказав это, он выпрямился и по привычке протянул руку к усам. Но сейчас же спохватился и чистосердечно расхохотался. За ним засмеялась и Бася, за Басей другие. Всем стало весело. Заглоба велел сейчас же принести из погреба Кетлинга пару бутылочек, и всем стало еще веселее. Пан Нововейский, постукивая шпорами, ероша пальцами волосы, все чаще устремлял на Басю свой огненный взор. Бася ему очень понравилась. Он стал необыкновенно разговорчив, а так как, состоя при гетмане, он вращался в большом свете, то ему было о чем рассказывать.

Он говорил о конвокационном сейме, о его окончании, и о том, как в сенате, к великому удовольствию всех присутствующих, провалилась печка под натиском любопытных. Он уехал только после обеда. Его глаза и сердце были полны Басей.

VIII

В тот же день маленький рыцарь отправился к гетману, который сейчас же велел его впустить и сказал:

– Мне надо Рушица в Крым послать, чтобы он присмотрел, что там затевают, и убедил хана блюсти мирный договор. Хочешь опять поступить на службу и принять вместо него команду? Ты, Вильчковский, Сильницкий и Пиво будете наблюдать за Дорошем и за татарами, которым никогда нельзя доверять.

Пан Володыевский опечалился. Ведь лучшие свои годы он провел на службе. Целые десятки лет он не знал покоя; жил всегда в огне, в дыму, в трудах, проводя бессонные ночи, голодая, живя без крыши над головой, без вязанки соломы под голову... Бог знает, чьей только крови не пролила его сабля. Менее заслуженные, чем он, живут себе по-пански, занимают высокие должности, достигли почестей, награждены староствами. Когда он начал служить, он был богаче, чем теперь. И все же им снова хотят выметать врагов, как старой метлой. И душа его разрывалась на части – только лишь нашлись дружеские, нежные руки, которые стали залечивать его раны, а его уже усылают в пустынные, далекие окраины Речи Посполитой, не обращая

внимания на то, что он очень измучен душой. Ведь если бы не служба, он мог бы хоть два года насладиться счастьем со своей Анусей.

Когда он подумал обо всем этом теперь, безмерная горечь наполнила его сердце; но отказываться от службы он считал делом, не достойным рыцаря, и потому ответил коротко:

– Поеду!

Но сам гетман сказал:

– Ты не на службе, – можешь отказаться. Ты лучше других знаешь, не слишком ли тебе рано отправляться.

– Мне и умереть уже не слишком рано! – сказал Володыевский.

Пан Собеский прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем и дружески положил ему руку на плечо.

– Если до сих пор не обсохли твои слезы, то знай, что степной ветер высушит их! Всю жизнь ты служил, солдат, послужи и теперь. А если когда-нибудь придет тебе в голову, что тебя забыли, обошли, не наградили, не дали отдохнуть, что вместо куска мяса тебе дали корку сухого хлеба, вместо старости – раны, вместо отдыха – мучения, ты только стисни зубы и скажи: «Тебе, отчизна!» Другого утешения я тебе не дам, потому что у меня у самого его нет; но хотя я и не ксендз, я могу тебя уверить, что, служа так, ты дальше уедешь на своем потертом седле, чем другие в каретах шестернею, и что будут такие ворота, которые перед тобою откроются, а перед другими закроются.

– Тебе, отчизна! – подумал Володыевский, удивляясь при этом, как гетман мог так быстро разгадать его мысли.

А пан Собеский сел против него и продолжал:

– Я хочу говорить с тобою не как с подчиненным, но как с другом, как отец с сыном! Еще тогда, когда мы рубились с тобой при Подгайцах, и раньше, на Украине, когда мы едва могли осилить неприятеля, а тут, в самом сердце отчизны, злые люди, чувствуя себя в безопасности, у нас за спиной, своевольничали, заботились о личных выгодах, – мне не раз приходило в голову, что Речь Посполитая должна погибнуть. Слишком здесь своеволие господствует над порядком, слишком частные выгоды господствуют над общественным благом. Нигде ничего подобного нет! О! Как эти мысли мучили меня! И днем – в поле, и ночью – в шатре я думал: «Мы, солдаты, гибнем... Хорошо... Это наш долг, наша судьба... Но пусть бы мы знали хоть то, что с нашей кровью, которая течет из наших ран, вытекает и спасение для отчизны». Нет, и этого утешения не было! Ох! Тяжелые дни переживал я под Подгайцами, хотя с вами всегда старался казаться веселым, чтобы вы не подумали, будто я отчаиваюсь в победе. «Нет людей! – думал я. – Людей нет, которые бы искренне любили свою отчизну!» И точно мне вонзили нож в сердце! Однажды (это было в последний день в подгаецком лагере), когда я послал две тысячи ваших в атаку против двадцати шести тысяч татар, и вы отправились на верную смерть, на убой, с такой охотой, с таким радостным криком, точно на свадьбу, – мне вдруг пришло в голову: «А эти мои солдаты?» И Бог в одну минуту снял камень с моего сердца, и все мне стало ясно: «Те, – думал я, – гибнут там из искренней любви к отчизне; они не примкнут к заговорщикам, не примкнут к изменникам; из них я создам святое братство,

создам школу, в которой будет учиться молодое поколение. Их пример, их общество окажет влияние: пример этот возродит несчастный народ – и народ забудет своеволие, забудет личные интересы и встанет, как лев, чувствующий великую силу в своих членах... И удивит весь свет! Такое братство я создам из моих солдат».

И лицо пана Собеского разгорелось, он поднял кверху голову, напоминавшую голову римского цезаря, и, протянув руки, воскликнул:

– Господи! Не пиши на стенах наших мане, текел, фарес[11] и позволь мне возродить мою отчизну!

Наступило минутное молчание.

Маленький рыцарь сидел, опустив голову, и чувствовал, что он начинает дрожать всем телом.

Гетман некоторое время ходил быстрыми шагами по комнате, потом остановился перед маленьким рыцарем.

– Примеры нужны, – сказал он, – примеры ежедневные, которые бросались бы в глаза! Володыевский, я тебя зачислил в первые ряды нашего братства. Хочешь ты принадлежать к нему?

Маленький рыцарь встал и, обняв колени гетмана, сказал взволнованным голосом:

– Вот! Услышав, что мне опять надо ехать, я подумал, что меня обижают, что мне надо дать отдых ради моего горя, а теперь я вижу, что согрешил, и... каюсь за такие мысли, и говорить не могу, ибо стыдно мне...

Гетман молча прижал его к груди.

– Нас – горсточка, – сказал он, – но другие последуют нашему примеру!

– Когда ехать? – спросил маленький рыцарь. – Я бы и в Крым мог отправиться: я там уже бывал!

– Нет, – сказал гетман. – В Крым я пошлю Руцица. У него там есть побратимы и даже однофамильцы, говорят, даже двоюродные братья, которые детьми были захвачены ордой, они обасурманились и дошли до высоких должностей у басурман. Они ему будут во всем помогать; а ты мне нужен в поле, ибо нет тебе равного загонщика.

– Когда мне ехать? – снова спросил маленький рыцарь.

– Не позже, как через две недели. Мне надо еще переговорить с паном коронным подканцлером и с паном подскарбием, написать письма Руцицу и дать ему инструкции. Но дело спешное, будь готов!

– С завтрашнего дня я буду готов.

– Да вознаградит тебя Бог за добрые желания, но так скоро не надо. Поедешь ты ненадолго, если только не будет войны, ты мне понадобишься в Варшаве во время выборов. Слышал о кандидатах? Что говорит о них шляхта?

– Я недавно покинул монастырь, а там не о мирских делах думают. Я знаю только то, что мне говорил пан Заглоба.

– Правда! Я могу от него все разузнать. Он пользуется среди шляхты большим влиянием. А ты за кого подашь голос?

– Сам еще не знаю, но думаю, что нам нужен король из военных.

– Да, да! И я уже наметил такого. Одно имя его ужасает соседей-врагов; нам нужен человек военный, как был Стефан Баторий. Ну, будь здоров, солдатик... Нам нужен военный... Повторяй это всем... Будь здоров. Да наградит тебя Бог за готовность...

Пан Михал простился и ушел.

По дороге он все раздумывал. Бедняга был рад, что у него впереди еще неделя или две; ему была приятна та дружба и то утешение, которое ему давала Кшися Дрогоевская. Его радовало и то, что он вернется к выборам, и он возвращался домой уже без горечи в сердце. Да и степи имели для него некоторую прелесть, и он, хотя и бессознательно, по ним тосковал. Он слишком привык к этим беспредельным пространствам, где воин чувствует себя скорее птицей, чем человеком.

– Ну что ж, поеду в эти бескрайние поля, к станицам, курганам, опять заживу прежней жизнью, буду ходить в походы, как журавль охранять границы; весной в траве рыскать... Ну, да, поеду, поеду!

Он пришпорил лошадь и помчался вскачь, ибо давно соскучился по быстрой езде, по свисту ветра в ушах... День был ясный, сухой, морозный. Снег подмерз и скрипел под ногами лошади. Снежные комья вылетали из-под ее копыт. Пан Володыевский летел так, что слуга остался далеко позади, так как лошадь у него была хуже.

Солнце садилось; на небе горела вечерняя заря, бросая на снежное пространство фиолетовый отблеск. На алеющем небе загорелись первые мерцающие звезды и взошел серебряный серп месяца. Дорога была пуста, рыцарь лишь изредка встречал какую-нибудь телегу и пролетал мимо. И только завидев вдали дом Кетлинга, он тотчас задержал лошадь, чтобы дать возможность слуге догнать его.

Вдруг он увидел впереди какую-то стройную фигуру, которая шла к нему навстречу.

Это была Кшися Дрогоевская.

Узнав ее, пан Михал тотчас соскочил с коня, передал его слуге и, слегка удивленный, но еще более обрадованный, побежал к ней навстречу.

– Солдаты говорят, – начал он, – что на заре можно встретиться со сверхъестественными существами, и встреча эта иной раз к добру, иной раз к худу; но для меня лучшей встречи, чем встреча с вами, быть не может.

– Приехал пан Нововойский, – ответила Кшися, – он сидит с Басей и пани Маковецкой, а я беспокоилась, что сказал вам гетман, и нарочно вышла к вам навстречу.

Искренность этих слов тронула маленького рыцаря.

– Неужели вы так обо мне беспокоитесь? – спросил он, подняв на нее глаза.

– Да, – ответила Кшися, понизив голос.

Володыевский не спускал с нее глаз, и никогда еще она не казалась ему такой красивой, как теперь, при этом лунном освещении. На голове у нее был надет атласный капор, белый лебяжий пух его нежно оттенял ее маленькое, бледное личико, залитое лунным светом, ее тонкие брови, ее опущенные глаза, осененные длинными ресницами, и темный, еле заметный пушок над губами. Лицо ее дышало спокойствием и добротой.

Пан Михал почувствовал в эту минуту, что это лицо настоящего друга, которого он любит всей душой.

– Если бы не слуга, который едет за нами, то я от благодарности упал бы к вашим ногам.

– Не говорите таких вещей, ваць-пане, я недостойна их, скажите лучше, что вы останетесь с нами и что я смогу продолжать утешать вас.

– Не остаюсь! – ответил пан Володыевский.

Кшися вдруг остановилась.

– Не может быть!

– Такова уж служба солдата! Я еду на Русь, в Дикие Поля.

– Служба солдата? – повторила Кшися. И вдруг замолчала и быстро пошла к дому. Володыевский слегка смутился и шел следом за нею. На душе у него было тяжело и неприятно; он хотел опять завести разговор, но он не клеился. Между тем ему казалось, что он должен сказать Кшисе тысячи вещей и что сказать это надо именно теперь, пока они одни и пока никто не мешает. «Только бы начать, – подумал он, – а уж дальше само собой пойдет».

И вдруг он совершенно некстати спросил:

– А пан Нововейский давно приехал?

– Нет, недавно, – ответила Дрогоевская.

И разговор опять оборвался.

«Не с того начал, – подумал Володыевский. – Если я так буду начинать, я никогда ничего не скажу. Видно, горе отняло у меня остаток находчивости!»

Некоторое время он шел молча и все быстрее шевелил усиками. Наконец, перед самым домом он остановился и сказал:

– Видите ли, ваць-панна, я столько лет откладывал личное счастье, чтобы служить отчизне, – могу ли я на этот раз не отложить и то утешение, которое вы даете мне?

Володыевскому казалось, что такой простой аргумент должен сразу убедить Кшисю. И

минуту спустя она кротко, но с грустью отвечала:

– Чем ближе вас узнаешь, пан Михал, тем больше вас уважаешь! Сказав это, она вошла в дом. Уже в сенях они услышали крики Баси: «Алла, Алла!» Когда они вошли в гостиную, то увидели пана Нововейского, который бегал по комнате с завязанными глазами, с вытянутыми вперед руками; он старался поймать Басю, а она пряталась по углам и криком «Алла» давала знать, где она. У окна пан Заглоба разговаривал с пани Маковецкой.

Появление Кхиси и рыцаря прервало эту забаву. Нововейский сдернул платок и побежал здороваться. Подошли и пан Заглоба, и пани Маковецкая, и запыхавшаяся Бася.

– Ну что там? Что пан гетман сказал? – спросили все в один голос.

– Сестра, – сказал Володыевский, – если хочешь послать письмо мужу, то у тебя будет случай: я еду на Русь.

– Тебя уже посылают? Ради бога, не ездь! – жалобно воскликнула пани Маковецкая.
– Тебе не дают ни минуты отдыха.

– Ты действительно уже получил назначение? – спросил огорченный Заглоба. – Пани Маковецкая права, говоря, что тобою молотят, как цепом.

– Рушиц едет в Крым, я приму его полк. Пан Нововейский не ошибся, что весной дороги зачернеют.

– Да разве мы одни обязаны охранять Речь Посполитую от разбойников, как цепная собака – дом? – воскликнул Заглоба. – Многие не знают, каким концом стрелять из мушкета, а нам никогда нет отдыха.

– Ну будет! Есть о чем говорить! – отвечал Володыевский. – Служить так служить. Я дал слово гетману, что поеду, а раньше или позже, это решительно все равно...

Тут пан Володыевский приставил палец ко лбу и повторил тот аргумент, который уже сослужил ему службу в разговоре с Кхисей:

– Если я столько лет откладывал мое счастье, чтобы служить Речи Посполитой, могли ли я теперь не отложить того утешения, которое я нахожу в вашем обществе?

На это никто не ответил; одна только Бася надула губки, как капризный ребенок, и сказала:

– Жаль пана Михала! Володыевский весело рассмеялся.

– Да пошлет вам Бог счастья! Но ведь вы еще вчера говорили, что терпеть меня не можете, как какого-нибудь дикого татарина!

– Еще что! Как дикого татарина! Совсем я этого не говорила. Вы там будете татарами тешиться, а нам здесь будет скучно без вас!

– Утешьтесь, гайдучок (простите, что я вас так называю, но это к вам так подходит!). Пан гетман сказал, что я еду ненадолго. Через неделю или через две я вернусь, чтобы к выборам быть в Варшаве. Если гетману так угодно, то так и

будет, если бы даже Рушиц не возвратился еще из Крыма.

– Ну вот и превосходно!

– И я поеду с паном полковником, непременно поеду, – сказал Нововейский, пристально глядя на Басю.

– Таких, как вы, будет немало! Приятно служить под таким начальством. Поезжайте! Поезжайте! Пану Михалу будет веселее, – сказала Бася.

Юноша только вздохнул и провел широкой ладонью по волосам, потом, Расставив руки, чтобы ловить Басю, воскликнул:

– Но сначала поймаю панну Барбару! Ей-богу, поймаю!

– Алла! Алла! – воскликнула Бася, пятась назад.

Между тем Дрогоевская подошла к Володыевскому с прояснившимся лицом и сказала:

– Нехороший, нехороший вы, пан Михал: с Басей вы добрее, чем со мной.

– Я недобр с вами? Я добрее с Басей? – спросил с удивлением рыцарь.

– Басе вы сказали, что вернетесь к выборам, а ведь, если бы я это знала, я не приняла бы к сердцу ваш отъезд.

– Мое золото! – воскликнул пан Михал.

Но он тотчас же спохватился и сказал:

– Мой дорогой друг! Я уж сам не понимаю, что говорю, потому что потерял голову!

IX

Пан Михал начал понемногу готовиться к отъезду, не переставая давать уроки Басе, которую он любил все больше и больше, и продолжая гулять наедине с Кшисей Дрогоевской и искать у нее утешения. Казалось, что он находит его: настроение его с каждым днем улучшалось, а по вечерам он иной раз принимал участие в играх Баси и Нововейского.

Молодой кавалер стал желанным гостем в доме Кетлинга. Он приезжал с утра или тотчас после полудня и оставался до вечера, а так как все его очень любили, то вскоре все стали смотреть на него как на члена семьи. Он провожал дам в Варшаву, исполнял их поручения в галантерейных лавках, по вечерам с увлечением играл в жмурки, все повторяя, что он непременно должен перед отъездом поймать неуловимую Басю.

Но она всегда ускользала от него, хотя Заглоба и говорил ей:

– Поймает тебя, наконец, не этот, так другой!

Но становилось все очевиднее, что именно этот и хотел поймать ее. Должно быть, и гайдучку это приходило в голову; по временам он так задумывался, что волосы совсем закрывали его глаза. Пану Заглобе это было не на руку, – у него на то были свои основания. Как-то вечером, когда все уже разошлись, он постучался в

комнату маленького рыцаря.

– Мне так грустно, что приходится расставаться, – сказал он. – Я пришел сюда, чтобы еще немного поглядеть на тебя. Бог знает, когда мы увидимся!

– К выборам я непременно приеду, – ответил, обнимая его, пан Михал, – и скажу вам почему: гетман хочет, чтобы во время выборов здесь было как можно больше людей, которых любит шляхта, чтобы они старались вербовать побольше сторонников его кандидату. А так как, благодарение Богу, мое имя пользуется доброй славой у братьев-шляхты, то, вероятно, он меня и вернет. Он рассчитывает и на вас.

– Ну, хочет поймать меня большим неводом, но мне кажется, что хотя я и толст, а выскользну в какую-нибудь петлю этой сети. Не буду я голосовать за француза.

– Почему?

– Потому что это приведет к неограниченности королевской власти.

– Но ведь Конде[12] присягнет конституции, как присягали и другие. Полководец же он великий, прославившийся военными подвигами.

– Слава богу, нам не нужно искать полководцев во Франции. И сам пан Собеский, конечно, не хуже Конде. Заметь, Михал, французы так же, как и шведы, ходят в чулках, а потому, вероятно, как и шведы, они не сдерживают клятв. Carolus Gustavus готов был присягать каждую минуту. Для них это все равно что орех раскусить. Что толку в присяге, когда совести нет.

– Но ведь Речь Посполитая нуждается в защите. Эх, если бы был жив князь Еремия Вишневецкий! Мы избрали бы его королем единогласно!

– Жив его сын. Та же кровь!

– Та, да не та! Жаль смотреть на него, он скорее на слугу похож, чем на князя такой знатной крови. Если бы еще были другие времена. Теперь главная забота – благо отчизны. То же самое скажет тебе и Скшетуский. Я сделаю то, что сделает гетман, ибо я верю, как в Евангелие, в его искреннюю любовь к отчизне.

– Да, пора об этом подумать! Жаль, что ты теперь уезжаешь!

– А что вы будете делать?

– Я вернусь к Скшетуским. Мальчуганы там иной раз мне надоедают, но, когда я их долго не вижу, мне скучно без них.

– Если после выборов будет война, то и Скшетуский пойдет. Да кто знает, может быть, и вы еще пойдете в поход. Может быть, будем вместе на Руси воевать. Столько испытали мы там и хорошего, и дурного...

– Правда! Ей-богу, правда! Там прошли наши лучшие годы. И как иной раз хочется взглянуть на все те места, которые были свидетелями нашей славы.

– Так поедemте со мной теперь! Нам будет весело, и через пять месяцев мы вернемся опять к Кетлингу. Тогда будет и он, и Скшетуские...

– Нет, Михал, теперь мне нельзя, но зато обещаю тебе, что если ты женишься на какой-нибудь панне с Руси, то я тебя туда провожу и буду вас там водворять.

Володыевский смутился немного, но сейчас же ответил:

– Куда мне думать о женитьбе! Лучшее доказательство то, что я отправляюсь на службу.

– Вот это и огорчает меня; я все думал: не одна, так другая. Михал, побойся Бога, подумай, где и когда найдешь более подходящий случай, чем теперь? Помни, что придет время, когда ты скажешь сам себе: у всякого есть жена, дети, а я одинок как перст! И охватит тебя грусть и тоска ужасная! Если бы ты женился на той бедняжке, если бы она оставила тебе детей, – ну, тогда я оставил бы тебя в покое; но ведь так может наступить время, когда ты напрасно будешь искать вокруг близкого человека и сам себя спросишь: «Не на чужбине ли я живу?»

Володыевский молчал и раздумывал, а пан Заглоба продолжал, пристально глядя в глаза маленькому рыцарю:

– В душе и в мыслях я назначил тебе того розовенького гайдучка, ибо, во-первых, это золото, а не девка, а во-вторых, таких завзятых воинов, каких бы вы произвели на свет, до сих пор еще, верно, не бывало на земле.

– Это ветер. Впрочем, там Нововойский уже расставил сети!

– Вот, вот! Сегодня она еще непременно предпочтет тебя, ибо влюблена в твою славу. Но когда ты уедешь, а он останется (а я знаю, что он останется, шельма, потому что это ведь не война), – что будет тогда – кто знает?

– Баська – ветер! Пусть ее Нововойский берет. Я искренне ему этого желаю, он прекрасный малый.

– Михал, – сказал Заглоба, заламывая руки, – подумай, что это за потомство будет!

На это маленький рыцарь наивно ответил:

– Я знал двух Балей, сыновей урожденной Дрогоевской, и это были тоже превосходные солдаты!

– А, попался! Вот куда ты метишь! – воскликнул Заглоба.

Володыевский страшно смутился. С минуту он только поводил усиками, думая этим скрыть свое смущение, наконец сказал:

– Что вы говорите! Никуда я не мечу, но раз вы заговорили о воинственном духе Баси, то мне сейчас же пришла в голову Кшися, в которой гораздо более женственности. Когда говорят про одну, невольно приходит в голову другая – они ведь всегда вместе.

– Ладно, ладно! Благослови тебя Господь с Кшисей, хотя, Богом клянусь, будь я мужчина, непременно бы по уши влюбился в Басю. Такую жену нет надобности и во время войны оставлять дома: можно ее взять с собой и держать при себе. Такая и в палатке пригодится, а случись с нею что-нибудь даже во время битвы, она хоть

одной рукой из ружья стрелять будет... А какая честная и добрая! Эх, гайдучок мой миленький! Не оценили тебя здесь, неблагодарностью отплатили! Но будь мне лет на пятьдесят меньше, уж я бы знал, кому надо быть пани Заглобой.

– Я не умаляю достоинств Баси!

– Не в том дело, умаляешь ли ты ее достоинства, а в том, что ты не желаешь прибавить ей еще мужа. Ты предпочитаешь Кшисю!

– Кшися – мой друг!

– Друг, а не подруга? Уж не потому ли, что у нее усики? Твои друзья: я, Скшетуский и Кетлинг! Тебе не друг, а подруга нужна. Пойми это раз и навсегда. Остерегайся, Михал, друга из женского полку, хоть и с усиками, – не то либо ты ему изменишь, либо он тебе изменит! Дьявол не спит и всегда рад такой дружбе. Пример: Адам и Ева; так они подружились, что Адаму эта дружба костью поперек горла стала.

– Вы Кшисю не оскорбляйте, – я этого ни за что не допущу!

– Пусть Бог ей поможет в ее добродетели! Нет лучше моего гайдучка, но и она девушка хорошая. Я не оскорбляю ее нисколько, но только скажу тебе, что когда ты сидишь около нее, то щеки у тебя горят, точно их тебе нащипали, и усами шевелишь, и волосы у тебя привстают, и сопишь ты, и топчешься на одном месте, как конь-гривач, а все это признаки страстей! Ты другому о дружбе рассказывай, а не мне, я ведь старый воробей!

– Такой старый, что видите даже то, чего нет.

– Дай Бог, чтобы я ошибался! Дай Бог, чтобы тут дело касалось моего гайдучка! Спокойной ночи, Михал, спокойной ночи! Бери гайдучка! Гайдучок еще красивее! Бери гайдучка, бери гайдучка!..

Сказав это, пан Заглоба встал и вышел из комнаты.

Пан Михал ворочался всю ночь и не мог спать, – тревожные мысли не давали ему покоя. Перед его глазами вставало лицо Дрогоевской, ее очи с длинными ресницами и ее губы, покрытые легким пушком. Порой он начинал дремать, но видения все продолжались. Просыпаясь, он думал о словах Заглобы и вспоминал, как редко этот человек в чем-нибудь ошибался. Иной раз перед ним мелькало не то во сне, не то наяву розовенькое личико Баси, и ее вид успокаивал его; но снова Басю сменяла Кшися. Повернется бедный рыцарь к стене и видит ее очи, а в них какую-то манящую томность. По временам эти очи закрывались и будто говорили: «Да будет воля твоя!» Пан Михал даже садился на постели и крестился. Под утро сон совсем бежал прочь. Зато ему стало тяжело и неприятно. Было стыдно, что он видел перед собой не ту – покойную, что душа его была полна не ею, а другой, живой. И он горько упрекал себя за это. Ему казалось, что он согрешил, изменил памяти Ануси, и, поворочавшись еще немного, он спрыгнул с постели и, хотя было еще темно, стал читать утренние молитвы. А когда кончил, схватился за голову и сказал:

– Надо скорее ехать и удержаться от этой дружбы: пан Заглоба, может быть, прав.

Потом, уже более веселый и спокойный, он пошел завтракать. После завтрака он фехтовал с Басей и тут он в первый раз заметил, как удивительно была она красива

– с раздувающимися ноздрями и волнуемой от быстрых движений грудью – трудно было глаза оторвать. Казалось, он избегал Кшиси, которая, заметив это, смотрела на него удивленными, широко раскрытыми глазами. Он избегал даже ее взгляда. И хотя сердце у него разрывалось на части, но он выдержал.

После обеда он пошел с Басей в кладовую, где у Кетлинга был другой склад оружия. Он показывал ей военные принадлежности, объяснял их назначение. Потом они стреляли в цель из астраханских луков.

Девушка была очень счастлива и так расшалилась, что пани Маковецкой пришлось ее останавливать.

Так прошло два дня. На третий день оба они с Заглобой поехали в Варшаву, в Даниловичевский дворец, чтобы узнать о времени отъезда; вечером пан Михал объявил дамам, что через неделю он уезжает.

Он старался сказать это беззаботным и веселым тоном. На Кшису он не взглянул ни разу.

Встревоженная девушка несколько раз обращалась к нему с вопросами; он отвечал вежливо, дружелюбно, но больше занимался Басей.

Заглоба, думая, что все это следствие его советов, потирал руки от удовольствия. А так как ничто не могло укрыться от его глаз, то он заметил грусть Кшиси.

– Огорчилась! Вижу, что огорчилась! – думал он. – Ну, ничего! Такова уж женская натура. Но Михал повернул с места и скорее, чем я думал. Молодец парень! Но что касается чувства, он ветер – был, есть и будет!

У пана Заглобы сердце было доброе, а потому ему стало жаль Кшису.

– Прямо я ей ничего не скажу, но надо чем-нибудь ее утешить.

Пользуясь правами, которые ему давали его годы и седина, он подошел к ней после ужина и начал ее гладить по ее шелковистым, черным волосам. Она сидела молча и глядела на него, подняв свои кроткие глаза, слегка удивленная этой нежностью, но благодарная.

Вечером у дверей комнаты, где спал Володыевский, Заглоба толкнул маленького рыцаря в бок.

– А что? – сказал он. – Нет лучше моего гайдучка?

– Милая козочка! – ответил Володыевский. – Она одна за четырех солдат в комнате шуму наделает. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! Удивительные существа эти женщины! Вот ты немножко около Баси увивался, а Кшися уже и загрустила, ты заметил?

– Нет... не заметил, – возразил маленький рыцарь.

– Она точно подкошенная...

– Спокойной ночи! – повторил Володыевский и поспешно вошел в свою комнату.

Пан Заглоба все же ошибся, рассчитывая на ветреность Володыевского, и поступил опрометчиво, заговорив об огорчении Кшиси. Пана Михала это так тронуло, что у него даже что-то сдавило горло.

«Вот как я отплатил ей за ее доброе отношение ко мне, за то, что она как сестра утешала меня в печали! – сказал он про себя. – Но что же я ей сделал дурного? – подумал он после минутного раздумья. – Что я сделал? Не обращал на нее внимания в течение трех дней? И это было даже неучтиво с моей стороны. Не обращал внимания на эту кроткую, милую девушку. За то, что она хотела залечить мои раны, я ей отплатил неблагодарностью. Если бы я мог, не преступая границ, умерять эту небезопасную дружбу и не обижать ее; но, видно, для такого обхождения у меня не хватает ума».

Пан Михал был зол на себя, и вместе с тем в его сердце проснулась жалость к Кшисе. Он невольно думал о ней, как об обиженном и любимом существе. И недовольство собой возрастало в нем с каждой минутой.

– Я варвар, варвар! – повторял он. Кшися совершенно вытеснила Басю из его головы. – Пусть кто хочет берет эту козу, эту мельницу, эту трещотку! – говорил он. – Нововейский ли, дьявол ли, мне все равно!

И его охватил гнев на ни в чем не повинную Басю, и ему даже в голову не пришло, что этим гневом он обижает ее больше, чем Кшисю своим притворным равнодушием.

Кшися между тем женским чутьем тотчас же догадалась, что в Володыевском происходит какая-то перемена. Ей было и неприятно, и грустно, что маленький рыцарь, видимо, избегает ее, но в то же время она понимала и то, что их отношения должны измениться, – что они либо сблизятся еще больше, либо разойдутся.

Ею овладело беспокойство, которое усиливалось при мысли о скором отъезде Володыевского. В сердце Кшиси любви еще не было. Она еще не сознавала ее. Зато в сердце ее была потребность любить.

Быть может, она уже была несколько увлечена: Володыевского окружала слава первого рыцаря Речи Посполитой. Все с уважением произносили его имя. Сестра до небес превозносила его благородство; постигшее его несчастье придавало ему особенное обаяние, и, наконец, живя с ним под одной крышей, девушка привыкла к нему.

Кшися любила, чтобы ею увлекались. Когда пан Михал за последние дни стал относиться к ней равнодушно, это задело ее самолюбие. Но, добрая от природы, Кшися решила не выказывать ему своего неудовольствия и нетерпения, а обезоружить его добротой.

И сделать это ей было тем легче, что на следующий день у пана Михала было опечаленное лицо, он не только не избегал взгляда Кшиси, но смотрел ей в глаза и как будто хотел сказать: «Вчера я не обращал на тебя внимания, а сегодня прошу у тебя прощения».

И он глазами говорил ей так много, что под влиянием этих взглядов лицо девушки краснело, а предчувствие, что скоро должно совершиться что-то важное, еще усиливало ее тревогу. Так и случилось. После полудня пани Маковецкая поехала с

Басей к ее родственнице, жене Львовского подкомория, которая гостила в Варшаве; Кхися осталась дома, сославшись на головную боль: ее разбирало любопытство поскорее узнать, о чем они будут говорить с паном Михалом, когда останутся наедине.

Пан Заглоба тоже не поехал, но он обыкновенно спал после обеда. Он говорил, что это спасает его от ожирения и дает ему по вечерам хорошее настроение. И потому, поболтав с часок, он ушел в свою комнату. Сердце Кхиси билось все тревожнее. Но какое разочарование ожидало ее! Пан Михал вскочил и ушел вместе с Заглобой.

«Он сейчас же вернется!» – подумала Кхися. И, взяв обруч, она стала золотом вышивать шапку, которую хотела подарить пану Михалу на дорогу.

Глаза ее ежеминутно следили за стрелкой данцигских часов, которые стояли в углу гостиной и строго тикали.

Прошел час, другой, а Володыевского все не было.

Девушка положила обруч на колени и, сложив руки, сказала про себя:

– Он не решается, а пока решится, могут приехать наши, или же проснется пан Заглоба, и мы ничего друг другу не скажем.

Ей казалось в эту минуту, что они должны переговорить о чем-то очень важном и что из-за медлительности пана Володыевского это им не удастся. Наконец, в соседней комнате послышались его шаги.

– Ходит взад и вперед, – подумала Кхися и стала вышивать еще усерднее. Володыевский, действительно, ходил взад и вперед по комнате и не решался войти. Между тем красный диск солнца постепенно склонялся к западу.

– Пан Михал! – позвала вдруг Кхися. Он вошел и застал ее за работой.

– Вы меня звали?

– Я хотела знать, кто это там ходит... Я сижу здесь одна более двух часов... Володыевский подвинул стул и сел на самый краешек.

Прошла минута молчания. Володыевский шаркал ногами, засовывая их под стул, и быстро шевелил усиками. Кхися перестала шить и взглянула на него, взгляды их встретились, и оба они опустили глаза.

Когда Володыевский снова поднял их и взглянул на Кхисю, на лицо ее падали последние лучи заходящего солнца, и она была прекрасна, как никогда. Волосы ее были окружены золотистым ободком...

– Через несколько дней вы уезжаете? – спросила она так тихо, что пан Михал едва мог расслышать.

– Иначе быть не может!

И снова наступила минута молчания, потом Кхися сказала:

– Я думала в последнее время, что вы сердитесь на меня...

– Если бы действительно так было, – воскликнул Володыевский, – я был бы недостоин взглянуть вам в глаза, но не было этого!

– А что же было? – спросила Кшися, снова поднимая на него глаза.

– Я предпочитаю говорить искренне – я думаю, что искренность всегда лучше притворства... Но... я даже сказать не сумею, каким утешением были вы для меня и как я вам благодарен за это...

– Дай Бог, чтобы всегда так было! – ответила Кшися, складывая руки на обруче с работой.

Пан Михал ответил ей с грустью:

– Дал бы Бог! Дал бы Бог! Но мне сказал пан Заглоба (это я вам как на исповеди говорю), что дружба с женщиной вещь опасная, ибо под нею, как огонь под пеплом, может скрываться более горячее чувство. Я подумал, что пан Заглоба может оказаться прав... Простите солдату его простоту... Другой сказал бы все это лучше, а я... сердце у меня обливается кровью, что я так относился к вам за последние дни... Мне просто жизнь не мила...

Сказав это, пан Михал так быстро зашевелил усиками, как не зашевелит ни один жук.

Кшися опустила голову, и минуту спустя две слезы скатились по ее щекам.

– Если вам от этого будет легче, если мое братское чувство вам не нужно, то я постараюсь скрыть его...

И снова слезы покатались по ее щекам. При виде их сердце пана Михала сжалось; он бросился к Кшисе и схватил ее руки. Обруч скатился с ее колен и очутился посередине комнаты, но рыцарь ничего уже не видел и только прижимал к губам ее теплые, мягкие, как атлас, руки и все повторял:

– Не плачьте, ваць-панна! Бога ради не плачьте!

Он не переставал целовать ее рук даже и тогда, когда Кшися в смущении закинула их на голову, – и целовал их все горячее, ибо его как вино опьянил запах ее волос...

И он сам не знал, как и когда его губы коснулись ее лба, потом заплаканных глаз... Все завертелось перед ним. Потом он почувствовал пушок над ее верхней губой, и уста их слились в долгом, горячем поцелуе. В комнате стало тихо и слышалось только мерное тиканье маятника.

Вдруг в сенях раздался топот Баси и послышался ее детский голосок:

– Мороз, мороз, мороз!

Володыевский отскочил от Кшиси, как спугнутая рысь отскакивает от своей жертвы. В ту же минуту в комнату с шумом влетела Бася, все повторяя:

– Мороз, мороз, мороз!

Вдруг она споткнулась об обруч, который валялся на полу, среди комнаты. Она остановилась и, с удивлением поглядывая то на обруч, то на Кшисю, то на маленького рыцаря, сказала:

– Что это? Вы обручем как мячиком перебрасывались?

– А где тетушка? – спросила Дрогоевская, стараясь говорить как можно более естественным и спокойным голосом.

– Тетушка вылезает из саней, – ответила Бася тоже изменившимся голосом.

И ее подвижные ноздри зашевелились. Она еще раз взглянула на Кшисю, потом на пана Володыевского, который в эту минуту поднимал с пола обруч, и вдруг молча вышла из комнаты.

В эту минуту в комнату вкатилась пани Маковецкая, а сверху спустился пан Заглоба, и завязался разговор о жене львовского подкомория.

– Я не знала, что она крестная мать пана Нововейского, – сказала пани Маковецкая. – Он, должно быть, рассказал ей что-нибудь про Басю, потому что она все ее поддразнивала Нововейским.

– А что же Бася? – спросил Заглоба.

– Ну, что Бася – ничего! Она ей так ответила: «У него нет усов, а у меня ума, и еще неизвестно, кто раньше дождется своего».

– Я знал, что она за словом в карман не полезет. Но кто знает, что у нее на уме? Женская хитрость!

– У Баси что на уме, то и на языке. Я уже вам говорила, что она еще воли Божьей не чует, Кшися – другое дело!

– Тетя! – вдруг перебила ее Дрогоевская.

Дальнейший разговор был прерван слугой, который доложил, что ужин подан. Все отправились в столовую. Недоставало только Баси.

– Где панна? – спросила пани Маковецкая, обращаясь к слуге.

– Панна на конюшне. Я говорил панне, что ужин готов, – она ответила: «Хорошо» – и пошла на конюшню.

– Неужели она чем-нибудь огорчилась? Все время она была так весела, – заметила пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

Тут маленький рыцарь, совесть которого была не чиста, сказал:

– Я побегу за нею!

И он побежал. Он, действительно, нашел ее за дверью конюшни, сидевшей на охапке сена. Она так задумалась, что и не заметила, как он вошел.

– Панна Барбара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь к ней.

Бася вздрогнула, как будто проснувшись от сна, подняла на него свои глаза, и Володыевский, к своему удивлению, заметил в них две крупных, как жемчуг, слезы.

– Ради бога, что с вами? Вы плачете?

– И не думала даже! – воскликнула Бася, вскакивая. – И не думала: это от мороза!

И она рассмеялась весело, но смех ее был искусственный. Потом, чтобы отвлечь от себя его внимание, она указала на стойло, в котором стоял жеребец, подаренный Володыевскому гетманом, и живо сказала:

– Вы говорили, что к этой лошади нельзя подходить?.. Посмотрим!

И прежде чем пан Михал успел удержать ее, она вскочила в стойло. Дикий конь сразу стал приседать на задние ноги, бить копытами землю и насторожил уши.

– Ради бога, ведь он может убить вас! – крикнул Володыевский, бросаясь за нею.

Но Бася хлопала жеребца по спине и повторяла:

– Пусть убьет! Пусть убьет! Пусть убьет!

Конь повернул к ней дымящиеся ноздри и тихо ржал, как будто радуясь ее ласкам.

Х

Все прежние бессонные ночи Володыевского были ничто в сравнении с той, которую он провел после объяснения с Кшисей. Он изменил памяти своей дорогой покойницы, которую так чтил; он обманул доверие к нему другой, злоупотребил дружбой, связал себя каким-то обязательством и поступил как человек без совести. Другой солдат на его месте не придавал бы никакого значения этим поцелуям и, самое большее, при воспоминании о них покручивал бы усы; но пан Володыевский, особенно после смерти Ануси, относился ко всему строго, как человек, у которого наболела душа. Что ему теперь делать? Как поступить?

До его отъезда оставалось всего несколько дней, а с этим отъездом все ведь могло кончиться само собой. Но можно ли было уехать, не сказав ни слова Кшисе, бросить ее так, как бросают сенную девушку, у которой крадут случайный поцелуй? При этой мысли содрогалось благородное сердце рыцаря. Даже теперь, когда он боролся с собою, мысль о Кшисе наполняла его блаженством, а воспоминание об этом поцелуе заставляло его вздрагивать от наслаждения. Он приходил от этого в бешенство, а все же не мог побороть этого чувства блаженства и наслаждения. Впрочем, во всем он винил только себя.

– Я сам довел Кшисю до этого, – повторял он с горечью, – сам довел, и мне нельзя уезжать, не объяснившись с нею.

– Ну, и что же? Сделать предложение и уехать женихом Кшиси?

Тут перед ним вставала вся белая, точно восковая, вся в белом, Ануся Божобогатая, такая, какой он ее видел в гробу.

– Мне лишь одно осталось, – говорила она, – чтобы ты тосковал обо мне... Ты

сначала хотел сделаться монахом, всю жизнь меня оплакивать, а теперь ты берешь другую, прежде чем душа моя успела долететь до врат небесных. Ах, подожди! Пусть я сначала достигну небесной обители и перестану смотреть на землю...

И казалось рыцарю, что он клятвопреступник по отношению к той чистой душе, память о которой он должен был чтить и сохранять, как святыню. Ему было и больно, и стыдно – он презирал самого себя... Он жаждал смерти.

– Ануся, – повторял он, стоя на коленях, – я до самой смерти не перестану оплакивать тебя. Но что же мне теперь делать?

Беленькая фигурка ничего не отвечала и рассеивалась как легкий туман; и вместо нее в воображении рыцаря вставала Кшися, ее губы с легким пушком, а вместе с ними искушения, от которых бедный солдат старался отряхнуться, как от татарских стрел.

Так колебалось сердце рыцаря в нерешимости, горе и муке. Минутами ему приходило в голову пойти к Заглобе, рассказать ему все и посоветоваться с этим человеком, ум которого всегда мог справляться со всеми затруднениями. Ведь он все предвидел, все предсказал: вот что значит дружба с женщинами!

Но именно это и останавливало маленького рыцаря. Он вспомнил, как он резко крикнул на пана Заглобу: «Вы Кшисю не оскорбляйте!» И кто же, кто теперь оскорбил Кшисю? Кто сейчас думал, не лучше ли уехать и бросить ее, как бросают сенную девушку?

– Если бы не та, бедняжка, я бы и минуты не раздумывал, – сказал про себя маленький рыцарь. – Не огорчаться, а радоваться тогда мне следовало бы, что я отведал такого лакомства.

Через минуту он пробормотал:

– Я отведал бы его охотно и еще сто раз.

Но видя, что им снова овладевают искушения, он пытался отряхнуться от них и рассуждал так:

– Свершилось! Раз я поступил уже, как человек, который ищет не дружбы, а любви, то надо идти по той же дороге и завтра же сказать Кшисе, что я хочу на ней жениться.

Тут он остановился на минуту и продолжал думать:

– Предложением этим я добьюсь того, что и сегодняшний поступок не будет казаться бесчестным, и завтра я могу опять себе позволить...

Тут он ударил себя рукой по губам.

«Тьфу, – сказал он, – должно быть, в меня целый чамбул чертей вселился!»

Но он уже не оставлял мысли о предложении, полагая, что если он оскорбит этим память покойницы, то может вымолить у нее прощение заупокойными обеднями и набожностью, и этим докажет ей, что он не перестал о ней думать.

Впрочем, если люди будут смеяться над тем, что несколько недель тому назад он с горя хотел поступить в монахи, а теперь признался в любви другой, то стыдно будет только ему одному, в противном же случае стыд этот должна будет делить вместе с ним и ни в чем не повинная Кшися.

«Итак, завтра сделаю предложение: иначе нельзя!» – сказал он. И он значительно успокоился, прочитал вечерние молитвы и, горячо помолившись за упокой Анусиной души, заснул.

Проснувшись на другой день, он повторил:

– Сегодня я сделаю предложение...

Но это было не так легко, так как пан Михал не хотел никому говорить об этом, а сначала поговорить с Кшисей и тогда поступить как надо. Между тем с утра приехал пан Нововейский, с которым он сталкивался на каждом шагу.

Кшися весь день ходила как отравленная; она была бледна, измучена и ежеминутно опускала глаза; порой она краснела так, что румянцем покрывалась даже шея; порою губы у нее дрожали, как будто она собиралась заплакать; то она была словно больная и сонная.

Трудно было рыцарю подойти к ней, а особенно остаться с ней наедине. Правда, он мог предложить ей погулять по саду – погода была чудесная, и раньше он сделал бы это, несколько не стесняясь, но теперь он не решался: ему казалось, что все сразу догадаются, в чем дело, и поймут, что он хочет сделать предложение.

К счастью, его выручил Нововейский. Он отвел в сторону жену стольника, говорил с нею довольно долго; потом они оба вернулись в комнату, где сидел маленький рыцарь с двумя девушками и с паном Заглобой, и пани Маковецкая сказала:

– Вы бы проехали в две пары на санях, молодежь! Снег так и искрится! Володыевский быстро наклонился к Кшисе и шепнул:

– Умоляю вас, садитесь со мной! Мне надо вам многое сказать!

– Хорошо, – ответила Дрогоевская.

Потом оба они с Нововейским бросились на конюшню, за ними побежала и Бася, и через несколько минут двое саней подъехали к крыльцу. Володыевский с Кшисей сели в одни сани, Нововейский с гайдучком в другие, и лошади тронулись.

Пани Маковецкая обратилась к Заглобе и сказала:

– Пан Нововейский сделал предложение Басе.

– Как так? – спросил с беспокойством Заглоба.

– Жена пана подкомория львовского, его крестная мать, приедет завтра переговорить со мной, а пан Нововейский просил у меня разрешения сделать намек об этом Басе; он сам понимает, что если Бася к нему не расположена, то нечего и пытаться.

– И потому-то вы отправили их кататься на санях?

– Да. Мой муж человек очень щепетильный. Он не раз говорил мне: «Я опекун над их именьями, но мужа пусть каждая из них сама себе выбирает; лишь бы был честный человек, и я не буду противиться, если он даже будет беден. Впрочем, они обе с Кшисей не маленькие и могут распоряжаться собой».

– А вы что намерены ответить жене подкомория?

– Мой муж придет в мае, я все это передам ему. Но думаю, что все будет так, как Бася захочет.

– Нововейский еще мальчик.

– Но сам Михал говорил, что он известный воин, уже прославившийся военными подвигами. У него хорошее состояние, а жена подкомория перечислила все его родственные связи. Видите ли, это было так: его прадед, родившийся от княжны Сенюты, *primo voto*[13] был женат...

– А мне какое дело до его родни?! – перебил Заглоба, не скрывая своего Дурного настроения. – Он мне ни брат, ни сват, а я скажу вам, что гайдучка я предназначал Михалу, ибо если между девушками, которые ходят по свету на двух ногах, найдется хоть одна честнее и лучше ее, то пусть я с этой минуты буду ходить на четвереньках, как медведь...

– Михал еще ни о чем не думает, а если бы и думал, то ему Кшися понравилась больше Баси... Все это решит Бог! Его пути неисповедимы.

– Но если бы этот молокосос уехал с носом, я бы напился пьян от радости! – сказал Заглоба.

Между тем в санях решалась судьба рыцарей. Пан Володыевский долго не мог собраться с духом начать разговор; наконец, он так сказал Кшисе:

– Не думайте, ваць-панна, что я человек легкомысленный, или какой-нибудь ветреник, – и годы мои уже не такие.

Кшися ничего не ответила.

– Вы простите, ваць-панна, за то, что я сделал вчера – это случилось от особенного к вам расположения, которого сдержать я не сумел. Кшися моя, дорогая моя Кшися, вспомни, что я простой солдат, который всю жизнь провел на войне... Другой бы сказал сначала красивую речь, а потом уже сделал бы признание, а я начал с признания... Вспомни, что если иной раз и хорошо объезженная лошадь, закусив удила, понесет человека, – как же может не увлечь человека любовь, которую еще труднее обуздать? Так увлекла она и меня... Моя дорогая Кшися, ты достойна каштелянов и сенаторов, но если ты не погнушаешься солдатом, который хоть и в малом чине, йо не без славы служил отчизне, то я падаю к твоим ногам, целую их и спрашиваю: хочешь ли выйти за меня? Можешь ли ты думать обо мне без отвращения?

– Пан Михал! – ответила Кшися.

И ее рука, выскользнув из рукава, исчезла в руке рыцаря.

– Ты согласна? – спросил Володыевский.

– Да, – ответила Кшися, – и знаю, что во всей Польше я не могла бы найти человека благороднее вас.

– Да наградит тебя Бог! Да наградит тебя Бог, Кшися! – говорил рыцарь, покрывая поцелуями ее руку. – Большого счастья мне бы не найти. Скажи мне только, что ты не сердишься за вчерашнее, чтобы совесть меня не мучила...

Кшися закрыла глаза.

– Я не сержусь! – сказала она.

– Эх, жаль, что в санях я не могу целовать твои ноги! – воскликнул Володыевский.

Некоторое время они ехали молча, и только полозья скрипели по снегу, да из-под конских копыт градом летели снежные комья. Володыевский заговорил снова:

– Мне даже странно, что ты меня полюбила.

– Еще удивительнее, что вы меня так скоро полюбили...

– Кшися, может быть, и ты меня осуждаешь, что, еще не оправившись от недавнего горя, я уже полюбил другую? Признаюсь тебе, как на исповеди, что в прежнее время я был легкомысленным. Но теперь нет! Я не забыл ту бедняжку, и не забуду ее никогда; я люблю ее до сих пор, и если бы ты знала, сколько скорби по ней у меня в душе, ты сама бы плакала надо мной...

Волнение помешало маленькому рыцарю говорить, и поэтому, быть может, он и не заметил, что слова его не произвели особенного впечатления на Кшисю.

И опять наступило молчание, но на этот раз его прервала Кшися:

– Я буду стараться утешать вас, насколько сил хватит.

– Вот поэтому я и полюбил тебя так скоро, – ты с первого же дня стала залечивать мои раны. Чем я был для тебя? Ничем. А ты сейчас же пожалела меня, ибо много в тебе сострадания к чужому горю. Ах, как я благодарен тебе! Кто всего этого не знает, тот, быть может, будет осуждать меня, что в ноябре я хотел поступить в монахи, а в декабре собираюсь жениться. Пан Заглоба первый будет подшучивать надо мной, он любит при случае посмеяться, но пусть смеется на здоровье! Мне все равно, тем более что не тебя будут осуждать, а меня. Кшися подняла глаза к небу, подумала, а потом спросила:

– Разве мы непременно должны объявлять людям о нашем союзе?

– Как же иначе?

– Ведь вы через два дня уезжаете...

– Хоть и не рад, а должен!

– Я тоже ношу траур по отцу. Зачем посвящать в это других? Пусть договор останется между нами, – люди ничего о нем не будут знать до вашего возвращения.

– Значит, и сестре не говорить?

– Я сама ей скажу об этом, когда вы уедете.

– А пану Заглобе?

– Пан Заглоба станет на мне изощрять остроумие. Лучше ничего не говорить. Бася также стала бы ко мне приставать, а она последнее время какая-то странная, и настроение у нее такое изменчивое, как никогда. Нет, лучше не говорить!

Тут Кшися снова подняла кверху свои темно-синие глаза.

– Бог нам свидетель, а люди пусть ничего не знают.

– Я вижу, что ваш ум равняется вашей красоте. Согласен! Бог нам свидетель. Аминь! Обопрись на меня плечиком, ибо раз договор заключен, то это уже не противно скромности. Не бойся! Хотя бы мне и хотелось повторить вчерашнее, я не могу, – должен править лошадьми!

Кшися исполнила желание маленького рыцаря, а он сказал:

– Когда мы будем одни, называй меня по имени.

– Мне как-то неловко, – ответила она с улыбкой, – я никогда не решусь.

– А вот я же решился.

– Потому что вы рыцарь, пан Михал, вы храбрый, вы солдат...

– Кшися, любимая ты моя!

– Мих...

Но Кшися не решилась докончить и закрыла лицо рукавом. Спустя некоторое время пан Михал повернул домой. Они почти все время ехали молча, и только у ворот маленький рыцарь спросил:

– А после вчерашнего... помнишь?... тебе было очень грустно?

– Мне и стыдно было, и грустно, и... как-то странно, – прибавила она тише.

И оба приняли равнодушный вид, чтобы никто не мог догадаться, что между ними произошло.

Но эта осторожность оказалась излишней: на них никто не обращал внимания.

Правда, пан Заглоба и пани Маковецкая выбежали в сени навстречу обеим парам, но все их внимание было обращено на Басю и Нововейского.

Бася вся покраснелась, но неизвестно, от мороза ли, или от волнения, а Нововейский был как отравленный; тут же в сенях он стал прощаться с Маковецкой. Напрасно она удерживала его, напрасно и Володыевский, который был в прекрасном настроении, уговаривал его остаться ужинать, он отговорился службой и уехал.

Тогда пани Маковецкая молча поцеловала Басю в лоб, а та тотчас же побежала в свою комнату и не вышла к ужину.

Только на другой день Заглоба, поймав ее, спросил:

– А что, гайдучок, Нововейского как громом поразило?

– Ага! – отвечала она, кивнув головой и моргая глазами.

– Скажи, что ты ему ответила?

– Вопрос был короткий, потому что он не из робкого десятка, но и ответ был короток: нет!

– Ты прекрасно поступила. Дай тебя обнять за это! Что же, он с тем и уехал?

– Он спрашивал меня, не может ли он со временем надеяться. Жаль мне его было, но нет, нет и нет! Из этого ничего не выйдет.

Тут ноздри Баси зашевелились, она встряхнула головой и замолчала в грустном раздумье...

– Скажи мне, почему ты так сделала? – спросил Заглоба.

– И он об этом спрашивал, но напрасно; я ему не сказала и никому не скажу.

– А может, – спросил Заглоба, пристально глядя ей в глаза, – может, ты таишь в сердце чувство к кому-нибудь другому?

– Кукиш, а не чувство! – крикнула Бася. И, вскочив с места, стала повторять быстро, точно для того, чтобы скрыть свое смущение: – Не хочу пана Нововейского! Не хочу пана Нововейского! Не хочу никого! Чего вы ко мне пристаёте? Чего все ко мне пристаёте?

И она вдруг расплакалась.

Пан Заглоба утешал ее, как умел, но она весь день была грустной и сердитой.

– Пан Михал, – сказал за обедом Заглоба, – ты уезжаешь, тем временем вернется Кетлинг, а ведь он красавец, каких мало. Не знаю, как там справятся с собой наши панны, но думаю, что по приезде ты их обеих застанешь влюбленными.

– Вот и прекрасно! – ответил Володыевский. – Мы и посватаем за него панну Басю!

Бася впиалась в него глазами и спросила:

– А почему вы о Кшисе не позаботитесь? Володыевский очень смешался и ответил:

– Вы еще не знаете, что такое Кетлинг. Но узнаете!

– Почему же Кшиса не может узнать? Ведь это не я пою:

Но и без крови

Стрелы любви

Сердце сквозь латы пронзают...

Смешалась и Кшися, а маленькая змейка продолжала:

– В крайнем случае я попрошу пана Нововейского, чтобы он мне свой щит одолжил, но, когда вы уедете, я не знаю, чем будет защищаться Кшися, если очередь дойдет до нее.

– Может быть, и найдет чем защищаться, не хуже вас.

– Каким образом?

– Она не так легкомысленна, степеннее вас и благоразумнее!

Пан Заглоба и пани Маковецкая думали, что задорный гайдучок сейчас же начнет воевать, но, к их великому удивлению, гайдучок наклонил голову над тарелкой и только минуту спустя тихим голосом сказал:

– Если вы рассердились, то я прошу извинения и у вас, и у Кшиси.

XI

Пану Михалу было предоставлено ехать таким путем, каким он сам пожелает. Он поехал в Ченстохов, на Анусину могилу. Выплакав остаток слез, он отправился дальше, а под впечатлением свежих воспоминаний ему не раз приходило в голову, что это таинственное обручение с Кшисей было преждевременно. Он чувствовал, что горе и траур имеют в себе нечто священное и неприкосновенное, и это должно быть предоставлено времени, пока, как туман, оно не поднимется кверху и не рассеется в безмерном пространстве. Правда, бывают люди, которые, овдовев, через месяц, много – через два, снова женятся, но они не начинают с монастыря, и горе поражает их не на пороге счастья, после многих лет ожидания. Наконец, если есть люди, которые не умеют уважать печали, то должен ли я следовать их примеру?

Пан Володыевский ехал на Русь, а упреки совести сопровождали его. Он был все же настолько справедлив, что всю вину брал на себя и ни в чем не упрекал Кшисю. Ко всем многочисленным беспокойствам, которые им овладели, прибавилось еще и то, что, быть может, и Кшися в глубине души осуждает его за такую поспешность.

– Конечно, сама бы она так не поступила, – говорил себе пан Михал, – а так как у нее возвышенная душа, то этой возвышенности она требует и от других.

И он испугался: не показался ли он Кшисе слишком ничтожным. Но это был напрасный страх; Кшисе не было никакого дела до траура пана Михала, а когда он говорил ей об этом слишком много, то не только не вызывал ее сочувствия, но даже задевал ее самолюбие: неужели она, живая, не стоит той, умершей. Неужели она вообще так мало стоит, что даже покойница Ануся, и та может быть ее соперницей. Если бы пан Заглоба был посвящен в эту тайну, он, вероятно, успокоил бы пана Михала тем, что женщины в таких случаях не так уж сострадательны.

Все же после отъезда Володыевского Кшисе казалось странным все, что случилось, а главное, что все уже кончено. Когда она ехала в Варшаву, где она раньше никогда не бывала, она думала, что все будет иначе. На конвокационный сейм и на выборы съедутся дворы епископов и вельмож; съедется знатное рыцарство со всех сторон Речи Посполитой. Сколько там будет веселья, шуму, смотров, а среди этого водоворота, среди толпы рыцарей появится «он», один из тех таинственных рыцарей,

каких девушки видят только во сне; он восплает к ней страстью, будет играть под ее окнами на цитре, будет устраивать кавалькады, будет долго любить и вздыхать, долго носить ленту возлюбленной на своем оружии и, наконец, после долгих страданий, преодолев все препятствия, упадет к ее ногам и услышит признание во взаимной любви.

А тут ничего этого не было! Рассеялся радужный туман, и хоть и появился рыцарь, рыцарь даже необыкновенный, слывший первым рыцарем Речи Посполитой, великий кавалер, но совсем не похожий на «того». Не было ни кавалькад, ни игры на лютне, ни турниров, ни смотров, ни лент на оружии, ни шумной толпы рыцарей, ни увеселений, – не было ничего, что, как майский сон, как чудесная сказка на вечеринке, возбуждает любопытство, опьяняет, как аромат цветов, манит, как соловьиная песня; не было ничего, от чего пылает лицо, бьется сердце и по телу пробегает дрожь... Был только домик за городом, а в домике этом – пан Михал; потом произошло объяснение, и – все... Остальное исчезло, как исчезает за тучами луна. Если бы еще этот пан Володыевский явился в конце сказки, быть может, он и был бы желанным. Не раз, думая о его славе, о его благородстве, о его мужестве, гордости Речи Посполитой и грозе врагов, – Кшися чувствовала, что она любит его, но в то же время ей казалось, что чего-то все же нет, что ее ждет какая-то обида – отчасти по его вине, или, вернее, из-за его поспешности...

Эта поспешность у обоих камнем легла на сердце, а так как они теперь были далеко друг от друга, то тяжесть этого камня все увеличивалась. Иной раз в душу человека закрадывается что-то совсем незначительное, что-то вроде маленькой занозы, и отравляет горечью и болью самую горячую любовь. Но в их любви до горечи и боли было еще далеко. В особенности для пана Михала Кшися была сладостным и успокаивающим воспоминанием, и мысль о ней шла за ним неотступно, как тень идет за человеком. Он думал, что чем дальше он будет от нее, тем она будет для него дороже, тем более он будет вздыхать и тосковать по ней.

Для Кшиси дни проходили гораздо тяжелее: после отъезда маленького рыцаря в дом Кетлинга никто не заглядывал, и жизнь протекала однообразно и скучно.

Пани Маковецкая поджидала мужа и о нем только и говорила, высчитывая, сколько дней осталось до выборов. Бася совсем приуныла. Заглоба поддразнивал ее, говоря, что, отказав Нововойскому, она теперь по нему скучает. И ей хотелось даже, чтобы хоть он приехал, но он сказал себе: «Мне здесь делать нечего», и вскоре уехал за Володыевским. Пан Заглоба тоже собирался назад к Скшетуским, говоря, что ему скучно без детей. Но он был так тяжел на подъем, что изо дня в день откладывал свой отъезд. Басе он объяснял, что причиной этого промедления является она: он влюблен в нее и намерен просить ее руки.

Между тем, когда пани Маковецкая уезжала с Басей к жене подкомория львовского, Заглоба проводил время с Кшисей. Кшися никогда туда не ездила: жена подкомория, несмотря на всю свою доброту, терпеть ее не могла. Но нередко случалось, что и пан Заглоба отправлялся в Варшаву, где проводил время в веселой компании и возвращался домой только на другой день, да и то пьяный. Тогда Кшися оставалась совершенно одна и проводила время в мыслях о Володыевском и о том, что могло бы быть, если бы все не было уже кончено раз и навсегда... Порой она мечтала и о том королевиче из сказки, сопернике пана Михала... Однажды она сидела у окна и задумчиво смотрела на двери комнаты, освещенной яркими лучами заходящего солнца. Вдруг с другой стороны дома послышался звон колокольчика. Кшися подумала сначала, что это вернулась пани Маковецкая с Басей, и, не обратив на это внимания, продолжала в прежней задумчивости смотреть на дверь; между тем дверь

открылась и на ее темном фоне перед глазами девушки появилась фигура какого-то незнакомого мужчины.

В первую минуту Кшисе показалось, что она видит какую-то картину или что она уснула и видит сон: так прекрасно было то, что она увидела... Незнакомец был молодой человек, одетый в черный иностранный костюм, с белым кружевным воротником, спускавшимся до плеч. Кшися еще в детстве видела однажды пана Арцишевского, генерала коронной артиллерии, одетого в такой же костюм, – этот костюм и красота Арцишевского надолго остались в ее памяти. Так был одет и молодой человек, но красотой он превосходил и пана Арцишевского, и всех мужчин, живущих на земле. Волосы его, ровно подстриженные на лбу, светлыми локонами падали по обеим сторонам лица; темные брови резко выступали на белом, как мрамор, лбу; глаза были нежны и печальны; светлые усы и светлая остроконечная борода. Голова его была красоты несравненной; вся наружность полна благородства и мужества. Это был ангел-воин. У Кшиси захватило дыхание; глядя на него, она не верила собственным глазам и долго не могла понять, видение ли это или живой человек. С минуту он стоял перед ней неподвижно, изумленный или притворившийся из любезности изумленным красотой Кшиси; наконец он отошел от двери, отвесил ей низкий поклон и страусовыми перьями шляпы несколько раз провел по полу. Кшися привстала, но ноги у нее дрожали; то бледнея, то краснея, она закрыла глаза.

Вдруг прозвучал его низкий, мягкий, как бархат, голос;

– Я – Кетлинг оф Эльгин, друг пана Володыевского и товарищ по оружию. Прислуга сказала мне уже, что я имею несказанное счастье и честь принимать под своим кровом сестру и родных моего друга, но простите, достойная панна, мое смущение: прислуга не сказала мне того, что видят глаза, а глаза не могут вынести вашего блеска.

Таким комплиментом приветствовал Кшисю рыцарь Кетлинг оф Эльгин, но она не ответила ему комплиментом: не могла произнести ни слова. Она только догадалась, что, сказав комплимент, он вторично отвешивает ей поклон: в тишине снова зашелестели по полу перья... Она чувствовала, что надо непременно что-нибудь ответить, отблагодарить комплиментом за комплимент, что иначе ее сочтут за простушку, а между тем у нее захватило дыхание, учащенно бился пульс, и грудь, точно от усталости, то поднималась, то опускалась. Кшися открыла глаза: он стоит перед ней, слегка склонив голову, на его чудном лице – выражение почтительности и восхищения. Дрожащими руками Кшися схватилась за платье, желая хоть сделать реверанс перед незнакомцем, но, к счастью, в эту минуту за дверью раздался крик: «Кетлинг! Кетлинг!» и в комнату вбежал с распростертыми объятиями запыхавшийся пан Заглоба.

Они обнялись, а Кшися в это время старалась опомниться и два, три раза взглянула на молодого рыцаря.

Кетлинг дружески обнимался с паном Заглобой, но с тем удивительным благородством в каждом движении, которое он унаследовал от предков или, быть может, приобрел при дворе короля и вельмож.

– Как поживаешь?! – воскликнул пан Заглоба. – Я так рад видеть тебя в твоём доме, как в своём собственном! Дай поглядеть на тебя! Да, похудел. Знаешь, Михал уехал в полк. О, как ты хорошо сделал, что приехал! Михал о монастыре уже не думает. У тебя гостит его сестра с двумя паннами. Девки – как репки. Одна Езерковская, другая Дрогоевская. Боже мой! Панна Кшися здесь! Простите меня, но

пусть лопнут глаза у того, кто будет отрицать вашу красоту, а что касается вас, то рыцарь уже вас рассмотрел...

Кетлинг поклонился в третий раз и сказал, улыбаясь:

– Я оставил мой дом цейхгаузом, а застаю его Олимпом, ибо при самом входе увидел богиню.

– Кетлинг, как поживаешь?! – снова воскликнул Заглоба; ему было мало поздороваться раз, и он опять схватил его в объятия.

– Это еще что! – говорил он. – Ты не видал гайдучка. Одна красива, но Другая – мед, мед! Как поживаешь, Кетлинг? Дай тебе Бог здоровья! Я тебе буду говорить: ты! Хорошо? Старику так удобнее... Рад ты гостям? Пани Маковецкая остановилась здесь, потому что во время конвокации трудно было найти помещение, но теперь уже будет легче, и она, вероятно, уедет отсюда – с паннами жить у холостого человека неудобно... люди будут косо смотреть и пойдут сплетни.

– Господи! Я ни за что этого не допущу. Я для Володыевского не друг, а брат, а потому и пани Маковецкую я могу принять у себя как сестру. К вам первой я обращаюсь с просьбой и, если нужно, на коленях буду вас умолять.

Сказав это, он опустился на колени перед Кшисей и, схватив ее руку, прижал ее к губам. И смотрел на нее умоляющими глазами, в которых была и радость, и какая-то печаль. Кшися вся вспыхнула, особенно когда пан Заглоба воскликнул:

– Не успел приехать, а уже на коленях перед нею! Ей-богу, я скажу пани Маковецкой, что вас так застал. Кетлинг не зевает. Кшися, учись придворным обычаям!

– Я придворных обычаев не знаю, – прошептала Кшися, совсем растерявшись.

– Могу ли я надеяться на ваше согласие?

– Встаньте, ваць-пане!

– Могу ли я надеяться? Михал мне брат, и ему будет обидно, если этот дом опустеет.

– Мое желание ничего не значит, – сказала Кшися, несколько придя в себя, – за ваше я вам должна быть благодарна!

– Спасибо, – ответил Кетлинг, прижимая к губам ее руку.

– На дворе мороз, а купидон голенький... Но думаю, что если только он сюда попадет, то в этом доме не замерзнет! – воскликнул Заглоба. – От одних только вздохов оттепель будет. Ей-богу, только от вздохов!

– Перестаньте, – сказала Кшися.

– Слава богу, что вы не утратили вашего веселого расположения духа! – сказал Кетлинг. – Веселость признак здоровья!

– И чистой совести, чистой совести! – ответил Заглоба. – В Писании сказано: «У

кого зудит, тот и чешется!», а у меня ничто не зудит, и потому я и весел. О, сто тысяч басурманов, что я вижу? Ведь я тебя видел одетым по-польски, в рысьем колпаке и при сабле, а теперь ты опять превратился в какого-то англичанина и ходишь на тонких ногах, как журавль?

– Я долго жил в Курляндии, где не принято одеваться по-польски, а последние два дня я провел у английского посла в Варшаве.

– Ты из Курляндии возвращаешься?

– Да. Мой приемный отец умер и оставил мне там другое имение.

– Царство ему небесное! Он был католик?

– Да.

– Тогда ты должен радоваться! А ты нас не покинешь ради этого курляндского имения?

– Здесь мне жить и умереть! – ответил Кетлинг, взглянув на Кшисю. А она тотчас опустила свои длинные ресницы.

Пани Маковецкая приехала уже в сумерки. Кетлинг вышел встречать ее к воротам и ввел ее в дом с такой почтительностью, точно она была владетельная княгиня. Она хотела на другой же день приискать себе квартиру в городе, но это ни к чему не повело. Молодой рыцарь умолял ее, ссылаясь на свою дружбу с Володыевским, и до тех пор стоял на коленях, пока она не согласилась остаться у него. Было решено, что и пан Заглоба останется у Кетлинга на некоторое время, ибо его годы и его значение могли защитить женщин от сплетен. Он согласился на это тем охотнее, что ужасно привязался к гайдучку, а кроме того, в голове у него возникли новые планы, которые требовали его присутствия. Обе девушки были очень рады, и Бася сразу стала на сторону Кетлинга.

– Сегодня мы и так уже не уедем, – сказала она пани Маковецкой, которая все еще колебалась, – а потом, уедем ли мы одним днем или двадцатью днями позже, это все равно!

Кетлинг понравился ей так же, как и Кшисе, – он нравился всем женщинам. Бася до сих пор еще никогда не видала заграничных кавалеров, если не считать офицеров иностранной пехоты, людей довольно простых; и она ходила кругом него, потрясая своими волосами, раздувая ноздри и присматриваясь к нему с детским, почти назойливым любопытством, за что получила даже выговор от пани Маковецкой. Но, несмотря на это, она не переставала смотреть на Кетлинга, словно желая оценить его военные способности, и, наконец, начала расспрашивать про него пана Заглобу.

– Он хороший воин? – спросила она потихоньку у старого шляхтича.

– Знаменитее и быть не может! Видишь ли, у него опытность в этом деле огромная: он четырнадцати лет сражался уже с английскими бунтовщиками, держа сторону истинной веры... Он шляхтич знатного рода, о чем ты можешь судить по его обращению.

– Вы его видели в огне?

– Тысячу раз! Стоит и не поморщится; гладит лошадь по шее, а сам хоть о любви может говорить...

– Разве принято говорить о любви?

– Принято говорить все, что подтверждает равнодушие к опасности.

– Ну а в поединке он тоже мастер?

– Одно слово – шершень!

– А с паном Михалом справится?

– С паном Михалом не справится.

– Ага! – воскликнула с гордостью Бася. – Я знала, что не справится! Я сейчас же подумала, что не справится!

И она захлопала в ладоши.

– А, так ты стоишь за Михала? – спросил Заглоба.

– Э, что тут! Рада, потому что он наш!

Бася встряхнула волосами и умолкла. Из ее груди вырвался тихий вздох.

– Но только заметь и запомни, гайдучок, – сказал пан Заглоба, – что если на поле битвы трудно найти воина лучше пана Кетлинга, то для женщин он еще опаснее; они в него без ума влюбляются из-за его красоты. Он и в любви опытен на редкость!

– Скажите об этом Кшисе, у меня не любовь в голове, – отвечала Бася и, повернувшись к Дрогоевской, начала звать ее: – Кшися, Кшися, подойди-ка сюда на одно слово.

– Я здесь! – сказала Дрогоевская.

– Пан Заглоба говорит, что ни одна панна, увидав Кетлинга, не может в него не влюбиться. Я уже его осмотрела со всех сторон, и ничего, Бог миловал! Ну а ты как? Чувствуешь уже что-нибудь?

– Баська, Баська! – сказала убеждающим тоном Кшися.

– Он тебе понравился?

– Оставь это! Будь благоразумнее. Милая Бася, не говори вздора – вот пан Кетлинг сюда идет!

И Кшися не успела еще сесть, как Кетлинг подошел и спросил:

– Можно присоединиться к обществу?

– Милости просим, – ответила Езерковская.

– Если так, то я осмелюсь спросить, о чем был разговор?

– О любви, – не задумываясь, ответила Езерковская.

Кетлинг сел возле Кшиси. С минуту они молчали, потому что Кшися, всегда спокойная и владевшая собой, робела в присутствии этого кавалера. Наконец он первый спросил:

– Вы действительно говорили о столь приятном предмете?

– Да, – ответила вполголоса панна Дрогоевская.

– Мне приятно было бы узнать ваше мнение.

– Простите меня, но у меня ни смелости не хватит, ни остроумия, и я полагаю, что скорее от вас услышу что-нибудь новое.

– Кшися права, – вставил свое слово Заглоба. – Мы слушаем!

– Спрашивайте, панна! – сказал Кетлинг.

И, подняв глаза кверху, он задумался; потом, хотя ему и не предлагали вопросов, он заговорил, как бы про себя:

– Любовь – тяжелое несчастье: свободного человека она делает рабом. Как птица, пораженная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, пораженный любовью, навсегда остается у ног любимого человека...

Любовь делает человека калекой, – влюбленный похож на слепого: вне своей любви он ничего не видит. Любовь – печаль: кто проливает более слез, кто более выпускает вздохов, как не влюбленный? Кто полюбил, тот уже не думает ни о нарядах, ни об охоте; он готов сидеть по целым дням, обняв свои колени, бесконечно тоскуя, как тот, кто потерял близкого человека.

Любовь – болезнь: у влюбленного, как и у больного, лицо бледнеет, глаза впадают, трясутся руки, худеет тело, и человек начинает думать о смерти, или, как помешанный, ходит с взъерошенными волосами, беседует с луной, чертит на песке любимое имя, а если ветер снесет написанное, он говорит: «Несчастье»... и готов зарыдать.

Кетлинг умолк на минуту, казалось, он погрузился в воспоминания. Кшися внимала его словам, как звукам песни, всей душой. Губы ее полуоткрылись, глаза не отрывались от белоснежного лица рыцаря. У Баси волосы совсем упали на глаза, так что нельзя было узнать, о чем она думала, но она тоже сидела тихо.

Пан Заглоба громко зевнул, откашлялся, вытянул ноги и сказал:

– Такая игра свеч не стоит!

– А между тем, – начал опять рыцарь, – если тяжело любить, то не любить еще тяжелее. Ибо кого же без любви удовлетворит наслаждение, слава, богатство, драгоценные камни... Кто же не скажет любимому человеку: «Ты мне дороже целого королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни?..» И если каждый за любовь охотно отдаст жизнь, то любовь ценнее жизни...

Кетлинг умолк.

Девушки сидели, прижавшись друг к другу, удивляясь нежности его слов и его взглядам на любовь, столь чуждым польским рыцарям; но пан Заглоба, который уже немного вздремнул, вдруг проснулся и стал, моргая глазами, смотреть на каждого поочередно и, наконец, очнувшись совершенно, громко спросил:

– Что вы говорите?

– Мы говорим вам: спокойной ночи! – ответила Бася.

– Ах да, знаю: вы говорили о любви! Каков же был конец?

– Подкладка оказалась лучше, чем самый плащ!

– Что и говорить! Меня разморило. И то сказать: страданье, рыданье, вздыханье. А я еще одну рифму нашел: «дреманье», и она особенно удачна, ибо уже поздно. Спокойной ночи всей компании и оставьте любовь в покое!.. И я в свое время был похож на Кетлинга, как две капли воды, и был я так влюблен, что баран мог бы бодать меня сзади хоть целый час, я бы ничего не заметил. Но на старости лет я предпочитаю хорошо выспаться, особенно если любезный хозяин не только проводит меня, но и выпьет со мной на сон грядущий.

– Я к вашим услугам! – сказал Кетлинг.

– Пойдем, пойдем! Смотри, как луна высоко! Завтра будет хорошая погода: прояснилось, – светло как днем! Кетлинг готов до утра говорить вам о любви, но помните, козочки, что он устал с дороги.

– Я не устал, я два дня отдыхал в городе. Но я боюсь, что вы не привыкли ложиться поздно, ваць-панни!

– Слушая вас, не заметишь, как пройдет ночь! – сказала Кшися.

– Нет ночи там, где светит солнце! – ответил Кетлинг.

После этого они разошлись, потому что было действительно поздно. Девушки спали вместе и обыкновенно долго разговаривали перед сном, но в этот вечер Бася никак не могла добиться ни одного слова от Кшиси; насколько Басе хотелось говорить, настолько Кшися была молчалива и отвечала ей только полусловами. И несколько раз, когда Бася говорила о Кетлинге, начинала острить, подшучивая над ним и слегка его передразнивая, Кшися нежно обнимала ее за шею и просила оставить эти шалости.

– Ведь он здесь хозяин, Бася, – говорила она, – мы живем под его кровом.. И я заметила, что он сразу полюбил тебя.

– Откуда ты знаешь? – спросила Бася.

– Да кто же не полюбит тебя? Тебя все любят... и я... очень!..

Сказав это, приблизила свое прекрасное лицо к лицу Баси, прижалась к ней и целовала ее глаза.

Наконец они улеглись, но Кшися долго не могла заснуть. Ее охватило беспокойство. Минутами сердце билось так сильно, что она клала руку на грудь, чтобы сдержать его биение. Минутами, когда она пробовала закрыть глаза, ей казалось, что чья-то прекрасная, как мечта, голова склоняется над нею, а тихий голос шепчет ей на ухо:

– Ты мне дороже королевства, скипетра, здоровья, многолетней жизни...

XII

Несколько дней спустя пан Заглоба написал Скшетускому письмо; оно начиналось так:

«Если я не вернусь до выборов, не удивляйтесь! Это произойдет не от недостатка расположения к вам; дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы у меня вместо синицы в руке осталось что-нибудь не весьма приличное. Плохо будет, если, когда Михал вернется, мне не придется сразу сказать ему: «Та сосватана, а гайдучок свободен!» Все в руках Божьих, но думаю, что тогда пана Михала не нужно будет подталкивать и делать длинные приготовления, и что к вашему приезду он уже сделает предложение. Между тем (по примеру Одиссея) мне придется хитрить и кое-что прикрашивать, а это мне нелегко, ибо я всю жизнь ценил правду больше всего и только ею и жил. Но для пана Михала и для гайдучка я готов и на это, ибо оба они – чистое золото. Засим обнимаю вас и вместе с детьми прижимаю к сердцу и поручаю всех вас Господу Богу!»

Окончив письмо, пан Заглоба посыпал его песком; хлопнул по письму рукой, прочел его еще раз, держа далеко от глаз, потом сложил лист, снял с пальца перстень, поспешил его и собрался запечатывать письмо, как вдруг вошел Кетлинг.

– Здравствуйте, ваша милость.

– Здравствуй, здравствуй! – ответил пан Заглоба. – Погода, слава богу, прекрасная, я хочу послать нарочного к Скшетуским.

– Кланяйтесь от меня.

– Я уже это сделал. Я сейчас же подумал, надо послать поклон и от Кетлинга. Оба они обрадуются, получив хорошие вести. А я поклонился им и от тебя еще потому, что все мое письмо написано им о тебе и о паннах.

– Как так? – спросил Кетлинг.

Заглоба положил обе руки на колени и начал перебирать пальцами. Потом наклонил голову и, взглянув исподлобья на Кетлинга, сказал:

– Милый Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы угадать, что там, где есть кремень и огниво, рано или поздно посыплются и искры. Ты красавец из красавцев, а девушек сам видел!..

Кетлинг сильно смутился.

– Надо иметь бельма на глазах или быть диким варваром, – ответил он, – чтобы не видеть их красоты и не преклониться перед нею!

– Ну, вот видишь! – сказал Заглоба, с улыбкой глядя на вспыхнувшее лицо

Кетлинга. – Но только, если ты не варвар, то не гонись за обеими: так делают только турки!

– Как вы можете предполагать?!

– Я ничего не предполагаю, я просто говорю... Ах, предатель! Ты им так напел про любовь, что Кхися третий день ходит бледная, точно после болезни. Да и не диво! Сам я, когда был молод, простаивал на морозе с лютней под окнами одной чернушки (на Дрогоевскую была похожа!) и, помнится, пел:

Ты, ваць-панна, спишь давно,
Я ж смотрю в твое окно,
Млею и бледнею...

Если хочешь, то я научу тебя этой песенке или сочиню другую, новую – у меня на это талант есть! Ты заметил, что Дрогоевская напоминает прежнюю панну Биллевич, только у той волосы как лен и нет пушка над губой; но многие находят в этом особенную красоту и считают за редкость! Она смотрит на тебя очень благосклонно. Я об этом и писал к Скшетуским. Не правда ли, она похожа на Биллевич?

– В первую минуту я не заметил этого сходства, но возможно... Ростом и фигурой напоминает.

– А теперь слушай, что я скажу: я тебе открою семейные тайны, и так как ты друг, то ты должен все знать. Смотри, не отплати Володыевскому неблагодарностью – мы оба с пани Маковецкой предназначаем для него одну из этих девушек.

Тут пан Заглоба стал пристально, в упор смотреть Кетлингу в глаза; тот побледнел и спросил:

– Которую?

– Дрогоевскую, – медленно ответил Заглоба.

И, оттопырив нижнюю губу и насупив брови, он начал моргать своим здоровым глазом.

Кетлинг молчал до тех пор, пока пан Заглоба не спросил:

– Ну, что ты на это скажешь, а?

Кетлинг ответил изменившимся голосом, но твердо:

– Будьте уверены, что я сумею справиться со своим сердцем, чтобы не вредить Михалу!

– Ты уверен в этом?

– Я много выстрадал в жизни, – ответил рыцарь, – но, даю рыцарское слово, я сумею справиться.

Тут пан Заглоба раскрыл свои объятия.

– Кетлинг! Нечего справляться с сердцем – дай ему волю, сколько хочешь, я только хотел испытать тебя! Не Дрогоевскую, а гайдучка мы предназначили Михалу.

Лицо Кетлинга просияло искренней и глубокой радостью; он схватил пана Заглобу в объятия и потом спросил:

– Они впрямь любят друг друга?

– А кто может не любить моего гайдучка? Кто? – возразил Заглоба.

– Значит, и обручение уже было?

– Обручения еще не было, потому что Михал только что оправился от своего горя, но непременно будет... Положись на меня! Девушка хоть вывертывается, как змейка, но она к нему очень расположена: сабля у нее – первое дело!

– Я это заметил, ей-богу! – перебил его просиявший Кетлинг.

– Ага, заметил! Михал еще ту оплакивает, но если уж кого-нибудь полюбит, то, конечно, гайдучка, она на ту похожа, только не так глазами стреляет, потому что моложе. Ну что, не правда ли, все хорошо устраивается? Головой ручаюсь, что во время выборов у нас две свадьбы будет.

Кетлинг, не говоря ни слова, опять обнял пана Заглобу и так долго прижимал свое прекрасное лицо к его красным щекам, что тот начал сопеть и спросил:

– Неужели Дрогоевская так сильно запала тебе в сердце?

– Не знаю, не знаю! – ответил Кетлинг. – Знаю только то, что лишь ее небесные черты пленили мои глаза, я тотчас же сказал себе, что только ее одну могло бы еще полюбить мое истерзанное сердце, – и в эту ночь, спугнув сон воздыханиями, я предался сладостной тоске. С тех пор она овладела моим существом, как владеет царица верным и преданным народом. Любовь ли это или что-нибудь другое, не знаю!

– Но знаешь, что это не шапка, не три аршина сукна на штаны, не подпруга, не чересседельник, не яичница с колбасой, не фляга с водкой. Если ты в этом уверен, то об остальном спроси Клшсю, а если хочешь, то я спрошу!

– Не делайте этого! – сказал с улыбкой Кетлинг. – Если мне суждено Утонуть, то пусть хоть несколько дней еще мне будет казаться, что я плыву!

– Вижу, что шотландцы молодцы на войне, но в любви никуда не годятся. Женщину, как врага, натиском брать надо. *Veni, vidi, vici!*[14] – вот было мое правило.

– Со временем, если самые пламенные желания мои исполнятся, я, может быть, попрошу у вас вашей дружеской помощи. Хотя я и приобрел права гражданства, хотя в жилах моих и течет благородная кровь, но имя мое здесь неизвестно, и я не знаю, согласится ли пани Маковецкая...

– Пани Маковецкая? – перебил Заглоба. – Ну, ее ты не бойся] Она настоящая табакерка с музыкой. Как я ее заведу, так она и заиграет. Я сейчас к ней пойду. Надо ее предупредить, чтобы она не косилась на твои ухаживания за Кшисей, а то вы, шотландцы, больно уж чудно ухаживаете; конечно, я сейчас не сделаю предложения от твоего имени, но только намекну, что девушка тебе по сердцу и что стоит заварить кашу. Ей-богу, сейчас пойду, а ты уж не бойся. Я ведь могу говорить, что мне угодно.

И несмотря на то, что Кетлинг все еще удерживал его, он встал и ушел. По дороге он натолкнулся на бежавшую куда-то Басю и сказал ей:

– Знаешь, Кшися совсем с ума свела Кетлинга!

– Не его одного, – ответила Бася.

– А ты на это не злишься?

– Кетлинг кукла! Учтивый кавалер, но кукла!.. Я ушибла колено о дышло, вот в чем дело!

Тут Бася нагнулась и стала растирать колено, не сводя в то же время глаз с пана Заглобы, а он сказал ей:

– Ради бога, будь осторожнее. Куда ты теперь бежишь?

– К Кшисе.

– А что она делает?

– Она? Вот уже несколько дней, как целует меня с утра до вечера и ласкается, как кошечка.

– Не говори же ей, что она Кетлинга с ума свела.

– Ну да! Уж будто я выдержу!

Пан Заглоба отлично знал, что Бася не выдержит, и только потому и запретил ей говорить.

Он пошел дальше, довольный своей хитростью, а Бася, как бомба, влетела к Дрогоевской.

– Я ушибла себе колено, а Кетлинг от тебя без ума! – воскликнула она еще с порога. – Я не заметила, что из каретного сарая дышло торчит, и бац! У меня из глаз искры посыпались, но это ничего! Пан Заглоба просил тебе не говорить. Разве я тебе не говорила, что так будет? Я тебе давно предсказывала, а ты говорила, что он на меня заглядывается. Не бойся, я тебя знаю! А все-таки болит! Я не говорила, что пан Нововойский на тебя заглядывается, но Кетлинг, ого! Он теперь ходит по всему дому, держится за голову и сам с собой разговаривает. Ну и Кшися!

– Бася! – воскликнула Дрогоевская.

– А Кетлинг – как кот в сапогах!

– Какая я несчастная! – вдруг воскликнула Кшися и залилась слезами. Бася сейчас же принялась утешать ее, но это ей не удалось, и девушка разрыдалась, как никогда еще в жизни не рыдала. И, действительно, никто в доме не знал, как она была несчастна. Уже несколько дней она была в лихорадке, побледнела; глаза впали, грудь вздымалась прерывистым дыханием, с ней произошло что-то странное; ею овладела какая-то немочь, и не постепенно, а сразу: подхватила, как вихрь, как буря распалила ее кровь огнем, ослепила, как молния. Она ни на минуту не

могла противиться этой силе, столь беспощадной и внезапной. Спокойствие покинуло ее. Воля ее была, как птица с надломленными крыльями...

Она сама не знала, любит ли она Кетлинга или ненавидит. И ужас наполнял ее сердце, когда она задавала себе этот вопрос, но она чувствовала, что ее сердце билось сильнее только из-за него, что все беспорядочные мысли ее – о нем; что он всюду – в ней и вне ее. И не было никакой возможности спастись от этого. Легче было его не любить, чем не думать о нем; глаза упились его красотой, уши заслушались его словами – вся душа была пропитана им... Даже сон не освобождал ее от этого преследователя; чуть, бывало, она закрывала глаза, тотчас к ней наклонялся он и шептал: «Ты мне дороже королевства, скипетра, славы, богатства». И лицо его было так близко, так близко, что даже в темноте щеки ее пылали ярким румянцем. Дрогоевская была русинка с горячей кровью, какой-то неведомый ей доселе огонь горел в ее груди, огонь, о существовании которого она и не подозревала; ею овладевал и страх, и стыд, и какая-то истома, мучительная и вместе с тем сладкая. И даже ночью она не знала отдыха. Она чувствовала все большее утомление, точно после тяжелого труда.

– Кшися, Кшися, что с тобой творится? – спрашивала она себя. Но она была в каком-то оцепенении, в каком-то дурмане...

Ничего еще не случилось, ничего не произошло, с Кетлингом они до сих пор не обменялись ни одним словом наедине, и хотя он всецело овладел ее мыслями, но какой-то инстинкт подсказывал ей: «Избегай его, остерегайся!», и она избегала.

О том, что она обручена с Володыевским, она не думала, и это было ее счастье; она не думала, потому что еще ничего не случилось, и она ни о ком, кроме Кетлинга, – ни о себе, ни о других, – не думала.

Она все это скрывала в глубине души, а мысль, что никто не догадывается о том, что происходит с ней, что ее отношением к Кетлингу не интересуются, доставляла ей немалое облегчение. Вдруг слова Баси убедили ее, что дело обстоит иначе, что люди на них смотрят, мысленно их соединяют, догадываются. И боль, и стыд, и горе сломили ее волю, и она расплакалась, как дитя.

Но слова Баси были только началом тех намеков, многозначительных взглядов, подмигиваний, покачиваний головою и всего подобного, что ей предстояло еще перенести. Началось это за обедом. Пани Маковецкая стала поглядывать то на нее, то на Кетлинга, чего раньше никогда не делала. Заглоба многозначительно покашливал. По временам разговор обрывался ни с того ни с сего, и наступало тяжелое молчание, а во время одного из таких перерывов шалуныя Бася вдруг закричала во весь голос:

– А я что-то знаю, да не скажу!

Кшися тотчас вспыхнула, потом побледнела, точно какая-то страшная опасность повисла над нею. Кетлинг тоже опустил голову. Оба прекрасно чувствовали, что это относится к ним, хотя и избегали говорить друг с другом, хотя она и остерегалась даже смотреть на него; для обоих было ясно, что между ними что-то завязывается, возникает какая-то неопределенная общность смущения, которая их и сближает, и отдаляет, лишая их свободы в обращении друг с другом и возможности быть друзьями. К их счастью, на слова Баси никто не обратил особенного внимания, так как пан Заглоба собирался в город и должен был вернуться с большой компанией рыцарей, и все были этим заняты.

Вечером дом Кетлинга был ярко освещен; приехало много военных, а гостеприимный хозяин нанял музыкантов для увеселения дам. Великий пост и траур Кетлинга не позволили устроить танцы, а потому все только разговаривали и слушали музыку. Дамы оделись по-праздничному: пани Маковецкая надела платье из восточного шелка, гайдучок нарядился во что-то пестрое и приковывал глаза воинов своим розовым личиком и светлыми волосами, которые по-прежнему все спадали на глаза. Он смешил всех решительностью своих ответов и своими манерами, в которых казацкая смелость соединялась с непринужденной грацией.

Кшися, траур которой по отцу кончался, была одета в белое платье, шитое серебром. Рыцари сравнивали ее – одни с Юноной, другие с Дианой, но никто не подходил к ней близко, никто, глядя на нее, не покручивал усов, не шаркал ногами, не отбрасывал откидных рукавов кунтуша, никто не бросал на нее страстных взглядов и не говорил с ней о чувстве. Зато она заметила, что те, кто глядел на нее с восхищением и удивлением, сейчас же переводили глаза на Кетлинга. Некоторые из них подходили к нему, пожимали ему руку, точно с чем-то поздравляя его; Кетлинг только пожимал плечами, разводил руками и как будто от чего-то отказывался. Кшися, от природы впечатлительная и догадливая, была почти уверена, что речь идет о ней, что ее считают его невестой. А так как она не знала, что пан Заглоба уже успел кое-что шепнуть каждому из них, то она ломала себе голову, откуда могло явиться подобное предположение.

«Неужели у меня что-нибудь на лбу написано?» – с беспокойством думала она, смущенная и огорченная.

А тут до нее стали долетать слова, как будто и не относившиеся к ней, но произносимые громко: «Счастливец Кетлинг... В сорочке родился... И неудивительно... Ведь и красавец же!..»

Иные учтивые кавалеры, желая занять ее и сказать что-нибудь приятное, говорили ей о Кетлинге, восхваляли его, превозносили его храбрость, деловитость, светскость и знатное происхождение. А Кшися волей-неволей должна была все это слушать, и ее глаза невольно искали того, о ком шла речь, и иной раз их глаза встречались. И тогда очарование охватывало ее с новой силой, и, сама того не сознавая, она упивалась его видом. О, насколько отличался Кетлинг от всех этих грубых солдат! «Это королевич среди своих придворных», – думала Кшися, глядя на его благородную, аристократическую голову, на его гордые глаза, полные какой-то врожденной меланхолии, на его белый лоб, оттененный светлыми волосами. И сердце ее млело и замирало, точно эта голова была для нее дороже всего на свете. Он это видел и, не желая увеличивать ее смущения, подходил к ней лишь тогда, когда кто-нибудь другой сидел возле нее. Если бы она была королевой, то и тогда он не мог бы выказывать ей большего уважения и большего внимания. Говоря с ней, он наклонял голову и отодвигал одну ногу, желая дать ей понять, что готов преклонить перед нею колена. Он говорил с нею серьезно, не позволяя себе ни малейшей шутки, хотя с Басей, например, он рад был пошутить. В его обращении с нею было и величайшее уважение, и оттенок какой-то нежной грусти; и благодаря такому обращению никто не позволил себе никакой смелой шутки, никакого намека, как будто у всех было убеждение, что эта панна по своим достоинствам и по своему происхождению стоит выше всех и что в обращении с нею нужна особенная учтивость.

За все это Кшися была ему от души благодарна. И вообще, этот вечер прошел для нее хотя и тревожно, но и сладостно. Когда наступила полночь и музыка перестала играть, дамы простились с обществом, а в компании воинов стали кружить чарки и

началось шумное веселье, – пан Заглоба занял председательское место. Бася вернулась вверх веселая, как птичка. Она много веселилась в этот вечер, и прежде чем начать молиться, стала шалить, болтать, передразнивать гостей, наконец сказала Кшисе, захлопав при этом в ладоши:

– Как хорошо, что твой Кетлинг приехал. По крайней мере, в рыцарях у нас недостатка не будет. О, пусть только кончится пост, мы натанцуемся до упаду! Вот повеселимся!.. А на твоём обручении с Кетлингом, на твоей свадьбе! Если я не переверну дома вверх дном, то пусть меня татары в плен возьмут! Вот бы хорошо было, если бы нас в самом деле взяли! Что бы тогда было, а? Добрый Кетлинг! Для тебя он музыкантов зовет, но этим и я пользуюсь. Еще много чудес натворит он для тебя, пока, наконец, не сделает так...

Сказав это, Бася вдруг бросилась на колени перед Кшисей и, обняв ее, стала говорить, подражая низкому голосу Кетлинга:

– Ваць-панна, я люблю вас так, что дышать не могу... Я вас люблю и пешком, и на коне, и натошак, и поевши, и на веки, и по-шотландски... Хочешь ли быть моей?

– Бася, я рассержусь! – восклицала Кшися.

Но вместо того чтобы рассердиться, она схватила ее в объятия и, делая вид, что старается поднять ее, стала целовать ее глаза.

XIII

Пан Заглоба прекрасно знал, что маленького рыцаря больше тянуло к Кшисе, чем к Басе, но потому-то он и решил отстранить от него Кшисю. Зная Володыевского, он был уверен, что, когда у него не будет выхода, он непременно обратится к Басе, которой старый шляхтич был так очарован, что не мог допустить и мысли, чтобы кто-либо предпочел ей другую. Он полагал, что не может оказать Володыевскому большей услуги, как сосватав ему своего гайдучка, и он приходил в восторг при мысли об этой паре. На Володыевского он был зол так же, как и на Кшисю. Конечно, он предпочитал, чтобы пан Михал женился хоть на Кшисе, чем если бы совсем не захотел жениться; но он решил употребить все усилия, чтобы женить его на гайдучке.

И именно потому, что он знал влечение маленького рыцаря к Дрогоевской, он решил как можно скорее сделать ее женой Кетлинга.

Но ответ, который он несколько дней спустя получил от Скшетуского, отчасти поколебал его решимость. Скшетуский советовал ему ни во что не вмешиваться. Он боялся, как бы между друзьями не вышло ссоры; этого, конечно, не желал и сам пан Заглоба. И тут-то его стали мучить упреки совести, но он успокаивал себя следующими словами:

– Если бы Михал с Кшисей были уже помолвлены и я бы клином вставил между ними Кетлинга, то и говорить нечего! Соломон сказал: «Не суй носа, куда не надо», и он прав. Но ведь желать добра каждому можно. Да и говоря правду, что же я сделал такого? Пусть мне скажут, что я сделал?

Сказав это, пан Заглоба подбоченился, оттопырил губу и стал вызывающе глядеть на стены своей комнаты, точно ждал от них упреков, но так как стены ничего не ответили, то он продолжал:

– Я сказал Кетлингу, что гайдучка предназначаю Михалу. Разве мне этого нельзя? Может быть, это неправда? Если я Михалу желаю кого-нибудь другого, то пусть меня подагра мучит!

Стены своим молчанием выразили полное согласие с паном Заглобой. А он продолжал:

– Я сказал гайдучку, что Дрогоевская очаровала Кетлинга, разве это неправда? Разве он в этом не признался? Разве он не вздыхал, сидя у печки, так, что оттуда даже пепел вылетал в комнату. Что я сам видел, то и другим сказал. Скшетуский – человек практичный, но ведь и у меня ума хватит. Я сам знаю, что можно сказать и о чем лучше умолчать... Гм... пишет, чтобы я ни во что не вмешивался. Пусть будет так. Я не буду слишком вмешиваться в это дело, но если мы когда-нибудь с Кшисей и Кетлингом останемся в комнате, то я уйду и оставлю их наедине. Пусть справляются сами. И я думаю, что они справятся! Им ничьей помощи не нужно. И так, как только они друг друга увидят, у них глаза закатываются. Вдобавок весна идет, а в это время не только солнце начинает припекать, но и страсти. Хорошо, я оставлю, а потом увидим, каков будет результат.

И результат должен был вскоре наступить. На Страстной неделе все общество из дома Кетлинга переехало в Варшаву, остановилось в гостинице на Длугой улице, чтобы быть поближе к костелам, вволю помолиться и в то же время посмотреть на праздничную жизнь города. Кетлинг и здесь продолжал играть роль хозяина; хотя по происхождению он был иностранец, но столицу он знал лучше всех, и всюду у него было много знакомых, при помощи которых он все мог уладить. Он был необычайно предупредителен и почти угадывал мысли дам, в особенности Кшиси. И все они искренне его любили. Пани Маковецкая, уже раньше предупрежденная паном Заглобой, все благосклоннее смотрела на него и на Кшису, и если она ничего до сих пор не говорила девушке, то только потому, что Кетлинг все еще молчал. Доброй тетушке казалось весьма естественным и приличным, что молодой кавалер ухаживает за девушкой, тем более что это был блестящий кавалер, который не только со стороны низших, но и со стороны высших всюду встречал уважение и дружбу: так он умел привлекать к себе всех своей необыкновенной наружностью и обхождением, серьезностью, щедростью, кротостью в мирное время и храбростью во время войны.

«Будет, как Богу угодно и как муж решит, – думала пани Маковецкая, – но я им мешать не буду».

И благодаря этому решению Кетлинг теперь чаще оставался с Кшисей, чем в собственном доме. Впрочем, все общество проводило время вместе.

Заглоба обыкновенно предлагал руку пани Маковецкой, Кетлинг – Кшисе, а Бася, как самая младшая, бежала одна, то опережая всех, то останавливаясь перед лавками, чтобы поглядеть на товары и на всякие заморские чудеса, которых до сих пор никогда не видала. Кшися мало-помалу освоилась с Кетлингом; теперь, когда она опиралась на его руку, слушала его разговор и смотрела на его благородное лицо, сердце ее уже не билось с прежней тревогой, она не лишалась самообладания, не терялась, но ощущала какое-то сладостное упоение. Они постоянно были вместе: в церкви они рядом становились на колени, голоса их сливались в молитве и благочестивом пении.

Кетлинг прекрасно знал состояние своего сердца; Кшися, по недостатку ли храбрости или, быть может, желая себя обмануть, ни разу не сказала себе: «Я люблю его», но оба они полюбили друг друга крепко.

Кроме того, между ними завязалась и сильная дружба, о любви они никогда не говорили друг с другом, и время у них проходило, как чудный сон, как безоблачный день.

Вскоре для Кхиси его должны были заслонить темные тучи упреков совести, но пока еще она была спокойна. Благодаря тому, что она освоилась с ним, благодаря той дружбе, которая расцвела из их любви, тревоги Кхиси кончились, впечатления были уже не так сильны, улеглись порывы крови и воображения. Они были неразлучны, им было хорошо вместе, и Кхися, отдавшись всей душой настоящему, не хотела думать о том, что когда-нибудь все это кончится и что достаточно одного слова Кетлинга «люблю», чтобы навсегда рассеять эти иллюзии.

Слово это вскоре было произнесено. Однажды, когда пани Маковецкая с Басей поехали к больной родственнице, Кетлинг уговорил Кхисю и пана Заглобу отправиться осмотреть королевский замок, который Кхися еще не видала и про который во всей стране рассказывали так много чудес.

Они отправились втроем. Щедрость Кетлинга открыла им все двери, слуги встречали Кхисю с такими низкими поклонами, точно она была королевой и входила в свой собственный замок; Кетлинг, хорошо знавший замок, водил ее по великолепным залам и покоем. Они осматривали театр, королевские бани, останавливались перед картинами, изображавшими сражения и победы Сигизмунда и Владислава над восточными дикарями. Выходили на террасы, откуда открывался далекий вид. Кхися приходила все в больший восторг, а он объяснял ей каждую вещь, и лишь порой умолкал и смотрел в ее темно-синие глаза; казалось, взгляд его говорил: «Что значат эти сокровища в сравнении с тобою». Девушка понимала его немую речь. Потом он ввел ее в одну из королевских комнат и, остановившись перед потайной дверью в стене, сказал:

– Через эту дверь можно дойти до собора. Это длинный коридор, который кончается галереей недалеко от главного алтаря. С этой галереи их величества обыкновенно слушают обедню.

– Я прекрасно знаю эту дорогу, – ответил Заглоба, – я был хорош с Яном Казимиром, и Мария Людвики меня также очень любила, и оба они часто приглашали меня к обедне, чтобы потом проводить время в моем обществе.

– Не хотите ли войти? – спросил Кетлинг Кхисю, в то же время дав знать слуге, чтобы тот открыл дверь.

– Войдемте, – сказала Кхися.

– Идите одни, – отозвался пан Заглоба, – вы молоды, у вас ноги здоровые, а я довольно уже находился. Идите, идите, я останусь здесь со сторожем. Если вы там и помолитесь, я сердиться не буду, – отдохну за это время.

Они пошли. Он взял ее под руку и повел по длинному коридору. Он не прижимал ее руки к сердцу, шел спокойный и сосредоточенный. Временами сквозь боковые окна пробивался слабый свет, временами они тонули в полном мраке. Сердце Кхиси билось слегка: в первый раз они остались наедине. Но его спокойствие и нежность успокаивали ее. Наконец, они вошли в галерею, находившуюся с правой стороны костела, за решеткой, недалеко от главного алтаря. Преклонив колени, они стали молиться. В костеле было пусто и тихо. Две свечи горели у главного алтаря, но глубина костела была погружена в торжественный полумрак. И только свет,

проникавший сквозь разноцветные стекла окон, падал на два прекрасных лица, погруженных в молитву, спокойные, похожие на лица херувимов.

Кетлинг встал первый и, не смея возвышать голоса в церкви, заговорил шепотом:

– Посмотрите на бархатные спинки сидений, на них следы, где опирались головы короля и королевы. Королева садилась с этой стороны, поближе к алтарю. Отдохните на ее месте.

– Правда ли, что она всю жизнь была несчастна? – прошептала Кшися, садясь.

– Историю ее я слышал еще ребенком, ее рассказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она действительно была несчастна, ибо не могла выйти за того, кого любила.

Кшися прислонила голову к тому самому месту, спинка которого была слегка вдавлена головой Марии Людвики, и закрыла глаза; какое-то тяжелое чувство стеснило ей грудь; из пустынной глубины костела пахло холодом, и это смутило покой, которым до тех пор было проникнуто все ее существо.

Кетлинг смотрел на нее молча; в костеле было необыкновенно тихо... Этим он медленно опустился к ногам Кшиси и стал говорить взволнованным, хотя и спокойным голосом.

– Это не грех, что в этом святом месте я стал перед вами на колени, ибо куда как не в церковь приходит чистая любовь за благословением... Я люблю вас больше жизни, больше всех благ земных, люблю всем сердцем, всей душой и здесь перед этим алтарем я открываю вам мою любовь...

Кшися побелела как полотно. Она сидела, прислонив голову к бархатной спинке кресла, и не могла шевельнуться.

– Я обнимаю твои колени и умоляю решить мою участь: уйти ли мне с неземной радостью или с бесконечной скорбью, коей перенести я не буду в силах.

Тут он с минуту ждал ответа, но ответа не было. И он склонил голову так низко, что она почти касалась Кшисиных ног, его волнение все возрастало, голос его дрожал, точно он задышался.

– В руки твои я предаю свое счастье и свою жизнь... Я жду от тебя сострадания, ибо мне тяжело...

– Будем молиться о милосердии Божьей! – воскликнула вдруг Кшися, опускаясь на колени.

Кетлинг не понял, но он не смел противиться ее желанию и, полный тревоги, стал около нее на колени, и они начали молиться.

В пустом костеле послышались возгласы, которым эхо придавало какой-то странный и скорбный оттенок.

– Боже, будь милостив к нам! – воскликнула Кшися.

– Боже, будь милостив к нам! – повторил Кетлинг.

– Господи, помилуй нас!

– Господи, помилуй нас!

Потом она молилась про себя, но Кетлинг видел, что она вся трясется от рыданий. Долго она не могла успокоиться, а когда пришла в себя, то еще долго и неподвижно стояла на коленях. Наконец, встав, она сказала:

– Пойдемте.

Они опять вошли в длинный коридор. Кетлинг ожидал, что по дороге она даст ему какой-нибудь ответ, и смотрел ей в глаза, но напрасно. Она шла очень быстро; казалось, она спешила очутиться в той комнате, где их ждал пан Заглоба.

Когда дверь была уже в нескольких шагах, Кетлинг схватил ее за край платья.

– Панна Кристина, – сказал он, – заклинаю вас всем святым...

Тогда Кшися повернулась и, схватив его руку так быстро, что он не успел отдернуть, прижала ее к своим губам:

– Я люблю тебя всю душой, но твоей никогда не буду!

И прежде чем ошеломленный Кетлинг успел опомниться, она прибавила:

– Забудь обо всем, что было!

И они вошли в комнату. Привратник спал в одном кресле, а пан Заглоба в другом. Но при их появлении они проснулись. Заглоба открыл глаза и стал моргать, так как еще не совсем пришел в себя. Но мало-помалу он окончательно очнулся.

– А, это вы! – сказал он, опуская пояс. – Снилось мне, что выбрали нового короля, но это был Пяст. Вы были в галерее?

– Да.

– А душа Марии Людвики вам не являлась?

– О нет! – ответила Кшися глухим голосом.

XIV

Кетлинг был так изумлен поведением Кшиси, что ему необходимо было собраться с мыслями, а потому у ворот он простился с нею и с Заглобой, и те вдвоем отправились в гостиницу. Бася с Маковецкой уже вернулись от больной, и пани Маковецкая встретила Заглобу следующими словами:

– Я получила письмо от мужа; он до сих пор в станице у пана Михала. Оба здоровы и скоро будут здесь. Михал прислал и вам письмо, а мне только приписку в письме мужа. Муж пишет, что недоразумения с Шубрами, из-за одного из имений Баси, кончились благополучно. Теперь там уже скоро соберутся сеймики. Он говорит, что там имя пана Собеского имеет огромное значение, а потому и решение сеймика будет согласно с его желанием. Все съезжаются, но наши края будут стоять за маршала коронного... Там уже тепло и дожди пошли... У нас в Верхутце сгорели постройки...

Парень с огнем был неосторожен, а было ветрено...

– Где письмо Михала ко мне? – спросил Заглоба, прерывая этот поток новостей, которые пани Маковецкая выложила, не переводя дух.

– Вот оно! – отвечала она, подавая ему письмо. – А было ветрено, и люди были на ярмарке...

– Как же сюда дошли эти письма? – снова спросил Заглоба.

– Присланы были в дом Кетлинга, а оттуда принес их слуга. И вот, говорю, было ветрено...

– Не хотите ли послушать письмо?

– С удовольствием, пожалуйста...

Пан Заглоба сломал печать и стал читать сначала про себя, а потом уже громко, для всех: «Посылаю вам первое письмо и полагаю, что второго не будет; почта здесь ненадежна, да и сам я, собственной персоной, скоро предстану перед вами. Хорошо здесь, в поле, но сердце мое рвется к вам; нет конца воспоминаниям и размышлениям, благодаря коим мне более приятно уединение, чем общество. Дела мы так и не начинали, орда сидит тихо, только небольшие шайки бушуют в степи, и мы их дважды так ловко прижали, что не выпустили ни одного свидетеля поражения».

– Вот как их вздули! – радостно воскликнула Бася. – Нет ничего лучше военного дела!

«Люди из шайки Дорошенки, – читал дальше Заглоба, – рады бы с нами пошалить, но без орды им никак нельзя. Пленники же говорят, что ни один большой чамбул не тронется, да и я сам думаю, что если бы они что-либо затевали, то это обнаружилось бы уже на деле; травы уже с неделю зеленеют и есть чем кормить лошадей. По оврагам кой-где еще лежит снег, но степь вся зазеленела, дует теплый ветер, от которого лошади начинают линять, а это первый признак весны. Я уже послал за отпуском, жду его со дня на день; как только получу, сейчас же в путь... На сторожевом посту, где и так нечего делать, меня заменит пан Нововейский. Мы с паном Маковецким по целым дням травим лисиц, и то лишь от безделья, ведь весной мех не нужен. И дроф здесь много, слуга мой застрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, сестре целую ручки, а также и панне Клшсе, расположению коей я себя особенно поручаю, и только о том молю Бога, чтобы застать ее такой, как оставил, и чтобы по-прежнему мог я найти в ней утешение. Поклонитесь от меня панне Басе. Нововейский вымещает свою злость за отказ в Мокотове на спинах здешних разбойников: видно, он еще не совсем успокоился. Поручаю вас Богу и его милосердию.

Я купил у проезжавших армян отменный горностаевый мех, этот подарок я привезу панне Кшисе, а для нашего гайдучка найдутся турецкие лакомства».

– Пусть пан Михал сам их съест, я не ребенок! – отозвалась Бася, щеки которой вспыхнули от внезапной досады.

– Так ты не рада увидеть его? Ты сердисься на него? – спросил Заглоба. Но она что-то тихонько проворчала и погрузилась в гневные мысли о том, как пренебрежительно относится к ней пан Михал. Но потом она вспомнила о дрофах и о

пеликане, который сильно ее заинтересовал.

Во время чтения Кхися сидела с закрытыми глазами. К счастью, она отвернулась от света, и присутствующие не могли видеть ее лица, иначе они сейчас бы догадались, что с ней происходит что-то необыкновенное. То, что произошло в костеле, а потом письмо пана Володыевского было для нее как два удара обухом. Чудный сон рассеялся, и с этой минуты девушка стала лицом к лицу с действительностью, тяжелой как само несчастье. Она не могла сразу собраться с мыслями, и лишь неясные, смутные чувства теснились в ее сердце. Володыевский вместе с его письмом, с его уведомлением о приезде, с его горностаевым мехом казался ей пошлым, почти отвратительным. Но зато никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Дорога была даже самая мысль о нем. Дороги были и его слова, и его милое лицо, дорога была его печаль. И вот придется оторваться от любви, от поклонения, от того, к кому рвется сердце и тянутся руки; оставить любимого человека в отчаянии, в вечной печали и в горе и отдать душу и телом другому, который уже от одного того, что он другой, становится ей теперь почти ненавистным.

– Я не могу! Я не могу! – повторяла в душе Кхися. И чувствовала то, что чувствует пленница, когда ей связывают руки. Но ведь она сама себя связала, ведь могла же она раньше сказать Володыевскому, что будет ему сестрой, но не больше. Тут ей вспомнился тот поцелуй, на который она ответила. И ее охватил стыд и презрение к самой себе. Разве она тогда любила Володыевского? Нет, в ее сердце не было любви – было только сочувствие, любопытство, кокетство под личиной родственного чувства. Теперь только она узнала, что между поцелуем по любви и поцелуем от волнения крови такая разница, как между ангелом и дьяволом. Вслед за презрением к себе ее охватил гнев, и гордость ее восстала против Володыевского. И он тоже был виноват, почему же страдать должна только одна она? Почему и ему не отведать этого горького хлеба? Разве она не вправе сказать ему, когда он вернется:

– Я ошиблась... Сострадание к вам я приняла за любовь. Ошиблись и вы! Теперь оставьте меня, как я вас оставляю...

Но вдруг, от страха перед местью грозного рыцаря, волосы встали дыбом. Страх не за себя, а за жизнь того, на кого должна была обрушиться эта месть. В воображении ее встал Кетлинг, который выходит биться с этим рубакой из рубак...

Вот он падает, как падает подкошенный косою цветок; она видит его кровь, его бледное лицо, его навеки закрытые глаза. И ее страдания стали невыносимы. Она поспешно встала и ушла в свою комнату, чтобы избежать чужих взглядов, чтобы не слышать разговоров о Володыевском и о его скором приезде. В ее сердце все сильнее закипала злоба на маленького рыцаря. Но скорбь и раскаяние пошли вслед за нею; они не оставляли ее даже во время молитвы; они не оставляли и в постели, когда она легла в нее усталая и измученная.

– Где-то он теперь? – говорила скорбь. – Вот видишь, он до сих пор не вернулся домой. Он бродит в ночи, заламывает руки. Ты бы готова дать ему рай, пролить за него всю кровь свою, а вместо этого ты напоила его ядом, вонзила нож в его сердце...

– Если бы не твоё легкомыслие, не желание завлекать первого встречного, – говорило раскаяние, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе осталось только отчаяние. Твоя вина, твоя великая вина! Для тебя уже нет спасения, только стыд, боль и слезы!

А скорбь говорила:

– Как он стоял перед тобой на коленях... Странно, что не разорвалось твое сердце... Он смотрел тебе в глаза, умоляя о жалости. Если ты пожалела того, чужого, как же ты могла не пожалеть его, любимого! Боже, благослови его! Боже, утешь его!

– Если бы не твое легкомыслие, он ушел бы теперь радостный, счастливый, – повторяло раскаяние, – и ты могла бы броситься в его объятия и пойти за ним, как избранная жена.

– И вечно быть с ним! – прибавила скорбь.

А раскаяние:

– Твоя вина. А скорбь:

– Плачь, Кшися, плачь!

– Этим вины не загладишь, – убеждало раскаяние.

И снова скорбь:

– Делай что хочешь, но утешь его!

– Володыевский убьет его! – ответило тотчас раскаяние.

Кшисю бросило в холодный пот, и она села на кровать.

Яркий свет луны вливался в комнату, и она в этом свете казалась какой-то странной и страшной.

«Что это? – думала Кшися. – Вон там спит Бася, луна освещает ее лицо, я вижу ее, а я и не знаю, когда она пришла, когда разделась и легла. Ведь я ни минуты не спала. Видно, моя бедная голова уже ни на что не годна...»

Так раздумывая, она опять легла, но скорбь и раскаяние уселись на краю ее постели, точно два призрака, которые то сливались со светом луны, то опять выплывали из серебристых волн...

– Сегодня я совсем не усну, – сказала про себя Кшися.

И она стала думать о Кетлинге и страдала все больше. Среди ночной тишины вдруг раздался жалобный голос Баси:

– Кшися!

– Не спишь?

– Мне приснилось, что какой-то турок пронзил стрелой пана Михала. Господи боже! Это, конечно, сон! Но я вся дрожу как в лихорадке. Помолимся, чтобы Бог отвратил от него несчастье.

У Кшиси молнией мелькнула в голове мысль: «Хоть бы кто-нибудь застрелил его...» Но

она тотчас же ужаснулась своей злобы, и хотя ей нужно было употребить сверхъестественные усилия, чтобы в эту минуту молиться о счастливом возвращении Володыевского, она сказала:

– Хорошо, Бася.

Потом они обе поднялись с постелей, голыми коленами стали на пол, залитый лунным светом, и начали молиться. Голоса их то повышались, то понижались. Чудилось, будто комната превратилась в монастырскую келью, в которой две белые монахини творят ночные молитвы...

XV

На другой день Кшися была уже спокойнее, потому что среди сбивчивых тропинок и дорог она выбрала себе путь хотя и тяжелый, но верный. Вступив на него, она знала, по крайней мере, куда она идет. Прежде всего она решила повидаться с Кетлингом и в последний раз переговорить с ним, чтобы оградить его от всяких случайностей. Ей это удалось нелегко, так как Кетлинг несколько дней не показывался и даже не возвращался на ночь.

Кшися начала вставать до рассвета и ходить в ближайший доминиканский костел, в надежде встретить там Кетлинга и поговорить с ним без свидетелей.

И действительно, несколько дней спустя она встретила его в воротах.

Заметив ее, он снял шляпу и, молча наклонив голову, стоял без движения. Лицо его было измучено бессонницей и страданиями; глаза впали; на висках появились желтые пятна; нежная кожа его стала прозрачна, как воск, и лицо походило на прекрасный увядающий цветок. При виде его у Кшиси сжалось сердце. И хотя каждый решительный шаг стоил ей многого, ибо от природы она была робка, но все же она первая протянула ему руку и сказала:

– Да утешит вас Господь и да пошлет вам забвение!

Кетлинг взял ее руку, прижал ее к воспаленному лбу, потом к губам, и прижимал ее долго, долго, изо всей силы. Наконец, голосом, в котором слышалась безнадежная грусть, он сказал:

– Для меня нет ни утешения, ни забвения.

Была минута, когда Кшисе нужна была вся сила воли, чтобы от горя не броситься к нему на шею и не воскликнуть: «Я люблю тебя больше всего на свете! Возьми меня!» Долго стояла она молча перед ним, удерживая слезы. Она чувствовала, что если даст волю слезам, то не справится с собой. Но, наконец, поборов себя, она начала говорить спокойно, хотя и очень быстро, так как совсем задышалась:

– Может быть, это принесет вам хоть какое-нибудь облегчение, если я скажу, что не буду ничьей. Я иду в монастырь. Не судите обо мне дурно, ибо я и так несчастна. Обещайте мне, дайте слово, что про вашу любовь ко мне вы не скажете никому, не признаетесь... не откроете того, что было между нами, ни другу, ни родственнику. Это моя последняя просьба. Придет время, когда вы узнаете, почему я так делаю... Но и тогда будьте снисходительны. Сегодня я более ничего не скажу, – мне так тяжело, что не могу... Обещайте мне все это, и это меня утешит, а иначе мне останется только умереть.

– Я обещаю и даю слово, – ответил Кетлинг.

– От всего сердца благодарю вас. Но и при людях старайтесь быть спокойны, чтобы никто ни о чем не догадался. Мне идти пора. Вы так добры, что у меня слов не хватает. Наедине больше не будем видеться, только при людях. Скажите же мне, что вы на меня не сердитесь... Страдание – одно, а гнев – другое... Вы меня уступаете Богу, и никому другому. Помните это.

Кетлинг хотел что-то сказать, но он так страдал, что из груди его вырвался только какой-то неясный звук, похожий на стон; потом он прикоснулся руками к вискам Кшиси и держал так руки несколько минут в знак того, что он ее прощает и благословляет.

Потом они расстались; она пошла в церковь, а он опять на улицу, чтобы не встретиться с кем-нибудь из знакомых.

Кшися вернулась домой только к полудню и, вернувшись, застала там именитого гостя – ксендза подканцлера Ольшовского. Он приехал неожиданно-негаданно с визитом к пану Заглобе, желая, как он сам говорил, познакомиться с столь великим рыцарем, «чи военные доблести служат примером, а ум – руководителем всему рыцарству сей великолепной Речи Посполитой». Пан Заглоба был изумлен, но в то же время и очень доволен, что удостоился такой чести в присутствии дам; он принял гордый вид, краснел, пыхтел, стараясь в то же время показать пани Маковецкой, что он привык к подобным посещениям со стороны самых сановных людей и не придает этому никакого значения.

Когда Кшисю представили прелату, она благоговейно поцеловала его руку и села возле Баси, радуясь при мысли, что никто не прочтет на ее лице следов недавнего волнения.

Между тем ксендз подканцлер так щедро осыпал похвалами пана Заглобу, что казалось, будто он достает их из своих фиолетовых, обшитых кружевами, рукавов.

– Не думайте, ваша милость, – говорил он, – что меня привело сюда лишь любопытство и желание познакомиться с первым среди рыцарей, ибо хотя преклонение перед героями есть лишь справедливая дань, но к тем, кто наряду с мужеством вмещает в себе опытность и быстрый ум, люди стремятся и ради своей собственной пользы.

– Опытность, – скромно заметил пан Заглоба, – особенно в военном деле, должна была прийти с годами, и, быть может, потому покойный пан Конецпольский, отец хорунжего, иной раз и обращался ко мне за советом, как и пан Миколай Потоцкий, и князь Еремия Вишневецкий, и пан Сапега, и пан Чарнецкий; что же касается до прозвища Улисс, то я из скромности никогда не соглашался его принять.

– А между тем оно с вами связано нераздельно: иной раз вместо настоящего имени кто-нибудь скажет «наш Улисс», и все сразу знают, о ком идет речь. И вот потому в теперешние столь тяжелые и превратные времена, когда многие не знают, куда обратиться и за кого стоять, я сказал себе: «Пойду узнаю его мысли, отрешусь от сомнений, выслушаю его просвещенный совет...» Вы понимаете, ваша милость, что я говорю о предстоящих выборах, во время которых оценка кандидатов может быть очень полезна, особенно если она исходит из уст такого человека, как вы. Я слышал, что среди рыцарства с восторгом повторяют ваше мнение о нежелательности кандидатуры иностранцев, заявляющих свои притязания на наш великолепный престол.

В жилах Ваз (говорили вы будто) текла кровь Ягеллонов, и их нельзя было считать чужими, но эти иностранцы (говорили вы будто) не знают наших старопольских обычаев, и не сумеют они уважать нашу свободу, а это легко может привести к неограниченности монаршей власти. Признаюсь, слова эти очень глубоки, но простите, если я спрошу вас: действительно ли вы их произносили или же общественное мнение по привычке уже приписывает самые глубокие мысли именно вам?

– Свидетельницами – эти дамы, – ответил Заглоба, – и хотя материя эта для них не совсем по плечу, все же раз Провидение, непостижимое в своем предопределении, наделило их даром слова наравне с нами, то пусть они выскажутся.

Ксендз подканцлер невольно взглянул на пани Маковецкую, потом на двух прижавшихся друг к другу девушек.

Настало молчание. Вдруг раздался серебристый голос Баси:

– Я не слыхала.

Потом Бася страшно смутилась и покраснела до ушей, тем более что пан Заглоба сейчас же сказал:

– Простите, ваше преподобие! Молода она еще и легкомысленна. Но что касается иностранных кандидатов, то я не раз говорил, что от них много пострадает наша польская свобода.

– И я этого боюсь, – ответил ксендз Олыдовский, – но если бы мы и захотели избрать одного из Пястов, кровь от крови, плоть от плоти наших, то скажите, в какую сторону должно устремиться наше сердце? Ваша мысль о Пясте – великая мысль, и она, как пламя, разливается по всей стране. Ибо везде, где только депутаты не подкуплены на сеймиках, везде кричат: «Пяста! Пяста!»

– Справедливо! Справедливо! – сказал Заглоба.

– Но все же, – продолжал подканцлер, – легче требовать Пяста, чем найти его, а потому не удивляйтесь, если я спрошу вас, кого именно вы имели в виду?

– Кого я имел в виду? – повторил несколько смущенный Заглоба.

И, оттопырив нижнюю губу, он нахмурил брови. Трудно ему было найти ответ: он не только никого не имел в виду, но у него вообще не было тех мыслей, которые навязал ему ловкий подканцлер. Впрочем, он знал и понимал, что подканцлер хочет его склонить на чью-то сторону, и он умышленно стал медлить с ответом, тем более что это льстило его самолюбию.

– Я только принципиально говорил, что нам нужен Пяст, но, по правде говоря, я никого не имел в виду.

– Слышал я и о честолюбивых замыслах князя Богуслава Радзивилла, – пробормотал, как бы про себя, ксендз Ольшовский.

– Пока я жив и дышу, пока есть хоть капля крови в моей груди, этому не бывать! – воскликнул с глубоким убеждением Заглоба. – Я предпочел бы умереть, чем жить среди народа, который может избрать себе в короли предателя и Иуду.

– Это голос не только ума, но и гражданской доблести, – сказал подканцлер.

– Ага, – подумал Заглоба, – ты хочешь меня провести, проведу и я тебя. А Ольшовский продолжал:

– Куда-то приплывешь ты, разбитый корабль отчизны моей? Какие бури, какие скалы ожидают тебя? Плохо нам будет, если иностранец будет твоим рулевым, но, видно, иначе быть не может, если между нами нет более достойного.

Тут он развел свои белые руки, сверкавшие перстнями, и, склонив голову, сказал с покорностью:

– Итак, Конде, герцог лотарингский или нейбургский... Другого выхода нет...

– Этого быть не может. Пяст! – ответил Заглоба.

– Кто же именно? – спросил ксендз. Наступило молчание.

Затем подканцлер заговорил снова:

– Найдется ли хоть один, на избрание которого все согласятся? Где человек, который сразу пришелся бы рыцарству по сердцу и против избрания которого никто не смел бы роптать? Был у нас великий, заслуженный воин, ваш друг, достойный рыцарь, окруженный славой, как солнечным сиянием... Был такой...

– Князь Еремия Вишневецкий! – перебил его Заглоба.

– Да, но он в гробу...

– Но жив его сын! – ответил Заглоба.

Подканцлер закрыл глаза и некоторое время сидел в молчании; вдруг он поднял голову, посмотрел на Заглобу и медленно заговорил:

– Я благодарю Бога, что он вдохновил меня мыслью познакомиться с вами. Да, жив сын великого Еремии, молодой и полный надежд князь; по отношению к нему Речь Посполитая в неоплатном долгу. Но из его громадного состояния ничего не осталось, кроме славы – его единственного наследства. И в наши испорченные времена, когда глаза всех обращены только туда, где золото, у кого хватит смелости выставить его кандидатуру. Вы? Да! Но много ли найдется таких? Неудивительно, если тот, кто всю жизнь свою был героем всех войн, не устрашится и на сейме взяться за правое дело... Но разве другие последуют его примеру?

Тут подканцлер задумался, поднял глаза и продолжал:

– Бог всемогущ! Кому ведомы его пути? Когда я подумаю, как все рыцарство верит вам, я, к моему изумлению, замечаю, что и в мое сердце вступает надежда. Скажите мне откровенно, ваць-пане, существовало ли для вас когда-нибудь что-нибудь невозможное?

– Никогда! – убежденно ответил Заглоба.

– Но не следует сразу и резко ставить эту кандидатуру. Пусть сначала люди привыкнут к звуку этого имени, пусть оно не явится грозным для противников,

пусть лучше над ним посмеются, тогда никто не станет ставить сильных препятствий... Когда противные партии истощат свои силы, пусть эта кандидатура всплывет вдруг наружу... Прокладывайте ей дорогу медленно и не оставляйте этого дела. Это ваш кандидат, достойный вашего ума и вашей опытности... Благослови вас Бог в ваших замыслах!

– Должен ли я предполагать – спросил Заглоба, – что и вы, ваше преподобие, хлопчете о князе Михале?

Ксендз подканцлер вынул из-за обшлага маленькую книжечку, на которой крупными буквами чернела надпись: «Censura candidatorum», и сказал:

– Читайте, ваша милость, пусть то, что здесь написано, ответит за меня. Сказав это, ксендз подканцлер начал собираться домой, но Заглоба удержал его:

– Позвольте, ваше преподобие, ответить вам еще одно: прежде всего я благодарю Бога, что малая печать находится в таких руках, которые умеют заставлять сердца людей таять, как воск...

– Как так? – спросил удивленный подканцлер.

– Во-вторых, я заранее говорю вашему преподобию, что кандидатура князя Михала мне очень по сердцу: я знал и любил его отца, и под его началом дрался вместе с моими друзьями, которые тоже очень обрадуются при мысли, что они и сыну будут в состоянии выказать ту же любовь, какую питали к его великому отцу. А потому я обеими руками хватаюсь за эту кандидатуру и еще сегодня поговорю с паном подкоморием Кшицким, человеком весьма знатного рода и моим хорошим знакомым, который пользуется немалой любовью у шляхты, ибо трудно его не любить. Мы оба будем хлопотать по мере сил наших и, даст Бог, чего-нибудь достигнем...

– Да ведут вас ангелы Господни! – ответил ксендз. – Если так, то дело уже сделано.

– Позвольте, ваше преподобие. Я должен сказать еще одно. Я не хочу, чтобы вы думали так: «Свои собственные мысли я вложил ему в рот, вбил ему в голову, – будто он собственным умом дошел до мысли о кандидатуре князя Михала. Короче сказать, я его, простака, за нос провел». Ваше преподобие! Я буду способствовать кандидатуре князя Михала, потому что он мне по сердцу, – вот что. Буду способствовать ради княгини вдовы, ради моих друзей, ради доверия и уважения, которое я питаю к тому уму (тут пан Заглоба поклонился), из которого вышла Минерва, но не потому, что я позволил вбить себе в голову, как маленькому ребенку, будто это мое изобретение, и не потому, что я глуп, а потому, что если умный человек говорит что-нибудь умное, то старый Заглоба скажет: я согласен...

Тут шляхтич еще раз поклонился и замолчал.

Ксендз подканцлер сначала сильно смутился, но, видя добродушное настроение шляхтича, а также и то, что дело принимает желательный оборот, рассмеялся от всей души и, схватившись за голову, стал повторять:

– Улисс, ей-богу, настоящий Улисс! Пανε-брат, кто хочет чего-нибудь добиться, должен непременно хитрить с людьми, но с вами, я вижу, надо действовать напрямик. Вы мне ужасно пришлись по сердцу.

– Как мне князь Михал!

– Да пошлет вам Бог здоровья! Ха! Вы меня разбили, но я рад! А этот перстень, если бы он мог пригодиться на память о нашем сегодняшнем разговоре...

Заглоба ответил:

– А этот перстень пусть остается на своем месте.

– Сделайте это для меня...

– Ни в коем случае. Разве в другой раз... когда-нибудь потом... после выборов...

Ксендз подканцлер понял и больше не настаивал. Все же он ушел с сияющим лицом.

Пан Заглоба проводил его даже за ворота и, возвращаясь, бормотал:

– Гм! Прочил я его. Нашла коса на камень!.. А все же честь немалая. Сюда теперь, к этим воротам, сановники толпами будут съезжаться. Любопытно знать, что думают об этом дамы?

Дамы, действительно, не помнили себя от удивления, и пан Заглоба вырос, особенно в глазах пани Маковецкой, до потолка. Едва он показался, она крикнула восторженно:

– Мудростью вы Соломона превзошли, ваць-пане!

Заглоба очень обрадовался.

– Кого превзошел, вы говорите? Погодите, вы здесь увидите и гетманов, и епископов, и сенаторов. Отбою от них не будет, прятаться придется!

Дальнейший разговор был прерван появлением Кетлинга.

– Кетлинг, хочешь повышения?! – воскликнул пан Заглоба, упоенный своим собственным значением.

– Нет, – ответил с грустью рыцарь, – мне снова придется надолго уехать. Заглоба посмотрел на него пристально.

– Что это ты точно с креста снятый?

– Именно потому, что уезжаю.

– Куда?

– Я получил письма из Шотландии от старых друзей моего отца и моих. Дела требуют моего присутствия, быть может, надолго... Жаль мне расстаться с вами, но я должен.

Заглоба вышел на середину комнаты, посмотрел сначала на пани Маковецкую, потом на девушек и спросил:

– Вы слышали? Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

XVI

Хотя пан Заглоба был очень изумлен известием об отъезде Кетлинга, но никаких подозрений у него не было. Легко можно было допустить, что Карл II, вспомнив услуги, оказанные родом Кетлингов престолу в прежнее время, пожелал теперь отблагодарить последнего потомка этого рода. Было бы даже странно, если бы было иначе. Наконец, Кетлинг показал пану Заглобе какие-то заморские письма.

Но в то же время отъезд Кетлинга расстраивал все планы старого шляхтича, и он с тревогой думал: что же будет дальше? Володыевский, судя по его письму, мог вернуться с часу на час.

«А ветры степные, вероятно, развеяли остаток его скорби, – думал Заглоба. – Он сейчас же наберется смелости и сделает Кшисе предложение. А потом... Потом Кшися согласится, ибо как же отказать такому рыцарю, как он, да еще брату Маковецкой? И бедный, милый гайдучок останется ни при чем...»

Пан Заглоба с упрямством, свойственным старым людям, решил во что бы то ни стало соединить Басю с маленьким рыцарем.

Не помогли ни доводы Скшетуского, ни его собственное решение не вмешиваться в это дело. По временам он действительно обещал себе не вмешиваться, но затем невольно с еще большим упорством возвращался к своей прежней мысли соединить эту пару. Он целыми днями думал, как лучше приняться за это, строил планы, придумывал хитрости. И когда ему казалось, что он нашел верный путь, он воскликнул вслух, точно дело уже было слажено:

– Да благословит вас Бог!

Но теперь он увидел, что все его планы вдруг рухнули. Осталось только одно: отказаться от всех усилий и предоставить будущее на волю Божию, ибо даже эта маленькая надежда, что Кетлинг перед отъездом предпримет какой-нибудь решительный шаг по отношению к Кшисе, недолго оставалась в голове Заглобы; и только из сожаления и любопытства он решился выведать у молодого рыцаря о дне его отъезда и о том, что он намерен делать прежде, чем покинуть Речь Посполитую.

Позвав его, Заглоба спросил его с опечаленным лицом:

– Делать нечего! Каждый лучше знает, что ему надо делать, и я не буду тебя уговаривать остаться здесь, но мне хочется знать, когда ты вернешься...

– Разве я могу отгадать, что меня ждет там, куда я еду, – отвечал Кетлинг, – какие дела, какие случайности? Вернусь, если смогу, останусь навсегда, если буду вынужден.

– Вот увидишь, тебя сердце будет тянуть к нам.

– Дал бы Бог, чтобы могила моя была на этой земле, которая дала мне все, что могла дать.

– Вот видишь! В других странах чужеземец до самой смерти остается пасынком, а наша мать сразу раскрыла тебе объятия, как родному сыну.

– Правда, святая правда! Эх, если бы только я мог... Со мной все может случиться в старой отчизне, только счастья не случится.

– Ха! Я говорил тебе: устройся, женись, ты не хотел меня слушать. А будучи женатым, если бы даже ты и уехал, то должен был бы вернуться. Ведь не стал бы ты, полагаю, жену увозить за море. Я тебя уговаривал, да что же, ты не хотел меня слушать.

Тут пан Заглоба стал внимательно смотреть в лицо Кетлингу, ожидая от него каких-нибудь объяснений, но Кетлинг молчал, опустив голову, и уставился глазами в пол.

– Что ты на это скажешь? Хе? – говорил минуту спустя Заглоба.

– Это было невозможно! – ответил медленно молодой рыцарь.

Заглоба начал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед Кетлингом, заложил руки назад и сказал:

– А я тебе говорю, что возможно. Если это неверно, то пусть мне никогда больше не придется опоясываться вот этим поясом. Кшися – твой друг.

– Даст Бог, что и всегда будет другом, хотя нас и разделит море.

– Ну так что же?

– Ничего больше! Ничего больше!

– Ты с ней объяснился?

– Оставьте меня в покое. Мне уж и так грустно, что я уезжаю.

– Кетлинг, хочешь, я спрошу ее, пока время?

Кетлинг подумал, что если Кшися так желала, чтобы их чувства остались тайной, то, может быть, она будет рада опровергнуть их открыто, а потому он сказал:

– Я вас уверяю, что это ни к чему не поведет, и я так в этом уверен, что сделал все, чтобы заглушить в себе это чувство, но если вы надеетесь на чудо, то спрашивайте.

– Гм! Если ты заглушишь свое чувство к ней, – сказал с горечью пан Заглоба, – то мне уж действительно делать нечего. Только позволь тебе сказать, что я считал тебя человеком более степенным.

Кетлинг встал и, с жаром подняв обе руки кверху, ответил с несвойственной ему поспешностью:

– Какой смысл желать одну из этих звезд на небе? Ни я к ней взлететь не могу, ни она ко мне не сойдет. Горе тому, кто мечтает о серебряной луне!

Пан Заглоба так рассердился, что даже начал сопеть. С минуту он не мог даже говорить, потом, поборов свою досаду, он начал прерывистым голосом:

– Мой милый, не дурачь меня, и если у тебя есть какие-нибудь доводы, то говори со мной, как с человеком, который ест хлеб и мясо, а не белену... Ведь если бы я

вдруг сошел с ума и стал думать, что вот эта моя шапка – луна, которой рука моя достать не может, я так и ходил бы по городу с открытой плешью, а мороз, как собака, кусал бы мне уши. Я не умею бороться с такими доводами... Знаю я одно, что эта девушка сидит там, в третьей комнате; что она ест и пьет, что когда она ходит, то должна перебирать ногами; что на морозе у нее краснеет нос, а в жару ей жарко, что когда ее комар укусит, то она чешется, и что она на луну похожа разве лишь тем, что у нее нет бороды. Но если рассуждать так, как ты, тогда можно сказать, что и репа – астролог. Что же касается Кшиси, то если ты не пробовал, не спрашивал, это – твое дело, но если ты девушку влюбил в себя, а теперь уезжаешь, сказав себе, что она «луна», то благородства у тебя не больше, чем ума, вот и все!

А Кетлинг на это:

– Не сладко мне, а горько во рту от той пищи, которой я питаюсь. Я уезжаю, потому что должен; я не спрошу, потому что не о чем. Но я скажу вам, что вы судите меня несправедливо... Видит бог, несправедливо!

– Кетлинг, ведь я знаю, что ты порядочный человек, я только этих ваших манер не могу понять. В мое время шел человек к панне и говорил ей так: «Коли любишь, будем вместе, коль не любишь, будем врозь». И каждый знал, что ему делать... А кто был робок и сам говорить не умел, тот посылал кого-нибудь поречистее. Я уж предлагал тебе это и еще раз предлагаю. Пойду переговорю, ответ дам, а ты, смотря по ее ответу, поедешь или останешься.

– Поеду, не может быть иначе и не будет!

– Не вернешься?

– Нет! Сделайте мне такое одолжение, не будемте говорить об этом. Если вы так любопытны, то спрашивайте, но только не от моего имени...

– Ей-богу! Уж не спрашивал ли ты?

– Оставим это. Сделайте мне такое одолжение!

– Хорошо, будем говорить о погоде... Черт бы вас побрал со всеми вашими манерами! Нам остается одно – тебе ехать, а мне ругаться.

– Прощайте!

– Постой! Постой! Я сейчас успокоюсь. Кетлинг, милый, погоди, я хотел с тобой поговорить. Когда едешь?

– Как только устрою дела. Я хотел бы дождаться из Курляндии арендной платы, а этот домик я охотно продам.

– Пусть Маковецкий покупает или Михал. Ради бога! Ведь ты не уедешь, не простившись с Михалом.

– Я хотел бы с ним проститься.

– Его можно ждать каждую минуту, каждую минуту. Может быть, и ваше дело с Кшисей он уладит.

Тут Заглоба замолчал. Его охватило какое-то беспокойство. «Я хотел оказать Михалу услугу из любви к нему, – подумал он, – но понравится ли это Михалу? Если между Михалом и Кетлинггом возникнет вражда, то пусть уж лучше Кетлинг уезжает...» Тут пан Заглоба начал потирать рукой лысину и сказал:

– Все, что тебе говорил, я говорил из искреннего расположения к тебе. Я так тебя полюбил, что хотел во что бы то ни стало тебя удержать, вот почему я в виде приманки подставил тебе Кшисю.. Но все это из-за расположения.. Какое мне, старику, дело до этого.. Я сватовством не занимаюсь: если бы я хотел сватать, то сосватал бы себя.. Ну, поцелуй меня.. не сердись!..

Кетлинг обнял пана Заглобу, который совсем расчувствовался и, велел подать вина, сказал:

– По случаю твоего отъезда мы каждый день будем выпивать по ковшику с горя.

И они выпили. Потом Кетлинг простился и ушел. Между тем вино ободрило пана Заглобу; он начал раздумывать о Володыевском, о Кетлинге, о Басе, о Кшисе, мысленно соединять их, благословлять, наконец, соскучившись по девушкам, сказал себе:

– Ну, пойду поглядеть на этих коз..

Девушки сидели в комнате, по другую сторону сеней, и шили. Пан Заглоба, поздоровавшись с ними, начал ходить по комнате, немного волоча ноги, которые отказывались уже служить ему по-прежнему, особенно после вина.

Прохаживаясь, он поглядывал на девушек, которые сидели так близко друг к другу, что белокурая головка Баси почти касалась темной головки Кшиси. Бася следила за ним глазами, а Кшися так усердно вышивала, что едва можно было разглядеть мелькание иглы.

– Гм! – сказал Заглоба.

– Гм! – повторила Бася.

– Не передразнивай меня, я зол!

– Пожалуй, голову отрежет! – сказала Бася, делая вид, что испугалась.

– Трещи, трещотка! Язык тебе надо отрезать, вот что!

Сказав это, пан Заглоба подошел к девушкам и вдруг, подбоченившись, спросил без всякого предисловия:

– Хочешь идти за Кетлинга?

– Хоть за пятерых! – тотчас же ответила Бася.

– Молчи, муха, не с тобой говорю. Кшися, я тебя спрашиваю. Хочешь идти за Кетлинга?

Кшися побледнела, хотя сначала подумала, что пан Заглоба обращается не к ней, а

к Басе; потом подняла свои прекрасные темно-синие глаза на старого шляхтича и спокойно сказала:

– Нет!

– Вот как! Скажите, пожалуйста... нет! По крайней мере, коротко! Скажите, пожалуйста... Но почему это вы не изволите хотеть?

– Потому что никого не хочу!

– Кшися, говори это кому-нибудь другому! – вставила Бася.

– Откуда же такое отвращение к браку? – продолжал допрашивать пан Заглоба.

– Это не отвращение, я чувствую влечение к монастырю, – ответила Кшися.

Она сказала это так серьезно и так грустно, что Бася и пан Заглоба ни на минуту не подумали, что она шутит. Они были так поражены ее словами, что растерянно стали смотреть то друг на друга, то на Кшисю.

– Что?.. – переспросил Заглоба.

– Я в монастырь пойду, – повторила кротко Кшися.

Бася взглянула на нее несколько раз и, вдруг бросившись к ней на шею, прижалась своими алыми губами к ее щеке и заговорила скороговоркой:

– Кшися, я разревусь. Скажи сейчас, что ты пошутила, а то я разревусь, как Бог свят, разревусь!

XVII

После свидания с Заглобой Кетлинг побывал еще у пани Маковецкой, которой объявил, что по неотложным делам он должен остаться в городе и что, прежде чем отправиться в далекое путешествие, ему, быть может, придется съездить на несколько недель в Курляндию, и он лишен будет возможности принимать их лично в своем доме; но он умолял ее не уезжать из этого дома, считать его своим и хоть на время выборов поселиться в нем вместе с мужем и паном Михалом.

Пани Маковецкая согласилась, так как домик Кетлинга иначе оставался бы пустым и никому не приносил бы никакой пользы.

После этого разговора Кетлинг исчез и уже не показывался ни в гостинице, ни в окрестностях Мокотова, куда возвратилась пани Маковецкая вместе с девушками. Но отсутствие его замечала одна лишь Кшися; пан Заглоба был всецело поглощен предстоящими выборами, Бася же и пани Маковецкая так близко приняли к сердцу внезапное решение Кшиси, что не могли ни о чем другом думать.

Все же пани Маковецкая не пыталась отговаривать Кшисю от этого шага и сомневалась, станет ли ее отговаривать муж: в те времена сопротивление подобным намерениям считалось оскорблением Бога. Один пан Заглоба, несмотря на свою набожность, мог бы решиться на протест, но он этим делом нисколько не интересовался и, пожалуй, даже радовался, что Кшися не будет стоять между Володыевским и Басей. Теперь пан Заглоба был уверен, что исполнятся все его заветные желания, и отдался всецело работе по выборам: он объезжал шляхту,

прибывшую в столицу, или же проводил время в беседе с ксендзом Ольшовским, которого он, в конце концов, очень полюбил и с которым очень сдружился.

После каждой такой беседы Заглоба возвращался домой все более ретивым сторонником Пяста и все более ярим противником иностранцев. Согласно наставлениям ксендза подканцлера, он не выступал еще открыто с этой кандидатурой, но не проходило ни одного дня, чтобы он не привлек кого-нибудь на свою сторону. И случилось то, что обыкновенно бывает в подобных случаях: эта кандидатура так увлекла его, что, как сватовство и Володыевского, и Баси, сделалась целью его жизни. Между тем выборы были все ближе.

Зима уже сняла с рек свои ледяные оковы, подул теплый ветер, и под его дыханием деревья покрывались почками; появились вереницы ласточек, а вместе с ласточками и другими перелетными птицами стали съезжаться и гости на выборы.

Прежде всего приехали купцы, которые рассчитывали на богатую наживу там, где должно было собраться более полумиллиона людей, считая вельмож, их свиту, шляхту, слуг и войска. Съезжались англичане, голландцы, немцы, русские; съезжались армяне, турки, татары и даже персы с сукнами, полотнами, шелковыми материями, мехами, драгоценностями, духами и лакомствами. На улицах и за городом были расставлены палатки, а в них всякие товары. Некоторые базары расположились даже в подгородных деревнях: всем известно было, что гостиницы столицы не вместят и десятой части депутатов и что большая часть их расположится лагерем за чертой города, как и всегда бывало во время выборов.

Наконец стала съезжаться шляхта, и в таком количестве, что если бы столько ее собралось на границах Речи Посполитой, которым грозила опасность, то нога неприятеля никогда не переступила бы их.

Говорили, что выборы будут бурные, ибо вся страна разделилась на три партии, поддерживавшие трех главных кандидатов: Конде, герцога лотарингского и нейбургского. Ходили слухи, что каждая партия будет стараться, хотя бы даже силой, провести своего кандидата.

Всеми овладевала тревога; во всех партиях разгорелись страсти. Некоторые предсказывали междоусобную войну; слухи эти казались тем более правдоподобными, что магнаты приезжали в сопровождении огромных военных дружин. Съезжались они раньше срока, чтобы иметь время вести свои интриги. Когда Речь Посполитая нуждалась в защите, когда неприятель стоял с ножом у ее горла, король и гетманы могли собрать лишь ничтожную горсть войска, а теперь только одни Радзивиллы, вопреки закону и постановлениям, привели с собой армию больше чем в десять тысяч человек. Паны прибыли с неменьшей силой; Потоцкие с такой же, как и другие «королевичи» польские, литовские, русские. «Куда приплывешь ты, разбитый корабль отчизны моей?» – все чаще и чаще повторял ксендз Ольшовский, но и он преследовал свои личные цели. Высшее сословие, за небольшими исключениями, испорченное до мозга костей, заботилось лишь о себе и о могуществе своего Рода, и каждую минуту готов был вспыхнуть пожар междоусобной войны.

Толпы шляхты росли с каждым днем, и видно было, что, когда после сейма начнутся выборы, численность ее превзойдет силы магнатов. Но и эти толпы не были способны вывести корабль Речи Посполитой на тихие воды, ибо сердца шляхты были большею частью испорчены, а умы погружены в мрак и невежество.

Казалось, выборы будут чудовищны, и никто не мог предвидеть, что конец их будет

только жалким, ибо никто, кроме пана Заглобы, не питал особенной надежды на возможность провести такого кандидата, как князь Михал, никто не мог догадаться, насколько этому делу поможет безмозглость шляхты и интриги магнатов. Но пан Заглоба плавал в этом море как рыба в воде. С самого начала сейма он переселился в город и в доме Кетлинга бывал только тогда, когда начинал тосковать о своем гайдучке. Но так как и Бася ввиду решения Кхиси очень приуныла, то, чтобы ее развлечь, старый шляхтич брал ее иной раз с собой в город поглядеть на базары.

Они уезжали обыкновенно утром, и он привозил ее обратно только поздним вечером. По дороге и в самом городе девушка радовалась видом людей, незнакомых предметов, пестрой толпы, великолепных войск. Тогда глаза ее блестели как два горящих уголька, а головка вертелась как на винте; она не могла вдоволь насмотреться и засыпала пана Заглобу вопросами. Он отвечал на них с удовольствием, так как мог при этом выказать свою опытность и свою ученость. Нередко их возок окружала целая компания военных: они удивлялись красоте Баси, ее находчивости, остроумию и смелости, а пан Заглоба всегда рассказывал им историю татарина, застреленного утиной дробью, и этот рассказ приводил их еще в больший восторг и изумление.

Однажды они возвращались очень поздно, так как весь день они осматривали свиту и войска пана Феликса Потоцкого. Ночь была теплая; над лугами висел белый туман. Хотя пан Заглоба и предостерегал, что при таком скоплении челяди и солдат надо остерегаться громил, все же он заснул крепким сном; дремал и кучер, не спала только одна Бася: в ее голове мелькали тысячи образов и мыслей.

Вдруг она услышала лошадиный топот.

Она потянула пана Заглобу за рукав и сказала:

- Какие-то всадники гонятся за нами.
- Что? Как? Кто? – спросил спросонья пан Заглоба.
- Какие-то всадники гонятся за нами.

Пан Заглоба совершенно очнулся.

– Ну, сейчас уж и гонятся! Слышится топот; может быть, кто-нибудь едет той же дорогой...

– Я уверена, что это разбойники!

Бася была так уверена потому, что в душе очень хотела каких-нибудь приключений с разбойниками, чтобы показать свою храбрость; и когда пан Заглоба, сопя и ворча, стал вынимать из-под сиденья пистолеты, которые он всегда возил с собой на всякий случай, она сейчас же стала упрашивать его дать ей один из них.

– Уж я в первого, который к нам приблизится, не промахнусь. Тетя хорошо стреляет, но она ночью плохо видит. Вот, ей-богу, разбойники! Ах, господи! Хоть бы они на нас напали. Давайте скорей пистолет!

– Хорошо, – ответил Заглоба, – но ты должна мне обещать, что пока я не скажу: «Пли!», ты стрелять не будешь. Если тебе дать оружие, ты, пожалуй, в первого встречного шляхтича выпалишь, даже не спросив: «Кто идет», а потом и заварится каша.

– Ну, так я раньше спрошу: «Кто идет?»

– Ба, а если проедут какие-нибудь пьяные и, услышав женский голос, скажут что-нибудь неприличное?

– Тогда я выпалю из пистолета. Хорошо?

– Ну вот и бери в город такого сорванца; я тебе говорю, что нельзя стрелять, пока я не скажу.

– Я спрошу: «Кто идет?», но таким грубым голосом, что они не узнают.

– Ну, ладно. Они уже близко. Будь уверена, что это какие-нибудь порядочные люди: бродяги бросились бы на нас, выскочив изо рва.

Но так как бродяги действительно шатались по дорогам и было немало слухов о различных приключениях, то пан Заглоба приказал кучеру не въезжать между деревьями, которые чернелись тут же на повороте, а остановиться на хорошо освещенном месте.

Между тем четыре всадника приблизились к ним на расстояние нескольких шагов. Тогда Бася, – как ей казалось, голосом лихого драгуна, – крикнула:

– Кто идет?

– А чего вы стоите на дороге? – отвечал один из всадников, которому, очевидно, пришло в голову, что у них, должно быть, сломался экипаж.

Но, услышав этот голос, Бася опустила пистолет и быстро сказала пану Заглобе:

– Да ведь это дядя... Ей-богу, дядя!

– Какой дядя?

– Маковецкий!

– Гей, вы! – крикнул Заглоба. – Уж не пан ли Маковецкий с паном Володыевским?

– Пан Заглоба! – отозвался маленький рыцарь.

– Михал!

Тут пан Заглоба стал торопливо вытаскивать ноги из повозки, но прежде, чем он высвободил одну, Володыевский соскочил с лошади и подбежал к экипажу. Узнав при свете луны Басю, он схватил ее за обе руки и воскликнул:

– От всего сердца приветствую вас, ваць-панна! А где панна Кшися? Сестра? Все ли здоровы?

– Здоровы! Славу богу! Наконец-то вы приехали, ваць-пане, – ответила Бася, сердце которой сильно билось. – Дядя тоже приехал? Дядя!

Сказав это, Бася бросилась на шею пану Маковецкому, который в это время тоже

подошел к экипажу. Пан Заглоба тем временем обнимал Володыевского. После долгих приветствий и объятий пан Маковецкий был представлен Заглобе, затем приезжие рыцари, отдав лошадей слугам, пересели в повозку. Пан Маковецкий с Заглобой заняли почетные места, а Бася с Володыевским уселись на передке. Начались быстрые расспросы и быстрые ответы, как это обыкновенно бывает после долгой разлуки.

Пан Маковецкий расспрашивал про жену, а Володыевский еще раз спросил о здоровье панны Кхиси; он очень удивился внезапному отъезду Кетлинга, но не стал над этим задумываться, так как должен был рассказывать о том, что он делал в порубежной станице, как напал на ордынцев, как он там тосковал, хотя и отведал здоровой степной жизни.

– Мне казалось, – говорил он, – что не прошли лубенские времена, что по-прежнему со мной Скшетуский. Кушель, Вершул... И только по утрам, когда мне приносили ведро воды для умывания и я в ней видел мои седые волосы на висках, тогда я вспоминал, что я уже не тот, что был прежде, хотя, с другой стороны, мне опять приходило в голову, что, пока дух бодр, человек не состарился.

– Вот это верно, – ответил Заглоба, – видно, что там, на свежих травах, ты и остроумие свое откормил: ты отсюда не таким уехал. Бодрость всего важнее – это лучшее средство против меланхолии.

– Что правда, то правда! – прибавил пан Маковецкий. – В Михаловой станице колодцев много – проточной воды там совсем нет. И скажу вам, когда на рассвете солдаты начнут скрипеть журавлями, то просыпаешься таким бодрым, что невольно хочется благодарить Бога только за то, что живешь.

– Ах, если бы я могла быть там хоть один день! – воскликнула Бася.

– Так за чем же дело стало? – сказал Заглоба. – Выходи замуж за станичного ротмистра.

– Пан Нововейский рано или поздно будет ротмистром, – вставил маленький рыцарь.

– Ну вот! – сердито воскликнула Бася. – Я вас не просила вместо гостинца привезти мне пана Нововейского.

– Я и кое-что другое привез – славные гостинцы! Панне Басе будет так же сладко, как тому бедняге горько.

– Так надо было ему отдать гостинцы, пусть бы он их ел, пока усы не вырастут.

– Вот так-то они всегда между собою, – сказал пан Заглоба Маковецкому. – К счастью, пословица говорит: милые бранятся, только тешатся...

Бася ничего не ответила, а Володыевский, как бы ожидая ответа, смотрел на ее маленькое, освещенное луной личико, которое показалось ему таким красивым, что он невольно подумал:

«А ведь и эта шельмочка так хороша, что глаз не оторвешь!» Но, видно, ему сейчас же пришло в голову и что-то другое, потому что он повернулся к кучеру и сказал:

– А ну-ка, хлестни лошадей кнутом и поезжай поживее!

Повозка быстро покатила; некоторое время все ехали молча, и, только выехав на пески, Володыевский опять заговорил:

– Но этот отъезд Кетлинга у меня не выходит из головы. Что это ему вздумалось уезжать перед самым моим приездом и перед выборами?

– Англичанам столько же дела до наших выборов, сколько до твоего приезда, – ответил Заглоба. – Кетлинг сам ходит, как с креста снятый, так ему не хочется уезжать и оставлять нас...

У Баси уже вертелось на языке: «а в особенности Кшиси» – но что-то подсказало ей не говорить об этом, как и о недавнем решении Кшиси. Женским чутьем она отгадала, что и то и другое может неприятно подействовать на пана Михала. Ей самой почему-то стало больно, и она замолчала, несмотря на свою всегдашнюю живость.

«О решении Кшиси он и так узнает, – подумала она, – но, видно, лучше теперь об этом не говорить, если и пан Заглоба ни одним словечком не обмолвился».

Между тем Володыевский опять обратился к кучеру:

– Поезжай-ка живее!

– Лошадей и вещи мы оставили на Праге, и сами двинулись вчетвером, хотя была уже ночь. И мне, и Михалу было невтерпех, – сказал Маковецкий, обращаясь к Заглобе.

– Верю! – ответил Заглоба. – А видели ли вы, какая масса народу съехалась в столицу? За заставой стоят обозы, базары, так что и проехать трудно. Удивительные вещи рассказывают про будущие выборы; дома при случае я вам все расскажу.

Тут они начали разговаривать о политике. Пан Заглоба старался слегка вывести убеждения стольника, наконец, обратился к Володыевскому и прямо, без предисловия, спросил его:

– А ты, Михал, за кого подашь голос?

Но Володыевский вместо ответа вздрогнул, точно проснувшись от сна, и сказал:

– Интересно, спят они или мы их еще сегодня увидим?

– Верно, спят, – ответила нежным и как будто сонным голосом Бася, – но они проснутся и непременно придут поздороваться с вами.

– Вы так думаете? – радостно спросил маленький рыцарь. И он опять посмотрел на Басю и опять невольно подумал: «Но и эта шельмочка хороша при лунном свете...»

До домика Кетлинга было уже недалеко, и скоро они подъехали. Пани Маковецкая и Кшиси уже спали; бодрствовала только прислуга: она ждала Басю и пана Заглобу с ужином. В доме тотчас поднялось движение. Заглоба велел разбудить и других слуг; надо было приготовить и подать гостям горячий ужин.

Пан стольник хотел было сейчас же идти к жене, но она, услышав в доме

необычайный шум, догадалась, кто приехал, и минуту спустя бежала вниз в наскоро накинутом платье, запыхавшись, со слезами радости на глазах, с улыбкой на устах; начались приветствия, объятия, бессвязный разговор, поминутно прерываемый восклицаниями.

Пан Володыевский постоянно поглядывал на дверь, в которой скрылась Бася: он все ждал, что увидит Кшисю, сияющую от радости, с блестящими глазами и с распушенной впопыхах косой; между тем стоявшие в столовой данцигские часы тикали и тикали, время шло, подали ужин, а дорогая и милая для Михала девушка все не появлялась.

Вошла, наконец, Бася, но какая-то серьезная, огорченная, приблизилась к столу и, заслоняя рукой свечку, обратилась к пану Маковецкому.

– Дядя, – сказала она, – Кшися немного нездорова и не придет; она хочет с вами поздороваться и просит, чтобы вы подошли к ее двери.

Пан Маковецкий встал и вышел из комнаты, Бася пошла за ним. Маленький рыцарь сильно омрачился и сказал:

– Я никак не ожидал, что сегодня не увижу панну Кшисю. Разве она действительно больна?

– Э, здорова, – ответила пани Маковецкая, – но теперь ей не до общества.

– Почему это?

– Разве пан Заглоба тебе не упоминал о ее намерении?

– О каком намерении? Ради бога!

– Она идет в монастырь...

Пан Михал заморгал глазами, как человек, который не расслышал, что ему сказали; потом он изменился в лице, встал и снова сел; холодный пот мгновенно покрыл его лоб, и рыцарь принялся вытирать его рукой. В комнате наступило тяжелое молчание.

– Михал! – окликнула его пани Маковецкая.

А он, блуждающими глазами глядя то на сестру, то на Заглобу, наконец сказал страшным голосом:

– Да что же это? Проклятие, что ли, тяготееет надо мной?!

– Побойся Бога! – воскликнул Заглоба.

XVIII

По этому восклицанию пани Маковецкая и Заглоба отгадали тайну сердца маленького рыцаря, и когда он, сорвавшись вдруг с места, вышел из комнаты, они некоторое время беспомощно и тревожно поглядывали друг на друга. Наконец пани Маковецкая сказала:

– Ради бога, идите за ним, убеждайте, утешьте, а если нет, так я сама пойду!

– Не делайте этого! – ответил Заглоба. – Из нас там никто не нужен, нужна Кшися,

если же это невозможно, то лучше оставить его в одиночестве, ибо несвоевременное утешение может довести до еще большего отчаяния...

– Теперь я вижу как на ладони, что он любил Кшисю. Я знала, что она ему нравится, что он ищет ее общества, но что он так в нее влюбился, это мне и в голову не приходило.

– Он, верно, ехал сюда с готовым уже решением, в котором видел свое счастье, а тут его вдруг как громом поразило...

– Почему же он никому об этом не говорил: ни мне, ни вам, ни самой Кшисе? Может быть, девушка не дала бы обета...

– Странное дело! – сказал Заглоба. – Со мной он всегда откровенен и уму моему доверяет больше, чем своему собственному, а тут он не только ничего не говорил мне о своем чувстве, но даже сказал мне однажды, что это дружба и больше ничего.

– Он всегда был скрытным.

– Хотя вы и сестра, ваць-пани, но, видно, вы его не знаете. Сердце у него, как глаза у карася, на самом виду... Я не встречал человека более откровенного. Но признаюсь, что тут он поступил иначе. А вы разве уверены, что он ничего не говорил с Кшисей?

– Великий Боже! Кшися вольна распоряжаться собой, мой муж – ее опекун, и он так ей сказал: «Только бы человек был достойный и хорошего рода, а на состояние можешь не обращать внимания». Если бы Михал переговорил с ней перед отъездом, она бы ответила ему: да или нет, и он знал бы, чего ему ждать...

– Правда, это было для него неожиданным ударом. Ваши женские замечания, ваць-пани, как раз к делу.

– Что там замечания! Тут нужен совет!

– Пусть берет Басю!

– Но ведь он ту предпочитает... Ах, если бы мне это хоть в голову пришло!

– Жаль, что вам не пришло в голову!

– Да откуда же могло прийти, если это не пришло в голову даже такому Соломону, как вы?

– Почему же вы это знаете?

– Потому что вы Кетлинга сватали.

– Я? Беру Бога в свидетели, никого я не сватал! Я говорил, что она ему нравится, и это была правда; я говорил, что Кетлинг достойный кавалер, и это тоже правда, но сватовство я оставляю женщинам. Милая пани! У меня на шее половина Речи Посполитой! Разве есть у меня время думать о чем-нибудь другом, как об общественных делах?! Иной раз мне и поесть некогда...

– Посоветуйте же теперь что-нибудь, ради бога! Ведь все кругом говорят, что

головы лучше вашей нет в целом мире.

– Только и дела им, что до моей головы! Могли бы и перестать; что касается совета, то у меня их два: пусть Михал берет Басю или пусть Кшися откажется от своего намерения. Намерение – не обет!

Тут пришел пан Маковецкий, которому жена сейчас же все рассказала. Он очень огорчился, так как крепко любил и ценил пана Михала, но придумать ничего не мог.

– Если Кшися заупрямится, – говорил он, потирая лоб, – то как же ее разубедишь?

– Кшися заупрямится, – ответила пани Маковецкая. – Кшися всегда была такой.

Стольник на это ответил:

– Почему же Михал для верности не переговорил с ней перед отъездом? Могло бы случиться еще хуже: кто-нибудь другой мог за это время овладеть сердцем девушки...

– Тогда бы она не шла в монастырь, – ответила пани Маковецкая. – Ведь она свободна!

– Правда, – ответил стольник.

Но Заглоба стал уже смекать кое-что. Если бы тайна Кшиси и Володыевского была ему известна, все сразу стало бы ему понятно, но, не зная этого, трудно было что-нибудь понять... Все же быстрый ум пана Заглобы стал кое-что разбирать в этом тумане и угадывать настоящие причины решения Кшиси и отчаяния Володыевского.

Чутье подсказывало ему, что здесь все дело в Кетлинге. Но уверенности у него еще не было, и потому он решил пойти к Михалу и попытаться узнать, в чем дело. По дороге его вдруг охватило беспокойство, и он подумал:

«Во всем этом немало моей работы. Мне захотелось на свадьбе Володыевского и Баси попить меду, но боюсь, что вместо меду я наварил кислого пива... А что, если пан Михал вернется к прежнему и, идя по стопам Кшиси, наденет монашескую рясу?»

Тут пан Заглоба даже похолодел, прибавил шагу и через минуту был уже в комнате пана Михала.

Маленький рыцарь ходил по комнате, как дикий зверь в клетке. Брови его были грозно нахмурены, глаза были как стеклянные – он ужасно страдал; увидав пана Заглобу, он вдруг остановился перед ним и, скрестив руки на груди, воскликнул:

– Скажите мне, что все это значит?

– Михал, – ответил Заглоба, – подумай, сколько девушек ежегодно поступает в монастырь. Дело обыкновенное! Есть такие, которые идут наперекор родительской воле, надеясь, что Господь Бог будет на их стороне, – а что же говорить о ней, раз она свободна.

– Нет больше тайн! – воскликнул пан Михал. – Она не свободна, потому что перед отъездом обещала мне свою руку и сердце.

– Гм! – ответил Заглоба. – Я этого не знал.

– Да! – повторил маленький рыцарь.

– Может быть, тогда ее можно разубедить?

– Я ей больше не нужен. Она не хотела меня видеть! – воскликнул с глубокой скорбью Володыевский. – Я спешил сюда и день, и ночь, а она уже меня и видеть не хочет! Что же я такое сделал? За какие грехи преследует меня гнев Божий? За какие грехи ветер гоняет меня, как сухой лист? Одна Умерла, другая идет в монастырь. Бог обеих отнял у меня; видно, проклятие тяготеет на мне... Для каждого есть милосердие, только не для меня!

Пан Заглоба пришел в ужас: он боялся, как бы маленький рыцарь, в порыве отчаяния, опять не начал богохульствовать, как тогда, после смерти Ануси Божобогатой, и, чтобы отвлечь его мысли в другую сторону, он сказал:

– Михал, не сомневайся, что и над тобой есть милосердие Божье! Разве можешь ты знать, что ждет тебя завтра? Быть может, та же самая Кшися, вспомнив про твое одиночество, изменит свое намерение и сдержит свое слово? Во-вторых, слушай меня, Михал. Разве не утешение для тебя, что этих двух голубок сам Бог, наш Отец милосердный, берет к себе, а не простой смертный? Скажи сам, разве это было бы лучше?

На это маленький рыцарь зашевелил усиками, заскрежетал зубами и воскликнул сдавленным, прерывистым голосом:

– Если бы это был живой человек... Ха! Пусть бы нашелся такой! Я бы предпочел... Я мог бы отомстить...

– А теперь тебе остается молитва! – сказал Заглоба. – Выслушай меня, старый друг, потому что лучшего совета тебе никто не даст... Быть может, Господь все это еще изменит к лучшему... Я сам... ты знаешь... не желал тебе другой, но теперь, видя твою скорбь, я скорблю вместе с тобой и буду просить Бога, чтобы он утешил тебя и вернул бы тебе опять сердце той жестокой девушки...

Сказав это, пан Заглоба начал отирать слезы; это были слезы искренней дружбы и сожаления. Будь это во власти пана Заглобы, он бы взял назад все, что сделал, чтобы устранить Кшисю, и первый бросил бы ее в объятия Володыевского.

– Слушай, – сказал он минуту погодя, – поговори с Кшисей, расскажи ей о своих страданиях, о своем ужасном горе, и да благословит тебя Бог! Ведь она сжалится над тобой, не каменное же у нее сердце. Я уверен, что это будет так. Похвальная вещь монашеская ряса, но не тогда, когда она сшита из чужих страданий. Скажи ей это. Вот увидишь... Эх, Михал! Сегодня ты плачешь, а завтра, может быть, мы будем пить на твоём обручении. Я уверен, что так будет. Девушка соскучилась, вот она и надумала поступить в монастырь. Она пойдет в монастырь, да только в такой, где ты будешь крестины справлять. Может быть, она не совсем здорова, а нам говорит о монастыре, чтобы отвести глаза. Ведь ты от нее самой этого не слышал, и, Бог даст, и не услышишь! Ха! Вы условились держать все в тайне, она и не хотела выдать ее и все придумала для отвода глаз. Это женская хитрость, не иначе как женская хитрость!

Слова пана Заглобы подействовали как целебный бальзам на наболевшее сердце маленького рыцаря; к нему снова вернулась надежда, глаза его наполнились

слезами, он долго не мог выговорить ни слова и только успокоился несколько, как бросился в объятия пана Заглобы и сказал:

– Таких друзей, как вы, днем с огнем не сыскать. Но действительно ли так будет, как вы говорите?

– Будет! Разве ты помнишь, чтобы я когда-нибудь неверно пророчествовал? Разве ты не доверяешь моей опытности и уму?

– Но вы даже представить себе не можете, как я люблю ее. Конечно, не забыл я ту, дорогую покойницу, я каждый день за нее молюсь. Но и к Кхисе сердце так прильнуло, как кора к дереву. Ах, любимая моя! Сколько я там, в степи, передумал о ней: и утром, и вечером, и в полдень! Под конец я стал уже говорить сам с собою, так как не с кем было. Когда мне приходилось гоняться за татаринном, я и тогда думал о ней!

– Верю! У меня от слез по одной девушке глаз в молодости вытек, а если и не совсем вытек, так бельмом подернулся!

– Не удивляйтесь. Лечу к ней во весь дух, и вдруг – первое слово: «монастырь». Но я надеюсь переубедить ее, рассчитываю на ее доброе сердце, верю ее слову. Как это вы сказали: «хороша ряса»... но... из чего?

– Но не тогда, когда она сшита из чужих страданий.

– Прекрасно сказано. Почему это я никогда не мог составить ни одного мудрого изречения? В станице это могло бы быть развлечением. Тревога все еще не покидает меня, но вы меня ободрили. Мы с нею действительно решили держать все в тайне; возможно, что девушка могла только для виду говорить о монастыре. Вы мне приводили еще какие-то неопровержимые доводы, но я никак не могу их вспомнить. Все же мне легче!

– Так поди же ко мне или вели подать нам сюда бутылочку. После дороги это не мешает!

Они отправились и пили до поздней ночи.

На следующий день пан Володыевский нарядился в праздничное платье и, вооружившись всеми аргументами, которые ему пришли в голову и которыми его снабдил пан Заглоба, вошел в столовую, где обыкновенно собиралось к завтраку все общество. Все были в сборе за исключением Кхиси, но и она не заставила себя долго ждать. Не успел маленький рыцарь проглотить двух ложек супу, как через отворенную дверь послышался шелест платья, и девушка вошла в комнату.

Она вошла очень быстро, вернее, вбежала. Щеки у нее горели; глаза были опущены; в лице было смущение, страх, принужденность. Она подошла к Володыевскому и подала ему обе руки, но не подняла глаз, а когда он с жаром стал целовать ее руки, она вдруг побледнела и не сказала ему ни одного слова приветствия.

А его сердце при виде этого нежного лица, при виде этого стройного, гибкого стана, от которого еще веяло теплотой недавнего сна, переполнилось любовью, беспокойством и восхищением; его тронуло даже ее смущение и боязнь, отразившиеся на ее лице.

«Цветочек мой миленький, – подумал он в душе, – чего ты боишься? Ведь я отдам за тебя и жизнь, и кровь мою...»

Но вслух он этого не сказал и только так долго и так крепко прижимал свои жесткие усы к ее атласным ручкам, что на них даже остался красный след.

Бася, глядя на все это, нарочно спустила на лоб свой хохолок, чтобы никто не мог заметить ее волнения, но на нее никто не обращал внимания: глаза всех были устремлены только на одну пару. Наступило неловкое молчание. Первый прервал его пан Михал.

– Ночь прошла у меня в печали и в беспокойстве, – сказал он, – ибо я всех вчера видел, кроме вас, и такие ужасные слухи дошли до меня, что мне было не до сна; я готов был плакать...

Услышав такую откровенную речь, Кшися побледнела еще сильнее. Володыевскому казалось с минуту, что она упадет в обморок, и он поспешил сказать:

– Мы еще об этом поговорим, а теперь я ни о чем не буду спрашивать: вам надо успокоиться и прийти в себя. Я не волк и не варвар какой-нибудь и, видит бог, всей душой желаю вам добра!

– Благодарю вас, – прошептала Кшися.

Пан Заглоба, стольник и его жена все время обменивались взглядами, как бы подбивая друг друга начать скорее обычный разговор, но на это долго никто не мог решиться, и, наконец, пан Заглоба начал первый:

– Нам надо, – сказал он, обращаясь к приезжим, – сегодня же отправиться в город. Там перед выборами все кипит, как в котле, каждый хлопочет о своем кандидате. По дороге я вам скажу, за кого, по-моему, следует подать голос.

Никто ничего не ответил, и пан Заглоба обвел всех унылым взглядом и, наконец, обратился к Басе:

– А ты, жучок, поедешь с нами?

– Поеду хоть на Русь, – ответила она резко.

И снова наступило молчание. Разговор не клеился, и в таких попытках его склеить прошел весь завтрак. Наконец все встали. Володыевский тотчас подошел к Кшисе и сказал:

– Мне нужно с вами поговорить наедине!

Он предложил руку и увел ее в соседнюю комнату, в ту самую, которая была свидетельницей их первого поцелуя. Посадив Кшисю на диван, он сел с нею рядом и начал рукой гладить ее по волосам, точно лаская маленького ребенка.

– Кшися, – сказал он наконец мягким голосом, – твое смущение уже прошло? Можешь ли ты отвечать мне спокойно и обдуманно?

Ее смущение уже прошло, а кроме того, она была тронута его добротой и в первый раз подняла на него глаза.

– Могу, – ответила она тихо.

– Неужели правда, что ты хочешь поступить в монастырь?

На это Кшися сложила руки и прошептала умоляющим голосом:

– Не осуждайте меня, не проклиняйте, но это так.

– Кшися, – сказал Володыевский, – можно ли так попирать счастье других, как ты его попираешь? Где твои слова? Где наш уговор? Я не могу воевать с Богом, но я повторю тебе прежде всего то, что вчера мне говорил пан Заглоба: монашеская одежда не должна быть сшита из чужих страданий. Моим горем ты славы Божьей не приумножишь, ибо Господь Бог царствует над всем миром. Ему принадлежат все народы, суша, моря, реки и воздушные птицы, и лесные звери, и солнце, и звезды; у него все, о чем только можно подумать, и даже более того, а у меня только ты одна – любимая, дорогая, все мое счастье, все мое достояние! Неужели ты можешь допустить, что Господь Бог захочет сам вырвать у бедного солдата его единственное сокровище! Что он в благодати своей согласится на это, обрадуется, не разгневается. Вспомни, что даешь ты ему? Себя! Но ведь ты моя, ибо ты сама обещала быть моею, стало быть, ты ему отдаешь чужую собственность, а не свою; отдаешь мои слезы, мои страдания, быть может, и жизнь мою! Разве ты имеешь на это право? Рассуди это умом своим и сердцем и, наконец, спроси и у своей совести. Если бы я чем-нибудь оскорбил тебя, изменил, позабыл тебя, если бы я в чем-нибудь провинился, совершил преступление, тогда другое дело. Но я поехал следить за ордой, я служил отечеству кровью и жизнью. А тебя я любил, о тебе я думал по целым дням и ночам и, как олень по воде, как птица по воздуху, как дитя по матери, как мать по ребенку, тосковал по тебе. И за все это такая встреча, такая награда!.. Кшися, любовь моя, друг мой, избранная моя, скажи мне, откуда это взялось? Скажи мне свои доводы так же откровенно и искренне, как я тебе высказал мои! Будь верна мне, не оставляй меня в одиночестве с моим несчастьем. Ты сама дала мне на это право, не делай же меня преступником!

Не знал несчастный пан Михал, что существует закон выше и древнее всех законов человеческих. Закон, в силу которого сердце повинуется только любви, за нею идет, за нею должно идти, а если перестало любить, то тем самым совершает вероломство, хотя, может быть, иной раз столь же невинное, сколь невинно погасает лампа, в которой выгорело масло. Не зная об этом, Володыевский обнял колени Кшиси и просил ее, молил, а она отвечала ему только потоками слез, ибо сердце ее уже молчало.

– Кшися, – сказал рыцарь, вставая, – в твоих слезах может потонуть мое счастье, а я тебя о спасении молю!

– Не спрашивайте у меня доводов, – ответила она, рыдая, – не спрашивайте о причинах, так должно быть и иначе быть не может. Я не достойна такого, как вы, человека и никогда не была достойна. Господи боже мой, сердце разрывается! Простите меня, не покидайте меня в гневе, простите меня, не проклиняйте!

Сказав это, Кшися бросилась на колени перед Володыевским.

– Я знаю, что обижаю вас, но я прошу вас сжалиться надо мной, пощадить! Тут темная головка Кшиси склонилась до самого пола. Володыевский поднял плачущую девушку и опять посадил ее на диван, а сам, как безумный, стал ходить по

комнате. По временам он вдруг останавливался, хватался руками за голову и опять продолжал ходить. Наконец он остановился перед Кшисей и сказал ей:

– Повремени, оставь мне хоть какую-нибудь надежду. Подумай, ведь я не из камня... Зачем ты так безжалостно прижигаешь мою рану раскаленным железом? Ведь как бы я ни был терпелив, все же, когда кожа зашипит, мне больно будет... Я даже сказать не умею, как мне больно... Ей-богу, не умею... Я, видишь, человек простой, всю жизнь провел на войне... Ради бога... Господи боже! В этой же самой комнате мы любили друг друга. Кшися! Кшися! Я думал, что ты вечно будешь моею, а теперь все кончено. Что с тобою случилось? Кто подменил твое сердце? Кшися, я все тот же... Ты знаешь и то, что для меня этот удар больнее, чем для кого-нибудь другого, ведь я похоронил уже одну свою любовь. Боже, что мне ей сказать, чтобы тронуть ее сердце?! Только и знаешь, что мучишься. Оставь мне хоть надежду! Не отнимай у меня всего сразу...

Кшися ничего не ответила, только все сильнее и сильнее вздрагивала от рыданий. Маленький рыцарь стоял перед нею, сдерживая сначала свое горе, а потом страшный гнев, и, только когда справился с собою, повторил прежние слова:

– Оставьте мне хоть надежду! Слышите?

– Не могу, не могу! – ответила Кшися.

Тут пан Володыевский подошел к окну и прижался головой к холодному стеклу. Долго он стоял без движения, наконец, обернулся и, сделав несколько шагов по направлению к Кшисе, сказал очень тихо:

– Будьте здоровы, ваць-панна! Мне здесь делать нечего. Пусть вам будет так хорошо, как мне плохо! Знайте, что я умом прощаю вас. Быть может, когда-нибудь и сердце мое простит. Только будьте сострадательнее к человеческому горю и в другой раз не давайте лишних обещаний. Нечего сказать, не очень-то много счастья я здесь нашел... Будьте здоровы!

Сказав это, он зашевелил усиками, поклонился и вышел. В соседней комнате он застал Маковецких и Заглобу, которые сейчас же вскочили, чтобы расспросить его, но он только махнул рукой.

– Все ни к чему! – сказал он. – Оставьте меня в покое!

Из этой комнаты в комнату Володыевского вел узкий коридор, и в коридоре у лестницы, которая вела наверх в комнату девиц, Бася вдруг загородила дорогу маленькому рыцарю.

– Да утешит вас Господь Бог и да изменит сердце Кшиси! – сказала она Дрожащим от слез голосом.

Он прошел мимо, даже не взглянув на нее и не сказав ни слова. Вдруг его охватило бешенство, горечь наполнила его душу. Он вернулся, остановился с язвительным лицом перед ни в чем не повинной Басей.

– Обещайте руку Кетлингу, – сказал он хриплым голосом, – влюбите его в себя, а потом растопчите его, растерзайте его сердце и идите в монастырь!

– Пан Михал! – воскликнула с изумлением Бася.

– Доставь себе удовольствие, отведай поцелуев, а потом иди каяться! Пропадите вы пропадом!!

Это уже было слишком для Баси. Одному Богу было известно, сколько самоотречения было в ее пожелании, чтобы Бог изменил сердце Кшиси, и за все это на нее возвели несправедливое подозрение, ответили насмешкой, оскорблением, и именно в ту минуту, когда она готова была жизнь отдать, чтобы утешить неблагодарного. Душа ее вспыхнула, как огонь, щеки покраснелись, розовые ноздри раздулись, и, ни минуты не раздумывая, она воскликнула, потряхивая своими светлыми волосами:

– Знайте же, что из-за Кетлинга не я иду в монастырь!

И с этими словами она бросилась на лестницу и исчезла из глаз рыцаря.

А он стоял, как окаменелый, потом стал протирать себе глаза, как человек, который только что проснулся от сна! Вдруг лицо его налилось кровью, он схватился за рукоятку сабли и закричал страшным голосом:

– Горе изменнику!

И через четверть часа он уже мчался в Варшаву, так что ветер свистел у него в ушах и комья земли градом летели из-под копыт его коня.

XIX

Маковецкие и Заглоба видели, как он убежал. Ими овладела тревога, и они глазами спрашивали друг друга: что случилось, куда он поехал?

– Великий Боже! – воскликнула пани Маковецкая. – Он еще готов в Дикие Поля ехать, и я его больше никогда не увижу!

– Или в монастырь, по примеру той пустоголовой, – говорил в отчаянии пан Заглоба.

– Надо принять меры, – прибавил стольник.

Вдруг дверь открылась, и в комнату, как вихрь, влетела Бася, взволнованная, бледная; не отнимая рук от глаз, она затопала ногами посередине комнаты и запищала:

– Спасите, спасите! Пан Михал поехал убить Кетлинга! Кто в Бога верует, пусть летит его удержать! Помогите, помогите!

– Что с тобой, девочка! – крикнул Заглоба, хватая ее за руки.

– Помогите! Пан Михал убьет Кетлинга! Из-за меня прольется кровь, а Кшися умрет! Все из-за меня!

– Отвечай! – крикнул Заглоба, трясая ее изо всей силы. – Откуда ты это знаешь? И при чем ты тут?

– Я со злости сказала, что они любят друг друга, что Кшися из-за Кетлинга идет в монастырь. Кто в Бога верует, пусть летит, остановит его! Поезжайте поскорее, поезжайте все, едем все!

Пан Заглоба не привык в таких случаях терять время, он бросился на двор и тотчас же приказал запрягать лошадей.

Пани Маковецкая хотела расспросить Басю об этом ошеломляющем известии. До этого времени она и не догадывалась о каких-нибудь чувствах между Кшисей и Кетлингом, но Бася помчалась за паном Заглобой, чтобы самой присмотреть за запряжкой. Она помогала вывести лошадей, закладывая их в коляску, наконец, сидя на козлах, с непокрытой головой подъехала к крыльцу, на котором пан Заглоба и стольник дожидались уже одетые.

– Слезай! – сказал ей Заглоба.

– Не слезу!

– Слезай! – говорю тебе.

– Не слезу! Хотите ехать, садитесь, а нет, я одна поеду!

Сказав это, Бася подобрала вожжи, а они, видя, что упорство девушки может их задержать, оставили ее в покое.

Между тем прибежал кучер с кнутом, и пани Маковецкая успела еще вынести Басе теплую одежду, потому что день был холодный.

И они тронулись.

Бася осталась на козлах; пан Заглоба, желая поговорить с нею, уговаривал ее пересесть на переднее сиденье, но она и этого не хотела сделать, быть может, из боязни, что ее будут бранить, и Заглобе пришлось допрашивать ее издали; а она отвечала, не поворачивая головы.

– Откуда ты узнала, – спросил он, – про тех двух, о чем говорила Михалу?

– Я все знаю.

– Кшися тебе что-нибудь сказала?

– Кшися мне ничего не говорила.

– Может быть, шотландец?

– Нет, но я знаю, что он из-за этого и в Англию уезжает. Он всех провел, но только не меня.

– Удивительная вещь! – сказал Заглоба. Бася ответила на это:

– Это ваша работа, не нужно было их толкать друг к другу!

– Сиди там тихо и не вмешивайся не в свои дела! – ответил пан Заглоба; его задело то, что упрек этот был сделан при стольнике летичевском.

И минуту спустя он прибавил:

– Я толкал их? Я сватал? Вот это мне нравится!

– Ага, может быть, не так? – возразила девушка. И дальше они ехали молча.

Пан Заглоба все же не мог отрешиться от мысли, что Бася права и что во всем, что произошло, немалая доля и его вины. Мысль эта сильно его мучила, а так как и шарабан трясло при этом жестоко, то старый шляхтич пришел в отвратительное настроение и не скупился на упреки себе.

«Было бы очень справедливо, – думал он, – если бы Володыевский с Кетлингом обрезали мне уши. Женить кого-нибудь против воли – это все равно что заставить его ездить верхом лицом к лошадиному хвосту. Эта муха права! Если те там подерутся, кровь Кетлинга падет на меня. Интриг мне захотелось на старости лет! Тьфу, черт возьми! И меня чуть было не провели за нос, я ведь только смутно догадывался, почему Кетлинг едет за море, а та галка идет в монастырь, между тем, как оказывается, гайдучок все уже давно раскусил».

Тут пан Заглоба задумался, а минуту спустя пробормотал:

– Шельма, а не девушка! Михал, верно, у рака глаза занял, если ту куклу предпочел ей.

Между тем они приехали в город, и тут-то начались настоящие трудности, потому что никто из них не знал, где теперь живет Кетлинг и куда мог отправиться Володыевский; искать же их в такой толпе было то же самое, что искать зерно в четверике мака. Прежде всего они отправились ко двору великого гетмана. Там им сказали, что Кетлинг еще утром должен был ехать в заморское путешествие. Володыевский тоже был там и расспрашивал о Кетлинге, но куда он отправился, никто не знал. Предполагали, что он поехал в полк, который стоял за городом.

Пан Заглоба велел ехать к лагерю, но и там они ничего не узнали. Объехали все гостиницы в улице Длугой, были на Праге – все напрасно.

Между тем наступила ночь, и так как найти помещение в гостинице нельзя было и думать, то им пришлось возвращаться домой. Возвращались они очень озабоченные. Бася плакала, набожный стольник читал молитвы, а Заглоба не на шутку встревожился. Тем не менее он старался успокоить и себя, и других.

– Ха! Мы беспокоимся, а Михал, может быть, уже и дома!

– Или убит! – сказала Бася.

И она заерзала на сиденье, повторяя со слезами:

– Мне надо язык отрезать! Я во всем виновата! Во всем виновата! Господи, я с ума сойду!

– Молчи, девушка, – сказал Заглоба, – виновата не ты, и знай, что если кто-нибудь из них и убит, то не Михал!

– Мне жаль и того! Прекрасно мы оплатили ему за гостеприимство, нечего сказать! Боже! Боже!

– Правда! – вставил стольник.

– Да бросьте вы это! Кетлинг теперь уже ближе к Пруссии, чем к Варшаве. Ведь вы слышали, что он уехал. Я надеюсь на Бога, что если даже они и встретятся, то вспомнят свою старую дружбу и годы, проведенные вместе... Ведь они всегда ездили вместе, стремя у стремени, вместе ездили на разведки, спали на одном седле, в одной крови обагрляли руки. Во всем войске известна была их дружба, и Кетлинга за его красоту называли женой Володыевского. Невозможно, чтобы они не вспомнили этого, как только увидят друг друга!

– Но иногда и так бывает, – сказал рассудительный стольник, – что величайшая дружба превращается в величайшую ненависть. В наших странах пан Дейма убил Убыша, с которым двадцать лет жил в самом лучшем согласии. Я могу вам рассказать подробно про этот несчастный случай.

– Если бы мысли мои были спокойны, я бы охотно вас послушал, как слушаю и рассказы вашей супруги, которая говорит всегда очень подробно, не забывая даже генеалогии; но у меня в голове гвоздем засело то, что вы сказали про дружбу и ненависть. Помилуй бог, если тут так случится!

– Одного звали пан Дейма, а другого пан Убыш. Оба были достойные люди и товарищи по оружию...

– Ой, ой, ой! – сказал мрачно пан Заглоба. – Будем надеяться на Бога, что здесь так не будет, а если это случится, то Кетлинг – покойник!

– Несчастье! – сказал стольник, помолчав немного. – Да, да, Дейма и Убыш. Как сейчас помню. И дело тоже вышло из-за женщины...

– Вечно эти женщины! Первая встречная галка заварит тебе такую кашу, что кто ее хлебнет, тому она поперек горла станет! – проворчал Заглоба.

– Вы на Кшисю не нападайте! – сказала вдруг Бася.

– Лучше бы Михал в тебя влюбился; ничего бы этого не было, – сказал пан Заглоба.

Так разговаривая, они подъехали наконец к дому. Сердца их тревожно забились, когда они увидели свет в окнах; у всех промелькнула мысль, что Володыевский вернулся. Но их встретила одна только пани Маковецкая, встревоженная и огорченная. Узнав, что все поиски ни к чему не привели, она залилась горькими слезами и начала причитать, что больше не увидит брата. Бася вторила ей. Заглоба не мог сладить со своей тревогой.

– Завтра до рассвета поеду опять, но один, – сказал Заглоба, – может быть, что-нибудь и разузнаю.

– Вдвоем искать лучше, – вставил стольник.

– Нет, вы оставайтесь с женщинами. Если Кетлинг жив, я дам вам знать.

– Господи, ведь мы живем в его доме! – сказал стольник. – Завтра надо будет найти какое-нибудь помещение. Хоть бы пришлось жить в палатке, только бы не оставаться здесь!

– Ждите от меня известий, иначе потеряем друг друга. Если Кетлинг убит...

– Говорите тише, ради бога! – воскликнула пани Маковецкая. – Прислуга услышит и передаст еще Кшисе, а она и так чуть жива...

– Я пойду к ней, – сказала Бася.

И побежала наверх. Остальные остались, встревоженные и опечаленные. Никто во всем доме не спал. Мысль, что Кетлинг, может быть, убит, наполняла все сердца ужасом. Вдобавок ночь была душная, темная, грохотали раскаты грома, молния ежеминутно разрезала мрак. В полночь над землей разразилась первая весенняя буря. Проснулась и прислуга.

Кшися и Бася перешли из своей комнаты в столовую. Там все общество читало молитвы, а потом все сидели в молчании, время от времени, согласно обычаю, после каждого удара грома повторяя хором: «Слово плоть бысть».

В посвистах ветра слышался порой как будто топот; тогда всех охватывал ужас и волосы дыбом вставали на голове: всем казалось, что вот-вот откроется дверь, и в комнату войдет Володыевский, забрызганный кровью Кетлинга.

Кроткий всегда пан Михал в первый раз в жизни лег тяжелым камнем на сердца людей, так что самая мысль о нем вызывала ужас.

Ночь, однако, прошла без вестей о маленьком рыцаре. На рассвете, когда гроза немного поутихла, пан Заглоба вторично отправился в город.

Весь день был опять днем тяжелого беспокойства. Бася до самого вечера просидела или у окна, или за воротами, поглядывая на дорогу, по которой должен был вернуться пан Заглоба.

Между тем слуги по приказанию пана стольника укладывали вещи в дорогу, Кшися занялась своей работой, что дало ей возможность держаться вдали от Маковецких и пана Заглобы. Хотя пани Маковецкая ни одним словом не упоминала при ней до сих пор о брате, но уже одно это молчание убеждало Кшисю, что и любовь к ней пана Михала, и их давнишнее тайное решение, и ее теперешний отказ – все вышло наружу. А ввиду этого трудно было предположить, чтобы эти люди, столь близкие Володыевскому, могли относиться к ней без неприязненного чувства. Бедная Кшися чувствовала, что так и должно быть, что от нее отвернулись эти любящие сердца, и она предпочитала страдать в одиночестве.

К вечеру вещи были уложены, так что в случае чего можно было в тот же день выехать. Но пан Маковецкий ожидал известий от Заглобы. Подали ужин, к которому никто не прикоснулся. Вечер тянулся так долго, так невыносимо, так глухо, точно все старались вслушаться и понять язык часов.

– Перейдемте в гостиную! – сказал наконец стольник. – Здесь просто выдержать нельзя.

Перешли и сели, но прежде чем кто-либо успел промолвить слово, как за окном послышался лай собак.

– Кто-то идет! – сказала Бася.

– Судя по лаю, это кто-нибудь свой, – заметила пани Маковецкая.

– Тише! – сказала опять Бася. – Да, слышно все яснее... Это пан Заглоба.

Бася и стольник вскочили и подбежали к двери; у Маковецкой сильно билось сердце, но она осталась с Кшисей, чтобы излишней торопливостью не показать ей, что пан Заглоба привез очень важные известия.

Между тем колеса застучали уже под самыми окнами и вдруг замолкли. В сенях раздались какие-то голоса, и минуту спустя, как ураган, влетела в комнату Бася, – лицо ее так исказилось, точно она увидела привидение.

– Бася, что такое? Кто там? – с ужасом спросила пани Маковецкая.

Но прежде чем Бася успела перевести дух и что-либо ответить, как двери распахнулись и в них появился сначала стольник, потом Володыевский и, наконец, Кетлинг.

XX

Кетлинг изменился до неузнаваемости: он едва мог поклониться дамам, потом остановился неподвижно, прижав шляпу к груди и закрыв глаза. Володыевский по дороге обнял сестру и подошел к Кшисе. Лицо девушки побелело, как полотно, легкий пушок на губах казался чернее обыкновенного, грудь то подымалась, то опускалась. Володыевский взял ее ласково за руку и поднес ее к губам; потом пошевелил усиками, точно собираясь с мыслями, и сказал печальным, необыкновенно спокойным голосом:

– Мосци-панна, или, лучше, дорогая моя Кшися! Выслушай меня спокойно, потому что я не какой-нибудь скиф, или татарин, или дикарь, а твой друг, который хотя сам не очень счастлив, но тебе желает всяческого счастья. Уже известно, что вы с Кетлингом любите друг друга. Панна Бася бросила мне это в глаза, когда справедливо разгневалась на меня, и я не стану отрицать, что я выскочил из этого дома в бешенстве и помчался к Кетлингу, чтобы отомстить ему. Когда все потеряешь, мести легко поддаться, а я так тебя любил! Видит бог, не только как мужчина любит женщину... Если бы я уже был женат и Бог благословил меня мальчиком или девочкой, а потом отнял их у меня, я, быть может, не жалел бы их так, как жалел тебя...

Тут у пана Михала не хватило голоса, но он тотчас же поборол себя, несколько раз шевельнул усиками и продолжал:

– Ну, что ж делать. Горе горем, а помочь ничем нельзя. Что тебя полюбил Кетлинг, не удивительно. Кто бы мог не полюбить тебя? А что ты его полюбила, – такова, значит, моя судьба. Но и тут удивляться нечему – мне с Кетлингом не равняться. На поле битвы, – пусть он сам скажет, – я не хуже его, но тут иное дело. Одному Бог дал красоту, другому ее не дал, но зато дал рассудительность. Так было и со мной. Как только ветер освежил меня, как только прошел первый взрыв бешенства, – совесть мне тотчас же подсказала: за что я им буду мстить? За что пролью кровь друга? Полюбили один другого, – на то воля Божья. Старые люди говорят, что сердце и гетману не слуга. Полюбили, – значит, воля Божья! Если бы Кетлинг знал, что ты обещала быть моей... может быть, я и крикнул бы ему: «Выходи с саблей!», но он этого не знал. В чем же его вина? Ни в чем! А ты в чем виновата? Ни в чем! Он хотел уехать, ты хотела поступить в монастырь. Во всем виновата моя доля несчастная, но в том уж, видно, перст Божий, – значит, мне суждено навсегда остаться одиноким... Но я поборол себя, я поборол себя.

Володыевский снова оборвал свою речь и стал прерывисто дышать, как человек, который долго нырял и вдруг очутился на поверхности воды. Потом взял руку Кшиси.

– Любить так, чтобы желать всего для себя, – сказал он, – не трудно. Мы страдаем все трое, пусть же лучше страдает один и принесет другим счастье. Дай тебе Бог, Кшися, счастья с Кетлингом.. Аминь.. Дай тебе Бог, Кшися, счастья с Кетлингом.. Мне немного больно, но это ничего.. Дай тебе Бог.. Ей-богу, ничего.. Я поборол себя..

Говорил «ничего» бедный солдат, но, стиснув зубы, наконец застонал от сердечной боли, а в другом конце комнаты послышался рев Баси.

– Кетлинг, иди сюда, друг мой! – воскликнул Володыевский.

Кетлинг подошел к Кшисе, опустился на колени и молча, с величайшим благоговением и любовью обнял ее ноги.

А Володыевский стал говорить прерывистым голосом:

– Обними его! Он тоже настрадался, бедняга!.. Да благословит вас Господь Бог!.. Ты уж не пойдешь в монастырь. Лучше будет, если вы будете благословлять меня, чем проклинать.. Бог надо мной.. Хотя мне теперь и очень тяжело..

Бася не могла выдержать больше и бросилась вон из комнаты. Заметив это, Володыевский обратился к стольнику и к своей сестре.

– Пойдемте в другую комнату, – сказал он, – оставьте их одних, я тоже пойду к себе и помолюсь Господу Богу!

И он ушел.

Посреди коридора, около лестницы, он встретил Басю на том самом месте, где в пылу гнева она выдала тайну Кшиси и Кетлинга. Она стояла, прислонившись к стене, и заливалась горькими слезами.

Увидев это, расчувствовался пан Михал над собственным горем.

До сих пор он сдерживался как мог, но теперь прорвалась его скорбь, и слезы градом брызнули из глаз.

– Чего вы плачете, ваць-панна?! – воскликнул он жалостливым голосом. Бася подняла голову и, как ребенок, вытирая кулаками слезы и дыша открытым ртом, продолжала всхлипывать и сквозь рыдания ответила ему:

– Мне так вас жаль.. О, Господи, Господи!.. Пан Михал такой добрый, такой честный!.. О, Господи!

Тогда он схватил ее руки и стал покрывать их поцелуями от благодарности и волнения.

– Награди тебя Бог! Награди тебя Бог за твое доброе сердце! – сказал он. – Тише, не плачь!

Но Бася зарыдала навзрыд; казалось, каждая жилка дрожала в ней от горя. Жадно

ловя воздух, она топала ногами и закричала так громко, что голос ее разнесся по всему коридору.

– Глупая Кшися! Я предпочла бы одного пана Михала десяти Кетлингам. Я люблю пана Михала от всего сердца... Больше, чем тетю... больше, чем дядю... больше, чем Кшисю!..

– Ради бога! Бася! – воскликнул пан Михал. Стараясь унять ее волнение, он обнял ее, а она изо всех сил прижалась к его груди, так что он почувствовал биение ее сердца, трепетавшего, как у измученной птички. Он обнял ее еще крепче, и они так застыли.

Все кругом было тихо.

– Бася! Хочешь быть моей? – спросил маленький рыцарь.

– Да, да, да! – ответила Бася.

Услышав этот ответ, и он поддался увлечению, прижал свои губы к ее алым девственным губам, и они опять застыли...

Между тем загремела бричка, и пан Заглоба вошел в сени, потом в столовую, где сидел Маковецкий с женой.

– Нет Михала! – крикнул он, не переводя дыхания. – Искал его везде. Пан Кшицкий говорил, что видел его с Кетлингом. Они, наверное, дрались!

– Михал здесь, – ответила пани Маковецкая, – привез Кетлинга и отдал ему Кшисю.

Соляной столб, в который была превращена жена Лота, был, верно, менее похож на настоящий столб, чем пан Заглоба в эту минуту. Несколько минут царило молчание, потом старый шляхтич протер глаза и сказал:

– Э?

– Кшися с Кетлингом здесь рядом, в комнате, а пан Михал пошел помолиться, – ответил стольник.

Пан Заглоба, не задумываясь, вошел в смежную комнату, и хотя уже знал обо всем, но, увидав Кетлинга рядом с Кшисей, снова застыл в изумлении. Они вскочили, смущенные, и не знали, что сказать; тем более что вслед за Заглобой вошли и Маковецкие.

– Всю жизнь буду благодарен Михалу, – сказал наконец Кетлинг. – Наше счастье – дело его рук!

– Дай вам Бог счастья! – сказал стольник. – Желанию Михала мы противиться не будем!

Кшися бросилась в объятия пани Маковецкой, и обе расплакались. Пан Заглоба был точно оглушен. Кетлинг склонился к ногам стольника, как сын к ногам отца, а тот поднял его и от наплыва ли мыслей или от смущения сказал:

– А пана Убыша пан Дейма убил! Благодарите Михала, а не меня!

Минуту спустя он спросил:

– Жена, как звали ту панну?

Пани Маковецкая не успела ответить, потому что в эту минуту вбежала Бася, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с волосами, совсем упавшими на глаза, – подбежала к Кетлингу и Кшисе и, тыкая пальцем в глаза то тому, то другому, закричала:

– Ну и ладно! Вздыхайте, любите, женитесь! Вы думаете, что пан Михал один будет на свете? Так нет же: я за него махну! Я его люблю и сама ему первая сказала! Первая сказала, а он спросил, пойду ли я за него, а я ему ответила, что предпочитаю его десяти другим, потому что люблю его и буду ему самой лучшей женой, и никогда не покину его, и мы будем вместе воевать! Я давно люблю его, хоть ничего не говорила, потому что он самый честный, самый хороший и любимый! Теперь вы можете жениться, а я за пана Михала махну, хоть завтра... потому что...

Но тут у Баси захватило дыхание.

Все поглядывали друг на друга, не понимая, с ума ли она сошла или говорит правду? Потом все стали смотреть с изумлением на нее. Вдруг в дверях показался Володыевский.

– Михал, – спросил стольник, немного придя в себя, – правда ли то, что мы слышим?

На это маленький рыцарь ответил с глубочайшей серьезностью:

– Господь сотворил чудо: она – мое утешение, моя любовь, мое величайшее сокровище!

После этих слов Бася снова подскочила к нему, как серна. Между тем выражение изумления исчезло с лица пана Заглобы, его седая голова затряслась, он широко раскрыл объятия и воскликнул:

– Ей-богу, зареву... Гайдучок, Михал, подите ко мне...

Часть вторая

I

И он любил ее безумно, и она его любила, и хорошо им было вместе. Хотя они были женаты четыре года, детей у них не было. Зато хозяйство шло у них превосходно. Володыевский купил близ Каменца на свои и Басины деньги несколько деревень, и купил их дешево: в той местности многие помещики из страха перед нашествием турок охотно продавали свои земли. Он ввел в этих владениях строгий, чисто военный порядок; беспокойное население держал в железных руках, на месте погоревших изб ставил новые, строил укрепленные хутора, по которым расставлял временные гарнизоны, – словом, как прежде он ревностно защищал страну, так теперь он ревностно хозяйничал, не выпуская сабли из рук.

Слава его имени служила лучшей охраной его владений. С некоторыми мурзами он дружил. С другими вступал в борьбу. При одном воспоминании о Маленьком соколе в ужас приходили и своевольные шайки казаков, и летучие отряды татарских хищников, и степные разбойники; стада его лошадей и овец, его буйволы и верблюды могли свободно пастись в степи. Не трогали даже его соседей. Состояние его с помощью дельной жены росло. Его окружала всеобщая любовь и уважение. Отчизна наградила

его чинами, гетман его любил, хотинский паша при воспоминании о нем причмокивал губами. Имя его с уважением повторяли в далеком Крыму и в Бахчисарае.

Хозяйство, война и любовь были три главные нити в его жизни.

Знойное лето 1671 года застало Володыевских в родовом имении Баси – Соколе. Сокол этот был перлом их имений. Шумно и весело жили они там вместе с паном Заглобой, который, невзирая ни на свои преклонные годы, ни на трудности путешествия, сдержал слово, данное на свадьбе Володыевских. Но шумные пиры и радость по поводу приезда дорогого гостя вскоре были прерваны приказом гетмана, который поручал Володыевскому принять команду в Хрептивее, охранять границу, следить за движением со стороны пустыни; уничтожать отдельные чамбулы и очистить окрестности от гайдамаков.

Маленький рыцарь, как солдат, всегда готовый к услугам Речи Посполитой, тотчас приказал слугам согнать стада с лугов, навьючить верблюдов и стоять в походном порядке. Все же сердце его разрывалось при мысли о разлуке с женой: он любил ее как муж и как отец и жить не мог без нее; но брать ее с собой в дикую и глухую ущицкую пустыню, подвергать различным опасностям он не хотел. Но она упорно настаивала на том, чтобы ехать с ним.

– Подумай, – говорила она, – неужели мне безопаснее будет остаться, чем жить там под охраной войска и с тобой? Не хочу я другой кровли, кроме твоей палатки; я затем и вышла за тебя, чтобы делить с тобой все трудности, невзгоды и опасности. Здесь меня замучит беспокойство, а с таким солдатом, как ты, я буду чувствовать себя безопаснее, чем сама королева в Варшаве. Если придется с тобой отправиться в поход, я пойду. Без тебя я ни одной ночи не усну, куска не проглочу и, в конце концов, не выдержу, – в Хрептивее и так полечу, а если ты прикажешь меня не пускать, то я буду ночи сидеть у ворот и до тех пор буду просить и плакать, пока ты не сжалишься!

Володыевский, тронутый такой любовью, схватил жену в объятия и жадно стал целовать ее розовое личико, и она не оставалась в долгу.

– Я бы ничего не имел против, если бы дело касалось сторожевых постов, – сказал он наконец, – или походов против ордынцев. Войска у нас будет довольно: со мной пойдет отряд генерала подольского и пана подкомория; кроме того, казаки Мотовилы и драгуны Линкгауза. Будет до шестисот солдат, а с челядью до тысячи. Но я боюсь того, чему в Варшаве сеймовые болтуны не верят, но чего мы, живя на границе, ждем со дня на день: великой войны со всеми турецкими силами. Все это подтвердил и пан Мыслишевский, и паша хотинский это ежедневно повторяет, гетман тоже верит, что султан не оставит Дорошенку без помощи и объявит войну Речи Посполитой, а тогда что же мне делать с тобой, мой цветочек дорогой, моя награда из Божьих рук?

– Что будет с тобой, то будет и со мной!.. Я не хочу другой участи, как той, что ждет тебя!

Тут заговорил пан Заглоба и, обратившись к Басе, сказал:

– Если вас турки поймут, то хочешь или нет, а судьба твоя будет совсем иная, чем судьба Михала. Эх! После казаков, шведов, северян и бранденбургской псарни – турки. Говорил я ксендзу Ольшовскому: «Дорошенку до отчаяния не доводите, с турком он столкнулся только поневоле». Ну и что же? Не послушались! Ханенку

послали против Дороша, а теперь Дорош волей-неволей должен лезть в пасть туркам да вдобавок вести их против нас. Помнишь, Михал, я при тебе предостерегал Ольшовского?

– Вы, должно быть, предостерегали его в другой раз, я этого что-то не припомню, – ответил маленький рыцарь. – Но то, что вы сказали про Дорошенку, это святая истина! Пан гетман того же мнения, – говорят даже, у него есть письма от Дороша именно такого же содержания. Впрочем, как бы там ни было, теперь уже поздно вести переговоры. Все же у вас такой быстрый ум, что я охотно спрошу вашего мнения: должен ли я взять Баську в Хрептиев или оставить ее здесь? Я должен прибавить только, что там ужасная пустыня. Деревушка была всегда дрянь, а за эти последние двадцать лет через нее прошло столько казацких шаек и чамбулов, что не знаю, найдем ли мы там хоть камень на камне. Там много оврагов, поросших лесами, много трущоб и глубоких пещер и всяких тайников, где разбойники скрываются целыми сотнями, не говоря уже о тех, которые приходят из Валахии.

– Разбойники при такой военной силе – вздор, – сказал Заглоба, – чамбулы – тоже вздор, потому что если они появятся в большом количестве, то это будет известно, а если их будет немного, то ты их вырежешь...

– Ну вот видишь! – воскликнула Бася. – Все это вздор! Разбойники вздор, и чамбулы вздор! С такой силой Михал защитит меня от всей крымской орды.

– Не мешай мне думать, – ответил пан Заглоба, – иначе я решу не в твою пользу!

Бася быстро закрыла рот рукой и спрятала голову в плечи, делая вид, что ужасно боится пана Заглобы. Он, хотя и понимал, что она шутит, был этим польщен и, положив свою одряхлевшую руку на русую головку Баси, сказал:

– Ну не бойся, я тебя пораду!

Бася тотчас же поцеловала его руку, – действительно, многое зависело от его совета, ибо советы его были всегда так верны, что на них можно было положиться; а он, засунув обе руки за пояс и поглядывая своим здоровым глазом то на одного, то на другого, вдруг сказал:

– А потомства нет как нет, а?

И оттопырил свою нижнюю губу.

– Воля Божья, вот и все! – ответила Бася, опустив глаза.

– А вам бы хотелось? – опять спросил Заглоба.

– Говоря откровенно, – заговорил маленький рыцарь, – я не знаю, что дал бы, чтобы иметь детей, но иной раз я думаю, что это напрасная мечта. Бог и так послал мне счастье, дав вот этого котенка, или, как вы ее называете, гайдучка, а так как он при этом благословил меня славой и достатком, то я и не смею молить его о большей милости. Видите ли, не раз приходило мне в голову, что, если бы исполнились все человеческие желания, тогда не было бы никакой разницы между земной Речью Посполитой и небесной, а ведь только небесная отчизна может дать совершенное счастье. И потому я надеюсь, что если я здесь не дождусь одного или двух мальчишек, то это счастье не минует меня там! И по старине буду я с ними воевать под началом небесного гетмана, Михаила-Архангела, и вместе с ними

покроюсь славой в походах против нечистой силы.

Набожный рыцарь, растроганный своими собственными словами, опять поднял глаза к небу, но пан Заглоба слушал его равнодушно, строго моргал глазом и наконец сказал:

– Смотри, как бы в этом не было богохульства! Ведь, хвастаясь, что ты так хорошо предугадал предопределения Господа, ты грешишь, и за этот грех тебе придется жариться в аду, как горох на горячей сковородке. У Господа Бога рукава пошире, чем у епископа краковского, но он не любит, чтобы ему туда заглядывали, много ли, мол, людей он наготовил. Он делает, что ему угодно, а ты не в свое дело носа не суй. Если вы хотите иметь потомство, то нужно вам жить вместе, а не расставаться!

Услышав это, Бася подпрыгнула от радости, хлопая в ладоши и повторяя:

– Ну что? Нам надо жить вместе! Я сразу отгадала, что вы будете на моей стороне! Я сразу отгадала! Едем в Хрептиев, Михал! Хоть разок ты меня возьмишь против татар. Единственный разок! Мой дорогой, мой золотой!

– Ну вот, не угодно ли? Ей уже и в поход захотелось! – воскликнул маленький рыцарь.

– С тобой я не испугаюсь и целой орды!

– *Silentum!*[15] – сказал Заглоба, глядя на Басю восхищенными глазами, или, вернее, восхищенным глазом; он любил ее ужасно. – Я надеюсь, что Хрептиев, до которого, впрочем, не так уж далеко, не будет последней стоянкой в Диких Полях.

– Нет! Команды будут стоять и дальше: в Могилеве, в Ямполье, а последняя в Рашкове, – ответил маленький рыцарь.

– В Рашкове? Ведь мы Рашков знаем! Мы оттуда Гальшку Скшетускую вывезли! Из Валадынецкого яра, помнишь, Михал? Помнишь ли, как я убил это чудище Черемиса, или черта, который ее стерег? Но раз последняя команда будет стоять в Рашкове, то если весь Крым или все турецкие силы тронутся, они там об этом узнают скоро и дадут знать в Хрептиев, а потому и опасности большой нет, – Хрептиев не может быть осажден внезапно. Ей-богу, я не знаю, почему бы Баське и не жить там с тобой? Я это искренне говорю, а ведь ты знаешь, что я скорее отдам свою старую голову, чем стану подвергать ее опасности! Бери ее! Вам обоим будет лучше! Но только Баська должна мне обещать, что в случае войны она без сопротивления позволит себя отвезти хоть в Варшаву, ибо тогда начнутся большие походы, жестокие битвы, осады лагерей, может быть, и голод, как под Збаражем, а в таких делах и мужчине трудно уберечь свою голову, что же говорить о женщине...

– С Михалом я готова и умереть вместе, – сказала Бася, – но ведь у меня хватит рассудить, что можно, а чего нельзя. Впрочем, воля Михала, не моя! Ведь он в этом году ходил уже в поход с паном Собеским, а разве я тогда настаивала на том, чтобы с ним ехать? Нет! Ну, хорошо! Если только мне теперь позволять ехать в Хрептиев вместе с Михалом, то в случае войны вы можете отослать меня, куда вам будет угодно.

– Его милость, пан Заглоба, отвезет тебя на Полесье к Скшетуским, – сказал маленький рыцарь, – туда ведь турки не дойдут.

– Пан Заглоба, пан Заглоба! – ответил, передразнивая его, старый шляхтич. – Разве я конвойный? Не доверяйте так жен пану Заглобе только потому, что он стар, – на деле может выйти совсем другое... Во-вторых, неужели ты думаешь, что в случае войны с турком я буду уже сидеть у печи в Полесье, смотреть, как бы жаркое не подгорело? Я еще не калека и могу кое на что пригодиться. Я со скамейки на коня сажусь, это – правда, но уж если сяду, то на неприятеля налечу не хуже другого молодого. Слава богу, песок еще из меня не сыплется! В стычках с татарами я участвовать не буду, выслеживать их в Диких Полях не буду, я ведь не гончая собака, но зато в генеральном сражении держись только со мной, если сможешь, и ты немало прекрасных вещей увидишь!

– Неужели вы хотите еще идти на войну?

– Ты, значит, думаешь, что я не желаю славной смертью запечатлеть славную жизнь мою после стольких лет службы? Могу ли я ожидать чего-либо более достойного? Ты знал пана Девионткевича? Правда, ему на вид было не более ста сорока лет, но ему было сто сорок два, а он все еще служил.

– Ну, ста сорока ему не было!

– Было! Не сойти мне с этого места! Иду на войну, и баста! А теперь в Хрептиев с вами, потому что я в Баську влюблен.

Бася подскочила к нему с сияющим лицом и бросилась целовать пана Заглобу, а он все поднимал голову, повторяя:

– Крепче! Крепче!

Но пан Володыевский все же раздумывал еще и наконец сказал:

– Отправляться всем вместе невозможно: там настоящая пустыня, нигде не найдешь и крыши. Я поеду вперед, осмотрю местность, выстрою надежную крепость, избы для солдат и навесы для офицерских лошадей, которые могут пострадать от перемены воздуха; прикажу вырыть колодцы, провести дороги, кое-как очистить яры от разбойников; тогда уж пришлю вам надежный конвой, и вы приедете. Хоть три недели, но вам придется здесь обождать.

Бася уже хотела возражать, но пан Заглоба, решив, что Володыевский прав, сказал:

– Что умно, то умно. Бася, мы останемся здесь на хозяйстве и заживем прекрасно. Надо кое-какие запасы сделать, ибо вам, верно, и то неизвестно, что меды и вина нигде так хорошо не сохраняются, как в пещерах...

II

Володыевский сдержал свое слово – в три недели он окончил все постройки и прислал надежный конвой: сотню липков из полка пана Ланцкоронского и сотню драгун Линкгауза под командой пана Снитки, герба «Месяц на ущербе». Липками командовал сотник Азыя Меллехович, из литовских татар, человек совсем еще молодой, лет двадцати с небольшим. Он привез письмо от маленького рыцаря, который писал жене:

«Возлюбленная сердца моего Баська! Ну, приезжай же поскорей, ибо без тебя я как без хлеба, и если до той поры не иссохну, то твою розовую мордочку вконец

зацелую. Посылаю вам людей немало и офицеров опытных, но во всем предпочтение отдавайте пану Снитко и в общество его примите, потому что он хорошего рода и человек состоятельный; а Меллехович, хотя он и хороший солдат, но, бог весть, кто он. К тому же он ни в одном полку, кроме Липковского, не мог бы быть офицером, ибо все считали бы его ниже себя. Обнимаю тебя крепко, ручки и ножки целую. Крепость я выстроил отличную из корабельного леса, дома с огромными печами. Для нас несколько комнат в отдельном доме. Всюду пахнет смолой и столько поналезло сверчков, что как начнут стрекотать, так собак даже разбудят. Если бы достать хоть немножко горохового стебля, их можно бы сразу вывести; а может, велишь выложить им возы? Стекол нигде не достали, – заслоняем окна пузырями, зато в команде пана Бялогловского среди драгун есть стекольщик. Стекла ты можешь купить в Каменце у армян, только, ради бога, вези осторожно, не разбей. Твою комнатку я велел обить коврами, и она имеет прекрасный вид. Десять разбойников, которых мы поймали в Ушицком яру, я велел повесить, а пока ты приедешь, я наберу их десятка три. Пан Снитко расскажет тебе, как мы тут живем. Поручаю тебя Богу и Пресвятой Деве, душа ты моя миленькая».

Бася, прочитав это письмо, передала его пану Заглобе, а он, пробежав его, сейчас же стал относиться к пану Снитко почтительно, но в то же время давал ему чувствовать, что он имеет дело с знаменитым воином, который допускает фамильярность с собой только из снисхождения. Впрочем, пан Снитко был солдат добродушный, веселый и превосходный служака, всю жизнь проведенный в строю. Володыевского он очень уважал, а в присутствии столь славного воина, как Заглоба, он чувствовал себя ничтожным и не думал с ним равняться.

Меллеховича во время чтения письма не было; передав письмо, он тотчас ушел из комнаты, якобы затем, чтобы присмотреть за людьми, а на самом деле из опасения, что его отправят в людскую. Но Заглоба все же успел разглядеть его и, помня слова Володыевского, сказал Снитко:

– Рады видеть вас, пан Снитко, милости просим! Род ваш знаю, герба «Месяц на ущербе». Прекрасный герб!.. Но тот татарин, как зовут его?

– Меллехович!

– Этот Меллехович что-то волком смотрит. Михал пишет, что он человек неизвестного происхождения, а это странно: все наши татары – шляхтичи, хотя и басурманы. На Литве есть целые татарские деревни. Их там зовут липками, а здешних черемисами. Они долгое время верно служили Речи Посполитой в благодарность за то, что она их кормила, но со времени мужицкого восстания многие из них перешли к Хмельницкому, а теперь, я слышал, они начинают снюхиваться с ордой... Этот Меллехович волком смотрит... Пан Володыевский давно его знает?

– Со времени последнего похода, – ответил пан Снитко, пряча ноги под стул, – когда мы с паном Собеским, отправляясь против Дорошенки и орды, были проездом на Украине.

– Со времени последнего похода? Я не мог принимать в нем участия: пан Собекий дал мне другое поручение, хотя потом он и тосковал без меня... А ваш герб – «Месяц на ущербе»? Скажите, пожалуйста... откуда взялся этот Меллехович?

– Он называет себя литовским татаринном, но странно, что никто из литовских татар не знал его раньше, хотя он и служит в их полку. Оттого и пошли слухи о его

неизвестном происхождении, хотя у него прекрасные манеры. Впрочем, он хороший воин, хоть и не разговорчивый. Он оказал большие услуги под Брацлавом и Кальником, за что пан гетман произвел его в сотники, несмотря на то, что он был моложе всех во всем полку. Липки очень его любят, но среди наших он не очень терпим: слишком он человек угрюмый и, как вы изволили верно заметить, волком смотрит.

– Если он хороший солдат и за нас проливал свою кровь, то его следует принять в наше общество; к тому же и муж в письме этого не запрещает, – сказала Бася и, обратившись к пану Снитко, прибавила: – Вы позволите?

– К вашим услугам! – ответил Снитко.

Бася исчезла в дверях, а пан Заглоба обратился к пану Снитко с вопросом:

– Ну, как же вам понравилась жена пана полковника?

Старый солдат, вместо ответа, закрыв руками глаза и наклонившись вперед, сказал:

– Ай, ай, ай!

Потом он вытаращил глаза, закрыв своей широкой ладонью рот, и замолк, как будто устыдившись своего восторга.

– Пряник! А? – сказал Заглоба.

Между тем «пряник» опять появился в дверях, уже с Меллеховичем, который был испуган, как дикая птица.

– И из письма моего мужа, и от пана Снитко мы так много наслышались о ваших подвигах, что рады познакомиться ближе! Милости просим! Сейчас подадут кушать!

– Прошу... подойдите-ка поближе! – сказал пан Заглоба.

Мрачное, хотя и красивое лицо молодого татарина еще не совсем прояснилось, но видно было, что он был благодарен и за хороший прием, и за то, что его не отправили в людскую.

Бася нарочно старалась быть с ним полюбезнее: она своим женским сердцем отгадала, что он подозрителен и горд и что унижения, которым он должен подвергаться, благодаря своему неизвестному происхождению, для него очень мучительны. И она лишь постольку отличала пана Снитко перед Меллеховичем, поскольку это требовалось уважением к его преклонному возрасту. Она расспрашивала молодого сотника о тех подвигах, под Кальником, за которые он получил высшее назначение. Пан Заглоба, угадывая желания Баси, тоже часто обращался к татарину с вопросами, и он, хотя и дичился немного, все же отвечал вполне обстоятельно; его манеры не только не обнаруживали в нем человека низкого происхождения, но даже поражали своей светскостью.

«Это не холопская кровь, обращение было бы не то!» – подумал пан Заглоба. А затем спросил вслух:

– Где живет ваш родитель, ваць-пане?

– На Литве, – отвечал, краснея, Меллехович.

– Литва велика. Это то же самое, что сказать: в Речи Посполитой.

– Теперь уже не в Речи Посполитой, ибо наша сторона от нее отпала. Имена моего родителя недалеко от Смоленска.

– Были там и у меня значительные поместья, которые достались мне от бездетного родственника, но я предпочел отказаться от них и стоять на стороне Речи Посполитой.

– То же самое делаю и я, – ответил Меллехович.

– И прекрасно делаете! – заметила Бася.

Но Снитко, прислушиваясь к их разговору, незаметно пожимал плечами, точно желая этим сказать: «Бог тебя знает, кто ты таков и откуда». Заметив это, пан Заглоба опять обратился к Меллеховичу:

– А вы, ваць-пане, во Христа веруете? Или, быть может, не в обиду будь сказано, в нечестии пребываете? – спросил он.

– Я принял христианскую веру, и потому мне и пришлось расстаться с отцом.

– Если вы из-за этого оставили отца, то Господь Бог не оставит вас, и первое доказательство его милости – то, что вы можете пить вино, которого, пребывая в заблуждении, вы бы не знали.

Снитко засмеялся, но Меллеховичу, по-видимому, были не по вкусу эти расспросы о его личности и происхождении, и он опять нахмурился.

Пан Заглоба мало обращал на это внимания, тем более что молодой татарин не особенно ему нравился, так как минутами он ему напоминал, – не столько лицом, сколько движениями и взглядом, – славного вождя казаков Богуна.

Между тем подали обед.

Остальное время дня заняли приготовления к дороге. В путь отправились на рассвете, даже почти ночью еще, чтобы в один день поспеть в Хрептив.

Возов было несколько, так как Бася решила наполнить хрептивские кладовые; за возами шли тяжело навьюченные верблюды и лошади, которые сгибались под тяжестью копченого мяса и круп; за караваном шло несколько десятков степных волов и стадо овец. Шествие открывал Меллехович со своими липками, драгуны окружали крытый шарабан, где сидели Бася и Заглоба. Басе очень хотелось сесть на своего жеребца, но пан Заглоба упросил ее ехать в экипаже, хотя бы в начале и в конце путешествия.

– Если бы ты сидела спокойно, – говорил он, – я бы ничего не имел против, но ты сейчас начнешь шалить и хвастаться своей ездой, а супруге коменданта это не подобает!

Бася была счастлива и весела, как птичка. Со времени замужества у нее было два страстных желания в жизни: одно – дать Михалу сына, другое – поселиться с мужем,

хотя бы на один год, в какой-нибудь станице вблизи Диких Полей и там, в степи, пожить солдатской жизнью, отведать воинских приключений, принимать участие в походах, увидеть собственными глазами эти степи, испытать те опасности, о которых она так много слышала с детских лет. Будучи девушкой, она мечтала об этом, и вот наконец-то мечты ее должны были исполниться, а вдобавок бок о бок с любимым человеком, с знаменитейшим загонщиком Речи Посполитой, о котором говорили, что он умеет выкапывать неприятеля из-под земли.

И молодая полковница чувствовала, что у нее выросли крылья. На душе у нее было так радостно, что по временам ей хотелось и кричать, и прыгать, но мысль о высоком положении ее мужа удерживала ее. Она дала себе слово быть солидной и снискать любовь солдат. Она поверяла эти мысли пану Заглобе, а он снисходительно улыбался и говорил ей:

– Уж ты там будешь первой персоной и главной достопримечательностью, это верно! Женщина в станице – редкость!

– А в случае нужды я и пример им покажу.

– Чего?

– Храбрости. Одно только меня беспокоит, что за Хрептиеваем стоят еще команды в Могилеве и Рашкове до самого Ягорлыка и что татар мы и днем с огнем не найдем.

– А я того боюсь, конечно, не за себя, а за тебя, что нам придется их видеть слишком часто. Неужели ты думаешь, что чамбулы обязаны ходить на Рашков или на Могилев? Они могут прийти прямо с востока, из степей, или от молдавского берега Днестра и явиться на границе Речи Посполитой, где им будет угодно, хоть и выше Хрептиева. Вот разве если станет слишком известно, что в Хрептиеве живу я, – они, пожалуй, испугаются и будут проходить мимо: меня они давно знают.

– А Михала разве не знают? А Михала разве не боятся?

– И его будут избегать. Но может случиться, что они пойдут на нас с большими силами, и это очень возможно... Впрочем, Михал и сам их поищет.

– То-то же! Я в этом была уверена! А это правда, что Хрептиев – пустыня? Ведь это не далеко.

– Хуже и быть не может! Когда-то, еще во времена моей молодости, сторона эта была людная. Едешь, бывало, от хутора к хутору, из села в село, из местечка в местечко. Знаю, бывал! Помню, когда Ушица была настоящей крепостью. Пан Конецпольский-отец предлагал мне быть там старостой. Но потом настало восстание этих бездельников, и все тут пошло прахом. Когда мы ехали за Гальшкой Скшетуской, тут была уже пустыня, а потом по ней раз двадцать прошли чамбулы... Теперь пан Собеский снова вырвал эти края у казаков и татар. Но людей здесь немного, только разбойники сидят в ярах...

Тут пан Заглоба стал кивать головой и осматриваться кругом, вспоминая прежние времена.

– Боже мой! – говорил он. – Тогда, когда мы ехали за Гальшкой Скшетуской, мне казалось, что старость уже не за горами, а теперь мне кажется, что я тогда был молод, ведь это было уже двадцать четыре года тому назад. Михал тогда был еще

молокососом, и усы у него только пробивались. И так мне эта местность памятна, точно все это вчера было. Только с тех пор, как земледельцы оставили эта места, все лесом поросло...

И действительно, за Китай-городом они въехали в густой бор, которым в те времена была покрыта почти вся страна. Кое-где, особенно в окрестностях Студеницы, им попадались открытые поля, виднелись и берег Днестра, и край по другой стороне реки, тянувшийся до самых высот, замыкающих горизонт молдавской стороны.

Глубокие яры – логова диких зверей и диких людей, местами узкие и обрывистые, местами широкие и отлогие, поросшие густой чащей, преграждали им путь. Липки Меллеховича спускались в них осторожно, и, когда хвост конвоя находился еще на высоком склоне, голова его словно проваливалась под землю. Басе и пану Заглобе часто приходилось вылезать из шарабана, ибо хотя Володыевский кое-как и проложил дорогу, но ехать местами было небезопасно. На дне яров били ключи или протекали, журча по камням, быстрые потоки, весной вздувавшиеся от таявшего степного снега. Хотя солнце еще сильно припекало бор и степи, но в глубине каменных расщелин был лютый холод, и он неожиданно пронизывал путешественников. По скалистым склонам расстилался бор, мрачный и черный, и точно заслонял от солнечных лучей эти глубокие ущелья. Но местами на всем протяжении валялись поломанные деревья, наваленные друг на дружку, засохшие ветви, сбитые в кучу и покрытые пожелтевшими листьями и иглами.

– Что случилось с этим бором? – спрашивала Бася пана Заглобу.

– Местами, быть может, это старые засеки, сделанные прежними жителями против орды или разбойниками против наших войск; местами молдавские ветры валят так лес; в этом вихре, говорят старые люди, черти пляшут...

– Вы когда-нибудь видели пляску чертей?

– Видеть не видал, но слышал, как черти покрякивали от радости: «У-га! У-га!» Михал тоже слышал, спроси у него!

Хотя Бася была не робкого десятка, но злых духов она боялась и тотчас же начала креститься.

– Страшная страна! – сказала Бася.

И действительно, в некоторых ярах было страшно – не только темно, но и глухо. Ветра там не было, листья и ветви не шелестели; слышался только лошадиный топот, фыркание, скрип возов и оклики возниц в самых опасных местах. Порою начинали петь татары или драгуны, но пуца не откликалась на эти песни ни единым звуком.

Но если яры производили тяжелое впечатление, то нагорные места, даже там, где тянулись леса, открывали перед глазами путников веселую картину. Был тихий осенний день; солнце плыло по небесному своду, не омраченному ни одним облачком, озаряя ярким светом и скалы, и поля, и леса. В этом солнечном блеске сосны казались золотистыми и красноватыми, а паутинные нити, развешанные по ветвям деревьев, по бурьянам и траве, так ярко горели, точно они были сотканы из солнечных лучей. Первая половина октября была на исходе. Птицы, особенно более чувствительные к холоду, улетали уже из Речи Посполитой к Черному морю; на небе виднелись вереницы журавлей, которые летели с громким криком, и гуси, и стаи диких уток.

То тут, то там высоко в лазури, раскинув крылья, парили орлы, гроза воздушных жителей; кое-где в воздухе описывали медленные круги алчные к добыче ястребы. Но и здесь, особенно в открытых полях, было множество и той птицы, которая держится ближе к земле и прячется в высоких степных травах. Ежеминутно из-под копыт липковских лошадей срывались стаи желтых куропаток. Бася несколько раз видела вдали дроф, как бы стоявших на страже; при виде их у нее разгорелись щеки и заблестели глаза.

– Мы будем с Михалом на них охотиться! – воскликнула она, хлопая в ладоши.

– Если бы твой муж был домосед, – говорил Заглоба, – у него скоро бы поседела борода с такой женой, но я знал, кому отдать тебя! Другая бы хоть благодарна была. Гм...

Бася тотчас же поцеловала пана Заглобу в обе щеки, а он растрогался и сказал:

– На старости лет любящее сердце так же дорого, как и теплая лежанка!

Потом он задумался и прибавил:

– Удивительно, как я всю жизнь любил прекрасный пол, а если бы спросили, за что, то и сам этого не объяснил бы, ведь эти стрекозы и изменчивы, и ветрены... Да вот, слабенькие они, как дети, и чуть какую-нибудь из них обидят, сердце так и защежит от жалости... Ну, обними меня еще, что ли...

Бася готова была бы весь мир обнять, а потому тотчас удовлетворила желание пана Заглобы, и они продолжали путь в прекрасном настроении. Ехали очень медленно, потому что волы, которые шли сзади, не могли поспевать, а оставить их с такой незначительной охраной среди этих лесов было опасно.

По мере того как они приближались к Ушице, местность становилась все более неровной, пустыня была глуше, яры глубже. То и дело что-нибудь ломалось в возах, лошади упрямылись, и все это их задерживало. Старая дорога, та, что вела когда-то в Могилев, уже двадцать лет как поросла лесом, только порою были заметны ее следы, и им пришлось держаться дороги, проложенной войсками, но следы ее были не всегда верны, и путь был очень труден. Не обошлось и без приключений.

Лошадь Меллеховича, который ехал во главе липков, оступилась на покатости яра и свалилась на каменистое дно не без вреда для всадника, который так сильно рассек себе верхнюю часть головы, что на некоторое время лишился сознания. Бася и пан Заглоба сейчас же пересели на лошадей, а молодого татарина Бася приказала уложить в экипаж и везти осторожнее. С этих пор около каждого родника Бася останавливала караван и перевязывала его рану собственными руками, смочив их в холодной ключевой воде. Он лежал некоторое время с закрытыми глазами, наконец открыл их, и когда Бася, наклонившись над ним, стала спрашивать, как он себя чувствует, то вместо ответа он схватил ее руку и прижал к своим побелевшим губам.

И только минуту спустя, точно собравшись с мыслями, ответил по-малороссийски:

– Ой, хорошо, как давно уже не бывало! Так прошел весь день.

Солнце побагровело, наконец, и стало клониться к молдавской стороне. Днестр

горел огненной лентой, а с востока, с Диких Полей, медленно надвигались сумерки.

До Хрептиева было уже не далеко, но пришлось дать отдых лошадям, и караван остановился для более продолжительной стоянки.

Некоторые драгуны стали петь божественные песни, липки слезли с лошадей, разостлали на земле овечьи шкуры и, став на колени лицом к востоку, начали молиться. Их голоса то повышались, то понижались; по временам возгласы «Алла! Алла!» раздавались по их рядам, то вдруг стихали; затем они вставали и, держа руки у лица, ладонями кверху, застывали в сосредоточенной молитве, монотонно повторяя: «Лохичмен, ах, лохичмен». На них падали красноватые лучи солнца, ветерок подул с запада, и послышался шум деревьев и шелест листьев, точно и они хотели перед ночью прославить того, кто усеял темный небосвод миллионами мерцающих звезд. Бася с любопытством смотрела на молитву липков, но сердце у нее сжималось при мысли, что столько лихих молодцов после тяжелой, трудовой жизни будут преданы адскому огню, тем более что, ежедневно сталкиваясь с истинно верующими, они все же продолжают жить в заблуждении.

Пан Заглоба, давно уже привыкший к этому, на замечания Баси только пожимал плечами и говорил:

– Этих собачьих детей и так не пустили бы в рай из боязни, как бы они не занесли туда насекомых.

После этого он надел с помощью слуги подбитый мерлушкой теплый тулупчик, незаменимый во время вечерних холодов, и приказал ехать. Но только лишь они двинулись, как на противоположном холме появилось пять всадников. Липки тотчас расступились перед ними.

– Михал! – крикнула Бася, увидав всадника, мчавшегося впереди.

И действительно, это был Володыевский, выехавший с несколькими людьми навстречу жене.

Они бросились друг другу в объятия и стали рассказывать все, что произошло за время их разлуки.

Бася рассказывала, как они ехали и как Меллехович разбил себе о камень голову, а маленький рыцарь отдавал отчет в своих делах в Хрептиеве, где, как он уверял, все уже готово и ждет ее приезда, – пятьсот топоров три недели работали над постройками.

Во время этого разговора влюбленный пан Михал то и дело нагибался с седла и обнимал жену, а она, по-видимому, не очень сердилась на это: ехала она так близко от него, что их лошади терлись боками.

Путешествие близилось к концу; между тем наступила погожая ночь, освещенная золотистой луной; она бледнела все больше, по мере того, как поднималась над степью; наконец блеск ее был совсем заслонен заревом, которое ярким светом запылало перед караваном.

– Что это? – спросила Бася.

– Увидишь, – ответил он, поводя усиками, – как только проедем этот лес, который

отделяет нас от Хрептиева.

– Значит, это уже Хрептиев?

– Если бы не деревья, ты видела бы его как на ладони.

Они въехали в лесок, но не успели доехать и до половины его, как на другом его конце показался целый рой огней, словно рой светлячков или мерцающих звезд. Звезды эти быстро приближались, и вдруг весь бор задрожал от громких криков.

– Виват наша пани! Виват ясновельможная пани, супруга пана коменданта! Виват! Виват!

Это были солдаты, которые выехали приветствовать Басю. Сотни их мгновенно смешались с липками. Каждый держал на длинном шесте пылающую лучину, которая была вставлена в расщепленный конец шеста. У некоторых на шестах были железные площадки с пылающей смолой, которая капала на землю огненными слезами...

И тотчас Басю окружила толпа усатых лиц, грозных, почти диких, но сияющих от радости. Большинство из них ни разу не видало Баси, многие думали, что увидят пожилую даму, и потому они ужасно обрадовались, когда увидели этого почти ребенка, который, сидя на белом коне, то и дело кланялся на все стороны с благодарностью и наклонял свое прелестное, маленькое, розовое личико, радостное, хотя и смущенное таким неожиданным приемом.

– Благодарю вас, мосци-панове! – сказала Бася. – Я знаю, что все это не ради меня...

Ее серебристый голосок был заглушен виватами, от которых дрогнул весь бор.

Солдаты из полка пана генерала подольского и пана подкомория пшемысльского, казаки Мотовилы, липки и черемисы перемешались между собою. Каждый хотел видеть молодую полковницу, подъехать к ней ближе; некоторые из них, более пылкие, целовали край ее одежды или ноги ее в стремях. Для этих полудиких загонщиков, привыкших к набегам, битвам, кровопролитию и резне, явление это было столь необыкновенно, столь ново, что их затвердевшие сердца растрогались, и в них проснулось какое-то новое, доселе неведомое, чувство. Они выехали ее встречать из любви к Володыевскому, желая доставить ему удовольствие, или, быть может, польстить ему, и вдруг растрогались сами. Это нежное, улыбающееся невинное лицо, с блестящими глазами и подвижными ноздрями, стало им дорого в одну минуту. «Дытына ты наша!» – восклицали старые казаки, настоящие степные волки. «Херувым, каже, пан регьментарь!», «Зорька утренняя! Цветочек миленький!» – кричали офицеры... А черемисы причмокивали губами, прижимая ладони к своим широким грудям: «Алла! Алла!»

Володыевский был сильно растроган и доволен, он подбоченился и несказанно гордился своей Баськой.

Крики все не утихали. Караван наконец выехал из леса, и глазам путешественников вдруг предстали крепкие деревянные постройки, расположенные кольцом на взгорье. Хрептиевская станица видна была как на ладони: внутри частого леса горели огромные костры, куда бросали целые колоды. Развели костры и на дворе, но только поменьше, так как боялись пожара.

Солдаты погасили лучины и, сняв с плеч кто ружье, кто самопал, кто пищаль, стали палить в честь хрептивской хозяйки.

За частокол вышли и музыканты: поляки с трубами, казаки с литаврами, бубнами и многострунными инструментами и липки с пронзительными свистелками, которые, по татарскому обычаю, играли главную роль в их музыке. Лай собак и рев испуганного скота еще более усиливали общий гам.

Конвой остался позади, а впереди всех ехала Бася, рядом с нею муж и пан Заглоба. Над воротами, украшенными еловыми ветвями, на бычачьих пузырях, вымазанных салом и освещенных изнутри, чернела надпись:

Добро пожаловать с женою, благородный витязь,
Пусть Купидон вас осчастливит: множьтесь и плодитесь!
– Vivant! Floreant![16] – кричали солдаты в то время, когда маленький рыцарь с Басей остановились, чтобы прочесть надпись.

Нашел и пан Заглоба транспарант, предназначенный лично для него, и, к великому своему удовольствию, прочел на нем:

Да здравствует преславный муж, Онуфрий пан Заглоба,
Кто дал обет герою быть от лет молодых до гроба.
Володыевский был очень доволен; он пригласил всех офицеров ужинать, а солдатам приказал дать два бочонка водки. Зарезали несколько волов, которых тут же изжарили на кострах. Угощения хватило на всех. И долго еще среди ночи станица оглашалась криками и мушкетными выстрелами, пугая шайки бродяг, скрывавшихся в ушицких ярах.

III

Пан Володыевский не сидел сложа руки в своей станице, люди его тоже жили в постоянных трудах. Сто, иной раз и меньше людей оставалось в гарнизоне в Хрептивее, а остальные были в постоянных разъездах. Самые значительные отряды были командированы для осмотра ушицких яров, и им приходилось жить в постоянных стычках: шайки разбойников, иной раз очень многочисленные, давали им сильный отпор, и не раз приходилось вступать с ними в настоящие сражения. Такие походы продолжались по нескольку дней, а иногда и по нескольку десятков дней. Меньшие отряды пан Михал отправлял к Брацлаву за новостями о татарах и о Дорошенке. Целью этих экспедиций было ловить лазутчиков в степи и приводить их. Иные спускались вниз по Днестру, до Могилева и Ямполья, чтобы поддерживать сношения с комендантами, стоявшими в тех местах. Иные направлялись в сторону Валахии; иные строили мосты, исправляли прежнюю дорогу.

Страна после недавнего волнения успокаивалась понемногу; жители, более спокойные и не склонные к разбою, понемногу возвращались в свои покинутые жилища, сначала робко, потом уже смелее. В Хрептивее забрело несколько евреев-ремесленников, иной раз появлялся и более зажиточный купец-армянин, все чаще стали заезжать и торговцы. Пан Володыевский стал питать надежду, что если Бог ему позволит, а пан гетман предоставит ему в этой местности команду на более продолжительное время, то эти одичалые края примут со временем совсем другой вид. Пока это было только начало, впереди было еще много дела. Дороги были еще не безопасны; разнузданный народ охотнее вступал в сношения с разбойниками, чем с войском, и малейшая случайность заставляла его опять прятаться в скалистые ущелья. Через броды Днестра часто прокрадывались ватаги валахов, казаков, венгерцев, татар и бог весть кого; они нападали на деревни и местечки, грабили все, что было возможно;

в этой местности нельзя было ни на минуту выпускать саблю из рук; но все же начало было сделано, и в будущем можно было надеяться на успех.

Особенно чутко приходилось прислушиваться к тому, что делалось на востоке. От отрядов Дорошенки и чамбулов то и дело отделялись более или менее значительные шайки, подходили к польским командам, нападали на население, поджигали окрестности и опустошали их. Но так как эти шайки, по крайней мере с виду, действовали сами по себе, то маленький рыцарь громил их, не боясь навлечь на страну еще большую грозу, и, не ограничиваясь обороной, сам искал их в степи так успешно, что скоро у самых отчаянных смельчаков отбил охоту к дальнейшим нападениям.

Между тем Бася начала хозяйничать в Хрептиеве. Ее очень забавляла эта солдатская жизнь, с которой она никогда так близко не сталкивалась: передвижения, походы, возвращения с рекогносцировок, пленные. Она объявила Володыевскому, что должна непременно принять участие хоть в одном походе; но пока ей приходилось ограничиваться тем, что иной раз, сев на своего жеребца, она ездила осматривать окрестности Хрептиева в обществе мужа и пана Заглобы; во время таких прогулок они травили лисиц и охотились на дроф; иной раз из высоких трав выскакивал волк, они травили и его, а Бася всегда старалась держаться впереди, за гончими, чтобы первой догнать измученного зверя и выпалить ему межглаз.

У офицеров было несколько пар превосходных соколов, с этими соколами пан Заглоба больше всего и любил охотиться. Его сопровождала Бася, а пан Михал украдкой посылал за нею людей для помощи в случае надобности; хотя в Хрептиеве всегда было известно, что делается в окрестностях на двадцать миль вокруг, но пан Михал предпочитал быть осторожным.

Солдаты с каждым днем любили Басю все больше, тем более что она заботилась о их еде, питье, ухаживала за больными и ранеными. Даже угрюмое лицо Меллеховича, который постоянно страдал головной болью, и сердце которого было более жестоко и дико, чем у других, прояснялось при виде Баси. Старые воины восхищались ее молодецкой удалью и знанием военного дела...

– Если бы вдруг не стало «Маленького сокола», – говорили они, – она могла бы принять команду, а под таким началом не жаль было бы и погибнуть!

Когда же иной раз в отсутствие Володыевского случался какой-нибудь беспорядок по службе, Бася журила солдат, и они во всем ей повиновались, и ее порицание старые загонщики принимали ближе к сердцу, чем наказания, на которые не скупился пан Михал в случае нарушения дисциплины.

Строгий порядок царил в команде: Володыевский, воспитанный в школе князя Еремии, умел держать солдат в железных руках, но присутствие Баси несколько смягчало эти дикие нравы. Каждый старался ей угодить, каждый заботился о ее отдыхе и спокойствии. И все старались избегать того, что могло нарушить ее покой.

В легком отряде пана Николая Потоцкого было много офицеров, людей бывалых и светских, и хотя они одичали в постоянных войнах и походах, но могли составить приличное общество. Они вместе с офицерами других полков часто проводили вечера у полковника, рассказывая о минувших временах и о войнах, в которых они принимали участие. Первенство между ними принадлежало пану Заглобе. Он был старше всех, многое видел на своем веку, многое испытал; но когда после трех рюмок он засыпал в мягком, обитом сафьяном кресле, которое ему всегда ставили,

тогда говорить начинали и другие. А у них было о чем рассказать. Некоторые из них бывали в Швеции и в Московии; были и такие, которые провели свои юные годы в Сечи, еще до восстания Хмельницкого; были и такие, которые когда-то пасли овец в Крыму в качестве невольников или в Бахчисарае рыли колодцы; некоторые из них побывали и в Малой Азии, иные гребли на турецких галерах в Архипелаге; иные побывали в Иерусалиме, поклонялись Гробу Господню; иные испытали много невзгод и горя, а все же вернулись под знамена отчизны, чтобы до конца жизни, до последнего издыхания защищать ее окраины, залитые кровью.

Когда настали длинные ноябрьские вечера и в широкой степи было спокойно и безопасно, так как травы уже высохли, в доме полковника офицеры собирались ежедневно. Приходил пан Мотовило, начальник казаков, русин родом, человек худой как щепка, длинный как жердь, не молодой, двадцать лет не покидавший полей сражений; приходил пан Дейма, брат того, который убил пана Убыша, а вместе с ним и пан Мушальский, когда-то богатый человек, в раннем возрасте попавший в плен к туркам; долгое время он был гребцом на галерах, потом бежал из плена, бросил свои поместья и стал мстить за свои обиды всему племени Магомета. Это был несравненный стрелок из лука, без промаха простреливавший цаплю на лету. Приходили и два загонщика – пан Вильга и пан Ненашинец, великие воины, и пан Громыка, и пан Бавдынович, и многие другие. Когда они начинали рассказывать, то рассказывали так живо, что казалось, будто видишь весь этот мир Востока перед собою: и Бахчисарай, и Стамбул, и минареты, и святыни лжепророка, и голубые воды Босфора, и фонтаны, и двор султана, и весь этот каменный город с кишашей в нем толпой, и войска, и янычар, и дервишей, и всю эту страшную саранчу, сверкавшую цветами радуги, от нашествия которой и русские церкви, а с ними вместе и церкви всей Европы, защищала своей окровавленной грудью Речь Посполитая.

В обширной горнице старые воины усаживались в круг, подобно стае аистов, утомленных длинным перелетом, которые садятся на степном кургане.

На очаге горели смолистые бревна, заливая горницу ярким светом. По распоряжению Баси у очага грелось молдавское вино; слуги черпали его кружками и подавали рыцарям. За стенами раздавалась переключка стражи, в комнатах стрекотали сверчки, на которых жаловался Володыевский, а в щели, законопаченные мохом, свистел временами северный, ноябрьский ветер, который становился все холоднее. Как приятно было в такие холода сидеть в теплой светлой горнице и слушать рассказы о рыцарских приключениях! В один из таких вечеров пан Мушальский рассказывал:

– Пусть Господь Всевышний не оставит без попечения своего всю Речь Посполитую, нас всех, наипаче же ее милость пани, присутствующую здесь, досточтимую супругу коменданта нашего, на добродетели и красоту коей взирать мы недостойны! Не хочу я равняться с паном Заглобой, приключения коего могли бы привести в изумление самое Дидону и ее прислужниц, но если вам самим угодно слушать меня, то, чтобы не обидеть компании, я отговариваться не стану.

В молодости унаследовал я на Украине, близ Таращи, значительное состояние. Были у меня еще две деревни, оставшиеся после матери в спокойном крае, около Ясла, но я предпочитал жить в имениях отца, ибо здесь было ближе к орде и легче натолкнуться на приключения. Мои воинственные наклонности тянули меня в Сечь, но там нам делать было уже нечего. Все же ходил я в Дикие Поля в компании таких же, как я, непосед и испытал всю прелесть степной жизни. Хорошо бы было мне в моих поместьях, если бы не дурной сосед. Это был простой мужик из-под Белой Церкви, который в молодости был в Сечи, дослужился там до куренного атамана и был

отправлен послом в Варшаву, где и получил шляхетство. Звали его Дыдюк. А надо вам знать, что мы ведем наш род от некоего вождя самнитов, по прозвищу Муска, что по-нашему значит муха. Этот Муска после несчастных походов против римлян прибыл ко двору Земовита, сына Пяста, который для удобства назвал его Мускальским, что впоследствии было переделано в Мушальского. Чувствуя, что во мне течет столь благородная кровь, я с великим презрением относился к Дыдюку. Если бы он, шельма, умел еще ценить ту честь, которой он удостоился, и признавать верховенство шляхетского сословия над всеми другими, я бы ничего против него не имел. Но, владея на правах шляхтича землей, он еще издевался над шляхетским достоинством и всегда говорил так: «Нешто тень моя от этого длиннее стала? Был я казаком, казаком и останусь, а ваше шляхетство и все ваши вражьи ляхи – вот они где у меня!» И не могу вам передать, сколь непристойный жест при этом он делал, ибо присутствие ее милости пани мне не позволяет. Дикое бешенство охватило меня, и я начал его преследовать. Он не испугался, он был человек смелый и не оставался в долгу. Он готов был бы драться на саблях, но я этого не хотел, помня его низкое происхождение. Я возненавидел его, как заразу, и он стал преследовать меня ненавистью. Однажды в Тараще на рынке он выстрелил в меня и чуть было меня не убил, я же обухом ранил его в голову. Дважды делал я наезды на его усадьбу со своими дворовыми, дважды нападали на меня с бродягами. Меня он не победил, но и я с ним не мог справиться. Я хотел с ним судиться, но какой там суд на Украине, где еще и поныне Дымятся пепелища. Там, кто призывает разбойников, может не обращать внимания на всю Речь Посполитую! Он так и делал, оскорбляя при этом нашу общую мать-отчизну, забыв, что именно она почтила его шляхетским достоинством и прижала к своей груди, дала ему привилегии, в силу коих он обладал землей, дала свободу, и такую, какой бы он не мог получить ни в одном другом государстве. Если бы мы могли встречаться, как соседи, у меня, конечно, не было бы недостатка в аргументах, но мы встречались не иначе как с ружьем или с саблей в руках. Ненависть росла во мне с каждым днем, я даже пожелтел. Я только об одном и думал, как бы его схватить. Я знал, что ненависть – грех, и потому хотел только исполосовать ему спину батогами за это отступничество от шляхетства, а потом простить ему все прегрешения, как подобает истинному христианину, и, наконец, приказать застрелить его...

Но Богу угодно было решить иначе.

Была у меня за деревней пасека хорошая, и пошел я однажды осмотреть ее. Дело было к вечеру. Пробыл я там не больше пяти минут, как вдруг послышался крик. Я обернулся – над деревней густое облако дыма. Вот бегут люди со всех сторон с криком: «Орда! Орда!» А вслед за людьми, говорю я вам: целая туча!.. Стрелы летят, как дождь, и куда ни взглянешь, – всюду бараньи тулупы и дьявольские морды татарские. Я к лошади. Но не успел я вдеть ногу в стремя, как на шею мне накинули пять или шесть арканов. Я был силен и старался вырваться... Но один в поле не воин. Три месяца спустя я очутился за Бахчисараем в татарской деревне Сугайдзик вместе с другими невольниками.

Господина моего звали Сальма-бей. Он был татарин богатый, но бесчеловечный и с невольниками на руку тяжел. Нам пришлось под батогами рыть колодцы и работать в поле. Я хотел выкупиться, средства у меня были. Через одного армянина я посылал письма в мои имения под Яслами. Не знаю, письма ли не дошли или, быть может, выкуп был перехвачен по дороге, но ничего из этого не вышло. Меня повезли в Царьград и продали на галеры. Много можно бы рассказать про этот город, и я не знаю, есть ли в мире город красивее и больше его. Людей там столько, сколько трав в степи или камней в Днестре... Стены крепкие. Башня около башни. Внутри стен вместе с людьми шныряют собаки: турки их не обижают, должно быть, считают себя с

ними в родстве, ибо сами они собачьи дети. Между ними есть только два состояния: господина и невольники. А нет неволи хуже, чем у язычников! Не знаю, правда ли это, но я так слышал на галерах, будто воды Босфора и Золотого Рога произошли из слез невольников. Немало и моих слез туда попало.

Велико могущество турецкое, и ни одному монарху не подвластно столько королей, сколько их подвластно султану. Сами турки говорят, что если бы не Лехистан (так они называют нашу мать-отчизну), тогда бы они давно уже были властелинами всего земного шара. «За спиной ляха, – говорят они, – весь остальной мир в нечестии живет, ибо лях лежит, как пес, у подножия креста, и нам руки кусает». И они правы, ибо всегда так было и так есть... Вот мы, к примеру, в Хрептиеве, и те команды, что подальше, – в Могилеве, в Ямполье, в Рашкове, разве не то же самое делаем? Много дурного в нашей Речи Посполитой, но я так полагаю, что эта деятельность наша некогда зачтется нам Господом, и люди ее оценят.

Но я возвращаюсь к тому, что со мной приключилось. Те невольники, что живут на суше, в городах и в деревнях, не знают такого гнета, как те, что должны грести на галерах. Таких невольников приковывают к борту судна и не расковывают никогда: ни днем, ни ночью, ни в праздники, ни в будни; они живут в цепях до самой смерти; если тонет корабль в пучине, с ним вместе тонут и невольники. Все они, нагие, мерзнут от холода, мокнут под дождем, томятся от голода, и одно им остается – слезы и непосильный труд, ибо весла так тяжелы и велики, что надо ставить двоих невольников у одного весла.

Меня привезли ночью и заковали, поместив против какого-то товарища по несчастью; в темноте я не мог разглядеть его. Когда я услышал стук молота и звон кандалов, – боже мой! – мне казалось, что забивают гвозди в мой гроб, хотя, быть может, я бы тогда это предпочел! Я стал молиться, но надежду мою точно ветром сдуло... Стоны мои каваджи заглушал батогамы, и так я просидел всю ночь, пока не рассвело... Взглянул я на того, кто греб вместе со мной... Господи боже мой! Угадайте, Панове, кто сидел против меня? Дыдюк!

Я узнал его тотчас, хоть был он наг, исхудал, и борода у него выросла по пояс, он уже давно был продан на галеры. Я глядел на него, он на меня; узнал и он меня. Мы ничего не сказали друг другу... Вот что случилось с нами обоими! Но такая ненависть была еще в нас, что мы не только не поздоровались по-божески, но каждый из нас обрадовался даже, что его враг должен также страдать. В тот же день корабль отправился в путь. Странно было сидеть у одного весла с величайшим врагом, есть из одной миски всякую тухлятину, которой у нас и собаки есть не стали бы, переносить одни и те же мучения, дышать одним воздухом, вместе страдать, вместе плакать... Мы плыли по Геллеспонту, а потом по Архипелагу, и... Там остров у острова, и все в турецкой власти... Оба берега тоже... Весь мир... Тяжело было! Днем жара невыносимая. Солнце так жжет, что вода того и гляди загорится от него. А когда солнечные лучи начнут дрожать и играть на волнах, – кажется, будто огненный дождь идет. Мы обливались потом, язык присыхал к небу. Ночью от холода мерзли... Ниоткуда не было утешения – одна скорбь, сожаление об утраченном счастье, изнурение и усталость. Нет, словами этого не скажешь... Во время одной из стоянок, уже у греческой земли, видели мы с палубы знаменитые развалины тех храмов, которые когда-то построили древние греки... Колонна возле колонны, и все они золотыми кажутся, так пожелтел мрамор от старости. Видишь все как на ладони, все это стоит на возвышенности, и небо там точно бирюзовое... Потом мы плыли вокруг Пелопоннеса. Дни шли за днями, недели за неделями, а мы с Дыдюком не сказали друг другу ни слова: гордость и злопамятство все еще жили в наших сердцах. Но мало-помалу стали мы сгибаться под десницу Господней. От трудов, от

перемены воздуха грешные тела наши стали почти отпадать от костей; раны от ударов кнута стали гноиться от солнечного зноя. По ночам мы молили Бога о смерти. Чуть бывало вздремну, – слышу, как Дыдюк говорит: «Христе, помилуй, Святая Пречистая, помилуй, дай умерты!» И он тоже слышал и видел, как я молился и протягивал руки Богородице и Ее Младенцу. А тут морской ветер точно выдул из нас ненависть... Все меньше и меньше ее было... Потом уже, плача о себе, я плакал и о нем. И смотрели мы друг на друга уже совсем иначе. Стали мы выручать друг друга. Когда я обливался потом и уставал смертельно, он греб за меня, а то я за него... Принесут, бывало, миску с едой, каждый смотрит, чтобы и другому хватило. Говоря попросту, мы уже полюбили друг друга, но сознаться в этом первый никто не хотел... У него, у шельмы, была украинская душа... И только, когда нам стало уж очень тяжело, узнали мы, что на другой день придется встретиться с венецианским флотом. Припасов было мало, и нам жалели всего, кроме кнута. Наступила ночь, стонем мы оба потихоньку, каждый по-своему усердно молимся... Вдруг я увидел при свете луны, что из глаз у него текут слезы и тихо капают на бороду. Сжалось у меня сердце, и сказал я ему: «Дыдюк, ведь мы из одной страны, простим же друг другу обиды наши!» Как услышал он это – боже ты мой! Как вскочит Дыдюк, как заревет, только цепи зазвенели... Через весло бросились мы друг другу в объятия, целуясь и плача... Не помню, долго ли мы так обнимались, помню только, что оба мы вздрагивали от рыданий.

Тут пан Мушальский прервал свой рассказ и принялся пальцами вытирать глаза. Настала минута молчания – шипел огонь, стрекотали сверчки, на дворе свистел холодный северный ветер. Пан Мушальский передохнул и продолжал:

– Господь Бог, как вы увидите, благословил нас и оказал нам свою милость, но в ту ночь мы жестоко поплатились за наше братское чувство. Обнимаясь, мы перепутали наши цепи, и не было никакой возможности их распутать. Пришли надсмотрщики и распутали нас, но кнут свистел над нами больше часа. Нас били куда попало. Обливался я кровью, обливался и Дыдюк – смешалась наша кровь и потекла одной струей в море. Но это ничего... давно это уж было... во славу Божью!

С этих пор мне уже не приходило в голову, что я происхожу от самнитов, а он мужик из Белой Церкви, недавно получивший шляхетство. И родного брата я не мог бы любить больше, чем любил его. Если бы он даже не был шляхтич, мне было бы все равно, хотя я и рад был, что он шляхтич. А он, как прежде за ненависть, так теперь за любовь платил сторицею. Такая уж была у него натура!

На другой день была битва. Венецианцы разогнали наш флот на все четыре стороны. Наш корабль, сильно поврежденный пушечной пальбой, был прибит волнами к какому-то острову или просто к скале, торчавшей над морем. Пришлось его чинить, а так как солдаты погибли и рабочих рук было мало, то туркам пришлось расковать нас и дать нам топоры. Как только мы вышли на берег, взглянул я на Дыдюка и тотчас понял, что у него в голове то же, что у меня. «Сейчас?» – спросил он меня. «Сейчас!» – говорю я и, недолго думая, хватить Чубачи-бея по голове топором. А он – капитана! За нами другие – в один миг... В какой-нибудь час мы покончили с турками, потом починили кое-как корабль, сели на него уже без цепей, и Господь Милосердный повелел ветру принести нас к Венеции.

Питаясь милостыней, мы добрались до Речи Посполитой. Поделились мы с Дыдюком подьясельским именем, и оба отправились воевать, чтобы отомстить за наши слезы, за нашу кровь. Дыдюк ушел в Сечь, а оттуда вместе с Сирком в Крым. Сколько бед они там натворили, об этом вы уже знаете.

Дыдюк, насытившись местию, на обратном пути погиб от неприятельской стрелы. Я остался. И теперь каждый раз, когда натягиваю тетиву лука, я стреляю в честь его, и таким образом я не раз радовал его душу, на то найдутся свидетели в нашей честной компании.

Тут снова замолк пан Мушальский, и снова слышно было только посвистывание северного ветра и треск огня. Старый воин уставился глазами в пылающий огонь и после долгого молчания так закончил свой рассказ:

– Был Наливайко и Лобода, была Хмельнитчина, а теперь Дорош; земля еще не обсохла от крови, мы ссоримся, деремся, а все же Бог посеял в сердцах наших какие-то семена любви, но только лежат они точно в какой-то бесплодной почве, и только под ударами басурманского кнута, под гнетом татарской неволи они вдруг дают плоды.

– Хам – всегда хам! – сказал, проснувшись вдруг, пан Заглоба.

IV

Меллехович медленно поправлялся, но не принимал еще участия в походах и сидел запершись в своей комнате, а потому никто им не интересовался; как вдруг случилось событие, которое обратило на него всеобщее внимание.

Казаки пана Мотовилы поймали татарина, который что-то уж очень подозрительно шнырял около станицы, и привели его в Хрептивев. После допроса оказалось, что он был один из тех липков, которые, бросив службу и свои поселки в Речи Посполитой, перешли под владычество султана. Он пришел с другой стороны Днестра, и при нем были письма от Крычинского к Меллеховичу. Пан Володыевский очень встревожился этим и созвал старшин на совет.

– Мосци-панове, – сказал он, – вам хорошо известно, что многие из липков, которые жили на Литве и на Руси с незапамятных времен, перешли в орду и за благодеяния Речи Посполитой отплатили ей изменой. А потому с липками надо держать ухо остро и не слишком им доверять. У нас и здесь есть полк липков в сто пятьдесят коней, которым командует Меллехович. Этого Меллеховича я знаю недавно, а знаю только то, что за его великие заслуги гетман произвел его в сотники и прислал ко мне с отрядом. Мне всегда казалось странным, что никто из вас не знал его раньше, до его поступления на службу, и ничего не слышал о нем... Что наши липки необычайно его любят и слепо ему повинуются, я объяснял его мужеством и славными делами, но и они, кажется, не знают, кто он и откуда. Полагаясь на назначение гетмана, я до сих пор ни в чем его не подозревал, ни о чем не расспрашивал его, хотя он и окружает себя какой-то тайной. У всякого человека свой характер, а мне до этого нет дела, лишь бы каждый исполнял свои служебные обязанности. Но вот люди пана Мотовилы поймали татарина с письмом Крычинского к Меллеховичу, а я не знаю, известно ли вам, панове, кто такой Крычинский?

– Как же, – сказал пан Ненашинец, – Крычинского я знал лично, а теперь все знают его дурную славу.

– Мы вместе в школу... – начал было пан Заглоба, но замолчал, сообразив, что в таком случае Крычинскому было бы девяносто лет, а люди в такие годы обычно уже не воют.

– Короче говоря, – сказал маленький рыцарь, – Крычинский польский татарин. Он

был полковником одного из наших липковских полков, потом изменил отчизне и перешел в Добруджскую орду, где, как я слышал, пользуется большим уважением, ибо там, по-видимому, надеются, что он и остальных липков перетянет на сторону язычников. И с таким человеком Меллехович входит в сношения; лучшим доказательством этого служит письмо, содержание которого следующее.

Тут маленький полковник развернул письмо, хлопнул по нему рукой и начал читать:

«Душевно дорогой мне брат! Твой посланный пробрался к нам и доставил письмо...»

– По-польски пишет? – спросил Заглоба.

– Крычинский, как все наши татары, знает только по-русински и по-польски, – ответил маленький рыцарь, – и Меллехович по-татарски ни аза не знает. Слушайте, Панове, не прерывая:

«...и доставил письмо. Бог даст, все будет хорошо, и ты достигнешь того, чего желаешь. Мы тут с Моравским, Александровичем, Тарасовским и Грохольским часто совещаемся, а к другим братьям пишем, спрашивая у них совета, как поскорей достичь того, чего хочешь ты, милый. Так как, по слухам, ты был болен, то я посылаю тебе человека, чтобы он мог видеть тебя, милый, и нас утешит. Тайну нашу строго храни: боже упаси, как бы она не открылась раньше времени. Бог да размножит потомство твое, как звезды на небе! Крычинский». Пан Володыевский кончил и обвел глазами присутствующих, а когда они продолжали молчать, по-видимому, внимательно обсуждая содержание письма, он прибавил:

– Тарасовский, Моравский, Грохольский и Александрович – все это прежние татарские ротмистры и изменники!

– Так же, как и Потужинский, Творовский и Адурович, – прибавил пан Снитко.

– Что вы думаете об этом письме, Панове?

– Измена явная; здесь и говорить не о чем! – сказал Мушальский. – Просто-напросто они снюхались с Меллеховичем, чтобы и наших липков привлечь на свою сторону, на что он соглашается.

– Господи боже! Какая опасность для нашей команды! – воскликнули некоторые из присутствующих. – Ведь липки готовы душу отдать за Меллеховича, и, если он прикажет, они ночью на нас нападут.

– Самая явная измена! – воскликнул пан Дейма.

– И сам гетман этого Меллеховича сделал сотником, – сказал пан Мушальский.

– Пан Снитко, – спросил Заглоба, – а что я говорил, когда в первый раз увидел Меллеховича? Разве я вам не говорил, – что он ренегат и изменник, и это видно по его глазам? Ха! Мне достаточно было взглянуть на него. Он мог всех обмануть, но только не меня! Повторите мои слова, ничего в них не изменяя. Я разве не говорил, что это изменник?

Пан Снитко поджал ноги под скамейку и опустил голову.

– Действительно, надо изумляться вашей проницательности, ваць-пане, хотя, правду

говоря, я не помню, чтобы вы называли его изменником. Вы сказали только, ваша милость, что он волком смотрит!

– Ха! Значит, вы, сударь, утверждаете, что изменник – пес, а волк не изменник. Что волк не укусит руки, которая ласкает и кормит его. Стало быть, пес изменник? Может быть, вы будете защищать Меллеховича, а нас всех назовете изменниками?

Смущенный этим, пан Снитко широко открыл рот и глаза и от изумления не мог произнести ни слова.

Между тем пан Мушальский, который был скор на решения, тотчас же сказал:

– Прежде всего нам надо поблагодарить Господа Бога, что он дозволил нам открыть такую гнусную интригу, а потом откомандировать шестерых драгун с Меллеховичем и пустить ему пулю в лоб.

– А потом назначить другого сотника, – сказал пан Ненашинец.

– Измена так очевидна, что ошибки быть не может! Володыевский на это ответил:

– Прежде всего надо расспросить Меллеховича, а потом уже сообщить обо всем пану гетману. Пан Богуш говорил мне, что пан гетман очень любит липков.

– Но вашей милости, – сказал Мотовило, обращаясь к маленькому рыцарю, – принадлежит над ним право окончательного суда, так как он никогда не принадлежал к польскому рыцарскому сословию.

– Права мои мне известны, и вам незачем мне о них напоминать, – ответил Володыевский.

Тут заговорили другие:

– Пусть он станет перед нами, такой-сякой сын, предатель и изменник!

Громкие возгласы разбудили пана Заглобу, который уже вздремнул немного, что теперь с ним случалось нередко; он быстро вспомнил, о чем шла речь, и сказал:

– Нет, пан Снитко, хотя герб ваш – «Месяц на ущербе», зато и остроумие ваше тоже на ущербе; его, пожалуй, теперь и днем с огнем не сыскать. Сказать, что пес изменник, а волк не изменник! Вы уж, правду сказать, совсем... рехнуться собираетесь.

Пан Снитко возвел глаза к небу в знак того, сколь незаслуженно он страдает, но смолчал, чтобы не раздражать старика. Между тем Володыевский приказал ему идти за Меллеховичем, и он быстро вышел, очень довольный, что ему удалось улизнуть от Заглобы.

Минуту спустя он вернулся, ведя за собой молодого татарина, который, по-видимому, ничего не знал о поимке липка и потому вошел смело. Его смуглое, красивое лицо немного побледнело, но он был уже здоров; на голове у него не было уже повязки, а просто красная бархатная татарская шапочка. Все тотчас впились в него глазами; он поклонился низко маленькому рыцарю и не без надменности всему остальному обществу.

– Меллехович, – сказал Володыевский, вперив в татарина свой пронзительный взор,
– знаешь ли ты полковника Крычинского?

По лицу Меллеховича вдруг пробежала грозная тень.

– Знаю! – ответил он.

– Читай! – сказал маленький рыцарь, подав ему письмо, найденное у липка.

Меллехович взял письмо, и прежде чем кончил его читать, лицо его стало по-прежнему спокойным.

– Жду приказаний, – сказал он, возвращая письмо.

– Давно ли ты задумал измену и какие у тебя здесь в Хрептиево сообщники?

– Меня обвиняют в измене?

– Не спрашивай, а отвечай, – сказал грозно маленький рыцарь.

– В таком случае я отвечу: измены я не замышлял, сообщников у меня не было, а если и были, то такие, которых вы судить не будете, мосци-панове!

Услыхав это, воины заскрежетали зубами, и раздались несколько грозных голосов:

– Покорней, собачий сын, покорней: ты стоишь не перед равными!

Меллехович обвел их глазами, в которых сверкала холодная ненависть.

– Я знаю, чем я обязан пану коменданту, как моему начальнику, – ответил он и снова поклонился Володыевскому, – знаю и то, что я ниже вас, Панове, но потому и не искал вашего общества; ваша милость (тут он снова обратился к маленькому рыцарю) спрашивали о моих сообщниках; у меня их Двое: пан подстольник новогрудский Богуш и пан великий коронный гетман.

Слова эти ошеломили всех и на минуту воцарилось молчание; наконец Володыевский повел усиками и сказал:

– Как так?

– Так! – ответил Меллехович. – Хотя Крычинский, Моравский, Творовский, Александрович и все другие перешли на сторону орды и причинили много зла отчизне, но счастья на новой службе не нашли. Быть может, и совесть в них проснулась, и само название изменников им опротивело. Пану гетману хорошо это известно, и он поручил пану Богушу, а также пану Мыслишевскому снова привлечь их под знамена Речи Посполитой. Пан Богуш, с своей стороны, воспользовался моими услугами и поручил мне вести переговоры с Крычинским. У меня на квартире есть письма от пана Богуша, я могу их показать, и вы поверите им больше, чем моим словам.

– Ступай с паном Снитко и немедленно принеси мне их!

Меллехович ушел.

– Мосци-панове, – быстро сказал маленький рыцарь, – мы очень обидели этого солдата нашим поспешным осуждением, ибо если у него эти письма есть, – а я думаю, что это так, – то он не только рыцарь, прославившийся своими военными подвигами, но и человек, действующий на благо отчизны и заслуживающий награды, а не осуждения. Ради бога, мы должны это поскорей исправить!

Все молчали, не зная, что сказать, а пан Заглоба закрыл глаза и на этот раз притворился, что дремлет.

Между тем вернулся Меллехович и подал Володыевскому письмо Богуша.

Маленький рыцарь прочел следующее:

«Со всех сторон слышу, что для такого дела нет человека, который бы мог сделать больше, чем ты, вследствие той огромной любви, которую они к тебе питают. Пан гетман готов простить их и берет на себя добиться для них прощения Речи Посполитой. Сносись с Крычинским возможно чаще через верных людей и даже обещаю ему награду. Держи все в тайне: иначе, – не дай Бог! – ты их всех погубишь. Пану Володыевскому, как своему начальнику, ты можешь все открыть, и он во многом сможет тебе помочь. Не жалея трудов и стараний, помня, что конец венчает дело, и будь уверен, что за такую услугу наша отчизна-мать наградит тебя своей любовью».

– Вот и награда мне! – угрюмо пробормотал молодой татарин.

– Боже мой! Отчего же ты никому не сказал об этом ни слова?! – воскликнул Володыевский.

– Вашей милости я хотел все сказать, но не успел, так как заболел, от их милостей (тут Меллехович обратился к офицерам) мне было приказано держать все в тайне, и вы, ваша милость, должно быть, сообразовали приказать им соблюдать тайну, чтобы не погубить тех.

– Доказательства твоей невинности так явны, что надо быть слепым, чтобы их оспаривать, – сказал маленький рыцарь. – Продолжай свое дело с Крычинским, и ты не только не встретишь никаких препятствий, но даже можешь рассчитывать на помощь, в знак чего я даю тебе мою руку, как честному рыцарю. Приходи сегодня ко мне ужинать.

Меллехович пожал протянутую ему руку и поклонился в третий раз. К нему подошли и другие офицеры.

– Мы тебя не знали, но кто любит добродетель, тот сегодня протянет тебе руку!

Но молодой липок вдруг выпрямился и откинул назад голову, как хищная птица, готовая броситься на добычу.

– Я стою не перед равными! – ответил он. И вышел из комнаты.

После его ухода стало шумно.

– И неудивительно, – говорили офицеры между собой, – сердце его негодует на наше подозрение, но это пройдет. С ним надо иначе обращаться. По духу он настоящий рыцарь. Гетман знал что делал... Ну и чудеса на свете... Ну, ну!..

Пан Снитко молча торжествовал, но, наконец, не выдержал, подошел к пану Заглобе и сказал:

– Позвольте мне сказать, ваша милость, что волк оказался не изменником.

– Не изменником? – ответил пан Заглоба. – Нет-с, он изменник, только добродетельный изменник, ибо изменяет не нам, а орде!.. Не теряйте надежды, пан Снитко, я буду ежедневно молиться за ваше остроумие. Может быть, Дух Святой и сжалится!

Услыхав от пана Заглобы обо всем, что случилось, Бася очень обрадовалась; она была расположена к Меллеховичу, и ей было жаль его...

– Нам надо, Михал, – сказала она, – взять его с собой в самую опасную экспедицию, чтобы этим доказать ему наше доверие.

Но маленький рыцарь начал гладить розовое личико Баси и сказал при этом:

– Ах ты, муха несносная! Не в Меллеховиче дело, тебе просто в степь хочется, в сражении участвовать. Из этого ничего не выйдет!

Сказав это, он стал покрывать поцелуями ее губы.

– Коварный народ – женщины, – степенно сказал Заглоба.

Между тем Меллехович сидел в своей комнате и шепотом разговаривал с липком, который был пойман драгунами. Сидели они так близко, что почти касались головами. На столе горел светильник с бараньим жиром и освещал лицо Меллеховича, которое, несмотря на всю его красоту, было попросту страшно; на нем отражалась жестокость, злоба и дикая радость.

– Галим, слушай, – говорил Меллехович.

– Эфенди! – ответил посланный.

– Скажи Крычинскому, что он умен, ибо в письме не было ничего, что могло бы меня погубить; скажи ему, что он умен. Пусть всегда так пишет. Они теперь будут мне доверять еще больше... все. Сам гетман, Богуш, Мыслишевский, здешняя команда – все! Слышишь? Чтоб их зараза передумала!

– Слышу, эфенди!

– Но прежде всего мне надо быть в Рашкове, а потом вернуться сюда.

– Эфенди, молодой Нововойский тебя узнает!

– Не узнает. Он видел меня под Кальником, под Брацлавом – и не узнал. Смотрит на меня, морщит брови, но не узнает. Ему было пятнадцать лет, когда он убежал из дому. Восемь раз с тех пор зима застилала снегом степи. Я изменился. Старик узнал бы меня, а молодой не узнает... Из Рашкова я дам тебе знать. Пусть Крычинский будет наготове и держится где-нибудь поближе. С перкулабами[17] вы должны сговориться. В Ямполье тоже есть наш полк. Я уговорю Богуша, чтобы он выхлопотал у гетмана для меня приказ, скажу, что оттуда мне будет легче сноситься с Крычинским. Но сюда я должен вернуться... должен во что бы то ни

стало... Не знаю, что будет, как все это устроится... Огонь меня сжигает. По ночам сон бежит от глаз... Если бы не она, меня бы не было в живых...

– Да будут благословенны ее руки!

Губы Меллеховича начали дрожать, он еще ближе наклонился к липку и начал шептать, точно в бреду:

– Галим, да будут благословенны ее руки, благословенна голова, благословенна земля, по которой она ходит! Слышишь, Галим? Скажи им там, что я уже здоров, благодаря ей...

V

Ксендз Каминский, в молодости военный, и кавалер великого мужества, сидел в Ушице и реставрировал свой приход. Но так как костел был в развалинах, а прихожан не было, то заезжал этот пастырь без стада в Хрептиев и проводил там целые недели, наставляя рыцарей в божественном учении.

Выслушав со вниманием рассказ пана Мушальского, он через несколько дней обратился к собравшимся со следующими словами:

– Я всегда любил слушать такие рассказы, где печальные происшествия кончаются благополучно, ибо из них явствует, что десница Господня может вырвать человека из пасти звериной и из далекого Крыма привести под родной кров.

А потому пусть каждый из вас запомнит, что для Господа нет ничего невозможного, и в самых трудных жизненных обстоятельствах не теряет надежды на милосердие Божье! Вот в чем дело.

Хвалю пана Мушальского за то, что простого человека он полюбил братской любовью. Пример тому дал нам Спаситель, который, хотя и происходил от царской крови, все же любил простых людей, многих из них сделал апостолами и так их возвысил, что теперь они заседают в небесном сенате.

Но одно дело частная любовь, человека к человеку, а другое – любовь общественная, одной нации к другой. Спаситель же наш не менее ревностно соблюдал и ее. А где она? Посмотришь вокруг, – в людских сердцах такая злоба, точно люди повинуются дьявольским, а не Божьим заповедям.

– Трудно, отец, – сказал Заглоба, – будет вам убедить нас, чтобы мы любили турка, татарина или других варваров, коих, верно, и сам Спаситель презирал!

– Я вас не уговариваю, но только утверждаю, что дети одной и той же матери должны любить друг друга, а между тем со времен Хмельнитчины, или за последние тридцать лет, в этих странах не высыхает кровь.

– А по чьей вине?

– Кто первый в ней признается, того первого Бог простит!

– Вы, отец, теперь носите духовную рясу, а смолodu дрались с мятежниками не хуже всякого другого...

– Я дрался, потому что должен был драться как воин, – и не в том мой грех, а в

том, что я их ненавидел, как заразу. У меня были свои личные причины, о которых я упоминать не буду, ибо это уже давнишние времена, и раны мои зажили. Я каюсь в том, что делал больше зла, чем должен был делать. Под моей командой было сто человек из отряда пана Неводовского, и часто я без всякого приказания ходил с ними, жег, резал и вешал... Вы знаете, какие это были времена! Жгли и резали татары, призванные Хмельницким на помощь, жгли и резали мы, а казачество, оставляя за собой только воду и землю, в жестокости превосходило и нас, и татар. Нет ничего ужаснее междоусобной войны! И времена же были, и не перескажешь! Довольно того, что и мы, и они более походили на бешеных собак, чем на людей... Однажды дали в нашу команду знать, что чернь осаждает пана Русецкого в его усадьбе. Меня откомандировали с отрядом на помощь ему. Мы опоздали. Усадьба была разрушена и сровнена с землей. Мы все же напали на пьяных мужиков, вырезали их, но часть их спряталась во ржи, и я велел их, для примера, повесить. Но где? Легче было приказать, чем исполнить: во всей деревне не осталось ни одного деревца, даже грушевые деревья, стоявшие на межах, и те были срублены. Не было времени ставить виселицы; лесов, как всегда в степи, поблизости тоже не было. Что тут делать? Взял я моих пленников и иду. Уж найду, конечно, где-нибудь развесистый дуб. Прошел одну милю, прошел другую – степь и степь, хоть шаром покати. Наконец напали мы на след какой-то деревушки, было это к вечеру; гляжу: кругом груды углей и пепел – опять ничего! На маленьком холмике все же остался крест – большой, дубовый, должно быть, недавно поставленный, – дерево еще не почернело и горело в лучах вечерней зари, как огонь. На кресте из жести был вырезан Христос, и был он так хорошо разрисован, что только когда зайдешь сбоку, то по тонкости жести видишь, что это висит не настоящее тело, но если смотреть спереди, то лицо было точно живое, бледное от страданий, в терновом венце, с устремленными к небу глазами, с выражением скорби и печали.

Когда я увидел крест, у меня мелькнула мысль: «Вот дерево, другого нет!» Но я тотчас же испугался этой мысли. Во имя Отца и Сына! Не на кресте же их вешать. Но я подумал, что порадуя Господа, если тут же перед его изображением прикажу убить тех, кто пролил столько невинной крови, и сказал так: «Господи, пусть тебе кажется, что это те же жида, которые тебя распяли на кресте: ведь и эти не лучше!» И приказал я подводить их поодиночке к самому кресту и убивать. Среди них были и седые старики, и совсем еще юноши. Первый, которого подвели к кресту, сказал: «Во имя страстей Господних, помилуй, пан!» А я на это: «По шее его!» Драгун отрубил ему голову... Привели другого, он то же самое: «Во имя Христа Милосердного помилуй!» А я опять: «По шее его!» То же самое с третьим, с четвертым, пятым; было их четырнадцать человек, и каждый из них умолял меня о пощаде во имя Христа... Уж и заря погасла, когда мы кончили. Я приказал положить их у подножия креста в виде венка... Безумный! Я думал, что этим зрелищем я угожу Господу... Руки и ноги их порою еще шевелились, иного подбрасывало, словно рыбу, вынутую из воды, но продолжалось это недолго, вскоре они все тихо лежали венком вокруг креста.

Стало совсем темно, и решил я остаться здесь ночевать, хотя костры развести было не из чего. Ночь Господь дал теплую, и люди мои улеглись на пополах, я же пошел к распятию, чтобы помолиться у ног Спасителя и поручить себя его милосердию. И думал я, что молитва моя будет тем угоднее Господу, что день я провел в таком труде и таком занятии, которое я ставил себе в заслугу.

Усталому воину часто случается, начав вечернюю молитву, вдруг заснуть. То же случилось и со мной. Драгуны, видя, что я стоял на коленях, с головой, прислоненной к кресту, подумали, что я углубился в благочестивые размышления, и не хотели их прерывать; глаза мои тотчас сомкнулись, и мне у Креста приснился

удивительный сон. Я не скажу, чтобы это было видение, ибо я недостойн, но, погружившись в крепкий сон, я как наяву видел все страсти Господни. При виде мучений неповинного Агнца сжалось у меня сердце, слезы ручьями потекли из глаз и безмерная скорбь объяла меня. «Господи, – говорю я, – у меня горсточка добрых солдат, хочешь видеть, что значит наша конница, кивни толовой, и я вмиг разнесу таких-сяких сынов, палачей твоих!» Как только я сказал это, все исчезло, остался лишь крест, а на нем Спаситель, проливающий кровавые слезы... Обнял я подножие креста и зарыдал. Долго ли это продолжалось, – не знаю, но, успокоившись немного, я сказал: «Господи! Господи! Ведь ты свое святое учение распространял между этими закоренелыми жидами. Если бы ты из Палестины пришел к нам, в Речь Посполитую, мы бы, наверное, не распяли Тебя на кресте, но приняли бы Тебя с радостью, наделили бы Тебя всяким добром и для вящей Твоей божественной хвалы дали бы тебе шляхетскую грамоту. Господи! Почему Ты так не поступил?»

Сказав это, я поднял глаза кверху (заметьте, что все это было во сне), и что же я вижу?! Господь наш смотрит на меня, строго наморщил брови, и вдруг велиим голосом говорит: «Что значит теперь ваше шляхетство, если его во время войны можно купить! Ну, да не в том дело! Вы все стоите друг друга: и вы, и те разбойники, и все вы хуже жидов – вы меня ежедневно распинаете на кресте. Разве я не завещал вам любить даже врагов и прощать их прегрешения? А вы, как бешеные звери, выпарываете друг другу внутренности. Глядя на это, я терплю невыразимые муки. Ты сам, который хотел защитить меня и приглашал меня в Речь Посполитую, что сделал? Вот лежат трупы вокруг моего креста, и подножие его покрыто кровью, а ведь между ними были и невинные юноши, и люди, блуждающие во мраке, они как овцы пошли вслед за другими. Имел ли ты к ним сострадание, судил ли ты их перед смертью? Нет! Ты приказал их всех убить, и еще думал, что этим сделаешь мне угодное! Поистине одно дело наставлять и наказывать, как отец наказывает сына или как старший младшего, а другое – мстить, карать без суда и не знать меры в жестокости наказания. Дошло до того, что на этой земле волки милосерднее людей, трава здесь покрывается кровавой росой, ветры не веют, а воют, реки текут слезами, здесь люди к смерти протягивают руки и говорят: «Ты – убежище наше!..»

«Господи, – воскликнул я, – неужели они лучше нас? Кто выказал больше жестокости? Кто привел язычников?»

«Любите их, даже карая, – сказал Господь, – тогда глаза их прозреют, сердца их смягчатся, и милосердие мое будет над вами. Иначе придет татарское нашествие, орда наложит ярмо на них и на вас, и должны вы будете в муках, в унижении, в слезах служить неприятелю до тех пор, пока не возлюбите друг друга. Если же не будет предела ненависти вашей, тогда не будет милосердия ни для вас, ни для них, и язычники завладеют этой землей на веки веков».

Я обмер, слушая такие предсказания, и долгое время не мог вымолвить ни слова и, только бросившись ниц, спросил:

«Господи, что мне делать, чтобы искупить грехи мои?»

На это Господь Бог сказал:

«Иди, повторяй слова мои, провозглашай любовь!»

После этого ответа видение исчезло. Летом ночи коротки, проснулся я на рассвете, весь в росе. Смотрю: головы убитых лежат венком вокруг креста, но они уже посинели. Удивительное дело: вчера радовало меня это зрелище, а сегодня ужас

объял меня, особенно при виде головы одного подростка лет семнадцати, лицо которого было необычайно красиво. Я приказал солдатам похоронить тела под тем же самым крестом, и с тех пор я стал уже не тот.

Бывало, сначала я думал: «Ведь это сон!» А все же он не выходил у меня из головы и точно наполнял собой все мое существо. Я не смел предполагать, чтобы Сам Господь говорил со мной, ибо, как я уже сказал, я не чувствовал себя достойным, то возможно, что совесть, которая во время войны притаилась в моей душе, как татарин в траве, теперь вдруг заговорила, возвещая мне волю Божью. Я пошел исповедоваться. Ксендз подтвердил мне мое мнение. «Это, – говорил он, – явная воля и предостережение Божье, повинуйся ему, иначе будет плохо».

С этих пор я стал провозглашать любовь.

Но товарищи офицеры смеялись мне в лицо. «Да разве ты, – говорили они, – ксендз, чтобы нам проповеди читать? Мало ли эти собачьи дети оскорбляли Бога, мало ли пожгли костелов? Мало ли оскорбили крестов? И мы должны их любить?» Словом, никто не хотел меня слушать.

После Берестецкой битвы надел я вот эту рясу, чтобы с большей торжественностью проповедовать слово и волю Божью.

Вот уж двадцать лет делаю я это без отдыха... Волосы мои уже поседели... Милосердный Бог не покарает меня за то, что голос мой до сих пор был гласом вопиющего в пустыне.

Мосци-панове, возлюбите врагов ваших, карайте их, как отец карает детей, вразумляйте их, как старший брат вразумляет младшего, иначе горе им, но горе и вам, горе всей Речи Посполитой! Смотрите, какие последствия этой войны, этой братской ненависти. Земля эта стала пустыней; в Ушице могилы заменяют мне прихожан; костелы, города, деревни превратились в пепелища, и языческое могущество растет и поднимается над нами, подобно морской пучине, которая уже готова поглотить и тебя, каменецкая твердыня!..

Пан Ненашинец слушал речь ксендза Каминского в сильном волнении; на лбу у него выступили капли пота; потом он так заговорил среди общего молчания:

– Что и между казачеством есть достойные кавалеры, примером тому служит пан Мотовило, которого мы все любим и уважаем. Но что касается общественной любви, про которую так красноречиво говорил ксендз Каминский, то признаюсь, что до сих пор я жил в тяжком грехе: такой любви во мне не было, и я не старался иметь ее. Теперь духовный отец до некоторой степени открыл мне глаза. Но без особенной милости Божьей я не обрету такой любви в сердце своем, ибо ношу в нем воспоминание о страшном зле, о котором я вам сейчас расскажу.

– Не выпить ли чего-нибудь тепленького? – прервал его Заглоба.

– Прибавьте огня в камине! – сказала Бася слугам.

И вскоре озарилась ярким светом комната; перед каждым рыцарем слуга поставил кварту горячего пива; все с удовольствием обмакнули в него свои губы, а когда стали пить глоток за глотком, пан Ненашинец снова заговорил своим грубым голосом, похожим на грохот телеги.

– Мать моя, умирая, поручила мне опеку над сестрой моей. Ее звали Гальшка. У меня не было ни жены, ни детей, и я любил эту девочку и берег ее как зеницу ока. Она была на двадцать лет моложе меня, и я носил ее на руках. Словом, я считал ее своим собственным ребенком. Потом я отправился в поход, а ее захватила орда. Вернувшись, я в отчаянии бился головой о стену. Состояние мое пропало во время похода, но я продал все, что осталось, сел на коня и отправился в орду выкупать ее. Я нашел ее в Бахчисарае. Она была при гареме, но не в самом гареме, так как ей было только двенадцать лет. Никогда я не забуду, Гальшка моя, того, как целовала ты меня, когда я тебя нашел... Но что же? Оказалось, что выкупа, который я привез, было недостаточно. Девочка была красавица. Иегу-ага, который ее похитил, требовал втрое больше. Я предлагал себя вдобавок, не помогло и это. На моих глазах купил ее на базаре Тугай-бей, тот знаменитый враг наш; он хотел продержат ее три года при гареме, а потом взять ее себе в жены. Я вернулся домой и с отчаяния рвал на себе волосы.

По дороге я узнал, что в одном из приморских улусов живет одна из жен Тугай-бея с его любимейшим сыном Азыей. Тугай-бей во всех городах и во многих селах держал жен, чтобы везде иметь пристанище под собственным кровом.

Узнав об этом его сыне, я тотчас же подумал, что Господь Бог указывает мне этот единственный путь к спасению Гальшки, и я решил похитить Азыю, чтобы потом обменять его на мою девочку. Но один я этого сделать не мог. Нужно было набрать людей на Украине или в Диких Полях, а это было не легко, во-первых, потому, что имя Тугай-бея было страшно для всей Руси, а во-вторых, потому, что он помогал казачеству против нас. Но в степях бродит немало молодцов, которые ради добычи готовы идти куда угодно. Их-то я и собрал немалое число. Чего только нам не пришлось вынести, прежде чем чайки выплыли в море, этого и не перескажешь: нам приходилось скрываться и перед казацкими старшинами. Но Бог благословил меня. Азыю я похитил, а вместе с ним и много богатой добычи. Непогода нас не догнала, и мы счастливо прибыли в Дикие Поля, откуда я хотел добраться до Каменца, чтобы тотчас начать переговоры через тамошних купцов.

Я разделил свою добычу между молодцами, себе же оставил только Тугаева щенка. Я поступил с этими людьми искренне и щедро, пережил с ними много приключений, вместе с ними умирал с голода, рисковал за них жизнью, а потому мог быть уверен, что каждый из них готов за меня в огонь и воду; я думал, что навсегда покори́л их сердца.

И вскоре я горько поплатился за это.

Мне не пришло в голову, что они собственных атаманов разрывают на части, чтобы после них поделиться добычей; я забыл, что у них нет ни веры, ни благодарности, ни добродетели, ни совести... Недалеко от Каменца они соблазнились надеждой на богатый выкуп за Азыю. Ночью они напали на меня, как волки, душили меня веревкой, изранили ножом и, наконец, считая меня уже мертвым, бросили в пустыне, а сами ушли с ребенком.

Господь Бог спас меня, и я выздоровел, но моя Гальшка пропала навеки. Быть может, она еще жива; быть может, после смерти Тугая другой поганец взял ее себе в жены; быть может, она приняла магометанство; быть может, совсем забыла брата; быть может, сын ее когда-нибудь прольет кровь мою... Вот моя история.

Тут пан Ненашинец смолк и мрачно стал смотреть в землю.

– Сколько нашей крови и слез пролито за эту страну! – сказал пан Мушальский.

– И все же, возлюби врагов своих! – сказал ксендз Каминский.

– А когда вы выздоровели, вы не искали этого татарского щенка? – спросил пан Заглоба.

– Как я потом узнал, – ответил пан Ненашинец, – на моих разбойников напали другие и перерезали их всех до одного человека; они, должно быть, похитили и ребенка. Я везде искал его, но он как в воду канул.

– Может быть, вы его где-нибудь и встречали потом, но узнать не могли! – заметила пани Бася.

– Не знаю, было ли тогда ребенку хоть три года. Он еле сумел сказать, что его зовут Азей. Но все-таки я узнал бы его, потому что у него на груди были вырезаны две рыбы, окрашенные в синюю краску.

Вдруг Меллехович, который до сих пор сидел спокойно, отозвался странным голосом из угла комнаты:

– По рыбам вы бы не могли его узнать, ибо этот знак носят многие татары, особенно те, которые живут у моря.

– Неправда, – ответил престарелый пан Громыка, – после Берестецкого сражения, когда пал Тугай-бей, я осматривал на поле битвы его падаль; я знаю, что на груди у него были рыбы, а у остальных убитых были другие знаки.

– А я вам говорю, что знаки эти бывают у многих.

– Да, но только у вражьего Тугай-беева рода!

Дальнейший разговор был прерван приходом пана Лельчица, который был выслан Володыевским еще утром на разведку, и только теперь возвращался.

– Пане комендант, – сказал он, входя в дверь, – у Сиротского Брода, на молдавской стороне, в траве залегла какая-то шайка и что-то замышляет против нас.

– Что это за люди? – спросил пан Михал.

– Бродяги. Есть несколько валахов, несколько венгерцев, но главным образом ордынцы, всего человек двести.

– Это те самые, о которых мне уже донесли, что они бродят по валахской стороне, – сказал Володыевский. – Перкулаб, должно быть, их там поприжал, вот они и бегут к нам; но там одних ордынцев будет человек двести. Ночью они переправятся, а на рассвете мы им пересечем дорогу. Пан Мотовило и пан Меллехович, будьте в полночь готовы. На приманку подогнать стадо волов, а теперь по домам.

Солдаты стали расходиться, но не все еще вышли из комнаты, когда Бася подбежала к мужу, обняла его за шею и начала что-то шептать на ухо. Он улыбался и отрицательно качал головой, а она, по-видимому, настаивала, все сильнее и сильнее обнимая его за шею. Видя это, пан Заглоба сказал:

– Сделай же ей хоть раз удовольствие, тогда и я, старый, поплетусь с вами!

VI

Вольные ватаги, занимавшиеся разбоями по обеим сторонам Днестра, состояли из людей разных народностей, которые жили по соседним странам. Все же в них преобладали беглые татары из Добруджской и Белгородской орды, еще более дикие и храбрые, чем их крымские братья; но было среди них немало валахов, венгров, казаков, а также и польских дворовых людей, которые бежали из станиц, лежавших на берегу Днестра. Разбойничали они то на польской, то на валахской стороне, каждый раз переходя пограничную реку, смотря по тому, кто теснил их: перкулабы или коменданты Речи Посполитой. В ярах, лесах и пещерах у них были недоступные убежища. Главной целью их нападений были стада волов и лошадей, которые даже зимой не уходили из степей, ища корма под снегом.

Но, кроме того, они нападали на деревни, местечки, усадьбы, на маленькие команды, на польских и даже на турецких купцов, на посредников, едущих с выкупом в Крым. У этих шаек были свои порядки и свои вожди; соединялись они редко. Не раз случалось, что менее многочисленные шайки вырезались более сильными. Они размножались повсюду в русской земле, особенно со времени казацко-польских войн, когда исчезла всякая безопасность в этих краях. Особенно грозны были приднестровские ватаги, подкрепляемые татарскими беглецами. Некоторые из них насчитывали до пятисот душ. Предводители назывались беями. Они опустошали страну совсем по-татарски, и нередко сами коменданты не знали, имеют ли они дело с разбойниками или с передовыми чамбулами татарской орды. В открытой битве они не могли устоять против регулярного войска, особенно против конницы Речи Посполитой; попав в засаду, шайки эти дрались отчаянно, прекрасно зная, что всех взятых в плен ждет веревка. Вооружение их было очень разнообразно. Луков и ружей у них было мало, впрочем, это оружие было мало пригодно для ночных нападений. Большею частью они были вооружены турецкими кинжалами и ятаганами, кистенями, татарскими саблями и конскими челюстями, насаженными на толстые дубовые палки и прикрепленными бечевкой; это оружие, особенно в сильной руке, оказывало страшные услуги, ибо ломало каждую саблю. У некоторых были длинные, острые вилы, окованные железом, у иных рогатины. Последние были надежной защитой против конницы.

Ватага, остановившаяся у Сиротского Брода, должно быть, была очень многочисленной; какая-нибудь крайность заставила ее уйти с молдавского берега, если она отважилась подойти к хрептивевской команде, несмотря на страх, какой внушало разбойникам одно имя Володыевского.

Второй разведочный отряд принес известие, что она состояла из четырехсот человек под предводительством Азбы-бея, известного разбойника, который в продолжение нескольких лет наводил ужас на подольский и молдавский край.

Узнав, с кем придется иметь дело, пан Володыевский очень обрадовался и тотчас отдал соответственные распоряжения. Кроме Меллеховича и пана Мотовилы отправился отряд пана генерала подольского и пана подстольника пшемысльского. Они пошли еще ночью и будто бы в разные стороны. Но как рыбаки, широко закидывающие невод, сходятся потом все при одной проруби, так и эти отряды, идя на большом расстоянии друг от друга, должны были на рассвете сойтись у Сиротского Брода. Бася с бьющимся сердцем смотрела на выступление войск, так как это был первый поход; сердце ее радовалось при виде стройности движений этих старых степных волков. Они выходили так тихо, что их почти не было слышно; ни разу не лязгнула

уздечка, не зазвенело стремя, ударившись о стремя, сабля о саблю, не заржала ни одна лошадь. Ночь была погожая и необыкновенно светлая. Луна ярко освещала станичные холмы и слегка отлогую степь; и только лишь какой-нибудь отряд выходил за частокол, только лишь успевали сверкнуть сабли при лунном свете, как все уже скрывалось из глаз, точно стадо куропаток, ныряющих в волнах травы.

Что-то таинственное было в этом походе. Басе казалось, что это охотники выезжают на рассвете на охоту и едут так тихо и осторожно, чтобы не спугнуть зверя раньше времени. И сердце Баси загорелось страстным желанием принять в этой охоте участие.

Пан Володыевский не противился этому, так как его уговорил Заглоба. Впрочем, он и так знал, что рано или поздно придется исполнить желание Баси, и он предпочел сделать это сейчас, тем более что бродяги не имели обыкновения пользоваться луками и самопалами.

Они отправились спустя три часа после выхода передовых отрядов, ибо так решил пан Михал. С ними пошел и пан Мушальский, и двадцать драгун Линкгауза с вахмистром; все это были мазуры, люди как на подбор, и за их саблями прелестная жена коменданта могла чувствовать себя не в меньшей безопасности, чем в своей спальне.

Она ехала на мужском седле и была одета по-мужски: в бархатных перламутрового цвета шароварах, очень широких, в виде юбки, заправленных в желтые сафьянные сапожки; в сером тулупчике, подбитом белым крымским барашком, изящно вышитом по швам. У нее был серебряный, прекрасной работы патронташ, легкая турецкая сабля на шелковой перевязи и пистолеты в чехлах. На голове у нее была шапочка из венецианского бархата, украшенная пером цапли и отороченная куньим мехом; из-под шапочки выглядывало светлое, розовое, почти детское личико и пара блестящих, как угольки, любопытных глаз.

В такой одежде, сидя на темно-гнедом жеребце, быстроногом и стройном, как серна, она была похожа на гетманского сына, который под охраной старых воинов едет в свой первый учебный поход. И все глядели на нее с восторгом, а пан Заглоба и пан Мушальский толкали друг друга локтями и время от времени целовали кончики пальцев в знак преклонения перед Басей; оба они с Володыевским старались успокоить ее опасения относительно их позднего выезда.

– Ты ничего не понимаешь в военном деле, – говорил маленький рыцарь, – и потому подозреваешь, что мы хотим привезти тебя на место, когда все уже будет кончено. Одни отряды идут прямо, другие же должны делать круг, чтобы отрезать дорогу, и потом уже они будут потихоньку сходитьсь, чтобы завести неприятеля в ловушку. Мы приедем вовремя, – без нас ничто начаться не может, потому что там каждый час рассчитан.

– А если неприятель спохватится и проскользнет между отрядами?

– Он хитер и осторожен, но и для нас такая война не новость!

– Михалу можешь верить, – сказал Заглоба, – нет солдата опытнее его! Злая судьба загнала сюда этих песьих детей!

– Когда я был еще совсем юношей, – ответил пан Михал, – то и тогда в Лубнах мне уже доверяли подобные поручения. А теперь, чтобы доставить тебе приятное

зрелище, я все обдумал еще старательнее. Отряды разом покажутся ввиду неприятеля, разом налетят, и все произойдет мгновенно, как удар бича.

– И-и! – радостно запищала Бася и, став на стремяна, обняла маленького рыцаря за шею. – А мне можно будет налететь на них, а? Михалок, а? – спрашивала она с горящими глазами.

– В толпу броситься я тебе не позволю, потому что в толпе мало ли что приключиться может, лошадь может споткнуться даже; но я отдам приказ, чтобы, когда шайка будет разбита, на нас погнало несколько десятков человек; тогда мы поскачем, и ты можешь двух или трех зарубить, но подъезжай всегда с левой стороны – преследуемому неловко будет достать до тебя, и ты бей его наотмашь!

А Бася на это:

– Ого! Я не боюсь! Ты сам говорил, что я саблей владею гораздо лучше Дяди Маковецкого, – никто со мной не сладит.

– Смотри, поводья держи покрепче, – вставил пан Заглоба. – У них свои приемы, и может случиться так: ты за ним гонишься, а он вдруг повернет, осадит коня, и, прежде чем ты пролетишь, он тебя ударит. Опытный солдат никогда не распускает поводья и только по мере надобности выпускает коня.

– И сабли никогда не надо поднимать слишком высоко, тогда легче нанести удар, – сказал пан Мушальский.

– Я буду при ней на всякий случай, – ответил маленький рыцарь. – Видишь ли, в битве вся трудность в том, что надо обо всем помнить: и о коне, и о неприятеле, и о поводьях, и о сабле, и об ударе – обо всем сразу. Кто привыкнет, у того все уже делается само собой, но сначала самые знаменитые рубаки бывают неловки, и тогда любой заморыш, если только он поопытнее, может выбить из седла. Вот почему я буду возле тебя.

– Но только не выручай меня и людям прикажи не выручать без нужды.

– Ну, ну, мы еще посмотрим, хватит ли у тебя храбрости, когда дело до битвы дойдет, – сказал, улыбаясь, маленький рыцарь.

– И не схватишь ли ты кого-нибудь из нас за полу, – закончил пан Заглоба.

– Увидим! – сказала Бася с негодованием.

Разговаривая так, они въехали на урочище, местами покрытое зарослями. До рассвета было уже недалеко, но стало темнее – зашла луна. От земли стал подниматься легкий туман и заслонять отдаленные предметы. В этом тумане и мраке маячившие вдали заросли принимали в возбужденном воображении Баси образы живых существ. Не раз казалось ей, что она ясно видит лошадей и людей.

– Михал, что это такое? – спросила она шепотом, указывая на что-то темневшее вдали.

– Ничего, кусты.

– Я думала, всадники. Мы скоро доедем?

– Через какие-нибудь полтора часа начнется.

– Ха!

– Ты боишься?

– Нет, но у меня сердце бьется от нетерпения. Чего же мне бояться? Нисколько! Посмотри, какой иней... Видно, хоть и темно.

Они подъехали к той части степи, где длинные сухие стебли бурьяна были покрыты инеем. Пан Володыевский поглядел на них и сказал:

– Здесь Мотовило проходил. Не далее как в полумиле он должен лежать в засаде. Уже светает!

И действительно, стало светать. Мгла редела. Небо и земля серели, воздух бледнел, верхушки деревьев и зарослей подернулись серебром. Кочки вдаль стали явственнее, точно кто-то снимал с них завесу.

Вдруг из-за ближайшего куста выехал всадник.

– Пана Мотовилы? – спросил Володыевский, когда казак осадил перед ним коня.

– Точно так, ваша милость.

– Что слышно?

– Перешли Сиротский Брод, потом пошли на рев волов к Калусику. Волов захватили и стоят на Юровом поле.

– Где пан Мотовило?

– Залег под холмом, а пан Меллехович со стороны Калусика. Где другие отряды, – не знаю.

– Хорошо, – сказал Володыевский, – я знаю. Трогай к пану Мотовиле и вели замыкать круг. Пусть он пошлет несколько человек поодиночке на полдороги от пана Меллеховича. Трогай.

Казак приник к седлу, помчался и скоро скрылся из глаз. А они поехали дальше еще тише, еще осторожнее... Между тем совсем уже рассвело. Туман, который на рассвете поднялся над землей, теперь уже совсем спустился книзу, а на восточной стороне неба появилась длинная, блестящая полоса, которая стала окрашивать своим розоватым цветом воздушные выси, склоны далеких оврагов и верхушки деревьев.

Вдруг до слуха всадников со стороны Днестра долетело беспорядочное карканье, и вскоре над их головами появилась огромная стая воронов, летевших навстречу заре. Отдельные птицы отрывались от стаи и, вместо того, чтобы лететь вперед, начинали кружить над степью, как делают коршуны и ястребы, когда завидят добычу. Пан Заглоба поднял саблю кверху и, острием указав на воронов, сказал Басе:

– Подивись смысленности этих птиц. Чуть где-нибудь быть битве, они слетаются со всех сторон, точно кто-нибудь из мешка их высыпал. Когда идет одно войско или

встречаются два союзных, этого никогда не бывает. Так эти птицы умеют отгадывать намерения людей, хотя никто им этого не объявляет. Одним нюхом этого объяснить нельзя, а потому ты можешь удивляться.

Между тем птицы, каркая все громче, значительно приблизились; тогда пан Мушальский обратился к маленькому рыцарю и сказал, ударяя ладонью по луку:

– Пан комендант, не разрешите ли снять одного из них на забаву пани комендантше? Шума ведь не будет.

– Снимайте хоть двух, – ответил Володыевский, зная, что у старого солдата есть слабость хвастать своей меткой стрельбой.

И вот несравненный лучник протянул руку за спину, достал стрелу, положил ее на тетиву и, подняв голову и лук кверху, стал выжидать. Стая была все ближе. Все остановили лошадей и с любопытством смотрели вверх. Вдруг раздался жалобный стон тетивы, похожий на крик ласточки, и взвизывая стрела исчезла над стаей.

С минуту можно было думать, что пан Мушальский промахнулся, но вот одна птица, перекувыркнувшись в воздухе, стала опускаться прямо над головами всадников, потом, продолжая кувыркаться, стала падать все быстрее и быстрее, с распростертыми крыльями, как лист, сопротивляющийся воздуху.

Минуту спустя она упала в нескольких шагах от лошади Баси. Стрела пронзила ее и вышла наружу.

– На счастье, – сказал пан Мушальский, отвесив Басе поклон. – Я издали буду наблюдать за вами, благодетельница, и в случае надобности опять пущу стрелу, даст Бог, счастливо! Хоть она и прозвенит у вашего уха, но ручаюсь, что не ранит.

– Не хотела бы я быть татаринком, в которого вы будете целиться! – заметила Бася.

Дальнейший разговор прервал Володыевский; он указал на большой холм, находившийся в нескольких саженьях от них, и сказал:

– Мы там остановимся...

Они тронулись рысью; доехав до середины холма, маленький рыцарь приказал убавить шаг, наконец, недалеко от вершины он остановил лошадей.

– Мы не поднимемся на самую вершину, – сказал он, – в такое ясное утро нас могут увидеть; мы спешимся и подойдем к краю так, чтобы наши головы не очень выставлялись.

Сказав это, он соскочил с лошади, а за ним Бася, пан Мушальский и другие. Драгуны, держа лошадей в поводу, остались внизу, а Володыевский с остальными подошел к месту, где холм почти отвесной стеной спускался вниз. У подножия этой стены вышиной в несколько десятков аршин росли густой, узкой полосой кустарники, далее тянулась низкая степь, которая с возвышенности открывалась на огромное расстояние.

Равнина эта, перерезанная небольшим ручьем, стремившимся в сторону Калусика, была, как и подножие скалы, покрыта зарослями. Над самой густой чащей зарослей

поднимались к небу струйки дыма.

– Видишь, – сказал Басе Володыевский, – это неприятель там притаился.

– Вижу дым, но не вижу ни людей, ни лошадей, – отвечала Бася с бьющимся сердцем.

– Потому что их закрывают заросли, но опытный глаз их разглядит. Вот там, смотри: две, три, четыре, целая кучка лошадей; одна пегая, другая совсем белая, а отсюда она кажется голубой.

– Мы к ним скоро подъедем?

– Их погонят сюда на нас, но времени еще много: до тех кустарников будет с четверть мили.

– Где же наши?

– Видишь, там край леса? Отряд пана подкомория должен быть совсем близко оттуда. Меллехович, того и гляди, выйдет с той стороны. Другой отряд зайдет со стороны того камня. Заметив людей, они сами двинутся к нам, потому что здесь можно легко подъехать к реке, а с той стороны – глубокий овраг, через который никто не проберется.

– Значит, они в ловушке?

– Как видишь.

– Господи! Я просто устоять не могу! – крикнула Бася. И сейчас же прибавила: – Михалок, а если бы они были умны, что бы они должны были сделать?

– Должны были бы пробиваться сквозь отряд подкомория. Тогда они спаслись бы, но этого они не сделают, во-первых, потому, что не любят иметь дело с регулярной конницей, а во-вторых, побоятся, как бы в лесу не оказалось еще больших отрядов, и они бросятся в нашу сторону.

– Да, но мы их не остановим, у нас только двадцать человек.

– А Мотовило?

– Правда, а где же он?

Володыевский вместо ответа запищал вдруг, как пищит ястреб или сокол.

И тотчас с подножия холма ему ответили таким же писком.

Это были казаки Мотовилы, которые так спрятались в кустах, что Бася, стоя над ними, совсем их не видела. С минуту она с удивлением глядела то вниз, то на маленького рыцаря; вдруг щеки ее вспыхнули, и она обняла его за шею.

– Михалок, ты величайший вождь в мире!

– У меня есть некоторая опытность, – ответил, улыбаясь, Володыевский. – Но ты не ерзай от радости! Помни, что настоящий воин должен быть спокоен.

Но это предостережение ни к чему не повело. Бася была как в лихорадке. Ей хотелось сейчас же сесть на коня, спуститься с холма и присоединиться к отряду Мотовилы. Но Володыевский остановил ее: он хотел показать ей начало битвы. Между тем солнце поднялось над степью и осветило своими бледно-золотистыми лучами всю равнину. Ближайшие заросли засверкали весело, отдаленные и менее ясные стали яснее; лежащий местами внизу иней заискрился; воздух стал так прозрачен, что глаз охватывал почти безграничное пространство...

– Отряд подкомория выходит из лесу, – сказал Володыевский, – я вижу людей и лошадей.

И действительно, из-за опушки леса показались всадники и длинной лентой зачернели на покрытой инеем поляне. Белое пространство между ними и лесом постепенно увеличивалось. По-видимому, они не очень спешили, чтобы дать время подойти и другим отрядам.

Володыевский посмотрел на другую сторону.

– Вот и Меллехович, – сказал он. И минуту спустя прибавил:

– Выезжает и отряд пана ловчего пшемысльского. Никто ни на минуту не опоздал!

И усики Володыевского быстро зашевелились.

– Ни один человек не должен уйти. На коней!

Они быстро вернулись к драгунам, вскочили на коней и стали опускаться по левой стороне холма, к растущим внизу кустарникам, где и соединились с казаками пана Мотовилы.

Затем уже все вместе приблизились к окраине зарослей и остановились, продолжая глядеть вперед.

Неприятель, по-видимому, заметил приближение отряда подкомория, так как в ту же минуту из чащи, среди равнины высыпали всадники, как испуганное стадо серн. С каждой минутой их высыпало все больше. Солдаты сомкнутой цепью подвигались вперед шагом, по краю зарослей, а всадники, выскочившие из зарослей, припав к лошадиным шеям, мчались вдоль чащи длинной вереницей. По-видимому, они не были еще уверены, идет ли этот отряд на них или же это отряд, осматривающий окрестности. В последнем случае они могли еще надеяться, что кусты скроют их от глаз приближавшихся всадников.

С того места, где стоял Володыевский во главе отряда Мотовилы, прекрасно можно было видеть неуверенные, колеблющиеся движения чамбула, похожие на движения диких зверей, почуявших опасность. Доехав до середины зарослей, они пошли легкой рысью. Вдруг, когда первые ряды выехали в открытую степь, они остановили лошадей, а за ними остановилась и вся ватага.

Они увидели надвигавшийся с другой стороны отряд Меллеховича.

Тогда, описав полукруг, они повернули в сторону от зарослей, и глазам их предстал, по всей его ширине, пшемысльский отряд, который шел на них рысью. Теперь им стало ясно, что все эти отряды знают о них и идут на них. В толпе их раздались дикие крики и поднялось всеобщее замешательство. Перекликнувшись между

собою, отряды пустились вскачь, так что равнина загремела от конского топота.

Увидав это, чамбул в одно мгновение растянулся лентой и помчался во весь дух прямо к холму, под которым стоял маленький рыцарь с паном Мотовилой и его людьми.

Пространство, разделявшее одних от других, стало уменьшаться с невероятной быстротой.

Бася сначала побледнела от волнения, и сердце ее билось все сильнее. Но, увидав, что все на нее смотрят и что никто не обнаруживает ни малейшего беспокойства, она быстро оправилась. Затем приближавшаяся, как вихрь, туча приковала все ее внимание. Она подтянула поводья, крепче стиснула саблю, и кровь от сердца отхлынула к лицу.

– Хорошо! – сказал маленький рыцарь.

Она только взглянула на него, пошевелила ноздрями и шепнула:

– Скоро мы бросимся?

– Еще не время, – ответил пан Михал.

А те мчались и мчались, как зайцы, которые чувт за собой собак. От кустов, где стоял Володыевский, их отделяло не более нескольких сажений; вот уже виднеются конские вытянутые морды с прижатыми ушами, а над ними татарские лица, точно приросшие к шеям лошадей. Вот они все ближе и ближе... Слышен храп лошадей, по оскаленным зубам и вытаращенным их глазам видно, что они несутся с такой быстротой, что у них захватывает дыхание.

Володыевский дает знак, и целая стена казацких пищалей склоняется по направлению к бегущим.

– Огня!

Грохот, дым – и точно ветер дунул в кучу отрубей. Вся ватага с воем и криком разлетается в разные стороны. Вдруг из-за кустов выезжает маленький рыцарь, отряды подкомория и липков замыкают кольцо и сгоняют разбежавшихся в одну кучу. Тщетно ордынцы ищут выхода поодиночке, тщетно они кружатся, мечутся то вправо, то влево, вперед, назад; они окружены, и ватага волей-неволей сбивается в кучу; появляются еще отряды, и начинается страшная резня.

Бродяги поняли, что только тот останется в живых, кто пробьется сквозь ряды неприятеля. И хоть и беспорядочно, каждый спасая собственную шкуру, но они стали отбиваться с бешенством и отчаянием. И тотчас поле было усеяно павшими – так велика была сила натиска. Солдаты, тесня их со всех сторон и, несмотря на давку, напирая на них конями, рубили их с той неумолимой и страшной ловкостью, какая бывает только у солдат по ремеслу. Отзвуки ударов походили на стук цепов на гумне. Рубили татар, били по лбам, по шеям, по спинам, по рукам, которыми они заслоняли головы, били их со всех сторон без отдыха, без пощады, без милосердия. Они тоже рубились чем кто мог: кинжалами, саблями, кистенями, конскими челюстями. Лошади их, оттесненные в середину, становились на дыбы или падали навзничь. Иные грызлись, визжали и лягались в этой давке, вызывая этим неопишное смятение. После короткой, молчаливой борьбы из груди татар вырвался

страшный крик: они поняли, что их теснила большая сила с лучшим оружием и более искусная. Они поняли, что для них нет спасения, что не уйти никому, не только с добычей, но и просто живым. Солдаты все более воодушевлялись, рубили все сильнее. Некоторые из бродяг соскакивали с седел, стараясь проскользнуть между ног лошадей. Их топтали лошади; порой солдаты, наклонившись с седла, пронзали их сверху насквозь; другие падали на землю в надежде, что, когда отряды подвинутся в середину, они, оставшись вне круга, будут иметь возможность спастись бегством.

Толпа все редела, и с каждой минутой убывали и люди, и лошади. Видя это, Азба-бей построил оставшихся людей клином и со всего размаху бросился на казаков Мотовилы, желая во что бы то ни стало разорвать кольцо.

Но казаки осадили его на месте, и тут же началась страшная резня.

В это же самое время Меллехович с яростью пламени ворвался в толпу, разорвал ее на две части, половину предоставил двум другим отрядам, а сам надел на ту, которая билась с казаками.

Правда, благодаря этому движению часть бродяг ускользнула в поле и рассыпалась по равнине, подобно куче листьев, но солдаты из задних рядов, которые вследствие тесноты не могли принять участия в битве, пустились за ними в погоню. Тем, кому не удалось вырваться, пришлось идти на убой, и, несмотря на отчаянную борьбу, они ложились рядами, как рожь на ниве, которую жнецы жнут с двух концов.

Бася бросилась вместе с казаками, запищав тонким голосом, чтобы приободрить себя; в первую минуту у нее потемнело в глазах от бешеной скачки и от сильного волнения. Когда она подскочила к неприятельским рядам, она в первую минуту видела перед собой только темную массу, подвижную, колеблющуюся. У нее явилось непреодолимое желание совсем закрыть глаза. Она, правда, поборолась это желание, но все же саблей она махала, не глядя куда. Но это продолжалось недолго. Храбрость одержала победу над страхом, и в глазах все прояснилось. Прежде всего она увидела лошадиные морды, потом разгоряченные, дикие лица; одно из них мелькнуло прямо перед ней. Бася рубанула наотмашь, и лицо исчезло, точно это был призрак.

И тогда она услышала спокойный голос мужа:

– Хорошо!

Этот голос необычайно ее ободрил, она тихо запищала и стала наносить удары, но уже вполне сознательно. Вот опять скалит перед ней зубы какая-то страшная голова с приплюснутым носом и выдающимися скулами. Бася – раз по ней! Там рука поднимается с кистенем. Бася – раз по ней! Бася видит чью-то спину в тулупе и колет ее. Потом она уже рубит направо, налево, вперед, и, куда ни ударит – человек валится на землю, сдергивая узду с лошади. И Бася удивляется, почему драться так легко. Но легко потому, что с одной стороны, стремя к стремени, возле нее едет маленький рыцарь, с другой – пан Мотовило. Первый внимательно следит за своим сокровищем, и то смахнет человека, как ветер пылинку, то отрубит руку вместе с оружием, то пропустит острие сабли между неприятелем и Басей, и вражья сабля летит вверх, словно крылатая птица.

Пан Мотовило, воин спокойный, следил с другой стороны за храброй полковницей. И как трудолюбивый садовник, обходя деревья, срезает или ломает сухие ветки, так и он сбрасывал людей на окровавленную землю, сражаясь с таким хладнокровием и

спокойствием, точно думал о чем-нибудь другом. Оба они знали, когда можно позволить Басе самой нанести удар, когда предупредить ее или заступить.

Следил за нею еще и третий несравненный лучник, который нарочно, стоя вдали, то и дело натягивал стрелу и пускал верного гонца смерти в толпу врагов.

Но давка была такая, что Володыевский приказал Басе вместе с несколькими людьми вернуться назад, тем более что полудикие лошади ордынцев начали кусаться и лягаться. Бася тотчас повиновалась: хотя битва и увлекала ее храброе сердце и побуждала сражаться еще, но все же сказалась и ее женская природа, и она стала содрогаться при виде этой резни, при виде крови, среди этого воя, стога и хрипов умирающих, в этом воздухе, пропитанном запахом крови и пота.

Медленно повернув коня, она вскоре очутилась вне круга сражающихся, а пан Михал и пан Мотовило, освобожденные от наблюдения за Басей, могли дать волю своей солдатской удали.

Между тем пан Мушальский, стоявший до сих пор поодаль, приблизился к Басе.

– Вы, ваць-пани, изволили драться, как настоящий рыцарь, – сказал он ей. – Кто-нибудь, не зная, мог подумать, что Архангел Михаил сошел с неба в ряды казаков и громил таких-сяких сынов. Какая честь для них погибнуть от столь прекрасной ручки, которую при этом случае позвольте мне поцеловать!

И с этими словами пан Мушальский схватил руку Баси и прижал к своим ушам.

– Вы видели? Я в самом деле хорошо сражалась? – спросила Бася, вдыхая полной грудью воздух.

– И кот с мышами лучше не сражается! Ей-богу, сердце радовалось! Но вы хорошо сделали, удалившись с поля сражения, ибо под конец не обходится без приключений.

– Мне муж велел, а я перед походом обещала ему повиноваться.

– Не оставить ли лук? Нет, он теперь ни к чему, и я пойду с саблей. Вот три солдата к нам едут, их, должно быть, пан полковник прислал для охраны достойной особы вашей. Если бы не он, то я бы прислал; но имею честь откланяться, надо спешить, скоро там все уже будет кончено!

Действительно, три драгуна подъехали охранять Басю; увидав это, пан Мушальский пришпорил лошадь и поскакал. Бася с минуту колебалась, не зная, остаться ли на месте или, объехав отвесную стену, взобраться на холм, откуда они перед битвой смотрели на равнину. Но, чувствуя страшную усталость, она решила остаться.

Женская природа сказывалась в ней все сильнее. На расстоянии каких-нибудь двухсот шагов добивали без пощады остаток бродяг, и черная толпа сражающихся металась все яростнее в кровавом побоище. Крики отчаяния потрясли воздух, и Басе, еще недавно полной воодушевления, стало вдруг дурно. Она боялась, как бы ей не упасть в обморок, и только стыд перед драгунами удержал ее в седле. Она старательно отворачивала от них лицо, чтобы скрыть свою бледность. Свежий воздух мало-помалу возвращал ей силы и мужество, но не настолько, чтобы у нее явилось желание снова броситься к сражавшимся. Она сделала бы это разве лишь для того, чтобы просить мужа пощадить остальных ордынцев. Но, зная, что это ни к чему не приведет, она с нетерпением ждала конца битвы. А там все бились и бились.

Отголоски резни и крики не умолкали ни на минуту. Прошло еще полчаса, отряды сходились все теснее. Вдруг кучка бродяг человек в двадцать вырвалась из этого убийственного кольца и, как вихрь, помчалась к холму.

Убегая вдоль холма, они, действительно, могли добраться до места, где холм сливался с равниной, и найти в широкой степи спасение. Но на их пути стояла с драгунами Бася. Близость опасности мгновенно придала ей силы и вернула полное сознание. Она поняла, что оставаться на месте – это погубить себя, так как толпа одной своей тяжестью свалит ее и растопчет, не говоря уже о том, что ей не уцелеть от сабель. Старый драгунский вахмистр, очевидно, был того же мнения; он схватил за поводья Басину лошадь, повернул ее и почти отчаянным голосом крикнул:

– Скачите, ясная пани!

Бася понеслась, как вихрь, но одна; верные драгуны стеной стали на месте, чтобы хоть на минуту удержать неприятеля и дать любимой пани возможность ускакать подальше.

Между тем за толпой бродяг тотчас бросились в погоню солдаты; но тесное кольцо, которое до сих пор окружало бродяг, уже прорвалось, и они стали ускользать по одному, по двое, по трое, а потом и более многочисленными группами. Большинство из них лежали уже мертвыми, но несколько десятков вместе с Азба-беем успели бежать. Вся эта толпа во весь дух мчалась к холму.

Три драгуна не смогли удержать беглецов, и после короткой борьбы они свалились с седел; туча понеслась вслед за Басей, повернула на склоне холма и вырвалась в степь. Польские отряды с липками во главе неслись во весь дух на расстоянии нескольких десятков шагов за ними.

На высокой равнине, перерезанной частыми предательскими оврагами, из всадников образовался какой-то гигантский змей; во главе была Бася, середину образовали беглецы, а хвост – Меллехович с липками и драгуны, во главе которых летел Володыевский, вонзив шпоры в бока коня и с ужасом в душе. В ту минуту, когда горсть разбойников вырвалась из круга, Володыевский был занят в другом конце, и потому Меллехович опередил его. Теперь же волосы становились дыбом у маленького рыцаря при мысли, что Басю могут захватить разбойники, что, растерявшись, она может помчаться прямо к Днестру, что кто-нибудь из разбойников может ударить ее саблей, кинжалом или кистенем. И сердце у него замирало от страха за жизнь боготворимого существа.

Почти лежа на шее своей лошади, бледный, со стиснутыми зубами, с вихрем ужасных мыслей в голове, он то и дело пришпоривал лошадь и мчался как дрофа, порывающаяся взлететь. Перед ним мелькали бараньи тулупы липков.

– Дай Бог, чтобы Меллехович поспел! Он на хорошем коне. Дай Бог! – повторял он с отчаянием в душе.

Но страх его был напрасен, а опасность не так уж велика, как казалось влюбленному рыцарю. Татары слишком заботились о своей собственной шкуре, слишком чуяли за плечами погоню липков, чтобы гнаться за одним всадником, будь он даже прекраснейшей гурией Магометова рая, будь он даже в плаще, унизанном драгоценными камнями. Басе стоило только повернуть в сторону Хрептиева, чтобы избавиться от погони; беглецы, у которых впереди была река с ее камышами, где они могли укрыться, конечно, не повернули бы за нею, прямо в пасть льву. Липки,

у которых лошади были лучше, приближались к ним все ближе. Жеребец Баси был несравненно быстрее мохнатых татарских лошадей, очень выносливых, но не таких резвых, как лошади благородных кровей. Наконец она не только не растерялась, но с новой силой сказала в ней ее удалая натура, и рыцарская кровь заиграла в ее жилах.

Жеребец вытянулся, как серна, ветер свистел у нее в ушах, и вместо страха она была полна какого-то упоения.

«Целый год могут гнаться за мной и все-таки не догонят, – думала она. – Поскачу еще, а потом поверну и либо их вперед пропущу, либо, если они будут продолжать меня преследовать, встречу их с саблей в руках».

У нее мелькнула мысль, что если скачущие за ней бродяги рассеются по степи, то, может быть, ей придется наткнуться на какого-нибудь отдельного всадника и вступить с ним в единоборство.

«Ну и что ж! – подумала она в душе. – Михал так меня выучил, что я смело могу на это решиться, а иначе могут подумать, что я убегая из страха, и меня не возьмут в другой поход; вдобавок и пан Заглоба будет надо мной смеяться...»

Сказав это, она обернулась в сторону разбойников, но они бежали толпой. Вступать в единоборство не было никакой возможности, но Басе во что бы то ни стало захотелось доказать всему войску, что если она и бежит, то не из страха и не оттого, что потеряла голову.

Тут, вспомнив, что у нее в чехлах лежат два прекрасных пистолета, перед отъездом старательно заряженных самим Михалом, Бася стала сдерживать коня, или, вернее, поворачивать его в сторону Хрептиева.

Но, – о чудо! – увидав это, вся толпа бродяг изменила направление, взяв влево, к подножию холма.

Бася, подпустив их на расстояние нескольких десятков шагов, выстрелила два раза в ближайших всадников и, повернувшись кругом, поскакала в сторону Хрептиева.

Но едва жеребец проскакал несколько шагов, как вдруг перед ним зачернела степная расщелина. Бася, недолго думая, пришпорила лошадь, и благородное животное не отказалось от прыжка, но только передние копыта его захватили противоположный край. С минуту лошадь искала опоры задними ногами на почти отвесной скале, но недостаточно замерзшая земля осыпалась у нее под ногами, и она повалилась в расщелину вместе с Басей.

К счастью, конь не придавил ее, – она успела вынуть ноги из стремян и изо всей силы перегнуться в сторону. Она упала на толстый слой мха, который устилал дно расщелины, но сотрясение было так сильно, что она потеряла сознание.

Володыевский не видел этого происшествия, так как Басю от него заслоняли липки, но Меллехович крикнул страшным голосом своим людям, чтобы они, не останавливаясь, преследовали беглецов, а сам, доехав до яра, сломя голову бросился вниз.

В одно мгновение он соскочил с лошади и схватил Басю на руки; окинув ее своими соколиными глазами, он искал, не увидит ли на ней следов крови, потом взгляд его

остановился на мхе, и тут только он понял, что мох спас от смерти и ее, и лошадь.

Из уст молодого татарина вырвался глухой крик радости.

Но Бася всей тяжестью повисла у него на руках, – и он, изо всей силы прижав ее к своей груди, стал побелевшими губами целовать ее глаза; потом весь мир закружился перед ним в бешеном вихре. Страсть, затаенная на дне его души, как зверь в пещере, охватила его, как буря.

Но в эту минуту со стороны степи донесся топот копыт, который стал быстро приближаться.

Раздались голоса: «Здесь, в этом овраге! Здесь!»

Меллехович положил Басю на мох и крикнул подъезжающим:

– Сюда, сюда!

Минуту спустя Володыевский соскочил на дно оврага, за ним пан Заглоба, Мушальский, Ненашинец и несколько других офицеров.

– С ней ничего не случилось! – закричал татарин. – Мох спас ее!

Володыевский схватил жену на руки; другие бросились за водой, которой поблизости не было. Заглоба, охватив голову Баси, начал звать ее:

– Баська! Баська! Баська, дорогая!

– С ней ничего! – твердил бледный, как мертвец, Меллехович.

Между тем Заглоба пошарил за пазухой и, вынув фляжку, налил водки на ладонь и стал растирать виски Баси, потом поднес фляжку к ее рту, что, очевидно, подействовало, так как, прежде чем принесли воды, Бася открыла глаза, начала жадно вдыхать воздух и закашлялась: водка жгла ей горло и рот. Через несколько минут она совершенно пришла в себя.

Володыевский, не обращая внимания на присутствие офицеров и солдат, то прижимал ее к груди, то покрывал поцелуями ее руки, повторяя:

– Любовь ты моя! Я чуть не умер от тревоги! Все прошло? У тебя нигде не болит?

– Нигде! – ответила Бася. – Ага! Теперь я вижу, что лишилась чувств, лошадь свалилась вместе со мной... Разве битва уже кончилась?

– Кончилась! Азба-бей убит! Ну, едем скорее домой: я боюсь, как бы ты не заболела от утомления.

– Я никакого утомления не чувствую! – ответила Бася.

Потом, быстро взглянув на присутствующих, она пошевелила ноздрями и сказала:

– Только, пожалуйста, не думайте, панове, что я убегала от страха! Ого! И не думала! Как люблю Михала. Уверяю вас, я скакала впереди них для собственного

удовольствия, а потом из пистолетов выстрелила!

– Этими выстрелами подстрелена лошадь, а разбойника мы взяли живым, – вставил Михал.

– Ну и что? – ответила Бася. – Это ведь со всяким может случиться, правда? Никакая опытность не поможет, чтобы лошадь случайно не оступилась. Хорошо еще, что вы меня заметили, а то я могла бы долго здесь пролежать.

– Первый увидел тебя Меллехович, и он первый спас тебя, – мы тогда были сзади! – сказал Володыевский.

Услышав это, Бася обратилась к молодому липку и протянула ему руку.

– Благодарю вас за вашу помощь!

Он ничего не ответил и только прижал к губам ее руку, потом наклонился низко и, с покорностью холопа, обнял ее ноги.

Между тем у оврага собиралось все больше солдат, битва уже кончилась, а потому Володыевский отдал приказ устроить облаву на тех нескольких ордынцев, которые успели бежать от погони, и все тотчас отправились в Хрептиев. По дороге Бася еще раз увидела место побоища с холма.

Трупы людей и лошадей лежали местами целыми грудами, местами поодиночке. По небесной лазури к ним плыли с громким карканьем стаи ворон и садились поодаль, выжидая, пока не уедет челядь, которая все еще суежилась на равнине.

– Вот солдатские могильщики! – сказал, указывая на них острием сабли, Заглоба. – Дайте нам только отъехать, сюда прибегут и волки с своей музыкой и будут позванивать зубами за упокой их душ. Славная победа, хотя и одержана она над таким никчемным неприятелем. Этот Азба уже несколько лет грабил по всей округе, охотились на него коменданты, как на волка, но всегда напрасно, пока, наконец, он не наскочил на Михала. Вот и пришла его черная година!

– Азба-бей убит?

– Меллехович первый наскочил на него и, говорю тебе, так хватил его саблей, что рассек голову до самых зубов.

– Меллехович прекрасный воин! – сказала Бася.

Затем обратилась к пану Заглобе:

– А вы чем-нибудь отличились?

– Я не пищал, как сверчок, не прыгал, как блоха, не юлил, как юла, ибо это удовольствие я оставляю насекомым, но зато меня никто во мху не искал, как ищут грибы, за нос меня никто не таскал и в рот мне никто не дул...

– Не люблю я вас, – прервала его Бася, надув губы и невольно дотрагиваясь до кончика своего розового носика.

А он, глядя на нее, улыбался и ворчал, продолжая подшучивать:

– Ты дралась храбро, – говорил он, – ударила храбро, перекувыркнулась храбро, а теперь от боли в костях будешь припарки из каши прикладывать, тоже храбро, а нам придется наблюдать за тобою, чтобы тебя вместе с твоею храбростью воробьи не заклевали: они большие охотники до каши.

– Я знаю, куда вы метите: вы хотите, чтобы Михал не брал меня в другой поход... Я прекрасно знаю!

– Нисколько, нисколько, я буду всегда его просить, чтобы он брал тебя в лес по орехи, ты такая легкая, что под тобою и ветка не переломится. Вот и благодарность! Кто же уговаривал Михала, чтобы он взял тебя с собою? Я очень в этом раскаиваюсь, особенно теперь, когда ты мне так платишь за мое доброжелательство. Подожди же! Будешь ты теперь деревянной саблей лопухи рубить на хрептиевском дворе. Вот для тебя поход! Другая бы на твоём месте обняла старика, а эта ядовитая муха сначала напугала меня, а теперь кусать собирается.

Бася, недолго думая, обняла пана Заглобу, и он этому очень обрадовался и сказал:

– Ну, ну! Должен признаться, что ты даже немного способствовала сегодняшней победе: солдаты, желая перед тобой отличиться, дрались бешено!

– Правда истинная! – воскликнул пан Мушальский. – Не жаль человеку и погибнуть, когда на него смотрят такие очи.

– Виват наша пани! – воскликнул пан Ненашинец.

– Виват! – повторили сотни голосов.

– Дай ей Бог здоровья!

А пан Заглоба нагнулся к ней и пробормотал:

– После родов!

И они весело ехали домой, радостно покрикивая, уверенные, что их ждёт пир. Погода была чудесная. Трубачи затрубили в отрядах, барабанщики ударили в литавры, и они шумно въехали в Хрептив.

VII

В Хрептивее, сверх всякого ожидания, Володыевские застали гостей. Приехал пан Богуш, который решил обосноваться здесь на несколько месяцев, чтобы при посредстве Меллеховича вести переговоры с татарскими ротмистрами: Александровичем, Моравским, Творовским, Крычинским и другими, – с липками и черемисами, перешедшими на султанскую службу. К пану Богушу присоединился старый пан Нововойский с дочерью Эвой и пани Боская, особа пожилая, тоже с дочерью, молоденькой и очень красивой, панной Зосей.

Появление женщин в пустынном и диком Хрептивее очень обрадовало, но ещё больше удивило солдат. Они тоже были очень удивлены при виде пана коменданта и его супруги. Коменданта, судя по его громкой и страшной славе, они воображали себе каким-то великаном, который наводил ужас на людей одним своим взглядом, а её – великаншей, с вечно нахмуренными бровями и грубым голосом. Между тем они увидели перед собой маленького рыцаря с веселым и радушным лицом и тоже маленькую,

розовенькую, как кукла, женщину, которая в своих широких шароварах и при сабле была похожа скорее на красивого мальчика, чем на взрослую женщину. Хозяева приняли гостей с распростертыми объятиями: Бася сердечно расцеловалась со всеми тремя женщинами, еще не будучи им представлена, а затем, когда они назвали себя и сказали, откуда едут, она воскликнула:

– Я все для вас готова сделать! Я вам страшно рада! Хорошо, что с вами в дороге ничего не приключилось: в нашей пустыне это не редкость, но как раз сегодня мы окончательно перебили бродяг!

Видя, что пани Боская смотрит на нее с возрастающим изумлением, Бася ударила рукой по сабле и хвастливо добавила:

– И я была в битве! А то как же! Вот как у нас! Но, ради бога, позвольте мне уйти к себе, надеть более приличную для моего пола одежду и отмыть кровь на руках, – мы возвращаемся с кровавой битвы. Ого! Если бы Азба не был убит, вы, пожалуй, не доехали бы благополучно до Хрептиева. Я сейчас вернусь, а пока к вашим услугам Михал.

Сказав это, она исчезла за дверью, а маленький рыцарь, который уже успел поздороваться с паном Богушем и паном Нововейским, подошел к пани Боской.

– Бог послал мне такую жену, – сказал он, – которая дома умеет быть нежной подругой, а в поле храбрым товарищем. Теперь, согласно ее приказанию, прошу мной располагать, как будет угодно.

А пани Боская ответила:

– Да благословит ее Бог во всем, как благословил красотю! Я жена Антония Боского, и не затем приехала сюда, чтобы требовать от вас услуг, но чтобы умолять вас на коленях о помощи и спасении в несчастье. Зоська, становись на колени перед этим рыцарем, ибо если он не поможет, то никто не поможет!

Сказав это, пани Боская действительно упала на колени, а красавица Зося последовала ее примеру, и обе, заливаясь горькими слезами, воскликнули:

– Спаси, рыцарь! Сжался над сиротами!

Увидав женщин на коленях, офицеры толпой подошли к ним; их особенно привлекала красавица Зося, а маленький рыцарь, необычайно смущенный, стал поднимать и усаживать на скамью пани Боскую.

– Ради бога! – говорил он. – Что вы делаете? Я скорее должен стоять на коленях перед столь почтенной женщиной! Говорите же, чем я могу вам помочь, и, – видит бог! – я медлить не буду!

– Он все сделает, и я, с своей стороны, постараюсь! Заглоба sum! С вас этого довольно! – воскликнул старый воин, растроганный слезами женщин.

Тогда пани Боская сделала знак Зосе, панна вынула из-за корсажа письмо и подала его маленькому рыцарю. Он взглянул на письмо и сказал:

– От пана гетмана!

Затем сломал печать и начал читать:

«Милейший и дорогой мой Володыевский! С паном Богушем я послал тебе с дороги мой сердечный привет и инструкции, которые он тебе передаст лично. Не успел я еще отдохнуть от трудов в Яворове, как подоспело другое дело; оно камнем лежит у меня на сердце, ибо касается воинов, которых я забыть не могу, иначе Бог меня забыл. Пана Боского, кавалера весьма достойного и лучшего нашего товарища, несколько лет тому назад под Каценцем захватила орда. Его жену и дочь я приютил в Яворове, но у обеих бердца разрываются в тоске – у одной по мужу, у другой по отцу. Я писал через Петровича пану Злотницкому в Крым, чтобы там всюду искали Боского. Есть слух, что его нашли, но прячут, а потому его не могли выдать с другими пленниками, и он, верно, до сих пор гребет на галерах. Женщины в отчаянии, – потеряв всякую надежду, они даже перестали просить у меня помощи, – но, вернувшись недавно и увидев их неутешную скорбь, я не мог более этого терпеть и решил оказать им хоть какую-нибудь помощь. Ты находишься поблизости границы, и, как я знаю, у тебя среди мурз есть побратимы. Вот я и посылаю к тебе женщин, а ты им помоги. Петрович вскоре туда поедет. Дай ему письма к мурзам побратимам. Я не могу писать ни визирю, ни хану, ибо они ко мне недоброжелательны, к тому же я боюсь, как бы, благодаря моим письмам, они не стали считать Боского каким-нибудь особенно знаменитым человеком и как бы в силу этого не назначили слишком большой выкуп. Дело это особливо поручи Петровичу и скажи, чтобы он без Боского не возвращался, а мурз своих подними на ноги. Хоть они и язычники, но слово держать умеют, а к тебе они должны питать большое уважение. Впрочем, делай как знаешь; поезжай в Рашков, обещаю взамен трех знатнейших пленников, только бы нам вернули Боского, если он жив. Никто лучше тебя не знает, как надо действовать, ибо, как я слышал, ты уже своих родственников выкупал. Бог да благословит тебя в этом деле, а я еще больше буду любить тебя, ибо сердце мое успокоится. Про твое хозяйство в Хрептиеве я уже слышал – там теперь все спокойно. Этого я и ждал. Обрати особенное внимание на Азбу. Что касается общественных дел, пан Богуш тебе все расскажет. Ради бога, следите за всем, что делается со стороны Валахии: говорят, быть оттуда грозе. Поручая твоему сердцу и твоим стараниям пани Боскую, остаюсь...» и т. д.

Во время чтения письма пани Боская продолжала плакать, а Зося ей вторила, вознесши к небу свои голубые глаза.

Между тем, прежде чем пан Михал кончил читать, вбежала Бася, одетая уже в женское платье, и, увидав, что дамы в слезах, стала заботливо расспрашивать их, в чем дело. Пан Михал еще раз прочел ей письмо гетмана, а она внимательно выслушала его и стала горячо поддерживать просьбы гетмана и пани Боской.

– Золотое сердце у пана гетмана, – воскликнула она, обнимая мужа, – но и мы постараемся быть не хуже его! Правда, Михалок? Пани Боская погостит у нас до возвращения мужа, а ты его месяца через три освободишь из Крыма. Через три или через два, правда?

– Завтра, через час! – ответил он, передразнивая ее.

Тут он обратился к пани Боской:

– Видите, как жена моя скоро на решения!

– Да благословит ее Бог за это! – сказала пани Боская. – Зося, поцелуй ручки пани полковницы.

Но пани полковница и не думала давать целовать свои руки, а просто еще раз расцеловалась с Зосей, – они сразу понравились друг другу.

– На совет, мосци-панове! – кричала она. – На совет! Скорее!

– Скорей – голова загорелась! – пробормотал Заглоба. А Бася встряхнула своими светлыми волосами:

– Не у меня голова горит, а у этих дам сердца горят от скорби!

– Никто не противится твоим добрым намерениям, – сказал Володыевский, – но сначала нужно от пани Боской узнать все подробно.

– Зося, говори все, как было, я не могу от слез...

Зося опустила глаза в землю, и они совсем накрылись длинными ресницами, потом зарделась, как вишня; она не знала, с чего начать, и стояла смущенная, что ей приходится говорить перед таким многочисленным обществом.

Но пани Володыевская пришла ей на помощь.

– Зоська, когда Боского взяли в плен?

– Пять лет тому назад, в шестьдесят седьмом году, – ответила тоненьким голоском Зося, не поднимая своих длинных ресниц.

И потом заговорила, почти не переводя дыхания:

– В то время не слышно было о набегах; полк папаша стоял под Паневцами. Папаша с паном Булаевским наблюдали за челядью, которая на лугах стерегла стада, а тут пришли татары с валахской стороны и взяли и папашу, и пана Булаевского, но пан Булаевский уже два года как вернулся, а папаша не вернулся.

И две маленькие слезинки скатились по щекам Зоей. Растрогало это пана Заглобу, и он сказал:

– Бедная девочка... Не бойся, дитятко, папаша вернется и еще попляшет на твоей свадьбе!

– А гетман писал пану Злотницкому через Петровича? – спросил Володыевский.

– Пан гетман писал про папашу пану мечнику познанскому через Петровича. Пан мечник и пан Петрович нашли папашу у аги Мурзы-бея, – быстро проговорила Зося.

– Ей-богу, я этого Мурзу-бея знаю! С его братом я когда-то побратался, – воскликнул Володыевский. – Он не хотел отпустить пана Боского?

– Был приказ от хана выдать папашу, но Мурза-бей человек жестокий и спрятал папашу, а пану Петровичу сказал, что уже раньше продал его в Азию. Но другие пленники говорили пану Петровичу, что это неправда, что Мурза нарочно так говорит, чтобы дольше измываться над папашей, ибо он изо всех татар самый жестокий. Может быть, тогда папаша не было в Крыму – у Мурзы есть свои галеры, и ему нужны гребцы, но папаша не был продан; все говорили, что Мурза этот

предпочтет скорее убить пленника, чем его продать.

– Святая истина! – сказал пан Мушальский. – Этого Мурзу-бея весь Крым знает, это очень богатый татарин, но страшный враг нашего народа: четверо его братьев погибли в битвах против нас.

– А нет ли у него побратимов среди наших? – спросил Володыевский.

– Сомнительно! – послышался ответ со всех сторон.

– Объясните мне наконец, что значит побратимство? – спросила Бася.

– Видишь ли, – сказал Заглоба, – когда после войны начинаются какие-либо переговоры, то войска навещают друг друга и находятся в дружеских отношениях. Случается порой, что кому-нибудь из наших понравится какой-нибудь мурза, а он мурзе, тогда они клянутся в вечной дружбе, которая и называется побратимством. Чем кто славнее, как, например, Михал, я или пан Рущиц, который командует теперь в Рашкове, тем более желательно его побратимство. Конечно, такой человек не будет брататься с кем попало, а выберет себе наиболее славного мурзу. Обычай этот состоит в том, что льют воду на сабли и при этом клянутся друг другу в дружбе. Понимаешь?

– А если потом опять придется воевать?

– В генеральном сражении они могут драться, но если встретятся один на один, тогда поклонятся друг другу и разойдутся с миром. Если один попадет в плен, то другой должен по возможности облегчить ему неволю, а то заплатить за него и выкуп; бывали случаи, что побратимы и имуществом делились. Если приходится отыскать или помочь какому-нибудь приятелю или знакомому, то побратимы обращаются к побратимам, и надо отдать справедливость, что ни один народ не исполняет своих клятв так честно, как татары. Слово для них все! И на такого друга можно смело рассчитывать.

– А у Михала таких много?

– У меня трое богатых мурз, – отвечал Володыевский, – а один еще с лубенских времен. Я выпросил его однажды у князя Еремии. Его зовут Ага-бей, он, если придется, готов голову за меня сложить. Те двое – тоже надежные люди...

– А, – сказала Бася, – хотела бы я побрататься с самим ханом и освободить всех пленников!

– Он бы тоже не прочь, – сказал Заглоба, – но только неизвестно, чего бы он взамен потребовал от тебя!

– Позвольте, – сказал Володыевский, – посоветуемся, что нам делать. Вот слушайте! У меня есть известия из Каменца, что самое большее через две недели сюда приедет Петрович с большой партией. Он едет в Крым с выкупом за нескольких армянских купцов из Каменца, которые были ограблены при перемене хана и взяты в плен. То же случилось и с Сеферовичем, братом претора. Все это люди богатые, денег не пожалют, и Петрович повезет большие деньги. Ему никакая опасность не грозит, потому что, во-первых, скоро зима и не время для набегов, а во-вторых, с ним едет Навираг, делегат эчмиадзинского[18] патриарха, и еще двое анадратов из Кафы, у которых есть охранные грамоты от молодого хана. Я дам письма Петровичу и

к резидентам Речи Посполитой, и к моим побратимам. Кроме того, вам известно, что у пана Рушица, рашковского коменданта, есть родственники в орде, которые, будучи похищены еще детьми, совсем отатарились и достигли высоких должностей. Эти готовы будут все перевернуть вверх дном, испробуют сначала переговоры, в случае упорства мурзы восстаноят против него самого хана, а при случае так даже потихоньку свернут мурзе шею. Вот почему я надеюсь, что если пан Боский жив, то через несколько месяцев я его выручу, как мне это приказывает пан гетман и мой ближайший здесь начальник (тут Володыевский поклонился жене).

А ближайший начальник бросился тотчас обнимать маленького рыцаря. Пани Боская и ее дочь только складывали руки и благодарили Бога, что он послал их к таким сердечным людям. Обе они заметно повеселели.

– Если бы старый хан был жив, – сказал пан Ненашинец, – все уладилось бы еще легче, так как он был к нам очень расположен, а о молодом говорят совсем другое. Вот и эти армянские купцы, за которыми должен ехать пан Захарий Петрович, взяты в плен в самом Бахчисарае, уже в царствование молодого хана, и по его повелению.

– Изменится молодой, как изменился старый, который, прежде чем убедился в благородстве нашего народа, был злейшим врагом польского имени! – сказал Заглоба. – Я это лучше всех знаю, так как семь лет просидел у него в неволе.

Сказав это, Заглоба подсел к пани Боской.

– Пусть одно мое присутствие ободрит вас. Семь лет! Это не шутка, а все же я возвратился и столько этих собачьих сынов нарубил, что за каждый день неволи я по крайней мере двоих отправлял в ад, а на воскресенья и праздники, пожалуй, по три и по четыре придется! Вот как!

– Семь лет! – повторила со вздохом пани Боская.

– Умереть мне на этом месте, если я хоть один день прибавил. Семь лет я в самом ханском дворце просидел, – подтвердил Заглоба, таинственно подмигивая своим глазом. – И надо сказать вам, что этот молодой хан – это мой... Тут Заглоба стал шептать что-то на ухо пани Боской и вдруг разразился громким: «Ха, ха, ха!» и начал хлопать себя по коленам; наконец, увлекшись, он похлопал и пани Боскую и сказал:

– Хорошее было время! В молодости чуть выйдешь на площадь – вот и неприятель, и каждый день новая шалость! Ха, ха!

Степенная матрона очень смешалась и слегка отодвинулась от веселого рыцаря; молодые женщины потупили глаза, догадавшись сразу, что шалости, о которых говорит пан Заглоба, не совсем отвечают их врожденной скромности, тем более что офицеры громко расхохотались.

– Надо поскорее послать к пану Рушицу, – сказала Бася, – чтобы Петрович застал в Рашкове наши письма.

А пан Богуш ответил:

– Спешите с этим делом, пока зима: во-первых, зимой чамбулы не выходят, и дороги безопасны, а во-вторых, одному Богу известно, что может случиться весной.

– Были у пана гетмана какие-нибудь известия из Царьграда? – спросил Володыевский.

– Да, но об этом нам надо поговорить наедине. Верно одно, что с теми ротмистрами надо кончать поскорей! Когда вернется Меллехович? Многое зависит от него...

– Ему надо только перерезать остальных разбойников, а потом похоронить павших. Он должен вернуться еще сегодня или завтра утром. Я велел ему хоронить только наших, а людей Азбы оставить так – идет зима и заразы бояться нечего. Наконец волки их приберут.

– Пан гетман просит, – сказал пан Богуш, – чтобы Меллеховичу не ставили никаких препятствий в его работе; каждый раз, когда он захочет поехать в Рашков, пусть едет. Пан гетман просит также доверять ему во всем, ибо уверен в его чувствах к нам. Он великий воин и может сделать много хорошего.

– Пусть себе едет в Рашков или куда ему угодно, – ответил маленький рыцарь. – Раз Азба уже разбит, Меллехович нам не очень-то и нужен. Теперь уже до весенней травы шайки нас тревожить не будут.

– Значит, Азба разбит? – спросил Нововейский.

– Да, и я даже не знаю, удалось ли бежать хоть двадцати пяти людям из его шайки, а их мы переловим поодиночке, если Меллехович их уже не переловил.

– Я очень этому рад, – сказал Нововейский, – теперь, по крайней мере, можно будет безопасно ехать в Рашков.

Тут он обратился к Басе.

– Письма, про которые вы изволили говорить, мы можем отвезти пану Рущицу.

– Благодарю вас, – ответила Бася, – но у вас всегда бывает оказия, мы и нарочных посылаем.

– Все команды должны находиться между собой в постоянных сношениях! – пояснил пан Михал. – Но позвольте, следовательно, вы едете в Рашков с этой прекрасной панной?

– Ну уж и нашли красавицу! – ответил пан Нововейский. – А в Рашков мы едем, потому что там сын мой, негодный, служит в отряде пана Рущица. Вот уже десять лет, как он бежал из дому и только в письмах своих молил меня о прощении.

Володыевский даже руками всплеснул.

– Я сейчас же догадался, что вы отец пана Нововейского, все хотел спросить, да только мы все время были заняты горем пани Боской! Я сейчас же догадался, потому что и сходство есть. Скажите, пожалуйста, так он ваш сын?

– Так, по крайней мере, меня уверяла его мать, покойница, а так как она была женщина добродетельная, то сомневаться в этом нет причины.

– Такому гостю я вдвойне рад! Только, ради бога, не называйте вашего сына негодным: это знаменитый воин и достойный кавалер, которым вы можете гордиться.

После пана Рушица это первый загонщик в полку; вы, должно быть, не знаете, что он любимец гетмана? Уж и теперь ему поручают целые отряды. И из каждого дела он всегда выходит с честью!

Пан Нововейский покраснел от удовольствия.

– Мосци-полковник, – сказал он, – не раз отец бранит сына только для того, чтобы кто-нибудь с ним заспорил, и полагаю, что ничем так нельзя порадовать родительское сердце, как отрицая порицание. До меня уже доходили слухи о славной службе Адама, и то, что я слышу подтверждение этих слухов из уст столь славного рыцаря, несказанно меня радует. Говорят, что он не только храбрый солдат, но и степенный человек, чему я даже удивляюсь, ибо он всегда был ветер. С детства у него, у шельмы, была склонность к военной жизни, а лучшее доказательство – то, что он еще почти ребенком убежал из дому. Признаюсь, что если бы я тогда поймал его, я бы задал ему *pro memoria*[19], но теперь надо это оставить, а то он, пожалуй, опять спрячется от меня лет на десять, а мне, старику, скучно без него.

– Неужели он столько лет не заглянул домой?

– Потому что я ему запретил. Но теперь уж с меня довольно, и я сам еду к нему, так как он, будучи на службе, не может. Я хотел просить ваши милости приютить на это время мою девку, а сам хотел ехать в Рашков, но раз вы говорите, что везде безопасно, то я возьму ее с собою. Сороке этой очень любопытно мир повидать, – ну, и пусть повидает.

– И люди пусть на нее поглядят! – заметил Заглоба.

– И глядеть нечего, – ответила девушка, между тем как ее черные смелые глаза и ее губы, сложенные как для поцелуя, говорили нечто совсем другое.

– Так, мордочка! – сказал Нововейский. – Но чуть красивого офицера увидит, ее так и подбрасывает. Вот почему я ее и взял с собой, тем более что молодой девке оставаться одной дома небезопасно. Но если мне придется без нее ехать в Рашков, так я буду просить вас, мосци-пани, держать ее на веревке, а то сбежать может.

– Я сама была не лучше, – ответила Бася.

– Ее прясть заставляли, а она, если не с кем было, с веретеном танцевала! – сказал Заглоба. – А вы, пан Нововейский, веселый человек! Баська, я бы хотел с паном Нововейским чокнуться, люблю я побалагурить.

Но прежде чем подали ужин, дверь отворилась и вошел Меллехович: пан Нововейский не сразу заметил его, он был занят разговором с паном Заглобой, но Эвка тотчас его увидела и вспыхнула сначала, а потом побледнела.

– Пан комендант! – сказал Меллехович Володыевскому. – Согласно приказанию, беглецы пойманы.

– Хорошо. Где они?

– Согласно приказанию, я велел их повесить.

– Хорошо. А твои люди вернулись?

– Часть их осталась хоронить убитых, остальные со мной.

В эту минуту пан Нововейский поднял голову, и на лице его отразилось необычайное изумление.

– Ради бога, что я вижу?! – воскликнул он.

Потом встал, направился прямо к Меллеховичу и сказал:

– Азыя, а что ты тут делаешь, бездельник?!

И поднял руку, чтобы схватить липка за ворот, но он вспыхнул в одну минуту, как порох, брошенный в пламя, потом побледнел, как смерть, и, схватив своей железной рукой руку Нововейского, сказал:

– Я вас не знаю! Кто вы такой?

И оттолкнул пана Нововейского с такой силой, что тот отшатнулся на середину комнаты. Некоторое время от бешенства он не мог произнести ни слова, наконец перевел дыхание и стал кричать:

– Пан комендант! Это мой человек, и притом беглый! Он жил в моем доме с детства!.. Бездельник! Отпирается! Это мой слуга! Эва, кто это такой? Говори!

– Азыя! – сказала, дрожа всем телом, Эва.

Меллехович даже не взглянул на нее. Он впился глазами в пана Нововейского и, раздувая ноздри, с невыразимой ненавистью смотрел на старого шляхтича и сжимал рукоятку ножа.

От движения ноздрей усы его начали дрожать, а из-под усов сверкали белые зубы, точно клыки у разъяренного зверя.

Офицеры окружили их. Бася выскочила на середину комнаты между Меллеховичем и Нововейским.

– Что это значит? – спросила она, морща брови. Вид ее несколько успокоил противников.

– Пан комендант, – сказал Нововейский, – это значит, что он мой человек, его зовут Азыей – он беглый. Смолоду, служа в войске на Украине, я нашел его полуживого в степи и приютил. Он татарчонок. Двадцать лет он воспитывался в моем доме и учился вместе с моим сыном. Когда сын бежал, он выручал меня по хозяйству, пока ему не вздумалось амурничать с Эвкой; заметив это, я приказал его выпороть, и он бежал. Под каким именем он здесь?

– Меллехович.

– Это вымышленное имя. Он – Азыя, и только! Он говорит, что меня не знает, но я его знаю, и Эва знает.

– Господи! – сказала Бася. – Да ведь сын ваш много раз его видел, как же он его не узнал.

– Сын мой мог не узнать: когда он убежал из дому, обоим им было по пятнадцати лет, а Меллехович еще шесть лет жил у меня; за это время он очень изменился, вырос, усы вот есть. Но Эва сейчас же его узнала. Уж вы, Панове, скорее должны верить мне, гражданину, чем этому крымскому бродяге!

– Пан Меллехович – гетманский офицер, – сказала Бася, – это нас не касается.

– Позвольте мне расспросить его. *Audiat et altera pars*[20], – сказал маленький рыцарь.

Но пан Нововейский разозлился.

– Пан Меллехович! Какой он пан! Мой слуга, который здесь живет под чужим именем! Завтра же я этого пана своим псарем сделаю, а послезавтра велю выпороть этого пана, и в этом препятствовать мне сам гетман не может – я шляхтич, и свои права знаю!

На это пан Михал повел усами и уже несколько резче сказал:

– А я не только шляхтич, но и полковник, и тоже знаю свои права! Своего человека вы можете искать по закону, можете даже обратиться к гетманскому суду, но здесь могу приказывать только я, и никто другой!

Пан Нововейский сразу опомнился, сообразив, что он говорит не только с комендантом, но и с начальником своего сына, и притом с самым славным рыцарем Речи Посполитой.

– Пан полковник! – сказал он уже более мягким тоном. – Ведь я его вопреки вашей воле не возьму, я только заявляю мои права, которым прошу верить!

– Меллехович, что ты скажешь на это? – спросил Володыевский.

Татарин уставился глазами в землю и молчал.

– Что тебя зовут Азия, мы все знаем! – прибавил Володыевский.

– Что тут искать других доказательств, – сказал Нововейский. – Если он мой человек, то у него на груди наколоты синей краской рыбы.

Услыхав это, пан Ненашинен широко открыл рот и глаза и, схватившись за голову, воскликнул:

– Азия Тугай-беевич!..

Все оглянулись на него, а он дрожал весь, точно у него открылись все его прежние раны.

– Это мой пленник! Он Тугай-беевич! Боже! Это он!..

А молодой липок гордо поднял голову, обвел всех присутствующих своими соколиными глазами и, разорвав жупан на своей широкой груди, сказал:

– Вот рыбы... Я сын Тугай-бея!

VIII

Все умолкли: так велико было впечатление, произведенное именем страшного воина. Ведь это он вместе с грозным Хмельницким потрясал всей Речью Посполитой; он пролил море польской крови; он истоптал копытами своих лошадей всю Украину, Волинь, Подолию и галицкие земли, разрушал замки и города, сжигал деревни, десятки тысяч людей брал в плен. Сын этого человека стоял теперь перед ними в Хрептивской станице и сказал всем прямо в глаза: «Вот у меня на груди синие рыбы... Я, Азия, – плоть от плоти Тугаевой!» Но люди того времени так преклонялись перед людьми высокой крови, что, несмотря на весь ужас, какой внушало им имя славного мурзы, Меллехович вырос в их глазах, точно все величие отца перешло на него.

Все смотрели на него с изумлением, особенно женщины, для которых всякая тайна имеет особую прелесть; он же стоял гордо, не опуская головы, как будто после этого признания вырос в собственных глазах; наконец он сказал:

– Этот шляхтич (тут он указал на Нововейского) говорит, что я его слуга, а я ему скажу на это, что отец мой на коня садился со спин людей познатнее его! Впрочем, он правду говорит, что я у него жил; да, я у него жил и под его плетью моя спина обливалась кровью, чего я ему не забуду, помоги мне бог! Я назвался Меллеховичем, чтобы избежать его преследования. Я мог бы бежать в Крым, но так как я кровью и жизнью служу этой отчизне моей, то теперь я ничей, как только гетмана. Мой отец – родственник ханов, и в Крыму меня ожидали богатство и роскошь, но я остался здесь в унижении, ибо люблю эту мою отчизну, люблю и пана гетмана, люблю и тех, кто никогда ничем меня не оскорбил.

Сказав это, он поклонился Володыевскому, а перед Басей склонился так низко, что чуть не коснулся головой ее колен; затем, взяв саблю под мышку, он вышел из комнаты, ни на кого не взглянув.

С минуту продолжалось молчание; первым заговорил пан Заглоба:

– Ха! Где пан Снитко? Я говорил, что этот Азия волком смотрит, а оказывается, он волчий сын...

– Львиный сын! – ответил Володыевский. – И кто знает, не пошел ли он в отца?!

– Панове! Ведь вы заметили, как у него зубы засверкали, – точь-в-точь, как у старого Тугая, когда он гневался, – сказал пан Мушальский. – Уже по этому одному я узнал бы его: я часто видел Тугай-бея!

– Но не так часто, как я! – сказал Заглоба.

– Теперь я понимаю, – вставил пан Богуш, – почему он пользуется таким влиянием у липков и черемисов. Они чтут имя Тугая как святыню. Как Бог свят, если бы этот человек захотел, он мог бы всех их переманить на службу султану и причинить нам много вреда.

– Этого он не сделает, – ответил Володыевский, – потому что любит нашу страну и гетмана, – и это правда. Иначе он не служил бы нам, ведь он мог бы уйти в Крым и пользоваться там всеми земными благами. Здесь его не очень-то баловали!

– Конечно, не сделает! – повторил пан Богуш. – Если бы он хотел, он давно бы это сделал, ему никто не мешал.

– Напротив, – прибавил пан Ненашинец, – я теперь верю, что он вернет Речи Посполитой тех изменников – ротмистров!

– Пан Нововейский, – сказал вдруг Заглоба. – Если бы вы знали, что он сын Тугай-бея, может быть, вы того... может быть, вы так... э?

– Я велел бы ему дать вместо трехсот тысячу триста плетей! Разрази меня гром, если бы я этого не сделал! Мне странно, что он, щенок Тугай-бея, не убежал в Крым. Скорее всего, он недавно об этом узнал, – когда он жил у меня, он не знал ничего. Мне это странно, но Богом вас заклинаю, не доверяйте ему! Ведь я его знаю лучше вас, и скажу вам только одно: дьявол не столь коварен, бешеная собака не столь яростна, волк не столь жесток и злобен, как этот человек... Он еще всем здесь насолит!

– Что вы говорите! – сказал Мушальский. – Мы его видели в деле при Кальнике, Умани, Брацлаве и в сотне других сражений!

– Он никогда не простит обиды... Всегда отомстит!

– А сегодня как он брил азбовых бродяг! Что вы говорите!

Между тем лицо Баси так и горело: до того заинтересовала ее история Меллеховича; но Басе хотелось, чтобы и конец был достоин начала, а потому, толкнув Эву Нововейскую, она шептала ей на ухо:

– Эвка, ведь ты его любила? Признайся! Не отпирайся! Любила, да? И теперь любишь? А! Я уверена! Будь со мной откровенна. Кому же тебе довериться, как не мне, женщине? Он почти царской крови. Пан гетман выхлопочет ему не одну, а десять шляхетских грамот. Пан Нововейский противиться не будет. Азия, наверное, любит тебя еще. Уж я знаю, уж я знаю, знаю! Не бойся! Он мне доверяет. Я сейчас его пытать начну. Да он и без пытки скажет. Ведь ты его ужасно любила? И теперь еще любишь?

Эва была словно в каком-то дурмане. Когда Азия в первый раз объяснился ей в любви, она была еще почти ребенком, потом она не видела его много лет и перестала о нем думать. У нее осталось о нем воспоминание как о вспыльчивом подростке, который был наполовину товарищем ее брата, наполовину слугой. Но когда она теперь увидела его снова, перед ней стоял юноша, прекрасный и грозный, как сокол, к тому же офицер и славный загонщик, потомок хоть и чужого, но все же княжеского рода. Молодой Азия стал теперь для нее совсем другим человеком: его вид ошеломил ее, но вместе с тем ослепил и опьянил. Снова проснулись прежние воспоминания. Сердце ее не умело полюбить юношу в одну минуту, но в одну минуту почувствовала она, что оно готово полюбить.

Бася никак не могла допытаться и увела Эву вместе с Зосей Боской в свою спальню и там снова настаивала:

– Эвка! Говори скорее! Скорей, скорей, скорей! Ты его любишь?

Лицо панны Эвы пылало. Это была черноволосая и черноокая девушка с горячей кровью, и кровь эта при каждом упоминании о любви волной прилиwała к ее щекам.

– Эвка, – говорила уже в десятый раз Бася, – ты его любишь?

– Не знаю, – отвечала панна Нововойская после минутного колебания.

– Но ты не отрицаешь? Ого! Уж я знаю! Ты не дрожи... Я сама сказала Михалу, что люблю его, и ничего... и хорошо... Вы, должно быть, прежде ужасно любили друг друга. А, теперь я понимаю! Это он с тоски по тебе всегда такой угрюмый, как волк. Чуть не иссох бедняга! Что произошло между вами? Говори!

– В кладовой он мне сказал, что любит меня, – шепнула панна Нововойская.

– В кладовой? Вот как! А потом что?

– Потом схватил меня и начал целовать! – продолжала еще тише панна.

– А чтоб его! А ты что же?

– А я боялась закричать.

– Боялась закричать! Слышишь, Зоська... Когда же открылась ваша любовь?

– Отец вдруг вошел, ударил его обухом, избил и меня, а его велел высечь так, что он пролежал две недели.

Тут панна Нововойская расплакалась, отчасти от обиды, отчасти от стыда. При виде ее слез растрогалась и добрая Зося, и ее голубые глаза наполнились слезами. Бася начала утешать Эву.

– Все это кончится хорошо, я беру это на себя. И Михала впрягу в это дело, и пана Заглобу. Не бойся, я их уговорю. Никто не устоит перед остроумием пана Заглобы. Ты его не знаешь! Не плачь, Эвка! Сейчас подадут ужинать...

Меллеховича за ужином не было. Он сидел в своей комнате и грел на огне водку с медом, которую потом переливал в маленькую жестяную кружку и попивал, закусывая сухарем. Пан Богуш пришел к нему поздно ночью, чтобы переговорить с ним относительно новостей.

Татарин посадил его на скамью, обитую овечьей шкурой, и, поставив перед ним полную кружку горячего напитка, спросил:

– А пан Нововойский все еще хочет сделать из меня своего слугу?

– Об этом уже и речи быть не может, – ответил пан Богуш. – Скорее уж пан Ненашинец мог бы заявить на тебя свои права, да и ему ты не нужен – сестра его или умерла уже, или, может, не захочет изменить свою судьбу. Пан Нововойский не знал, кто ты был, когда наказывал тебя за любовь к его дочери. А теперь он точно оглушен, ибо, хотя отец твой сделал много зла нашей отчизне, все же он был великий воин. Ей-богу, тебя пальцем никто не тронет до тех пор, пока ты верен нашей отчизне, тем более что у тебя везде есть друзья.

– Почему бы мне не служить верно? – ответил Азия. – Мой отец вас бил, но он был язычник; я же верую во Христа.

– В том-то и дело! В том-то и дело! Ты в Крым уже вернуться не можешь, разве что изменив веру, что связано с потерей блаженства, а этого никакие блага земные

заменить тебе не могут. Правду сказать, ты должен благодарить и пана Ненашинца, и пана Нововейского, ибо первый из них вырвал тебя из среды язычников, а второй воспитал тебя в истинной вере.

Азыя ответил на это:

– Я знаю, что я должен им быть благодарен, и постараюсь отплатить. Вы изволили заметить верно, что я здесь нашел много благодетелей!

– Ты говоришь точно с горечью, – сосчитай сам, сколько у тебя здесь друзей.

– Его милость пан гетман и ваша милость на первом плане; это я буду повторять до самой смерти. А кто еще, не знаю..

– А здешний комендант? Неужели ты думаешь, что он выдал бы тебя кому-нибудь, если бы ты даже не был сыном Тугай-бея? А она? А пани Володыевская? Ведь я слышал, что она про тебя говорила за ужином. И еще раньше, когда тебя узнал пан Нововейский. Она сразу стала на твою сторону. Пан Володыевский все бы для нее сделал, ибо он души в ней не чаает, а сестра не может больше любить брата, чем она тебя! Во все время ужина ты не сходил у нее с языка.

Молодой татарин нагнулся и стал усиленно дуть на горячий напиток; а когда он при этом оттопырил свои слегка синеватые губы, в лице его было столько татарского, что пан Богуш даже сказал:

– Но боже мой, как ты сейчас похож на старого Тугай-бея, – это даже трудно себе представить. Я его прекрасно знал. Видал его и в ханском дворце, и на поле битвы, и около двадцати раз ездил в его сихень.

– Да благословит Бог праведных, и да истребит зараза обидчиков! – ответил Азыя.
– Здоровье гетмана!

Пан Богуш выпил и сказал:

– Здоровье и многая лета! Правда, у него нас немного, но зато мы все настоящие солдаты. Даст Бог, мы не поддадимся этим дармоедам, что только сеймовать умеют и обвинять пана гетмана в измене перед королем. Шельмы! Мы день и ночь стоим лицом к лицу с врагом, а они только ложками с кашей воевать умеют. Вот их дело! Пан гетман шлет посла за послом, взывая о помощи для Каменца, и как Кассандра предсказывает падение Илиона и народа Приамова, а они ни о чем не думают и только доискиваются, кто провинился перед королем..

– О чем вы говорите, ваша милость?

– Так просто. Я сделал сравнение между нашим Каменцем и Троей, но ты, верно, про Троию и не слышал. Пусть только немного успокоится, и пан гетман непременно выхлопочет тебе шляхетство, даю тебе голову на отсечение! Времена теперь такие, что случай всегда найдется, если только ты захочешь прославиться!

– Или имя мое покроется славой, или я покроюсь землей! Вы услышите еще обо мне, как Бог свят!

– Ну а что те? Вернутся? Не вернутся? Что они теперь делают?

– Сидят в сихенях: одни в Ужйской степи, другие дальше. Трудно им сноситься, – расстояние велико. Отдан приказ всем им весной явиться в Адрианополь, захватив с собой возможно больше припасов.

– Господи! Это очень важно, ибо если весной в Адрианополе будет воинский сбор, то война с нами неминуема. Надо сейчас же известить об этом пана гетмана. Он тоже думает, что война будет; а это уж верный признак!

– Галим говорил мне, что там у них поговаривают, будто и сам султан приедет в Адрианополь.

– Да славится имя Господне! А у нас войска только горсточка! Вся надежда на Каменецкую крепость. Разве Крычинский ставит новые условия?

– Они больше жалуются, чем ставят условия: общее помилование, возвращение всех прав и привилегий шляхетских, какими они пользовались в былые времена, кроме того, возвращение прежних чинов ротмистрам – вот чего они хотят. Но так как султан обещал им больше, то они колеблются.

– Что ты говоришь? Как же султан может дать им больше, чем Речь Посполитая? В Турции абсолютная монархия, и все права зависят от фантазии султана. Если бы даже тот, который теперь царствует, сдержал все свои обещания, то наследник его, если захочет, может все нарушить. Между тем у нас привилегия – святая вещь, и кто получит шляхетство, у того и сам король ничего не может отнять.

– Они говорят, что они были шляхтичи, однако с ними обращались не лучше, чем с простыми драгунами; старосты приказывали им отбывать различные повинности, от которых освобождена не только шляхта, но и мещане.

– Но если гетман им обещает...

– Никто из них не сомневается в великодушии гетмана, и все они в душе его любят; но они думают так: шляхта самого гетмана называет изменником; при дворе короля его ненавидят; конфедерация грозит ему судом – что же он может поделать?

Пан Богуш почесал затылок.

– Ну так что же?

– Они сами не знают, что им делать!

– И останутся у султана?

– Нет.

– Кто же им велит вернуться в Речь Посполитую?

– Я.

– Как так?

– Я – сын Тугай-бея!

– Милый Азия! – сказал, помолчав, пан Богуш. – Я не отрицаю, что они могут

любить в тебе славу Тугай-бея, хотя они наши татары, а Тугай-бей был нашим врагом. Все это я понимаю, ибо и у нас есть шляхта, которая с гордостью говорит о том, что Хмельницкий был шляхтич и что он не казацкого, а польского рода. Ведь это была такая шельма, какой и в аду не найти, но так как он был знаменитый воин, то все рады признать его своим! Такова уж натура человеческая. Но для того, чтобы Тугаева кровь в тебе давала тебе право повелевать всеми татарами, я не вижу оснований.

Азыя некоторое время молчал, потом, опустив руки на колени, сказал:

– Я вам скажу, пан подстолий, почему меня слушается Крычинский и слушаются другие. Потому что, кроме того, что они простые татары, а я князь, во мне есть сила и мощь... Об этом не знаете ни вы, ни пан гетман...

– Какая сила? Какая мощь?

– Я того сказаты не умею, – ответил Азыя по-русински. – А почему я готов на то, на что другой не отважится? Почему я придумал то, чего не придумали другие?

– О чем ты говоришь? Что ты задумал?

– А вот что задумал: если бы пан гетман дал мне волю и право, я бы предоставил не только тех ротмистров, но и половину орды к его услугам! Мало ли пустой земли на Украине и в Диких Полях. Пусть пан гетман только объявит, что татары, перешедшие в Речь Посполитую, получают шляхетство, не будут знать притеснений в вере, что они будут служить в своих собственных полках, что у них будет свой собственный гетман, как у казаков, – и даю свою голову на отсечение, что вся Украина тотчас закишит народом. Придут липки и черемисы, придут татары от Добрыча и Белгорода, придут из Крыма и пригонят стада, и жен, и детей привезут на арбах... Вы, ваша милость, не качайте головой: придут! Как пришли те, которые целые века верно служили Речи Посполитой. В Крыму и всюду – хан и мурзы их притесняют, а здесь они будут шляхтой, и сабли у них будут, и на войну они будут ходить со своим собственным гетманом. Я вам клянусь, что придут, ибо они там часто от голода умирают. А когда в аулах станет известно, что я зову их с дозволения пана гетмана, я, сын Тугай-бея, тогда тысячи сюда придут!

Пан Богуш схватился за голову:

– О, ради бога, Азыя, откуда у тебя такие мысли? Что бы было тогда!

– Был бы на Украине народ татарский, как есть казацкий. За казаками вы признали привилегии и дали им своего гетмана, почему бы вам не признать этих привилегий и за нами? Вы спрашиваете, ваша милость, что было бы тогда? Не было бы второго Хмельницкого, ибо мы тотчас придушили бы казаков; мужицких восстаний тоже не было бы, ни резни, ни опустошений; не было бы и Дорошенки, ибо, если бы он только восстал, я первый привел бы его на веревке к ногам гетмана. А если бы турецкие силы захотели идти на вас, мы били бы султана; захотел бы хан набегу делать, – били бы хана. Не так ли прежде делали липки и черемисы, хотя они и пребывали в магометанской вере?! Почему бы нам поступать иначе, нам, татарам Речи Посполитой, нам, шляхте? Теперь считайте: Украина спокойна, казачество в железных руках, против турок – защита, войско увеличилось на несколько десятков тысяч, – вот о чем я думал, вот что мне пришло в голову... Вот почему меня Крычинский, Адурович, Моравский и Творковский слушаются; вот почему, когда я клич кликну, половина Крыма привалит в эту степь!

Пан Богуш был так изумлен и подавлен словами Азыи, как будто вдруг расступились стены комнаты, в которой они сидели, и перед ним предстали новые неведомые страны. Долгое время он не мог вымолвить ни слова и только смотрел на молодого татарина, а тот начал ходить большими шагами по комнате и, наконец, сказал:

– Без меня это не могло бы случиться, ибо я – сын Тугай-бея, а от Днепра до Дуная нет между татарами более славного имени.

Минуту спустя он добавил:

– Что мне Крычинский, Творковский и другие? Дело не в них. Дело не в нескольких тысячах липков и черемисов, дело во всей Речи Посполитой! Говорят, что весной будет великая война с султанским могуществом, дайте мне только возможность, и я среди татар заварю такую кашу, что и сам султан подавится!

– Ради бога! Кто же ты, Азыя? – вскричал пан Богуш.

Азыя поднял голову.

– Будущий гетман татарский!

Блеск пламени освещал в эту минуту лицо Азыи, ужасное и вместе с тем прекрасное. А пану Богушу казалось, что перед ним стоит какой-то другой человек, так много величия и гордости было в фигуре молодого татарина. Пан Богуш чувствовал, что Азыя говорит правду. Если бы подобное воззвание гетмана было обнародовано, липки и черемисы вернулись бы все, а за ними пошло бы множество диких татар. Старый шляхтич прекрасно знал Крым; он был там дважды невольником, а потом, выкупленный гетманом, был послом; знал бахчисарайский двор, знал орды, от Дуная до Добруджи; знал, что зимой многие улусы умирают от голода; знал, что мурзам надоели деспотизм и алчность ханских баскаков, что в самом Крыму часто дело доходит до бунтов, а потому понял сразу, что плодородная земля и привилегии непременно привлекли бы тех, кому на старых местах жить было плохо, тесно или опасно.

И это привлекло бы татар, тем более что их призывал сын Тугай-бея. Сделать это мог он один, и никто другой. Славой своего отца он мог бы взбунтовать улусы, вооружить одну половину Крыма против другой, привлечь дикие белгородские орды и потрясти все ханское, даже султанское могущество.

Если бы гетман захотел воспользоваться этим случаем, то сына Тугай-бея он мог бы считать ниспосланным самим Провидением.

Пан Богуш стал смотреть на Азыю другими глазами и все более и более изумляться, откуда такие мысли могли зародиться в голове Азыи. И даже пот выступил на челе рыцаря: такими огромными казались ему эти мысли. Но все же в душе его оставалось много сомнений, а потому минуту спустя он сказал:

– А знаешь ли ты, что из-за этого должна быть война с турками!

– Война и так будет! Зачем велели бы ордам идти на Адрианополь? Войны не будет только тогда, когда в Турецком государстве начнутся раздоры, но если дело дойдет до войны, половина орды будет на нашей стороне.

«На все, шельма, умеет возразить», – подумал пан Богуш.

– Голова кругом идет! – сказал он вслух. – Видишь ли, Азия, во всяком случае, это дело нелегкое. Что скажут король, канцлер и сословия?1 А вся шляхта, которая, в большинстве, не любит гетмана?

– Мне только нужно письменное разрешение гетмана; а уж если мы здесь засядем, пусть нас тогда выживают. Кто будет выживать и как? Вы бы рады запорожцев выжить из Сечи, да не можете...

– Пан гетман испугается ответственности!

– За пана гетмана поднимется 50 тысяч татарских сабель, кроме того, войско, которое у него сейчас в руках.

– А казаки? А казаков ты забыл, они сейчас же восстанут...

– Затем-то мы здесь и нужны, чтоб над головой казачества всегда висел меч. Кем держится Дорош? Татарами! Пусть только я возьму татар в свои руки, тогда Дорош должен будет бить челом гетману.

Сословия – в Речи Посполитой тремя сословиями, составляющими сейм, считали короля и обе палаты: сенат и посольскую избу.

Тут Азия вытянул руки и сложил пальцы в виде орлиных когтей, потом хватился за рукоятку сабли и сказал:

– Мы покажем казакам права! Мы из них невольников сделаем, а сами будем держать в руках Украину! Слушайте, пан Богуш, вы думаете, что я маленький человек, а я не такой уж маленький, как это кажется пану Нововейскому, здешнему коменданту, офицерам и вам, пан Богуш. Вот над этим я день и ночь думал, даже похудел весь, даже лицо почернело. Но что я придумал, я придумал хорошо, и потому сказал вам, что у меня есть сила и мощь. Вы сами видите, что это огромное дело; поезжайте к пану гетману, и поскорее! Изложите ему все, и пусть он меня уполномочит письменно, а о сословиях я уж заботиться не буду. У гетмана великая душа; гетман поймет, что здесь и сила, и мощь. Скажите гетману, что я – сын Тугай-бея, что я один могу это сделать; изложите ему все, и пусть он согласится. Ради бога, только бы не опоздать, только бы пока снег лежит в степи, только бы до весны, а то весной война будет... Поезжайте и тотчас возвращайтесь, мне надо поскорее знать, что мне делать.

Пан Богуш не заметил даже, что Азия говорил повелительным тоном, как будто он уже был гетманом и отдавал приказания своему офицеру.

– Завтра я еще отдохну, – сказал он, – а послезавтра отправлюсь в путь. Дай Бог, чтобы я застал гетмана в Яворове! Он решает быстро, и ответ ты получишь немедленно.

– Как вы думаете, ваша милость, пан гетман согласится?

– Возможно, что он прикажет тебе приехать к нему, а потому пока не уезжай в Рашков. Отсюда ты скорей доедешь до Яворова. Согласится ли он, – не знаю, но он отнесется к этому делу очень внимательно, ибо ты приводишь сильные доводы. Ей-богу, я никогда не ожидал от тебя ничего подобного, но теперь вижу, что ты человек необыкновенный и что ты создан для великих дел. Ну, Азия, Азия!

Наместник Липковского полка, и ничего более, а в голове у тебя такие мысли, от которых страшно становится! Теперь я уже не удивлюсь, если увижу на твоей шапке перо цапли, а над тобой бунчук... Верю и тому, что ты говоришь, что тебя эти мысли по ночам жгли. Послезавтра непременно поеду, только отдохну немного, а теперь пойду, – поздно и в голове у меня шумит, как на мельнице. Оставайся с Богом, Азия! В висках у меня стучит, точно я пьян... Оставайся с Богом, Азия, сын Тугай-бея!

Тут пан Богуш крепко пожал исхудалую руку татарина и повернулся к двери, но на пороге остановился и сказал:

– Как это? Новые войска для Речи Посполитой... Готовый меч над головами казаков... Дорош покорен... Смуты в Крыму... Турецкое могущество ослаблено... Конец набегам на Русь... Ей-богу!..

Сказав это, он вышел, а Азия с минуту поглядел ему вслед и прошептал:

– А для меня бунчук и булава... И по воле или против воли – она! Иначе горе вам!

Потом он допил из жестяной кружки водку и бросился на постель, покрытую шкурами, в углу комнаты. Огонь в камине погас, зато в окно ворвались потоки лунного света с холодного зимнего неба. Азия лежал некоторое время спокойно, но заснуть не мог. Наконец встал, подошел к окну и стал глядеть на луну, которая плыла, как одинокий корабль, по безмерной небесной пустыне.

Молодой татарин смотрел на нее долго, потом сложил руки на груди, поднял оба больших пальца кверху, и из его уст, которые еще час тому назад исповедовали Христа, вырвалось что-то вроде печального напева:

– Лаха и Лаллах, Лаха и Лаллах... Магомет россулах...

IX

А на другой день Бася с утра советовалась с мужем и паном Заглобой, как бы соединить два любящих сердца. Оба они смеялись над ее горячностью, не переставая дразнить ее; все же, уступая ей, как всегда и во всем, точно избалованному ребенку, они обещались помочь ей.

– Самое лучшее, – сказал Заглоба, – уговорить старика Нововойского не брать с собой девушку в Рашков, – теперь уж и холодно, и дороги не совсем безопасны, а за это время молодые люди часто будут видеться и окончательно влюбятся друг в друга.

– Это превосходная мысль! – воскликнула Бася.

– Превосходная или нет, – ответил пан Заглоба, – но ты все-таки с них глаз не спускай. Ты баба, и думаю, что, в конце концов, ты их сосватаешь, ибо баба всегда сделает по-своему; но только следи, как бы дьявол по-своему не сделал. Тебе будет стыдно, раз это выйдет твоих рук дело.

Бася начала фыркать на пана Заглобу, точно кошечка, потом сказала:

– Вы хвастали, что смолоду были турком, и думаете, что все турки... Азия совсем не такой!

– Он не турок, но татарин! Тоже нашлась! Она будет за татарские чувства ручаться...

– У них у обоих больше слезы на уме, от горя... Эва притом прекрасная девушка!

– Но только у нее такой вид, точно у нее на лбу написано: «На, целуй!» Ого, тоже птичка! Вчера я заметил, что когда она за столом сидела против красивого парня, то она так сильно дышала, что тарелка от нее отъезжала, и она должна была придвигать ее к себе! Птичка, говорю тебе...

– Вы хотите, чтобы я ушла...

– Не уйдешь, когда дело касается сватовства. Знаю я тебя, не уйдешь! Но не рано ли тебе сватать – это дело пожилых людей. Пани Боская говорила мне вчера, что когда увидела тебя в шароварах, то приняла за сына пани Володыевской, который учится верхом ездить вокруг забора. Ты не любишь степенности, и степенность тебя не любит, это уж по твоей фигуре видно. Ей-богу! Настоящий школьник! Теперь на свете женщины совсем другие стали! В мое время, когда женщина сядет, бывало, на скамью, под ней скамья трещала и скрипела, точно кто собаке на хвост наступил, а ты могла бы и на коте верхом ездить, и он, пожалуй, не чувствовал бы... Говорят также, что женщины, которые начинают сватать, никогда уже не будут иметь потомства.

– Неужели так говорят? – спросил с тревогой маленький рыцарь.

Но пан Заглоба расхохотался, а Бася, прижавшись своим розовым личиком к лицу мужа, сказала ему вполголоса:

– Ну, Михалок! Будет время, мы поедем на богомолье в Ченстохов, – Матерь Божья, может быть, все переменит!

– Это, действительно, самое лучшее средство! – ответил Заглоба.

– А теперь давайте говорить об Азые и Эвуне! – сказала Бася. – Как им помочь? Нам хорошо, пусть и им будет хорошо!

– Когда Нововейский уедет, им будет лучше, – сказал маленький рыцарь, – при нем они никак не могут видаться, тем более что Азыя ненавидит старика. Но если бы старик отдал ему Эву, то, может, простив прежние обиды, они полюбили бы друг друга, как родственники. По-моему, дело не в том, чтобы сблизить молодых, они и без того любят друг друга, а в том, чтобы старика уломать.

– Нововейский человек суровый, – сказала Бася.

А Заглоба возразил:

– Баська, вообрази себе, что у тебя есть дочь и что тебе приходится выдать ее за какого-нибудь татарина?

– Азыя – князь! – сказала Бася.

– Я не отрицаю, что Тугай-бей был знатной крови, но ведь и Гаслинг был шляхтич, а ведь Кшися Дрогоевская не пошла бы за него, если б он не получил прав гражданства.

– Тогда выхлопочите и для Азыи права гражданства!

– Легкое дело! Если бы даже кто-нибудь захотел причислить его к своему гербу, это должен будет утвердить сейм, нужно время и протекция.

– Вот, что время нужно, это нехорошо, а протекция найдется. Пан гетман не откажет в ней Азые, он любит хороших солдат. Михал! Напиши гетману! Хочешь, я дам тебе чернил, перо, бумагу. Пиши сейчас! Вот я тебе все принесу: и свечу, и печать, а ты сядешь и немедленно напишешь.

Володыевский стал смеяться.

– Боже всемогущий! – воскликнул он. – Я молил тебя дать мне степенную жену, а ты мне сорванца дал.

– Если будешь говорить так, я умру.

– Тьфу, еще беду накличешь! – вскричал маленький рыцарь.

И обратился к пану Заглобе:

– Вы не знаете какого-нибудь заговора против сглазу?

– Знаю, и уже сказал его! – ответил Заглоба.

– Пиши, – воскликнула Бася, – пиши сейчас, а то я не выдержу!

– Я бы и двадцать писем написал, только бы тебе угодить, но не знаю, какая будет от этого польза; тут сам гетман ничего не может сделать; оказать ему протекцию он сможет только тогда, когда придет время. Милая Бася, панна Нововойская открыла тебе свою тайну – прекрасно. Но с Азыей ты еще ничего не говорила и даже не знаешь, питает ли он такое же чувство к Нововойской.

– Как же ему не питать, если он в кладовой ее целовал!

– Золотое сердце! – сказал, смеясь, Заглоба. – Словно новорожденный ребенок, только лучше языком ворочает... Милая моя, если бы мы с Михалом вздумали жениться на всех, кого нам целовать случалось, тогда нам пришлось бы сейчас же принять магометанскую веру, и мне сделаться падишахом, а ему крымским ханом. Не так ли, Михал? Э?

– На Михала у меня было подозрение, – еще когда я не была его женой! – сказала Бася. И, закрыв ему глаза рукой, она начала поддразнивать его: – Шевели, шевели усиками! Ведь отпираться не будешь? Знаю, знаю. И ты знаешь... У Кетлинга...

Маленький рыцарь действительно зашевелил усиками, чтобы скрыть свое смущение и придать себе смелости, и сказал, желая переменить разговор:

– А ты так и не знаешь, влюблен ли Азыя в Нововойскую?

– Постойте, я переговорю с ним с глазу на глаз и все у него выпытаю. Конечно, влюблен. Он должен быть влюблен, иначе я его знать не хочу!

– Ей-богу, она готова вбить ему это в голову.

– И вобью, хоть бы пришлось каждый день с ним запираяться!

– Ты сначала расспроси его, – сказал маленький рыцарь. – Быть может, он сразу не сознается, он ведь дикарь. Но это ничего. Понемногу ты добьешься его доверия, узнаешь его лучше и тогда будешь знать, что делать. Тут маленький рыцарь обратился к пану Заглобе:

– Она кажется легкомысленной, а она смышленная.

– И козы бывают смышленные! – отвечал серьезно пан Заглоба.

Дальнейший разговор прервал пан Богуш. Он влетел, как бомба, и, едва успев поцеловать руку у Баси, начал кричать:

– Черт побери этого Азыю, я целую ночь не мог глаз сомкнуть, чтоб ему ни дна, ни покрышки!

– В чем провинился перед вами Азыя? – спросила Бася.

– Знаете ли вы, Панове, что мы вчера делали?

Пан Богуш, вытаращив глаза, обвел всех троих взором.

– Что же?

– Творили историю! Ей-богу, не лгу! Историю!

– Какую историю?

– Историю Речи Посполитой! Это попросту великий человек! Сам пан Собеский изумится, когда я ему изложу замыслы Азыи. Великий человек, повторяю, и сожалею, что не могу сказать больше, я уверен, что вы изумились бы, как изумился и я. Могу вам только сказать, что, если удастся то, что он задумал, тогда он далеко уйдет!

– Например? – сказал Заглоба. – Гетманом будет? А пан Богуш подбоченился.

– Да! Гетманом будет! Жаль, что я не могу сказать более... Но быть ему гетманом, и баста!

– Разве что собачьим! Впрочем, у чабанов тоже есть свои гетманы... Тьфу! Что это вы, пан подстолий, говорите? Что он – сын Тугай-бея, все это прекрасно. Но если он будет гетманом, то кем же буду я, кем будет Михал? Кем должны быть вы сами? Меня уже однажды шляхта назначила региментарем, и я только из дружбы к пану Павлу[21] уступил ему это звание, но вашего предсказания я решительно не понимаю.

– А я вам говорю, что Азыя великий человек!

– А разве я не говорила?! – сказала Бася, повернувшись к дверям, в которые стали входить другие станичные гости.

Прежде всего вошла пани Боская с синеокой Зосей и пан Нововейский с Эвкой, которая после плохо проведенной ночи казалась еще привлекательнее, чем всегда. Она плохо спала, потому что ее тревожили странные сны; ей снился Азия, только еще более красивый и более настойчивый, чем прежде. Кровь бросалась в лицо Эве при одном воспоминании об этом сне; ей казалось, что этот сон можно отгадать по ее лицу.

Но на нее никто не обращал внимания, все стали здороваться с хозяйкой. Потом пан Богуш стал снова рассказывать о великом предназначении Азии; Бася радовалась, что это услышат пан Нововейский и Эва. После первой встречи с татариним старым шляхтич уже успокоился, он уже не заявлял на него своих прав как на своего слугу. Правду говоря, открытие, что Азия – татарский князь и сын Тугай-бея, импонировало ему необычайно. Он с удивлением слушал о его небывалой храбрости и о том, что сам гетман поручил ему такое важное дело, как возвращение в Речь Посполитую всех липков и черемисов. По временам пану Нововейскому казалось, что речь идет о ком-то другом, так вырос в глазах его Азия.

А пан Богуш все повторял с таинственным видом:

– Это еще ничто в сравнении с тем, что его ожидает; но только говорить об этом нельзя.

Когда другие недоверчиво закачали головами, он воскликнул:

– Два великих человека только и есть в Речи Посполитой: пан Собеский и Тугай-беевич!

– Ради бога! – воскликнул, наконец, выходя из себя, пан Нововейский. – Если он и князь, то все же кем он может быть в Речи Посполитой, не будучи шляхтичем? Ведь прав гражданства у него еще нет?

– Пан гетман выхлопочет ему десять таких грамот! – сказала Бася.

Панна Эва слушала все эти похвалы с полузакрытыми глазами и бьющимся сердцем. Трудно сказать, так же ли горячо билось бы оно при виде бедного и неизвестного Азии, как билось теперь при виде Азии, рыцаря и человека с великим будущим. Но его блеск покорила ее, а воспоминания о давнишних поцелуях и свежие впечатления сна наполняли ее девственное тело дрожью наслаждения.

– Столь велик и столь знаменит! – думала Эва. – Что ж удивительного, что он горяч, как огонь!

Х

В этот же самый день Бася принялась «пытать» татарина, но, следуя совету мужа и помня его предостережения насчет дикости Азии, она решила наступать на него не сразу.

Несмотря на это, как только он предстал перед ней, она сказала ему прямо:

– Пан Богуш говорит, что вы знаменитый человек, но я полагаю, что и самые знаменитые люди любви не избегают!

Азия полузакрыв глаза и склонил голову.

– Ваша милость изволите быть правы, – сказал он.

– Потому что с сердцем так: раз – и готово!

Сказав это, Бася встряхнула своей белокурой головой и заморгала глазами, желая этим показать, что и она прекрасно разбирается в этих делах и надеется, что говорит с человеком, тоже не лишенным опытности. Азия поднял голову и окинул взглядом ее стройную фигуру. Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной, как теперь: глаза ее блестели оживлением и любопытством, раздумавшееся детское личико смотрело на него с улыбкой... Но чем большей невинностью дышало ее лицо, тем обаятельнее оно ему казалось, тем сильнее разгоралась в его душе страсть, тем сильнее охватывала его любовь; он упивался ею, как вином, в нем исчезли все желания и осталось только одно: отнять ее у мужа, вечно держать в своих объятиях, прильнуть устами к ее устам, чувствовать ее руки на своей шее и любить, любить ее, хотя бы и пришлось забыть все, хотя бы пришлось погибнуть самому, хотя бы пришлось погибнуть им обоим!

При одной мысли об этом все кружилось у него перед глазами, все новые желания выползали из самых сокровенных тайников его души, как змеи из расщелин скал; но это был человек, умевший необычайно владеть собою, и он сказал себе: «Еще нельзя!» и сдерживал свое дикое сердце, как разъяренного коня на аркане.

Он стоял перед нею с виду холодный, хотя губы и глаза его горели огнем, а бездонные глаза говорили все, чего не смели сказать сжатые губы.

Но этой немой речи не поняла Бася, – ее душа была чиста, как ключевая вода, и мысли заняты другим: она в эту минуту думала, что еще сказать татарину, и, наконец, подняв палец кверху, сказала:

– Не раз бывает, что человек носит тайную любовь в своей душе, а между тем, если бы он откровенно высказался, быть может, он и узнал бы что-нибудь хорошее.

Лицо Азии вдруг потемнело, в его голове молнией мелькнула безумная надежда, но он овладел собою и спросил:

– О чем вы изволите говорить, ваша милость?

А Бася ему отвечала:

– Другая говорила бы без обиняков, ибо женщины нетерпеливы и опрометчивы, но я не такая. Помочь я всегда готова, но доверия я сразу не требую; я скажу вам только одно: не скрывайтесь и приходите ко мне хоть каждый день, ибо я уже об этом говорила с мужем; понемногу вы освоитесь и поверите в мои дружеские чувства, и будете знать, что я расспрашиваю вас не из пустого любопытства, а из участия и желания помочь; но раз помогать, то надо же мне быть уверенной и в ваших чувствах. Впрочем, вы первый должны бы их высказать. Когда вы признаетесь, – быть может, и я скажу вам кое-что...

Тугай-беевич сразу понял, как тщетна была та надежда, которая на минуту блеснула в его голове: он тотчас догадался, что дело касается Эвы Нововойской. И все проклятия, которые за столько лет накопились в его мстительной душе, он готов был послать на всю семью. Ненависть вспыхнула в нем, как пламя, и ненависть эта была тем сильнее, чем радостнее были чувства, испытанные им минуту назад. Но он овладел собою. В нем было не только самообладание, но и лукавство восточных

людей. Он сейчас же понял, что если съязвит что-нибудь про Нововейских, то сразу утратит расположение Баси и возможность видаться с нею ежедневно; но, с другой стороны, он чувствовал, что он не сможет, по крайней мере теперь, сломить себя настолько, чтобы заставить себя лгать ей, так мучительно любимой, будто любит другую. И от сильной внутренней борьбы и неподдельных мучений он вдруг бросился к ногам Баси и, целуя их, начал говорить:

– В руки вашей милости я отдаю мою душу! В руки вашей милости я отдаю мою судьбу! Я не хочу делать ничего другого, как то, что вы мне прикажете: иной воли, кроме вашей, знать не хочу. Делайте со мной что хотите! Я, несчастный, живу в страданиях и скорби. Сжальтесь надо мной, ваша милость! Лучше бы мне умереть и погибнуть!..

Сказав это, он застонал; бесконечная мука и скрытая страсть жгли его, как огонь. Бася приняла его слова за порыв любви к Эве, которую он так долго, так мучительно таил; и ее охватила жалость к бедному юноше, и две слезинки заблестели в ее глазах.

– Встаньте, Азия, – сказала она. – Я всегда желала вам добра и искренне хочу вам помочь. Вы происходите из знатного рода, и за ваши заслуги вам не откажут в шляхетской грамоте; пана Нововейского можно будет упросить, он и теперь уже смотрит на вас другими глазами, а Эвка...

Тут Бася встала со скамейки, подняла свое розовое, улыбающееся лицо и, поднявшись на цыпочки, шепнула Азие на ухо:

– Эвка вас любит...

Лицо Азии исказилось от бешенства; обеими руками схватился он за голову и, забыв, как странно должны звучать эти слова, повторил несколько раз хриплым голосом:

– Алла! Алла! Алла!

И выбежал из комнаты. Бася поглядела ему вслед; его восклицание не очень удивило ее, – его часто употребляли даже польские солдаты; видя этот порыв молодого липка, она сказала про себя:

– Настоящий огонь! Он по ней с ума сходит!

Потом она вихрем помчалась отдать отчет мужу, пану Заглобе и Эвке. Володыевского она застала в канцелярии, за реестрами стоящих в Хрептиевской крепости полков. Он сидел и писал, но она, вбежав к нему, крикнула:

– Знаешь, Михал? Я говорила с ним! Он упал к моим ногам! Он сходит с ума по ней!

Маленький рыцарь отложил перо и начал смотреть на жену. Она была так оживлена и так хороша, что глаза его заблестели, и он невольно улыбался ей; потом протянул к ней руки, а она, слегка отстраняя их, еще раз повторила:

– Азия с ума сходит по Эвке!

– Как я по тебе! – сказал маленький рыцарь, обнимая ее сильнее.

В этот же день и пан Заглоба, и Эвка Нововойская знали все подробности ее разговора с Азией. Девичье сердце вполне отдалось теперь сладостному чувству, и при одной мысли, что будет, когда они случайно останутся наедине, оно билось неудержимо. Она уже видела смуглое лицо Азии у своих колен, чувствовала его поцелуи на своих руках, чувствовала ту томность, с которой голова девушки склоняется на плечо любимого человека, а губы шепчут: «И я люблю». Между тем, от волнения и тревоги, она горячо целовала руки Баси и ежеминутно поглядывала на дверь, не увидит ли там мрачного, но прекрасного лица Тугай-беевича. Но Азия не показывался. К нему приехал Галим, старый слуга его отца, теперь влиятельный мурза у добруджан. Галим приехал уже открыто, потому что в Хрептиеве знали, что он посредник между Азией и теми ротмистрами липков и черемисов, которые перешли на службу к султану. Оба они тотчас же заперлись в квартире Азии; Галим, отвесив должные сыну Тугая поклоны, скрестил руки и опустил голову, ожидая вопросов.

– У тебя есть какие-нибудь письма? – спросил у него Азия.

– Нет никаких, эфенди. Мне приказано передать все на словах.

– Ну, говори.

– Война неминуема. Весной мы все должны идти под Адрианополь. Болгарам велено свозить туда сено и ячмень.

– А где будет хан?

– Прямо через Дикие Поля пойдет на Украину к Дорошу.

– Что ты слышал о наших?

– Радуются войне и ждут не дождутся весны: там уже голод, хоть только начало зимы.

– Голод?

– Много лошадей пало. В Белгороде многие сами продаются в неволю, чтобы как-нибудь прожить до весны. Лошадей много пало, эфенди, травы в степях осенью было мало... Солнце выжгло.

– А о сыне Тугай-бея слышали?

– Поскольку ты позволил говорить, я говорил. Весть разошлась от липков и от черемисов, но никто не знает правды. Говорил также и о том, что Речь Посполитая хочет дать им волю и землю и призвать на службу под начальством Тугай-беевича. При одной вести об этом взволновались все улусы, что победнее. Они этого желают, эфенди, желают, но другие им объясняют, что все это неправда, что Речь Посполитая пошлет против них войско, а Тугай-беевича совсем нет. Были у нас купцы из Крыма, говорят, что там одни кричат: «Есть Тугай-беевич!» и волнуются; другие кричат: «Нет Тугай-беевича!» и успокаивают. Но если станет известно, что ваша милость призываете их к воле, земле и службе, – тысячи пойдут. Пусть мне только позволят говорить.

Лицо Азии прояснилось от удовольствия; он стал ходить большими шагами по комнате и сказал:

– Привет тебе, Галим, под моим кровом! Садись и ешь!

– Я твой пес и слуга, эфенди! – сказал старый татарин.

Тугай-беевич захопал в ладоши; вошел дежурный липок и, выслушав приказания, принес еду: водку, копченую говядину, хлеба, немного сладостей и несколько пригоршней подсолнечного семени – одно из любимых татарских лакомств.

– Ты мне друг, а не слуга! – сказал Азия после ухода слуги. – Привет тебе, ибо ты принес хорошие вести! Садись и ешь!

Галим начал есть, и, пока он не кончил, оба молчали; но он скоро подкрепился и начал следить глазами за Азией, выжидая, когда тот заговорит.

– Здесь уже знают, кто я, – сказал, наконец, Тугай-беевич.

– И что же, эфенди?

– Ничего. Уважают меня еще больше. Мне все равно пришлось бы все сказать, когда началось бы дело. Я откладывал, поджидая вестей из орды, и хотел, чтобы первым узнал об этом гетман, но приехал Нововейский и узнал меня.

– Молодой? – спросил с испугом Галим.

– Старый, а не молодой. Аллах их всех сюда послал, и девка его здесь. Чтоб в них злой дух вселился! Только бы мне сделаться гетманом, я поиграю с ними. Девку мне здесь сватают, ладно! В гареме и невольницы нужны...

– Старик сватает?

– Нет... Она... Она думает, что я не ее, а ту люблю!

– Эфенди, – сказал, отвечивая поклон, Галим, – я раб твоего дома и не смею говорить в твоём присутствии; но я тебя узнал среди липков, я тебе сказал под Брацлавом, кто ты, и с той поры служу тебе верно; я и другим приказал любить тебя, как господина, и, хотя другие тебя любят, все же никто не любит тебя так, как я. Позволь мне говорить.

– Говори!

– Остерегайся маленького рыцаря! Страшен он! И в Крыму, и в Добрудже славен!

– Ты, Галим, слышал про Хмельницкого?

– Слышал и служил у Тугай-бея, когда он с Хмельницким на ляхов ходил, города разрушал и добычу брал.

– А знаешь ли ты, что Хмельницкий у Чаплинского жену увез, сам женился на ней и детей имел от нее? Что ж? Была война, и все гетманские войска, королевские и Речи Посполитой, не отняли ее у Хмельницкого. Он разбил и гетманов, и короля, и Речь Посполитую, ибо отец мой ему помог, а кроме того, Хмельницкий был гетман казацкий. А знаешь, кем я буду? Гетманом татарским! Мне должны дать много земли и какой-нибудь город для столицы; вокруг города будут улусы, а в улусах храбрые ордынцы... Много луков и много сабель. А когда я ее увезу в тот мой город и женюсь

на ней, на красавице, и сделаю ее гетманшей, то у кого будет сила? У меня! Кто ее будет требовать? Маленький рыцарь, если будет жив... Но если он и будет жив и волком выть будет, и самому королю бить челом с жалобами, неужели ты думаешь, что из-за одной русой головки войну со мной начнут? Уж была у них раз такая война, и половина Речи Посполитой в огне сгорела. Кто устоит против меня? Гетман? Тогда я соединюсь с казаками, с Дорошем побратаюсь, а землю отдам султану. Я – второй Хмельницкий, я больше, чем Хмельницкий, – во мне лев живет! Пусть мне позволят ее взять, я буду служить им, буду бить казаков, буду бить хана, а если нет, тогда весь Лехистан истопчу копытами, гетманов в плен возьму, войска разнесу, города пожгу, людей перережу. Я – Тугай-бея сын, я – лев!

В глазах Азы вспыхнул красный огонь, засверкали белые зубы, как сверкали некогда у Тугай-бея; он поднял вверх руку и грозно потрясал ею в сторону севера. Он был и велик, и страшен, и прекрасен так, что Галим сталь поспешно отвешивать ему поклоны и тихим голосом повторять:

– Аллах керим! Аллах керим!

Долго продолжалось молчание. Тугай-беевич понемногу успокаивался, наконец он сказал:

– Сюда приезжал Богуш. Ему я открыл мою силу и мою мощь поселить на Украине возле казачества народ татарский, а возле гетмана казацкого – гетмана татарского!

– Он согласился?

– Он за голову хватался и чуть мне челом не бил, а на другой день со счастливою новостью помчался к гетману.

– Эфенди, – сказал несмело Галим, – а если Великий лев не согласится?

– Собеский?

– Да!

В глазах Азы снова сверкнул красный огонь, но лишь на одно мгновение. Лицо его тотчас успокоилось, потом он сел на скамейку и, облокотившись, глубоко задумался.

– Долго обдумывал я, – сказал он, – что может ответить великий гетман, когда ему Богуш принесет счастливую весть. Гетман мудр и согласится. Гетман знает, что весной с султаном будет война, для которой здесь, в Речи Посполитой, нет ни денег, ни людей, а когда Дорошенко и казаки станут на сторону султана, может настать последний час Лехистана, тем более что ни король, ни сословия не верят в неизбежность войны и не готовятся к ней. Я здесь держу ухо востро и все знаю, и Богуш от меня не скрывает того, о чем говорят при дворе гетмана. Пан Собеский великий муж, он согласится, ибо знает, что когда татары придут сюда за волей и землей, то в Крыму и в Добруджских степях может начаться междоусобная война, могущество орд ослабеет, и сам султан прежде всего должен будет подумать об успокоении этого волнения. Между тем у гетмана будет время приготовиться; казаки и Дорош поколеблются в своей верности султану. Это единственное спасение для Речи Посполитой, которая так ослаблена, что и возвращение нескольких тысяч липков для нее много значит. Гетман знает об этом, гетман мудр, гетман

согласится!

– Преклоняюсь пред умом твоим, эфенди, – ответил Галим, – но что будет, если Аллах лишит Великого льва света или если сатана так ослепит его гордостью, что он отвергнет твои замыслы?

Азия приблизил свое дикое лицо к уху Галима и прошептал:

– Ты теперь останешься здесь, пока я не получу ответа от гетмана; я тоже раньше в Рашков не двинусь. Если он отвергнет мои замыслы, тогда я пошлю тебя к Крычинскому и другим. Ты им прикажешь подвинуться с той стороны реки к Хрептиеву и быть наготове, а я здесь с моими липками в первую же удобную ночь нападу на команду и сделаю вот что...

Тут Азия провел пальцем по горлу и минуту спустя прибавил: «Кенсим! Кенсим! Кенсим!..»

Галим спрятал голову в плечи, и на его зверском лице появилась зловещая улыбка.

– Алла! И Малому соколу... да?

– Да! Ему первому!

– А потом в султанские земли?

– Да... с нею...

XI

Лютая зима покрыла толстым снеговым покровом все деревья и наполнила яры до краев, так что вся степь казалась сплошной белой равниной. Вскоре начались сильные метели, во время которых под снежным саваном гибли люди и стада; дороги стали трудны и небезопасны. Все же пан Богуш изо всех сил спешил в Яворов, чтобы поскорее поделиться с гетманом великими замыслами Азии. Выросший в постоянных войнах с казаками и татарами, порубежный шляхтич слишком хорошо знал, какая опасность грозила отчизне от бунтов и набегов со стороны всего турецкого могущества; в этих замыслах Азии он видел чуть ли не спасение отечества, верил свято, что обожаемый им и всеми порубежными воинами гетман ни на минуту не поколеблется, раз дело касается усиления могущества Речи Посполитой, и он ехал с радостью в сердце, несмотря на заносы, метели и трудности дороги.

И в одно из воскресений он как снег на голову свалился в Яворов и, застав там гетмана, приказал тотчас же доложить о себе, хотя его предупреждали, что гетман день и ночь занят экспедициями и корреспонденцией и что у него почти нет даже времени поесть. Но гетман, сверх ожидания, велел позвать его сейчас же. И через несколько минут старый воин склонился к коленам своего вождя.

Он нашел пана Собеского очень изменившимся: лицо его было озабочено, – это время было самым тяжелым временем его жизни. Имя его еще не успело прогреметь во всех концах христианского мира, но в Речи Посполитой его окружала уже слава великого вождя и грозного громителя басурманства. Из-за этой славы ему и доверили в свое время гетманскую булаву и защиту восточных границ; но, кроме булавы, ему не дали ничего: ни войска, ни денег... Но, несмотря и на это, победы шли по его стопам, как тень идет за человеком. С горстью войска он одержал победу под Подгайцами, с горстью войска он, как пламя, прошел Украину вдоль и поперек, разбил в прах

многотысячные чамбулы, взял взбунтовавшиеся города, повсюду распространяя страх и ужас пред польским именем. Но теперь над несчастной Речью Посполитой нависла война с самой страшной по тому времени силой: со всем мусульманским миром. Для Собеского не было уже тайной, что Дорошенко предоставил в распоряжение султана и Украину, и казаков, а султан обещал ему за это поднять и Турцию, и Малую Азию, и Аравию, и Египет, вплоть до внутренней Африки, объявить священную войну и двинуться собственной персоной в Речь Посполитую, дабы напомнить ей о новом пашалыке[22]. Гибель угрожала всей Речи, а между тем в Речи Посполитой была неурядица: шляхта волновалась, охраняя своего немощного электа, и, разбившись на вооруженные партии, если и была готова, то разве лишь к междоусобной войне. Страна, изнуренная недавними войнами и военными конфедерациями, обеднела, в ней царил зависть, взаимное недоверие терзало сердца. Никто не хотел верить в войну с мусульманским могуществом, и великого вождя подозревали в том, что он нарочно распространяет слухи о ней, чтобы отвратить все умы от домашних дел; его подозревали даже в том, что он готов сам позвать турок, чтобы упрочить положение свое и своих сторонников; говоря попросту, его считали изменником, и если бы не войско, то над ним учинили бы расправу.

А он, чувствуя приближение войны, на которую с востока должны были двинуться сотни тысяч дикарей, стоял без войска с горсточкой солдат – такой ничтожной, что при дворе султана было, должно быть, больше слуг. Стоял без денег, без средств для снабжения разоренных крепостей, без надежды на победу, без возможности обороны, без убеждения, что его смерть, как некогда смерть Жолкевского, разбудит оцепенелый народ и породит мстителя. Вот почему озабочено было его чело, а величественное лицо, напоминавшее лица римских триумфаторов, увенчанных лаврами, носило следы тайных страданий и бессонных ночей.

Но при виде пана Богуша лицо гетмана просияло добродушной улыбкой, он положил руки на плечи поклонившемуся ему до колен воину и сказал:

– Здравствуй, солдат, здравствуй! Не думал я увидеть тебя так скоро, но тем приятнее мне видеть тебя в Яворове. Откуда едешь? Из Каменца?

– Нет, ясновельможный пан гетман. Я даже не заезжал в Каменец, я еду прямо из Хрептиева.

– Что там поделявает мой маленький солдатик? Здоров ли? Очистил ли он хоть немножко Ушицкие степи?

– В лесах уже так спокойно, что ребенок может ходить по ним безопасно. Бродяги перевешаны, а за последние дни Азба-бей со всей своей ватагой разбит так, что не уцелел даже ни один свидетель поражения. Я прибыл туда в тот день, когда Азба-бей был уничтожен.

– Узнаю пана Володыевского! Один Рушиц в Рашкове может с ним сравняться. А что слышно в степях? Нет ли свежих вестей с Дуная?

– Есть, но дурные. В Адрианополе в конце зимы будет воинский сбор.

– Это я уже знаю. Теперь нет других вестей, кроме дурных: дурные – из отчины, дурные – из Крыма, дурные – из Стамбула.

– Но не все! Я сам, ясновельможный пан гетман, везу такую счастливую весть, что, будь я турок или татарин, я непременно потребовал бы награды.

– Так ты мне с неба свалился! Ну, говори скорее, рассея мою тревогу!

– Но я так замерз, ваша вельможность, что у меня даже мозги застыли.

Гетман хлопнул в ладоши и приказал слуге принести меду. Минуту спустя принесли покрытую плесенью бутылку и подсвечники с зажженными свечами; хотя было еще рано, но день от снежного вихря был такой пасмурный, что на дворе и в комнатах царил полумрак.

Гетман налил и чокнулся с гостем, а тот, низко поклонившись, осушил свой кубок и сказал:

– Первая новость та, что Азия, который хотел вернуть к нам на службу бежавших в Турцию липковских и черемисских ротмистров и который назвался Меллеховичем, – сын Тугай-бея...

– Тугай-бей? – спросил с удивлением пан Собеский.

– Да, ваша вельможность. Оказалось, что пан Ненашинец похитил его из Крыма еще ребенком, затем Азией у него отняли, и он попал к пану Нововейскому, у которого вырос в неведении касательно своего отца.

– Мне всегда казалось странным, что он, такой молодой, пользуется таким влиянием у татар. Но теперь я понимаю; ведь даже и те казаки, которые остались верны нашей матери-отчизне, считают Хмельницкого чуть не святым и гордятся им.

– Вот именно! Вот именно! Я то же самое говорил Азие, – сказал пан Богуш.

– Неисповедимы пути Господни, – сказал минутку спустя гетман, – старый Тугай проливал реки крови в нашей отчизне, а молодой служит ей верно, по крайней мере до сих пор, хотя неизвестно, не захочется ли ему теперь отведать крымского величия...

– Теперь? Он теперь еще вернее – и тут-то и начинается моя другая новость, в которой, быть может, Речь Посполитая найдет и помощь, и совет, и спасение. Видит бог, что я именно ради этой новости, не обращая внимания ни на усталость, ни на опасность, спешил сюда, чтобы как можно скорее сообщить вашей вельможности эту новость и утешить ваше удрученное сердце!

– Слушаю внимательно, – сказал Собеский.

Богуш стал излагать планы Тугай-беевича, а излагал он их с таким увлечением, что он действительно был красноречив. Время от времени дрожащей от волнения рукой он наливал меду в свой кубок, проливал благородный напиток через край и говорил, говорил... Перед изумленными глазами великого гетмана мелькали, как живые, картины будущего: тысячи и десятки тысяч татар тянулись с женами, детьми и стадами к земле и воле; испуганные казаки, видя эту новую силу Речи Посполитой, били челом королю и гетману; не стало больше бунтов на Украине; по старым дорогам не тянулись уже в сторону Руси, подобно пламени, чамбулы; возле войск польских и казацких гарцевали по неизмеримым степям, под звуки труб и бой барабанов, чамбулы украинской шляхты из татар...

И в продолжение многих лет тянулись арбы за арбами, а на них, вопреки запрещению

хана и султана, множество людей, которые предпочли законность и свободу – гнету, украинский чернозем – голоду и нищете своей страны. И враждебная донине сила шла теперь на услуги Речи Посполитой. Крым обезлюдил, из рук хана и султана ускользало прежнее могущество, и страх обуял их: из степей, из Украины смотрел на них грозно новый гетман новой татарской шляхты, верный страж и защитник Речи Посполитой, славный сын страшного отца – молодой Тугай-бей.

Лицо Богуша покраснелось; казалось, он упивался своими собственными словами; наконец поднял обе руки кверху и воскликнул:

– Вот что я привез! Вот что взлелеял в душе этот драконов детеныш – в хрептивевских пушах. А теперь ему нужно только письмо и разрешение вашей вельможности, чтобы кликнуть клич в Крыму и над Дунаем. Ваша вельможность! Если бы Тугай-беевич сделал только одно – заварил кашу в Крыму и над Дунаем, только поселил бы раздоры, разбудил гидру междоусобной войны, вооружил бы одни улусы против других, то и тогда, накануне войны, повторяю, он оказал бы Речи Посполитой великую и незабвенную услугу!

Но пан Собеский ходил большими шагами по комнате и молчал. Его величественное лицо было мрачно, почти грозно; он ходил и, по-видимому, беседовал в душе с собой или с Богом. Но вот, сделав над собой какое-то страшное усилие, великий гетман сказал:

– Богуш, я такого письма и такого разрешения, если бы даже это было в моей власти, не дам, пока я жив!

Слова эти падали, как тяжелые капли расплавленного олова или железа; Богуш на минуту онемел, опустил голову и только после долгого молчания пробормотал:

– Почему, ваша вельможность, почему?

– Прежде всего я отвечу тебе как политик: имя Тугай-беевича могло бы привлечь некоторое количество татар, особенно если им пообещать землю, свободу и шляхетские привилегии. Но их все-таки не пришло бы столько, сколько вы воображаете. Кроме того, было бы безумием призывать татар в Украину, поселять новый народ там, где мы и с казаками справиться не можем. Ты говоришь, что между ними сейчас же начались бы распри и войны, что над казацкой головой постоянно висел бы меч? А кто тебе может поручиться, что этот меч не обагрится польской кровью? Я этого Азью до сих пор не знал, теперь я вижу, что в его груди живет змей гордости и честолюбия, и потому спрашиваю еще раз: кто может поручиться, что в нем не сидит второй Хмельницкий? Он будет бить казаков, но когда Речь Посполитая чем-нибудь не угодит ему или когда за какой-нибудь проступок она пригрозит ему законом и наказанием, он тотчас же соединится с казаками и призовет с востока новые тучи, как Хмельницкий призвал Тугай-бея; перейдет на сторону султана, как Дорошенко, и вместо увеличения нашего могущества польются реки крови и новые бедствия падут на наше отечество.

– Ваша вельможность, татары, сделавшись шляхтой, будут верно служить Речи Посполитой.

– Мало ли было липков и черемисов? Они уже с давних пор были шляхтой, а все-таки перешли на сторону султана.

– Липков лишили привилегий!

– А что будет, если шляхта (в чем не может быть сомнения) воспротивится такому распространению шляхетских привилегий? У кого хватит совести дать диким и хищным толпам, которые до сих пор постоянно разоряли наше отечество, право распоряжаться судьбой Речи Посполитой, избирать королей, посылать депутатов на сеймы? За что им давать такую награду? Что за безумная мысль пришла в голову этому липку? И какой злой дух опутал тебя, старый солдат, что ты позволил так вскружить себе голову, что ты поверил в такое невозможное и бесчестное дело?

Богуш опустил глаза и ответил неуверенным голосом:

– Ваша вельможность, я знал заранее, что сословия этому воспротивятся, но Азия говорит, что если татары с разрешения вашей вельможности перекочуют, то выгнать себя они уже не позволят.

– Побойся Бога! Значит, он уже грозил Речи Посполитой, мечом потрясал над нею, а ты этого не понял?!

– Ваша вельможность, – отвечал Богуш с отчаянием, – можно наконец не всем татарам дать шляхетские права, а лишь знатнейшим, остальных же сделать свободными. Они и так пойдут на зов Тугай-беевича.

– Так почему же тогда всех казаков не объявить свободными? Перекрестись, старый солдат, – говорю тебе, тебя злой дух опутал!

– Ваша вельможность...

– И вот, что я тебе скажу! (тут Собеский наморщил свое львиное чело, а глаза его засверкали). Если бы даже все должно было быть так, как ты говоришь, если бы даже благодаря этому увеличилось наше могущество, если бы война с турками была предотвращена, если бы даже сама шляхта желала бы этого, все же, пока вот эта рука может владеть саблей и может сделать крестное знамение, я никогда этого не допущу! Никогда!! Да поможет мне Бог!

– Почему же, ваша вельможность? – повторял Богуш, заламывая руки.

– Потому что я не только польский гетман, но и христианский; потому что я стою на страже святого креста! И если бы казаки еще с большей яростью терзали внутренности Речи Посполитой, я языческим мечом не буду сечь голов христианского, хотя и ослепленного, народа! Ибо, сделав так, я оскорбил бы прах отцов и дедов наших, моих собственных предков, их слезы, кровь, всю прежнюю Речь Посполитую! Господи боже! Если нас ожидает гибель, если имя наше вписано в книгу умерших, то пусть останется хоть наша слава и воспоминание о том служении, которое было предназначено нам Богом; пусть потомки, глядя на наши кресты и могилы, скажут: «Тут почивают те, которые защищали Крест Святой против магометанского нечестия, которые до последнего издыхания, до последней капли крови защищали другие народы и за них погибли!» Вот миссия наша, Богуш! Мы – крепость, на стенах которой водружен символ страстей Христовых, а ты мне говоришь, чтобы я – божий воин, комендант – первый открыл ворота и пустил язычников, как волков в овчарню, и предал на заклятие паству Христову! Лучше нам терпеть от чамбулов, лучше нам переносить бунты, лучше идти на эту страшную войну, лучше погибнуть мне и тебе, погибнуть всей Речи Посполитой, чем обесчестить имя, лишиться славы и изменить служению Божьему: сойти со славного сторожевого поста!!

Сказав это, пан Собеский выпрямился во весь свой рост, лицо его озарилось таким светом, каким, должно быть, было озарено лицо Готфрида Бульонского, когда он взошел на стены Иерусалима с криком: «Так Богу угодно!»

После слов гетмана о том, что лучше погибнуть, чем изменить служению Божьему, – какие доводы мог привести еще Богуш?

И перед этими словами пан Богуш показался себе таким маленьким, огненные планы Азьи такими недостойными и бесчестными, что бедный рыцарь не знал, склониться ли ему к ногам гетмана или, ударяя себя в грудь, повторять: «*Mea culpa, mea maxima culpa!*»[23]

В эту минуту в ближайшем доминиканском монастыре раздался звон колокола. Услыхав его, пан Собеский сказал:

– Звонят к вечерне. Богуш, пойдем, поручим себя Господу Богу!

XII

Насколько пан Богуш спешил, когда ехал из Хрептиева к гетману, настолько медленно ехал он обратно. В каждом большом городе он останавливался на неделю или на две; праздники он провел во Львове, там встретил и Новый год. Он, правда, вез инструкции гетмана для Тугай-беевича, но так как они касались только поручения скорее кончить дело с липковскими ротмистрами да строгий и даже грозный приказ отказаться от великих замыслов, то у него и не было причин торопиться; Азья и так не мог ничего начать без письменного разрешения гетмана.

И тащился пан Богуш, посещая по пути костелы и каясь в своем участии в замыслах Азьи. Между тем в Хрептиев тотчас после Нового года прибыл целый рой гостей. Из Каменца приехал Навираг, делегат эчмиадзинского патриарха, и с ним два анардрата, ученые теологи из Кафы, и множество слуг. Солдаты очень удивлялись их причудливой одежде, фиолетовым и красным шапочкам, длинным шалям из бархата и атласа, их смуглым лицам и той огромной важности, с какой они ходили по хрептиевской станице, точно дрофы или журавли. Прибыл и пан Захарий Петрович, известный своими постоянными путешествиями в Крым и даже в Царьград, и еще более известный своей неутомимой энергией, с какой он отыскивал и выкупал пленников на восточных рынках; он сопровождал в качестве проводника Навирага и анардратов. Пан Володыевский тотчас отсчитал ему сумму, необходимую для выкупа пана Боского; а так как у пани Боской не хватило денег, то маленький рыцарь прибавил из собственных, а Бася пожертвовала свои серьги с жемчужинами, чтобы поскорее помочь опечаленной пани Боской и милой Зосе. Приехал и пан Сеферович, претор каменецкий, богатый армянин, брат которого стонал в татарской неволе, и две дамы, еще молодые и довольно красивые, хотя и смуглые: пани Нерсесович и пани Керемович. Обе они хлопотали о взятых в плен мужьях.

Это были гости по большей части опечаленные; но не было недостатка и в веселых гостях. Ксендз Каминский на Масленицу прислал в Хрептиев на попечение Баси свою племянницу, панну Камивскую, дочь звенигородского ловчего, и, кроме того, в один прекрасный день как с неба свалился молодой пан Нововойский, который, узнав о пребывании отца в Хрептиеве, тотчас же взял у пана Руцица отпуск и поспешил на свидание с отцом.

Молодой Нововойский очень изменился за последние годы; во-первых, на верхней губе и у него зачернели короткие усы, которые, хотя не закрывали ряды белых

волчьих зубов, все же красиво вились. Во-вторых, хотя парень и всегда был высокого роста, но теперь он стал почти великаном. Казалось, что такая густая и всклоченная шевелюра только и могла удержаться на такой огромной голове, как у него, а такая огромная голова – только на таких сказочных плечах могла найти должную опору. Лицо у него было смуглое, загорелое от ветра; глаза сверкали, как угли; на его лице была написана удаль и лихость. Когда он брал большое яблоко, он мог так спрятать его в своей огромной руке, точно его там и не было; а когда клал на колени горсть орехов и нажимал на них рукой, от них оставался только порошок. Все ушло у него в силу; а в общем он был худощав, со впалым животом, и только грудь у него была как каменная.

Он легко ломал подковы даже без особенного напряжения и скручивал железные прутья на шее солдат; он казался еще выше, чем был на самом деле; когда он ступал, под ним трещали половицы; если он случайно задевал скамью, то от нее отлетали щепки.

Словом, это был здоровенный парень, в котором жизнь, здоровье, отвага и сила кипели так, как кипяток в котле. Казалось, у него – огонь в груди, от которого он может вспыхнуть. Не прочь он был и выпить. В битву он шел со смехом, напоминая ржание коня, а рубился так, что солдаты после каждой битвы осматривали всех, кого он убивал, чтобы подивиться его необыкновенным ударам. С детства привыкший к степи, к войне, к сторожевым постам, он, несмотря на свою горячность, был осторожен и проницателен; знал все татарские уловки, и после пана Володыевского и Рушица считался лучшим загонщиком. Старик Нововейский, вопреки всем своим угрозам и предупреждениям, принял сына не очень сурово; он боялся, как бы сын не обиделся и опять не ушел от него на одиннадцать лет. В сущности, самолюбивый шляхтич был доволен таким сыном, который денег из дому не брал, сам превосходно умел устраиваться в жизни, снискал славу между товарищами, гетманскую благосклонность, дослужился до офицерского чина, до которого не могли дослужиться многие, несмотря на протекцию. Отец полагал также, что сын, одичавший в степи и в войнах, пожалуй, не захочет покориться родительской власти, и потому счел за благо не подвергать его испытанию. Сын хотя и упал к ногам отца, как это следовало, но смело смотрел ему в глаза и без всяких обиняков на первые же укоры отвечал:

– Отец, на словах ты меня коришь, а в душе небось радуешься: имени твоего я не опозорил, и если я убежал в полк, то на то я и шляхтич.

– А может, и басурман, коли ты одиннадцать лет глаз домой не показывал, – сказал старик.

– Не показывал, боясь наказания, а оно опозорило бы мое офицерское звание. Я ждал письма с прощением. Не было письма – не было и меня!

– А теперь уж не боишься? Молодой воин только засмеялся.

– Здесь распоряжается военная власть, и перед ней даже родительская должна уступить. Знаете что, благодетель, лучше обнимите-ка меня, уж я вижу, что вам этого хочется.

Сказав это, он раскрыл объятия, а пан Нововейский-отец не знал, что ему делать. Он как-то терялся перед этим сыном, который убежал мальчиком из дому, а теперь возвращался зрелым мужем, покрытым воинской славой. Многие льстили отцовскому самолюбию пана Нововейского, и он рад бы прижать сына к своей груди, и если

колебался еще, то не желая уронить авторитет отца. Но сын схватил его в объятия. Затрещали в этих медвежьих объятиях кости старого шляхтича, и это окончательно растрогало старика.

– Что делать?! – воскликнул он. – Сам чует, шельма, что на собственном коне ездит, и в ус не дует. Если бы это было у меня в доме, я бы, конечно, так не размяк, а здесь что делать? Ну, поди-ка сюда!

И они снова обнялись, после чего молодой Нововейский стал спешно расспрашивать про сестру...

– Я велел ей держаться в стороне, пока не позову, – отвечал отец, – девка на месте усидеть не может!

– Ради бога! Где она?! – воскликнул сын.

И, открыв дверь, он стал звать так громко, что эхо ответило ему.

– Эвка! Эвка!

Эвка, которая ожидала в соседней комнате, вбежала тотчас, но не успела она вскрикнуть: «Адам», как сильные руки подхватили ее и подняли на воздух. Брат всегда очень любил ее; часто, защищая от жестокости отца, он принимал на себя ее вину и получал следовавшую ей порку. Вообще пан Нововейский был деспотом в семье, почти жестоким, и теперь девушка приветствовала в этом могучем брате не только брата, но и будущего заступника и защитника. Он целовал ее в голову, в губы, целовал ее руки, по временам отстранял ее от себя, смотрел на нее и весело восклицал:

– Красивая девка! Ей-богу!

Потом еще прибавлял:

– Ишь, выросла! Печка, а не девка!

А она вся сияла от радости. Потом они стали быстро разговаривать о долгой разлуке, о доме, о войнах. Старый пан Нововейский ходил вокруг них и ворчал про себя. Сын очень импонировал ему, но минутами им овладевало беспокойство за свою будущую власть. Это были уже времена, когда родители имели огромную власть над детьми, впоследствии власть эта стала даже безграничной. Но пан Нововейский сразу понял, что этот сын его – загонщик, солдат из диких станиц – действительно «ездил на собственном коне». Пан Нововейский ревниво дорожил своей властью. Он был, конечно, уверен, что сын всегда будет почитать его, что он будет отдавать ему должное уважение. Но будет ли он ему подчиняться так, как подчинялся, будучи подростком? «Ба! – думал старик. – Разве я сам посмею обращаться с ним как с подростком? Этот шельма, поручик, импонирует мне, ей-богу!» К тому же пан Нововейский чувствовал, что его отцовское чувство с каждой минутой растет и что он скоро будет питать слабость к этому великану сыну.

Между тем Эвка щебетала, забрасывая брата вопросами: когда он вернется, не поселится ли он у них совсем, не женится ли? Она, конечно, ничего не знает, но слыхала, что воины очень влюбчивы. Она даже вспомнила, что ей говорила это пани Володыевская. Какая она прелестная и добрая, эта пани Володыевская! Красивее и лучше ее во всей Польше не найти. Разве что одна Зося Боская может с нею

сравниться...

– Кто это, Зося Боская? – спросил Адам.

– Она гостит здесь с матерью, ее отца взяли в плен. Ты увидишь ее и полюбишь!

– Давайте сюда Зося Боскую! – кричал молодой офицер.

Отец и Эвка громко захохотали над такой готовностью, а сын сказал им:

– Как от любви, так от смерти, никто не уйдет. Я еще молокососом был, а пани Володыевская панной, когда я в нее влюбился. Господи боже! Как я любил эту Баську! Да что же? Признался я ей как-то – и точно мне по морде дали: «Ты это, мол, куда лезешь!» Оказалось, что она уже тогда любила пана Володыевского, – и что тут говорить! – она была права.

– Почему это? – спросил старый Нововейский.

– Почему? Потому что я, не хвастаясь, на саблях никому не уступлю, а он со мной и двух минут баловаться бы не стал. И кроме того, загонщик он несравненный, которому сам пан Руциц в пояс должен кланяться. Что там Руциц? Сами татары его обожают! Это величайший воин во всей Речи Посполитой.

– А как они любят друг друга! Ай, ай, даже смотреть завидно! – прибавила Эвка.

– Ишь, оскомину набила. Да и то сказать – тебе пора! – воскликнул Адам. И, подбоченившись, он, как конь, стал мотать головой и подсмеиваться, а она ответила скромно:

– У меня и в уме этого нет!

– Ведь тут и офицеров, и хорошего общества немало!

– Да, кстати, не знаю, говорил ли тебе батюшка, что здесь Азыя? – спросила Эва.

– Азыя Меллехович? Липок? Я его знаю. Он хороший солдат.

– Но ты не знаешь, – сказал старик Нововейский, – что он не Меллехович, а тот Азыя, который с тобой воспитывался!

– Господи боже! Что я слышу! Скажите пожалуйста! Иной раз мне это приходило в голову, но мне сказали, что его зовут Меллехович, и я сейчас же подумал: «Это не тот, – а Азыя у татар имя обыкновенное». Столько лет я его не видал, – неудивительно, что я не был уверен. Наш был некрасив и приземист, а этот красавец!

– Наш-то он наш, – говорил старик Нововейский, – но знаешь ли, что оказалось? Чей он сын?

– Почем я могу знать?

– Великого Тугай-бея!

Молодой Нововейский ударил себя руками по коленкам.

– Ушам не верю! Великого Тугай-бея? Значит, он князь и родственник ханов? Во всем Крыму нет более благородной крови, чем Тугай-беева!

– Вражья кровь!

– Врагом был отец, а сын служит нам. Я сам видел его чуть не двадцать раз в сражении. Пан Собеский хвалил его в присутствии всего войска и назначил сотником. Я очень рад буду его повидать. Славный солдат! От всего сердца рад буду его встретить.

– Но только ты не фамильярничай с ним слишком.

– Почему же? Разве он мой или наш слуга? Я солдат, он солдат, я офицер, он офицер. Ба! Будь это какой-нибудь мещанишка из пехоты – это другое дело! Но если он Тугай-беевич, то ведь в его жилах течет не какая-нибудь кровь. Князь, и баста, а о шляхетской грамоте сам гетман для него похлопочет. Как же мне задирать перед ним нос, коли я побратим с Кулак-мурзой, с Башки-агой, с Сулиманом? А все они вместе не постыдились бы пасти овец у Тугай-беевича...

Эвке почему-то захотелось расцеловать брата, она села возле него и стала гладить своей красивой рукой его косматые волосы. Приход Володыевского прервал эти ласки.

Молодой Нововойский быстро вскочил, чтобы приветствовать старшего офицера, и сейчас же стал оправдываться, почему он раньше не явился к коменданту: он приехал в Хрептивев не по службе, а как частный человек. Володыевский ласково обнял его и сказал:

– Кто же станет обвинять тебя, товарищ, что после стольких лет разлуки с отцом ты прежде всего бросился к его ногам. Другое дело служба, но от Рушица у тебя, вероятно, никаких поручений нет?

– Только поклоны! Пан Рушиц отправился к Ягорлыку – ему дали знать, что там было найдено на снегу много конских следов. Письмо вашей милости он получил и немедленно отправил в орду к своим родственникам и побратимам, чтобы они там искали и расспрашивали; сам он не писал, потому что, он говорит, у него рука тяжелая, никакого навыка в этом искусстве у него нет.

– Он этого не любит, я знаю, – сказал Володыевский. – У него сабля – первое дело!

Тут маленький рыцарь пошевелил усиками и не без хвастовства прибавил:

– Но ведь за Азбой-беем вы гонялись более двух месяцев – и все даром!

– А ваша милость его проглотили, как щука плотичку, – с восторгом сказал пан Нововойский. – Бог, верно, у него разум отнял, если он от пана Рушица бежал сюда к вашей милости. Вот так попал! Ха, ха!

Эти слова приятно пощекотали самолюбие маленького рыцаря, и, желая за любезность отплатить любезностью, он обратился к пану Нововойскому-отцу и сказал:

– Господь Бог не дал мне до сих пор сына, но если бы когда-нибудь он это сделал,

то я желал бы, чтобы он был похож вот на этого кавалера!

– Ничего особенного! Ничего особенного! – ответил старый шляхтич. Но, несмотря на это, даже засопел от удовольствия.

– Тоже редкость нашли!

Между тем маленький рыцарь погладил Эвку по щеке и сказал:

– Видите ли, ваць-панна, я не юноша, но Баська моя почти одних лет с вами, вот почему я иной раз считаю нужным доставлять подобающие ее возрасту удовольствия... Здесь ее все любят, и я надеюсь, что и вы согласитесь, что есть за что?

– Боже мой! – воскликнула Эвка. – Во всем свете не найти такой, как она! Я только что об этом говорила.

Маленький рыцарь обрадовался, лицо у него просияло, и он сказал:

– Вы в самом деле это говорили? – спросил он.

– Ей-богу, говорили! – воскликнули вместе отец и сын.

– Ну тогда оденьтесь понаряднее, я потихоньку от Баси выписал музыкантов из Каменца. Я приказал им инструменты в солому спрятать, а ей я сказал, что приехали цыгане ковать лошадей. Сегодня вечером плясать будем вовсю! Она это любит, хоть и корчит из себя степенную матрону.

Сказав это, пан Михал начал потирать руки и был очень доволен собой.

XIII

Снег падал такими густыми хлопьями, что совсем засыпал станичный ров и частокол. На дворе стояла темная и вьюжная ночь, а дом хрептивевского коменданта был ярко освещен. Оркестр состоял из двух скрипок, контрабаса, двух чеканов и одной валторны. Скрипачи лихо водили по струнам, раскачиваясь во все стороны, у чеканистов и валторнистов надувались щеки и наливались кровью глаза.

Старшие офицеры и все старшее общество сидели на скамьях у стен, друг возле друга, как сидят белые голуби на краю крыши, и, попивая мед и вино, смотрели на танцующих. В первой паре шел с Басей пан Мушальский, несмотря на свои пожилые годы, такой же страстный танцор, как и стрелок. Одета в белое парчовое платье, обшитое горностаем, она была похожа на розу в снегу. Дивились ее красоте и стар, и млад, и восклицания восторга невольно вырывались из груди рыцарей; хотя Нововейская и Зося были несколько моложе ее и тоже необыкновенно красивы, но она все же была красивее их. В глазах ее светились радость и веселье; проходя мимо маленького рыцаря, она улыбкой благодарила его за удовольствие, и из-под ее полуоткрытых розовых губ виднелись белые зубки, и вся она в белой парче сверкала, как белое пламя, и ослепляла своей красотой: красотой ребенка, женщины и цветка...

Развевались за ней откидные рукава, точно крылья большой бабочки, а когда она, приподняв слегка платье, приседала, делая поклон своему кавалеру, она казалась видением, уходящим в землю, призраком ясной летней ночи...

Снаружи дома солдаты, прильнув к освещенным стеклам своими усатыми лицами,

глядели в комнату. Им очень льстило, что их обожаемая пани всех затмила своей красотой. Все они были ярые сторонники Баси, а потому не скупилась на колкие замечания насчет Боской и Нововойской, и громким криком приветствовали каждое ее приближение к окну.

Володыевский был полон счастливой гордости; при всяком движении Баси он кивал в такт головой; пан Заглоба, стоявший возле него с кубком, притопывал, проливая вино на пол; минутами они переглядывались в немом восторге.

А она мелькала и мелькала по комнате, все веселее, все прекраснее. Вот так пустыня! То битва, то охота, то веселье и танцы, и музыканты, и столько воинов, а муж – самый великий между ними, и любящий, и любимый! И чувствовала Бася, что все ее любят, все восхищаются ею, все обожают, что маленький рыцарь счастлив этим, сама она чувствовала себя такой счастливой, как птичка, которая с наступлением весны порхает в майском воздухе с громким и-радостным щебетанием.

Во второй паре танцевала, одетая в малиновый кунтуш, Нововойская с Азией. Молодой татарин не говорил с нею ни слова; он был совершенно упоен белым видением, мелькавшим в первой паре; но Эва думала, что у него захватывает дыхание от волнения, и старалась ободрить его сначала легкими, потом более сильными пожатиями руки. Азия отвечал на эти пожатия порою так сильно, что она едва удерживалась от крика, но делал он это машинально, потому что думал только о Басе, видел только ее и в душе повторял страшное обещание, что если бы ему пришлось сжечь половину Речи Посполитой, то он сожжет, только бы она была его.

По временам, когда к нему возвращалось сознание, у него вспыхивало желание схватить Эвку за горло, душить ее и издеваться над ней за ее пожатия и за то, что она становилась между ним и Басей. Тогда он пронизывал ее своим жестким соколиным взглядом, и ее сердце начинало биться сильнее: она думала, что он от любви смотрит на нее такими хищными глазами.

В третьей паре танцевал молодой пан Нововойский с Зосей Боской. Она, похожая на незабудку, семенила возле него с опущенными глазами, а он походил на дикую лошадь и скакал, как дикая лошадь. Из-под его каблучков летели щепки, волосы его поднялись вихрем, лицо раскраснелось, ноздри раздувались, и он кружил Зосю, как вихрь кружит лист, и поднимал ее на воздух. Он так разошелся, что не знал уже меры, и так как он, живя на окраине Диких Полей, по целым месяцам не видал женщин, то Зося с первого взгляда так ему понравилась, что он в одну минуту влюбился в нее без ума. Время от времени он глядел на ее опущенные глаза, на ее разрумянившееся личико и даже фыркал от удовольствия и все сильнее стучал каблучками, все сильнее прижимал ее на поворотах к своей широкой груди и хохотал от радости, и все сильнее любил.

А Зося даже испугалась, но этот испуг не был ей неприятен: ей тоже понравился этот вихрь, который подхватил и носил ее. Настоящий дракон! Она видала разных кавалеров в Яворове, но такого огненного она никогда еще не встречала, ни один из них так не танцевал, ни один так не прижимал к груди. Настоящий дракон! Что делать с таким, разве можно такому сопротивляться?

В следующей паре танцевала с одним красивым кавалером панна Каминская, а далее пани Керемович и пани Нерсесович; хотя они и были мещанки, но их тоже пригласили – обе они были прекрасно воспитаны и обе были богаты. Степенный Навираг и два анардрата все с возрастающим изумлением смотрели на польские танцы. Старшие, попивая мед, беседовали все шумнее, но оркестр заглашал все голоса. В комнате

веселье с каждой минутой росло.

Вдруг Баська, оставив своего кавалера, вся запыхавшись, подбежала к мужу и, сложив руки, сказала:

– Михалок, солдатам так холодно на дворе, прикажи дать бочку!

Маленький рыцарь был так весел, что начал целовать ее руку и воскликнул:

– Чтобы тебе угодить, я и крови своей не пожалею!

Потом он сам бросился во двор, чтобы сказать солдатам, кто выхлопотал для них бочку вина: он хотел, чтобы они были благодарны Басе и тем сильнее ее любили.

Когда же в ответ все солдаты подняли такой крик, что снег стал сыпаться с крыши, маленький рыцарь закричал им:

– Да гряньте из мушкетов в честь пани!

Вернувшись в комнату, он застал Басю танцующей с Азией. Когда липок обнял рукой ее нежную фигуру, когда он почувствовал ее горячее дыхание, глаза у него почти совсем закатились, и весь мир закружился перед ним; он готов был отказаться от рая, от вечной жизни, от всех наслаждений, всех гурий и хотел только ее.

Вдруг Бася, увидев мельком малиновый кунтуш Нововойской и сгорая от любопытства, объяснился ли Азия в любви девушке, спросила:

– Вы еще не делали предложения?

– Нет.

– Почему?

– Еще не время, – ответил татарин со странным выражением лица.

– Вы очень любите?

– Больше жизни! Больше жизни! – ответил татарин тихим, хриплым голосом, похожим на карканье ворона. И они продолжили танцевать вслед за Нововойским, который шел теперь в первой паре. Другие успели уже переменить дам, а он все еще не выпускал Зоей; по временам только он сажал ее на скамейку отдохнуть и перевести дыхание, а потом плясал опять.

Наконец он остановился перед оркестром, одной рукой обнял Зосю, другой подбоченился и крикнул музыкантам:

– Краковяк, музыканты! Ну же!

Музыканты не смели ослушаться и заиграли краковяк. Тогда Нововойский, притопывая, запел громким голосом:

Тонут реки в море,
Ветер волны гонит, –
Так в любви да в горе

Сердце парня тонет! У-ха!

И это «У-ха!» крикнул так по-казацки, что Зося чуть не присела от страха. Испугался также стоявший поблизости степенный Навираг, испугались и два ученых анардрата, а пан Нововейский все продолжал танцевать; он сделал два круга по комнате и, остановясь перед музыкантами, снова запел.

– Очень хорошие стихи, – заметил пан Заглоба. – Я знаток по этой части, ибо сочинял их немало. Тони, кавалер, тони! А когда совсем потонешь, я тебе спою такую песенку:

Парень, знай, – огниво!

Панна – трут, к примеру!

Высекайте живо,

Будет искр не в меру!

– Виват! Виват пан Заглоба! – крикнули офицеры так громко, что испугался степенный Навираг, испугались и два ученых анардрата и с удивлением стали переглядываться.

Но пан Нововейский опять сделал два круга и, наконец, посадил на лавку задыхавшуюся и испуганную смелостью кавалера Зося. Очень он ей нравился; такой молодец, такой искренний, настоящий огонь, но именно потому, что она до сих пор не встречала таких кавалеров, ею овладело такое смущение, что она еще ниже опустила глазки и совсем притихла.

– Что вы молчите, ваць-панна? Почему вы так грустны? – спросил пан Нововейский.

– Папаша в неволе! – ответила Зося тоненьким голоском.

– Это ничего, – сказал молодой человек, – потанцевать все же не мешает!

Посмотрите, ваць-панна, в этой комнате столько кавалеров, и, пожалуй, ни один не умрет своей смертью, но погибнет или от стрел басурманских, или в неволе.

Сегодня один, завтра другой. Каждый из них лишился кого-нибудь из своих, а все же они веселятся, чтобы Господь Бог не подумал, будто они на судьбу ропщут. Вот оно что! Потанцевать не мешает! Улыбнитесь, ваць-панна, взгляните на меня, а то я подумаю, что вы меня ненавидите.

Зося глаз не подняла, но понемногу кончики ее губ стали подниматься, а на ее румяных щеках образовались две ямочки.

– Любите ли вы меня хоть немножко, ваць-панна? – снова спросил кавалер.

– Лю... люблю! – ответила Зося почти шепотом.

Услышав это, пан Нововейский даже подпрыгнул на скамье и, схватив руки Зоей, стал горячо их целовать.

– Все пропало! – говорил он. – Говорить нечего! Я без ума влюбился в вас, ваць-панна! Никого не хочу, кроме вас! Прелесть моя! Спасите, святые угодники! Как я вас люблю! Завтра же паду к ногам матушки. Что завтра? Сегодня же! Только бы мне быть уверенным, что вы мне друг!

Страшный грохот выстрелов заглушил ответ Зоей. Это солдаты палили в честь Баси. Задрожали окна, затряслись стены, и в третий раз испугался степенный Навираг и с ним два анардрата, но Заглоба, который тут же стоял, стал их успокаивать

по-латыни.

– Apud polonos, – сказал он, – nunquam sine clamore et strepitu gaudia fiunt![24]

Казалось, все только и ждали этого грохота ружей, чтобы развеселиться до последней степени. Обычная шляхетская светскость стала теперь уступать место степной дикости. Музыка гремела; танцоры носились, как буря, глаза разгорелись, пар носился над головами. Даже старики пустились в пляс, то и дело раздавались громкие крики, и пили, гуляли, пили за здоровье Баси из ее башмачка, стреляли из пистолетов в каблуки Эвы. Гудел, гремел и пел Хрептиев до самого утра, так что звери в ближайшей пуше попрятались со страха в самые глухие места.

А так как это было чуть не накануне страшной войны с турецким могуществом, так как над головами этих людей висела гроза и гибель, то удивлялся польским воинам степенный Навираг, удивлялись не менее его и два ученых анардрата.

XIV

На следующий день все спали долго, за исключением дежурных солдат и маленького рыцаря, который никогда и ни для чего не манкировал службой. Молодой пан Нововойский тоже вскочил довольно рано – Зося Боская была для него милее сна. С самого утра, одевшись понаряднее, он отправился в ту комнату, где вчера танцевали, чтобы послушать, нет ли шума и движения в смежных комнатах, где помещались дамы.

В комнате, которую занимала пани Боская, слышно было движение, но нетерпеливому юноше так безумно хотелось повидать Зосю, что, схватив кинжал, он стал выковыривать им мох и глину между балками, чтобы хоть сквозь щель одним глазком поглядеть на Зосю. За этим занятием застал его пан Заглоба, который вошел с четками в руках. Поняв сразу, в чем дело, он на цыпочках подошел к молодому человеку и стал хлестать его по спине сандаловыми четками.

Тот стал убегать, увертываться, делая вид, что смеется, но на самом деле он был несколько смущен, а старик гонялся за ним, бил его и повторял:

– Ах, турок ты этакий, а татарин! Вот тебе! Вот тебе! А где нравственность? За женщинами будешь подглядывать. Вот тебе! Вот тебе!

– Благодетель! – воскликнул Нововойский. – Не годится святые четки вместо плетки употреблять. Оставьте меня – у меня грешных мыслей не было!

– Не годится, говоришь, бить святыми четками! Неправда! Вербя в Вербное воскресенье тоже вещь святая, а ею бьют. Ха! Это были когда-то языческие четки, но под Збаражем я их отнял у Супангази, а затем папский нунций освятил их. Посмотри, настоящий сандал!

– Если настоящий, то пахнет!

– Для меня-то четки пахнут, а для тебя девушка! Надо еще похлестать тебя по спине, нет лучшего средства изгонять дьявола, как четки.

– У меня грешных мыслей не было – вот провалиться мне на этом месте!

– Так ты, значит, из набожности дырку в стене ковырял?

– Не из набожности, но от любви столь исключительной, что боюсь, как бы меня не разорвало, как гранату. Что уж тут скрывать! Оводы летом не докучают так лошадям, как мучит меня это чувство.

– Смотри, как бы это не были грешные вожеления! Когда я сюда вошел, ты так с ноги на ногу переминался, точно стоял на угольях.

– Я ничего не видел, ей-богу! Ведь я только начал проковыривать дырку!

– Ха! Молодость!.. Кровь – не вода!.. Мне до сих пор иной раз приходится себя сдерживать, ибо во мне лев живет, который ищет, кого бы разорвать. Если у тебя чистые намерения, то, конечно, ты думаешь о женитьбе?

– Думаю ли я о женитьбе? Боже всемогущий! О чем же мне думать? Не только думаю, но чувствую себя так, точно меня кто шилом колет. Так вы, ваша милость, верно, не знаете, что я вчера пани Боской предложение делал, и от отца получил разрешение.

– Порох, а не парень! Черт тебя возьми! Если так, то дело другое, но расскажи, как это было.

– Пани Боская пошла вчера в свою комнату за платком для Зоей, я за нею. Обернулась: «Кто там?» А я бух ей в ноги: «Бейте меня, матушка, но Зоську отдайте, мое счастье, мою любовь!» Пани Боская, придя в себя, так сказала: «Все вас хвалят и достойным кавалером считают; мой муж в неволе, а Зоська безо всякой защиты на свете; все же я не могу дать ответа ни сегодня, ни завтра, а потом. Вы тоже должны получить разрешение от родителей». Сказав это, она Ушла, думая, что я спьяну это сделал. И то сказать – было выпито!

– Это ничего – все были выпивши. Ты заметил, как у Навирага и у анардратов под конец шапки набекрень съехали?

– Я не заметил, ибо голову себе ломал, как бы получить разрешение от отца.

– А трудно было?

– Поутру отправились мы оба в свою квартиру, а так как надо ковать железо, пока горячо, то я и подумал, что лучше хоть окольным путем выведать, как он к этому отнесется. Я ему и говорю: «Слушай, отец, хочу Зоську во что бы то ни стало, и мне нужно твое разрешение, а не дашь, то я уйду хоть к венецианцам на службу, и только ты меня и видел!» А он как накинется на меня: «Ах ты, такой-сякой! – говорит. – Привык уже без разрешения обходиться! Ступай, говорит, к венецианцам или бери девку, но только я тебе скажу, что я гроша медного тебе не дам не только из моих, но и из материнских денег, потому что все мое!»

Пан Заглоба оттопырил нижнюю губу:

– У! Скверно!

– Погодите! Как я услышал это, так и говорю ему: «А разве я у тебя прошу. Мне твое благословение нужно, и больше ничего – того добра, которое из добычи на мою саблю пришлось, хватит на то, чтобы взять в аренду хорошее имение, даже на покупку хватит! Все, что осталось после матери, пусть идет в приданое Эве, я еще

от себя прибавлю одну, две горсти бирюзы и шелку, и парчи, а придут черные дни, я и тебя деньгами поддержу».

Тут-то у отца и разгорелось любопытство.

– Так ты, значит, так богат? Скажи, ради бога! Откуда? Из добычи? Ведь ты уехал гол как сокол!

– Побойся Бога, отец, ведь одиннадцать лет я этой рукой махаю и, как говорят, не плохо, как же было не накопить? Я был при штурме взбунтовавшихся городов, куда бродяги и татары целыми кучами собирали отменнейшую добычу; били мы и мурз, и разбойников, а добыча все шла и шла. Я брал только то, что приходилось на мою долю, никого не обижал, но добыча росла и росла, и если бы я не покучивал, то денег хватило бы на два таких имения, как ваше.

– А старик что на это? – спросил Заглоба, повеселев.

– Отец изумился, он этого не ожидал и тотчас же стал упрекать меня в расточительности: «Видишь, сколько бы ты скопить мог! Но ты такой ветрогон, такой болтун, что только и умеешь магната из себя корчить – все спустишь, ничего не удержишь!» Но любопытство его одолело, и он стал подробно расспрашивать, что у меня есть, а я, видя, что на эту удочку его легче всего поймать, не только ничего не утаил, но еще приврал немного, хоть приукрашивать я не люблю, ибо, по-моему, правда – овес, а ложь – сено. Отец за голову хватался и давай строить планы: «То-то можно бы прикупить, такой-то процесс начать, жили бы мы по соседству, а в твоё отсутствие я бы за всем присматривал». И заплакал при этом, бедняга. «Адам, – говорит он, – эта девка мне очень по сердцу, тем более что ей покровительствует пан гетман, а от этого для тебя может быть выгода. Адам, – говорит, – только ты эту другую мою дочь люби и не обижай, а то я и в смертный час тебе этого не прощу». А я, благодетель вы мой, при одной мысли о том, что я мог бы обидеть Зосю, как зареву! И бросились мы с отцом друг другу в объятия и плакали accurate[25] до первых петухов!

– Шельма старый! – пробормотал Заглоба. А потом прибавил громко: – Ха! Скоро будет свадьба и новое веселье в Хрептиеве, тем более что теперь мясоед.

– Завтра бы быть свадьбе, если бы это зависело от меня! – сказал Нововейский. – Но вот что, благодетель, у меня отпуск скоро кончается, а служба – службой и надо возвращаться в Рашков. Пан Рушиц даст мне другой отпуск, я знаю. Но я не уверен, не будет ли проволочек со стороны женщин. Чуть я к матери подойду, она говорит: «Муж в неволе», подойду к дочери: «Папаша в неволе». Что же это? Разве я держу его в плену? Ужасно я боюсь этих препятствий, и если бы не это, то я схватил бы ксендза Каминского за полы и до тех бы пор не выпускал, пока он не окрутил бы нас с Зосей. Но если бабы что-нибудь вобьют себе в голову, так этого ничем не выбьешь. Я бы отдал последнюю копейку, сам пошел бы за отцом, но не могу ведь. Никто ведь не знает, где он; может, он умер, ну, и что тут поделаешь? Если мне прикажут ждать его возвращения, то придется, пожалуй, ждать до Страшного суда.

– Петрович с Навирагом и анадратами завтра собираются в дорогу: скоро придут известия.

– Господи! Я должен еще известий ждать? До весны ничего не будет, а я тем временем высохну, ей-богу. Благодетель, все верят в ваш ум и вашу опытность,

выбейте вы бабам из головы это ожидание. Ведь весной война, и бог еще знает, что может случиться, а я ведь хочу на Зосе жениться, а не на ее отце, так что же мне вздыхать по нему?

– Уговори их ехать в Рашков и там поселиться. В Рашкове можно скорее получить известие, а если Петрович найдет Боского, то и ему будет ближе к вам. Во-вторых, я сделаю, что могу, но и ты проси пани Басю, чтобы она замолвила за тебя словечко.

– Обязательно, обязательно! Иначе меня чер...

В эту минуту дверь скрипнула и вошла пани Боская. Но прежде чем пан Заглоба успел обернуться, молодой Нововейский грохнулся к ее ногам и, растянувшись во весь рост, занял своей огромной фигурой громадное пространство в комнате и крикнул:

– Есть позволение родительское! Давайте мне, матушка, Зоську! Давайте, матушка, Зоську! Давайте, матушка, Зосю!

– Давайте, матушка, Зоську! – заговорил басом Заглоба.

Этот шум привлек и других из соседних комнат: вошла Баська, пришел из канцелярии Михал, а вслед за ними появилась и Зося. Девушке неприлично было догадываться, в чем дело, но она сейчас же покраснела и, поспешно сложив руки и поджав губки, опустила глаза и прижалась к стене.

Пан Михал бросился за стариком Нововейским; старик негодовал, что сын не доверил ему обязанности просить руки Зоей у пани Боской и не предоставил этого дела его красноречию, но и он присоединился к его просьбе. Пани Боская, которая действительно нуждалась в близком человеке, расплакалась и, наконец, согласилась, как и на предложение пана Адама, так и на его просьбу, ехать с Петровичами в Рашков и там ждать мужа. Вся в слезах, она обратилась к дочери.

– Зоська, – сказала она, – а тебе по сердцу замыслы панов Нововейских? Глаза всех устремились на Зосю, а она, стоя у стены, упорно глядела в пол, покраснела до корней волос и сказала чуть слышным голосом:

– Хочу в Рашков...

– Прелесть моя! – прогремел пан Адам и, бросившись к девушке, схватил ее в объятия.

И затем стал кричать так, что даже стены задрожали:

– Моя уже Зоська, моя, моя!

XV

После предложения молодой пан Нововейский сейчас же уехал в Рашков, чтобы там приискать подходящую квартиру для пани и панны Боской. Через две недели после его отъезда целым караваном тронулись и все хрептивские гости: Навираг, два анадрата, пани Керемович и Нерсесович, пан Сеферович, обе Боские, двое Петровичей и старый пан Нововейский, не считая нескольких каменецких армян и множества вооруженных людей для охраны возов, упряжного и вьючного скота. Петровичи и духовные делегаты эчмиадзинского патриарха предполагали только

отдохнуть в Рашкове, справиться насчет дороги и затем продолжать ехать дальше в Крым. Остальная компания должна была поселиться на некоторое время в Рашкове и ждать там, по крайней мере, до первой оттепели возвращения пленных: пана Боского, младшего Сеферовича и двух купцов, которых давно уже с тоской ожидали их жены.

Дорога была трудная: шла она через глухие пустыни и бездонные яры. К счастью, благодаря обильно выпавшим снегам установился превосходный санный путь; присутствие же военных команд в Могилеве, Ямполье и Рашкове обеспечивало полную безопасность. Азба-бей был убит, разбойники или перевешаны, или рассеяны, а татары зимой, за отсутствием травы, не выходили на дороги.

К тому же молодой пан Нововойский обещал, если только получит разрешение от пана Рушица, выехать к ним навстречу с несколькими десятками людей. И все ехали беспечно и весело. Зося готова была ехать за паном Адамом на край света. Пани Боская и две армянские женщины надеялись вскоре увидеть своих мужей. Правда, Рашков этот находился в страшной пустыне, на краю христианского мира, но ведь они ехали туда не на всю жизнь. Весной должна была быть война: на границах все говорили о войне, а потому, дождавшись дорогих людей, все должны были с первыми теплыми днями уехать оттуда, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и уберечь себя от гибели.

Эвку пани Володыевская удержала в Хрептиеве. Оставляя ее, отец не очень настаивал, чтобы она ехала вместе с ним, ибо он оставлял ее в доме таких достойных людей.

– Уж я ее отошлю в полной безопасности, – говорила Бася, – вернее, даже сама ее привезу: хоть раз в жизни мне бы хотелось побывать на этой страшной границе, про которую я так много слышала с детства. Весной, когда дороги зачернеют чамбулами, муж меня не пустит, но теперь, если Эвка здесь останется, у меня будет прекрасный предлог. Недели через две я начну настаивать, а через три, – наверное, получу позволение.

– Ваш муж, надеюсь, без надежного конвоя и зимой вас не отпустит.

– Если можно будет, он сам поедет со мной, а если нет, то нас проводит Азия с двумя сотнями солдат, а то и больше. Я слышала, что его и так хотят командировать в Рашков.

Этим разговор окончился, и Эва осталась. У Баси кроме тех причин, которые она изложила пану Нововойскому, были и другие расчеты. Она хотела облегчить Азие сближение с Эвой – молодой татарин начинал ее беспокоить. Когда она его спрашивала, он говорил ей, что любит Эву, что прежняя любовь в нем не угасла, но когда он оставался с Эвой, он молчал. Между тем девушка на хрептиевском безлюдье влюбилась в него без памяти. Его дикая, но пышная красота, его детство в доме тяжелого на руку пана Нововойского, его княжеское происхождение и та тайна, которая тяготела над ним, и, наконец, военная слава – совершенно очаровали ее. И она ждала только минуты, чтобы открыть ему сердце, горячее, как само пламя, сказать ему: «Азия, я тебя люблю с детства!», упасть в его объятия и поклясться ему в вечной любви. А он только стискивал зубы и молчал.

Сначала Эва думала, что присутствие отца и брата удерживает Азию от признания. Но потом и ее охватило беспокойство: если со стороны отца и брата могли встретиться препятствия, особенно пока Азия не получил шляхетской грамоты, то

ведь он мог хоть ей открыть свое сердце, и даже должен был сделать это тем скорей, тем откровеннее, чем больше препятствий было на их пути.

А он молчал.

Наконец, сомнения закрались в сердце девушки, и она начала жаловаться на свое горе Басе, а та успокаивала ее и говорила:

– Не отрицаю, что он странный человек и ужасно скрытный, но я уверена, что он любит тебя, ибо, во-первых, он мне это много раз повторял, а во-вторых, он смотрит на тебя иначе, чем на других.

А Эвка печально качала головой.

– Иначе – это верно, но я не знаю, любовь ли это или ненависть.

– Милая Эвка, не болтай вздора, за что бы ему ненавидеть тебя?

– А за что же ему меня любить?

Тут Бася стала гладить ее по лицу своей маленькой ручкой.

– А за что меня Михал любит? За что твой брат как только увидал Зосю, так и полюбил ее?

– Адам всегда был горяч!

– А Азия горд и боится отказа, особенно со стороны твоего отца, ибо брат твой, сам полюбив, легко может понять мучения любви. Вот в чем дело! Не будь глупа, Эвка, и не бойся. Я вот пожурю Азию, и ты увидишь, что он станет смелее.

И в этот же самый день Бася повидалась с Азией и после свидания тотчас же бросилась в комнату Эвки.

– Уже! – воскликнула она в дверях.

– Что? – спросила Эвка, краснея.

– Я сказала ему так: «Что это вы себе думаете? Платить мне неблагодарностью? Да? Я нарочно удержала Эвку, чтобы вы могли воспользоваться случаем, и вы им не пользуетесь. Знайте же, что через две-три недели я отошлю ее в Рашков и, может быть, сама с нею поеду, а вы останетесь с носом». Он в лице изменился, когда узнал об этом отъезде в Рашков, и упал к моим ногам. Я его спрашиваю, что он думает. А он на это: «В дороге, – говорит, – я открою, что у меня на сердце, в дороге будет удобнее всего, в дороге случится, что должно случиться, что предназначено. Во всем, говорит, сознаюсь, все открою, ибо я дольше жить не могу с этой мукой». У него даже губы задрожали от радости, хотя он раньше был расстроен, ибо получил какие-то неприятные письма из Каменца. Он говорил, что в Рашков он и так должен ехать, что на это у мужа давно уже есть приказ гетмана, в приказе только времени не указано, ибо все зависит от его переговоров с липковскими ротмистрами. «А теперь, – говорит, – пора, и я должен ехать к ним, за Рашков, и заодно провожу вашу милость и панну Эву». На это я ему сказала, что не знаю, поеду ли я, и что это будет зависеть от позволения Михала. Услыхав это, он очень испугался. Эх, глупенькая ты, Эвка! Ты говоришь, что он тебя не любит,

а он к моим ногам упал и стал меня умолять, чтобы я ехала. Говорю тебе, он был попросту, и мне даже плакать хотелось. А знаешь ли, почему он так сделал? Он сейчас же мне сказал: «Я, – говорит, – открою все, что у меня на сердце, но без участия вашей милости я ничего не добьюсь у панов Нововейских, только гнев и ненависть в них вспыхнет. В руках вашей милости моя судьба, мои муки, мое спасение, ибо если вы, ваша милость, не поедете, то пусть меня земля поглотит или огонь сожжет». Вот как он тебя любит! Просто страшно подумать. Если бы ты видела, какой у него был вид, ты бы испугалась.

– Нет, я его не боюсь! – ответила Эвка. И стала целовать руки Баси. – Поезжай с нами, поезжай с нами! Ты одна можешь спасти нас, ты одна не побоишься сказать все отцу, ты одна можешь чего-нибудь добиться. Поезжай с нами. Я упаду к ногам пана Володыевского, чтобы он отпустил тебя. Без тебя Азия и отец с ножами друг на друга бросятся! Поезжай с нами! Поезжай с нами!

И она склонилась к ногам Баси и, плача, стала обнимать их.

– Бог даст, поеду, – ответила Бася. – Я все предоставлю Михалу и не перестану его просить. Теперь можно даже одной ехать, а тем более с таким отрядом. Может быть, и Михал поедет, а если нет, то он все-таки согласится – сердце у него доброе. Сначала он раскричится, но как только увидит, что я опечалилась, сейчас же начнет ходить вокруг меня, в глаза мне заглядывать и согласится. Я предпочла бы, чтобы и он поехал с нами, мне без него будет очень тоскливо, но что же делать? Я поеду, чтобы принести вам хоть какое-нибудь облегчение... Ведь тут уж дело не в моем желании, а в вашей судьбе. Михал любит и тебя, и Азию, – он согласится!

Азия после этого свидания с Басей побежал в свою комнату, полный радости и надежды, точно после тяжелой болезни к нему вдруг вернулось здоровье и он ожил.

Минуту перед тем бешеное отчаяние терзало его душу. Утром он получил сухое и короткое письмо от пана Богуша следующего содержания:

«Милый мой Азия! Я остановился в Каменце и в Хрептиев теперь я не приеду; во-первых, очень устал, во-вторых, ехать незачем. Я был в Яворове. Пан гетман не только не дает тебе письменного разрешения, не только не намерен прикрывать своим авторитетом твои безумные планы, но строго-настрога, под страхом лишить тебя своей милости, приказывает тебе отказаться от них. Я тоже убедился, что все, о чем ты говорил, ни к чему не приведет: грешно христианскому народу входить в такие сношения с язычниками и позорно было бы перед всем миром давать шляхетские привилегии злодеям, хищникам и проливающим невинную кровь. Сам обдумай это и о гетманстве не мечтай, ибо это не для тебя, хотя ты и сын Тугай-бея. А если хочешь поскорее вернуть гетманское расположение, то будь доволен теперешним своим положением, а особенно поторопись кончить дело с Крычинским, Творовским, Адуровичем и другими; за это гетман будет тебе особенно благодарен. Посылаю тебе записку гетмана о том, что тебе надо делать, а пану Володыевскому – приказ гетмана, дабы тебе уезжать и приезжать вместе с твоим отрядом беспрепятственно. Ты, конечно, должен будешь поехать навстречу ротмистрам, поторопись и пришли мне известие в Каменец, что там делается по ту сторону. Засим поручаю тебя Господнему попечению и остаюсь с неизменным к тебе расположением.

Мартин Богуш из Земблиц, подстолий новогрудский».

Получив это письмо, молодой татарин впал в страшное бешенство: письмо он истер в

руках в порошок; затем, схватив кинжал, стал им колоть стол, грозил, что убьет себя, что убьет верного Галима, который на коленях умолял его не предпринимать ничего, пока не остынут его гнев и отчаяние. Письмо это было для Азыи страшным ударом. Воздушные замки, которые строила его гордость и самолюбие, рассыпались в прах, замыслы были уничтожены. Он мог сделаться третьим гетманом в Речи Посполитой и до некоторой степени держать в своих руках ее судьбу, а теперь он увидел, что должен остаться неизвестным офицером, для которого верхом достижимого является шляхетская грамота. В своей пылкой фантазии он уже видел, как целые толпы бьют ему челом, а теперь ему самому придется бить челом перед другими...

И ни к чему не привело то, что он сын Тугай-бея, что в его жилах течет кровь владетельных воинов, что в его голове зародились великие мысли, – все ни к чему! Он будет жить в неизвестности и умрет всеми забытый в какой-нибудь далекой крепости. Одно лишь слово подрезало ему крылья, одно «нет» лишило его силы, подобно орлу, парить под небесами и заставило пресмыкаться по земле, подобно червю. Но все это было еще ничто в сравнении с тем счастьем, которое он утратил. Та, за обладание которой он готов отказаться от вечной жизни, та, которая влила огонь в его душу, та, которую он любил глазами, сердцем, душой, кровью, – никогда не будет принадлежать ему. Это письмо отнимало и ее, как и гетманскую булаву. Хмельницкий мог похитить Чаплинскую, мог похитить ее и могущественный Азия. Азия гетман мог похитить чужую жену и отстоять ее от всей Речи Посполитой, но как мог вырвать ее Азия, поручик липковского полка, служащий под командой ее мужа?..

Когда он думал об этом, весь мир мрачнел перед его глазами, становился пустым, бессмысленным. И не знал Тугай-беевич, не лучше ли ему умереть, чем жить без счастья, без надежды, без любимой женщины. Это угнетало его тем сильнее, что удара этого он не ожидал. Обсудив положение Речи Посполитой, он с каждым днем все более и более убеждался, что гетман согласится на его предложение. Между тем надежды его рассеялись, как дым, как туман. Что ему оставалось? Отказаться от славы, от величия, от счастья? Но он был неспособен на это. В первую минуту его охватил бешеный гнев и отчаяние. Его жгло, как огнем, и жгло так мучительно, что он выл и скрежетал зубами, и мстительные мысли носились в его голове. Он хотел мстить – мстить Речи Посполитой, гетману, Володыевскому, даже Басе. Он хотел поднять своих липков, вырезать весь гарнизон, всех офицеров, весь Хрептиев, убить Володыевского, а Баську похитить и уйти с нею на молдавский берег, а потом в Добруджу и дальше, хотя бы в Царьград, хотя бы в азиатские пустыни...

Но верный Галим присматривал за ним, и он сам, когда пришел в себя после первого взрыва бешенства и отчаяния, понял всю неосуществимость этих замыслов. Азия и тем еще был похож на Хмельницкого, что в нем, как и в Хмельницком, в одно и то же время уживался и лев, и змей. Он со своими верными липками нападет на Хрептиев – и что же? Разве бдительный, как журавль, Володыевский даст себя захватить врасплох? А если бы даже так, то разве он, славнейший загонщик, даст себя победить, тем более что у чего солдат больше, и солдаты лучше? Наконец, если бы он, Азия, победил его, то что же он будет делать? Пойдет вдоль реки к Ягорлыку? Но ведь по Дороге ему придется разбить команды в Могилеве, Ямполье и Рашкове. Перейдет на молдавский берег? Там перкулабы, друзья Володыевского, и сам Габарескул хотинский, его закадычный друг. Пойдет к Дорошу? Там, под Брацлавом, польские команды, а в степях даже зимою много мелких отрядов. И Тугай-беевич понял свое бессилие, и его злое душа, вспыхнувшая было мощным пламенем, погрузилась в глухое отчаяние, как раненый Дикий зверь в темную, скалистую пещеру, – и притихла. И как слишком сильная боль сменяется

бесчувствием, так и он оцепенел в своем отчаянии.

Тогда-то ему и дали знать, что пани Володыевская желает с ним говорить.

Когда Азия вернулся после разговора с Басей, Галим не узнал его. Оцепенения не было уже в его лице – глаза его блестели, как у дикой кошки, лицо сияло, а белые зубы блестели из-под усов, и своей дикой красотой он совсем был похож на страшного Тугай-бея.

– Господин мой, – спросил его Галим, – каким образом Господь Бог утешил душу твою?

– Галим, – ответил Азия, – после темной ночи Бог дает день и повелевает солнцу встать из-за морей. Галим (тут он схватил старого татарина за плечи), еще месяц, и она будет моей навеки.

И смуглое его лицо горело... И в эту минуту он был так прекрасен, что старый Галим стал отвешивать ему поклоны.

– Сын Тугай-бея, ты велик, могуч, и злоба неверных не одолеет тебя!

– Слушай, – сказал Азия.

– Слушаю, сын Тугай-бея.

– Поедем к синему морю, где снега лежат только на вершинах гор, а если вернемся когда-нибудь в эти края, то во главе чамбулов, неисчислимых, как песок морской и листья в дремучих лесах, – вернемся с огнем и мечом. Ты, Галим, сын Курдлуков, сегодня же отправишься в путь. Найди Крычинского и скажи, чтобы он со своими людьми с той стороны подвигался к Рашкову. А Адурович, Моравский, Александрович, Грохольский, Творковский и все, кто жив из липков и черемисов, пусть с отрядами подойдут поближе к войску. А чамбулам, которые зимуют у Дороша, пусть дадут знать, чтобы со стороны Умани поднять внезапную тревогу, с целью вызвать в далекую степь ляхские команды из Могилева, Ямполья и Рашкова. Пусть на моем пути не будет войска, и, когда я выеду из Рашкова, там останется лишь пепелище...

И Галим опять стал бить поклоны, а Тугай-беевич нагнулся к нему и еще несколько раз повторил:

– Гонцов рассылай, гонцов рассылай, остается только месяц!

Потом он отпустил Галима и, оставшись один, стал молиться, ибо сердце его было переполнено счастьем и благодарностью к Богу.

Молясь, он невольно смотрел в окно на своих липков, которые выводили лошадей на водопой к колодцам. Липки, тихо и монотонно напевая, стали тянуть скрипучие журавли и лить в корыта воду. Пар столбами валил из лошадиных ноздрей и завлакивал эту картину. Вдруг из главного дома вышел пан Володыевский, одетый в тулуп и высокие сапоги, подошел к липкам и стал им что-то говорить. Они слушали его, вытянувшись по-военному и сняв шапки, вопреки восточному обычаю. Увидав Володыевского, Азия перестал молиться и пробормотал:

– Хоть ты и сокол, но не долетишь туда, куда долечу я, и останешься в Хрептиеве в горе и скорби!

Пан Володыевский, переговорив с солдатами, вернулся домой, а на дворе снова раздалось пение липков, фыркание лошадей и жалобный пронзительный скрип колодезных журавлей.

XVI

Маленький рыцарь, как и предвидела Бася, узнав о ее намерениях, прежде всего прикрикнул на нее, что никогда не отпустит ее одну, а сам ехать не может; но тут со всех сторон начались просьбы и настаивания, которые, в конце концов, должны были поколебать его решение.

Правда, Бася настаивала не так, как он ожидал: ей очень не хотелось расставаться с мужем, а путешествие без него теряло в ее глазах всю прелесть. Но Эвка бросалась перед ним на колени и, целуя его руки, заклинала любовью к Басе разрешить жене ехать.

– Никто другой не осмелится говорить об этом с моим отцом, ни Азия, ни даже брат мой; одна пани Бася может это сделать, потому что он ей ни в чем не откажет.

– Нечего Баське сваху из себя разыгрывать! А кроме того, вы должны по этой же дороге возвращаться из Рашкова, пусть она это сделает, когда вы вернетесь.

Эвка заплакала в ответ. Бог знает, что еще может случиться до ее возвращения; она даже уверена, что умрет от горя, а для такой сироты, для которой нет милосердия, это и лучше...

У маленького рыцаря было очень доброе и нежное сердце; он начал поводить усиками и ходить по комнате. Ему очень не хотелось расставаться со своей Басей даже на один день. Но, очевидно, просьбы эти очень его трогали, потому что дня через два после этих атак, как-то вечером он сказал:

– Если бы я мог ехать с вами, тогда бы и говорить не о чем, но это невозможно, меня служба держит.

Бася бросилась к нему и, прижавшись к его щеке своим розовым личиком, стала повторять:

– Поезжай, Михалок, поезжай, поезжай!

– Ни в коем случае! – с твердостью сказал Володыевский.

И снова прошло несколько дней. За это время маленький рыцарь советовался с паном Заглобой, как поступить. Но он отказался советовать.

– Если тут только одно препятствие – твое чувство, – сказал он, – то что же мне говорить? Решай сам. Конечно, без гайдучка здесь будет пусто. Если бы не мои годы и не такая трудная дорога, я бы поехал с нею, потому что без нее жить невозможно.

– Вот видите! Препятствий нет, разве лишь морозы! Вот и все! Теперь везде спокойно по дорогам, но как жить без нее?

– Я то же самое тебе и говорю, потому решай как знаешь. После этого разговора пан Михал снова стал колебаться. Ему было жаль Эву. Кроме того, его

останавливала мысль, прилично ли отпускать Эву в такую далекую дорогу одну с Азией? Озаботило его и то, годится ли отказать в помощи друзьям, когда помочь так легко? В чем тут вопрос? В том, чтобы Бася уехала на две, три недели. Если даже все сведется к тому, чтобы угодить Басе, дать ей возможность увидеть Могилев, Ямполь и Рашков, то и тогда почему не угодить ей? Азия, так или иначе, должен ехать с своим полком в Рашков, а потому охрана будет более чем достаточная, особенно теперь, когда все разбойники уничтожены, и в орде, как всегда зимой, полное спокойствие.

И маленький рыцарь колебался все больше. Увидав это, молодые женщины возобновили свои просьбы: одна говорила, что хочет сделать доброе дело, другая плакала и умоляла. Наконец стал просить Володыевского и Тугай-беевич.

Он говорил, что недостойн такой милости и что если он смеет просить, то только потому, что неоднократно уже доказывал свою верность и преданность им обоим. Он в вечном долгу перед ними за то, что они не позволили его унижать, когда еще неизвестно было, что он сын Тугай-бея. Он никогда не забудет, что пани Володыевская перевязывала его раны и была для него не только милостивой госпожой, но как бы родной матерью. Он уже доказал свою благодарность в битве с Азбой-беем, но и на будущее время, если, избави бог, что-нибудь случится, он с радостью сложит голову за свою госпожу и прольет за нее последнюю каплю крови.

Потом он стал рассказывать о своей давнишней несчастной любви к Эве. Не жить ему без этой девушки. Он любит ее, хотя и безо всякой надежды, долгие годы, – и никогда не перестанет любить. Но между ним и старым паном Нововойским стоит давнишняя ненависть, и их разделяют прежние отношения слуги и господина. Пани одна могла бы их примирить друг с другом, а если она этого не сможет, то, по крайней мере, защитит девушку от отцовской жестокости, от его побоев.

Володыевский, быть может, предпочел бы, чтобы Бася не вмешивалась в это дело, но так как он сам любил помогать людям, то и не удивлялся ее доброму сердцу. Все же он не ответил еще Азье утвердительно, не уступил даже новым слезам Эвы; он только запирался в канцелярии и раздумывал.

Наконец он вышел однажды к ужину с прояснившимся лицом. После ужина он спросил вдруг Тугай-беевича:

– Азия, а когда тебе ехать отсюда?

– Через неделю, ваша вельможность, – ответил с беспокойством татарин. – Галим, должно быть, уже окончил переговоры с Крычинским.

– Тогда вели выложить сеном большие сани, ты повезешь двух дам в Рашков.

Услышав это, Бася захлопала в ладоши и бросилась к мужу, за ней бросилась Эвка, а за нею в бешеном порыве радости склонился к его ногам и Азия; маленький рыцарь стал даже от них отмахиваться.

– Успокойтесь! – говорил он. – Что такое? Как людям не помочь, когда помочь можно, – сердце ведь не камень. Ты, Баська, возвращайся поскорее, любовь моя, а ты, Азия, береги ее: этим вы лучше всего меня отблагодарите. Ну, ну, довольно!

Тут он начал шевелить усиками и сказал, чтобы скрыть свое смущение:

– Хуже всего, – это бабьи слезы. Как только увижу эти слезы, тут мне и крышка. Но ты, Азия, должен благодарить не только меня и мою жену, но и вот эту панну, которая, как тень, ходила за мной со своим горем. Ты должен ее отблагодарить за такую любовь!

– Отблагодарю! Отблагодарю! – странным голосом сказал Тугай-беевич и, схватив руки Эвы, начал их целовать так порывисто, что можно было подумать, что он их укусит.

– Михал, – воскликнул Заглоба, указывая на Басю, – что же мы будем здесь делать без этого котенка?

– Да, тяжело будет, – отвечал маленький рыцарь, – ей-богу, тяжело!

Потом он добавил еще тише:

– А может быть, за доброе дело Господь Бог благословит нас потом... Вы понимаете?

Между тем «котенок» просунул между ними свою русую любопытную головку.

– Что вы говорите?

– Э... ничего... – ответил Заглоба, – говорим, что весной, должно быть, аисты прилетят!

Баська принялась тереться щекой о щеку мужа, как настоящий котенок.

– Михалок, я там долго сидеть не буду! – сказала она тихо.

После этого разговора начались совещания относительно путешествия, которые продолжались несколько дней. Пан Михал сам за всем присматривал, приказал при себе привести в порядок сани и обить их шкурами лисиц, затравленных осенью. Пан Заглоба принес свой тулуп, чтобы было чем прикрыть в дороге ноги.

Решено было отправить воз с постелями и съестными припасами, а также и лошадь Баси, чтобы в местах труднопроходимых и опасных Бася могла выйти из саней и сесть на лошадь. Пан Михал больше всего боялся спуска, ведущего в Могилев, где, действительно, приходилось лететь вниз сломя голову. Хотя не было ни малейшего повода бояться какого-либо нападения, все же маленький рыцарь велел Азие всегда высылать людей вперед на разведки, на ночлеги останавливаться только там, где есть военные команды, выезжать с рассветом, останавливаться до сумерек, в дороге не мешкать.

Пан Михал так заботливо все обдумал, что собственноручно зарядил Васины пистолеты и уложил их в чехлы у седла.

Пришла, наконец, минута отъезда.

На дворе было еще темно, когда двести лошадей липков стояли уже наготове.

В доме коменданта тоже было необычайное движение. В каминах горел яркий огонь. Собрались все офицеры: маленький рыцарь, пан Заглоба, пан Мушальский, пан Ненашинец, пан Громыка, пан Мотовило, а с ними и все другие офицеры – все хотели проститься. Баська и Эвка, еще румяные после недавнего сна, пили подогретое

вино. Володыевский сидел рядом с женой, обняв ее рукой за талию. Заглоба сам подливал вино и каждый раз говорил им:

– Еще! Ведь морозно!

Бася и Эвка одеты были по-мужски; в пограничных местностях женщины всегда так путешествовали. У Баси была сабелька; одета она была в барсучью шубку, отороченную мехом ласки, горностаевую шапочку с наушниками, очень широкие шаровары, похожие на юбку, и в мягкие сапожки до колен, тоже отороченные мехом. Сверх всего этого она должна была надеть теплую шубу с капюшоном для защиты лица. Но пока лицо ее было еще открыто, и все, как всегда, восхищались ее красотой; а другие жадно глядели на Эвку, влажные губы которой были сложены точно для поцелуя; многие не знали, на которую из них смотреть, так прекрасны были они обе, и офицеры шептали друг другу:

– Тяжело жить человеку в таком безлюдье! Счастливый комендант! Счастливый Азия!.. Ух!..

В камине весело трещал огонь, а на задворках послышалось пение петухов. Медленно занимался день – морозный и погожий. Крыши сараев и солдатских квартир, покрытые толстым слоем снега, порозовели.

Со двора доносилось фыркание лошадей и скрип шагов идущих по снегу солдат, которые собрались, чтобы проститься с Басей и с липками.

Наконец Володыевский сказал:

– Пора!

Услышав это, Бася вскочила и бросилась в объятия мужа. Он прильнул своими губами к ее губам, потом крепко прижал ее изо всех сил к груди, целовал ее в глаза, в лоб и опять в губы.

Долго продолжалась эта минута: любили они друг друга бесконечно.

После маленького рыцаря пришла очередь пана Заглобы, затем стали подходить и другие офицеры и целовали руку Баси; она то и дело повторяла своим звучным, серебристым детским голоском:

– Оставайтесь в добром здоровье, Панове! Оставайтесь в добром здоровье!

И обе они с Эвкой стали надевать шубы с капюшонами, так что совсем утонули в мехах. Им широко отворили двери, через которые ворвались клубы морозного воздуха, – и все общество очутилось на дворе.

Становилось все светлее от утренней зари и от снега. И лошади липков, и тулупы солдат были покрыты инеем, так что казалось, что на белых лошадях выступает полк одетых в белое солдат.

Баська с Эвкой сели в сани, обитые шкурами. Драгуны и челядь громко желали отъезжающим счастливого пути. Стая ворон и галок, которых жестокая зима пригнала поближе к жилому месту, вдруг сорвалась с крыши и с громким карканьем стала кружиться в розовом воздухе.

Маленький рыцарь нагнулся к саням и спрятал свое лицо в капюшон, покрывавший голову жены.

Долго оставался он так, но, наконец, оторвался от Баси и, перекрестив ее, воскликнул:

– С Богом!

Азья приподнялся на стременах. Его дикое лицо в свете зари сияло радостью. Взмахнув буздыганом так сильно, что его бурка поднялась сзади, как крылья хищной птицы, он крикнул пронзительным голосом:

– Трога-а-ай!

Заскрипел снег под копытами. Пар еще обильнее повалил из лошадиных ноздрей. Медленно двинулись первые ряды липков, за ними другие, третьи, четвертые, за ними – сани, за санями – следующие ряды, и весь отряд медленно отдалялся, направляясь к воротам покатога двора.

Маленький рыцарь все продолжал осенять их крестным знаменем; наконец, когда сани выехали из ворот, он сложил руки у рта и закричал:

– Будь здорова, Баська!

Но ему ответил только свист татарских дудок и громкое карканье черных птиц.

Часть третья

I

Отряд черемисов, состоявший из нескольких десятков всадников, шел впереди на расстоянии мили, чтобы заранее осмотреть дорогу, предупредить комендантов о приезде пани Володыевской и приготовить для нее квартиру. За этим отрядом следовали главные силы липков, за ними сани, где сидели Бася и Эвка, затем другие сани с женской прислугой и, наконец, небольшой отряд, замыкавший поезд. Из-за снежных заносов путь был труден. Сосновые боры, и зимой сохраняющие свой зеленый убор, пропускают меньше снега, но пуца, которая тянулась вдоль берега Днестра, состояла большею частью из дуба и других лиственных деревьев; она была совершенно лишена листвы, и обнаженные стволы почти наполовину были засыпаны снегом. Снегом занесло и узкие овраги, местами снег поднимался, точно морские волны; верхушки сугробов, свешиваясь вниз, казалось, готовы были рухнуть и слиться с окружающей их белой равниной. При проезде через овраги и при спуске с возвышенностей липки придерживали сани веревками; только на высоких равнинах, где ветер разгладил снежную пелену, поезд, идя по следам каравана, недавно выехавшего из Хрептиева, вместе с Навирагом и двумя учеными анардратами, двигался быстрее.

Хотя дорога и была тяжела, но все же не так, как зачастую бывало в этих пуцах, полных ущелий, рек, ручьев и оврагов. Путники радовались, что они успеют до наступления ночи добраться до глубокого оврага, на дне которого лежал Могилев. Кроме того, погода обещала установиться надолго. Вслед за алой зарей взошло солнце и своими яркими лучами залило и овраги, и равнины, и пуцу. Казалось, все ветви деревьев усеяны искрами. Искры горели на снегу так, что резало глаза. С высоких мест через поляны можно было охватить глазами все огромное пространство вплоть до Молдавии, – там на беловато-синем и освещенном лучами солнца горизонте воздух был сухой и свежий. В такую погоду люди, как и животные, чувствуют себя

бодрыми и здоровыми. И лошади громко фыркали в рядах, выпуская из ноздрей клубы пара, а липки пели веселые песни, хотя мороз так щипал их за ноги, что они то и дело поджимали их под полы халатов.

Солнце поднялось, наконец, на самую середину неба и стало слегка пригревать. Басе и Эвке стало даже жарко в мехах, они откинули капюшоны и, открыв свои розовые лица, выглядывали на свет божий. Бася осматривала окрестности, а Эвка искала глазами Азыю; но Азия уехал вперед с отрядом черемисов, который был выслан для осмотра пути и который в случае надобности должен был расчищать дорогу от снега. Эвка даже пригорюнилась, но пани Володыевская, которая хорошо знала военные порядки, успокаивала ее следующими словами:

– Все они таковы. Коли служба, так служба! Когда мой Михал исполняет свои обязанности по службе, то он даже на меня и не взглянет. И плохо было бы, если бы он поступал иначе. Уж если любить солдата, так хорошего!

– Но он во время остановки будет с нами? – спросила Эва.

– Смотри, как бы он не надоел тебе еще. Ты заметила, как он был радостен, когда мы выезжали? Он просто сиял!

– Да, заметила. Он был очень рад.

– А что будет, когда он получит согласие пана Нововойского!

– Ах! Что ждет меня! Да будет воля Божья! Хотя, когда я подумаю об отце, сердце замирает. А вдруг раскричится, заупрямится и не даст своего согласия? Шутка ли потом вернуться с ним домой?

– Знаешь, Эвка, что мне пришло в голову? – Ну?

– С Азией шутки плохи. Твой брат смог бы еще ему противиться, но у твоего отца нет войска. Вот я и думаю, что если твой отец сразу заупрямится, то Азия возьмет тебя и без его согласия.

– Как же так?

– Очень просто. Украдет тебя! Говорят, что с ним шутки плохи... Тугай-беева кровь! Вы повенчаются у первого встречного ксендза. В другом месте потребовалась бы метрика, разрешение родителей, но здесь ведь глухая сторона, здесь все немного на татарский лад.

Эва совсем просияла.

– Вот этого-то я и боюсь. Азия готов на все, я боюсь этого! – сказала она.

Бася повернула голову, пристально посмотрела на нее и вдруг захохотала своим звучным детским смехом.

– Ты так же этого боишься, как мышь боится сала. О, я тебя знаю! Эва, румяная от мороза, покраснела еще больше и ответила:

– Я боюсь отцовского проклятия, а я знаю, что Азия ни на что не посмотрит.

– Ну, не тужи, – сказала ей Бася. – Кроме меня, у тебя есть брат, чтобы помочь тебе. Истинная любовь всегда добьется своего. Мне сказал это пан Заглоба еще тогда, когда Михал еще и не думал обо мне.

И они наперебой заговорили – одна об Азье, другая о Михале. Так прошло несколько часов, пока караван, наконец, не остановился покормить лошадей в Ярышове. От городка, всегда небогатого, после мужицкого восстания осталась только одна корчма, которую отстроили, когда по этой дороге стали часто проходить солдаты, и это обеспечивало доход. Бася и Эвка застали там проезжего армянского купца, родом из Могилева, который вез сафьян в Каменец. Азья хотел прогнать его вон вместе с сопровождавшими его валахами и татарами, но женщины позволили ему остаться, и только стража его должна была удалиться. Купец, узнав, что одна из путниц – пани Володыевская, бил ей челом и превозносил до небес ее мужа; Бася слушала его с нескрываемой радостью.

Наконец армянин отправился к тюкам и принес ей в подарок отборных лакомств и коробку с турецкими пахучими травами, которые помогали от разных болезней.

– Примите это в знак благодарности, – сказал он. – Раньше мы из Могилева носу не смели показать: Азба-бей разбойничал и в каждом овраге разбойники сидели, а теперь и дорога безопасна, и торговля. И мы снова ездим. Да умножит Господь дни хрептиевского коменданта и да продлит каждый его день, как долог путь из Могилева в Каменец! И каждый час его да будет долог, как день. Наш комендант, пан писарь польный, предпочитает в Варшаве сидеть, а пан комендант хрептиевский всегда настороже и так доконал разбойников, что теперь им смерть милее Приднестровья.

– Значит, пана Ржевуского нет в Могилеве? – спросила Бася.

– Он только войска привел, а сам не пробыл здесь и трех дней. Откушайте, ваша вельможность, вот изюм, а вот такие фрукты, каких и в Турции нет, они привезены издалека, из Азии, они растут там на пальмах... Нет пана писаря, и конницы нет, вчера она внезапно ушла в Брацлав... Вот финики, кушайте на здоровье, ваша вельможность. Здесь остался только пан Гоженский с пехотой, а конница ушла.

– Странно, что конница ушла, – сказала Бася, вопросительно взглянув на Азью.

– Лошади застоялись, вот и ушли, – ответил Тугай-беевич, – теперь здесь спокойно.

– В городе говорили, что Дорош вдруг двинулся, – сказал купец. Азья рассмеялся.

– А чем же он будет кормить лошадей? Снегом, что ли? – сказал Азья, обращаясь к Басе.

– Пан Гоженский объяснит вам это лучше меня, – прибавил купец.

– Я тоже думаю, что это вздор, – сказала Бася, подумав. – Если бы что-нибудь случилось, мой муж узнал бы об этом раньше всех.

– Конечно, в Хрептиеве было бы известно прежде всего, – сказал Азья. – Не бойтесь ничего, ваша милость!

Бася подняла на татарина свое светлое личико и, раздув ноздри, сказала:

– Я боюсь? Вот это мне нравится! Откуда это вам в голову взбрело? Слышишь, Эвка? Я боюсь!

Эвка не могла отвечать: от природы она была лакомка и сласти любила больше всего на свете, а потому рот ее был набит финиками, но это не мешало ей жадными глазами глядеть на Азию. Проглотив, наконец, финики, она проговорила:

– С таким офицером и я ничего не боюсь!

И она нежно и многозначительно взглянула в глаза Тугай-беевичу, но он с тех пор, как Эва стала для него помехою, питал к ней затаенное отвращение и гнев. Сохраняя, однако, наружное спокойствие, он опустил глаза и сказал:

– В Рашкове вы увидите, заслуживаю ли я доверия!

В его голосе слышалось что-то почти угрожающее. Но молодые женщины так привыкли, что молодой липок ни речью, ни поступками не походил на остальных людей, что не обратили на это внимания. К тому же Азия стал настаивать на том, чтобы продолжать путь, говоря, что под Могилевом крутые горы, которые надо проехать засветло. И они вскоре двинулись в путь.

Они ехали очень быстро до самых гор. Бася хотела пересесть на лошадь, но Тугай-беевич отговаривал ее, и она осталась с Эвкой. Сани с величайшей осторожностью стали спускаться на арканах. Азия все время шел пешком около саней, но почти не разговаривал ни с Басей, ни с Эвкой, всецело поглощенный заботами об их безопасности.

Солнце, однако, зашло прежде, чем они успели проехать горы, и тогда отряд черемисов, чтобы осветить дорогу, стал разводять огонь из сухих прутьев. Они подвигались среди красных огней и мрачных фигур. За ними в ночном мраке и в полусвете факелов виднелись неопределенные и страшные очертания грозных обрывов. Все это было так ново, так интересно, во всем этом было что-то такое таинственное и опасное, что Бася была на седьмом небе; она в душе благодарила мужа за то, что он разрешил ей ехать в эти неведомые страны, и Азию, который так умело руководил отрядом. Только теперь Бася поняла, что значат эти военные походы, о трудностях которых она так много слышала, что значат эти дороги над бездонными пропастями. Ею овладела безумная веселость. Она непременно бы пересела на своего коня, но очень уж хотелось болтать с Эвкой и пугать ее. На крутых поворотах, когда передовые отряды вдруг исчезали из глаз и перекликались дикими криками, которые повторяло горное эхо, Бася поворачивалась к Эве и, схватив ее за руки, говорила:

– Ого, разбойники или орда!

Но Эвка при воспоминании об Азие, сыне Тугай-бея, сейчас же успокаивалась.

– Его и разбойники, и орда боятся и уважают! – отвечала она. А потом, наклонившись к уху Баси, она добавила:

– Хотя бы в Белгород, хотя бы в Крым, лишь бы только с ним!

Месяц уже высоко выплыл на небо, когда они выехали из гор. Тогда внизу, в долине, словно на дне пропасти, они увидели ряд огоньков.

– Могилев у наших ног, – раздался вдруг чей-то голос позади Баси и Эвки. Они обернулись; это был Азя, он стоял за санями.

– Значит, этот город лежит на дне яра? – спросила Бася.

– Да, горы со всех сторон защищают его от зимних ветров, – сказал Азя, наклоняясь к ним. – Обратите внимание, ваша милость, здесь и воздух другой: сразу стало тише и теплее. Весна здесь наступает десятью днями раньше, чем по ту сторону гор, и деревья раньше распускаются. Вот то, что сереет там на склоне гор, – это виноград, но он еще под снегом.

Снег лежал везде, но, действительно, в глубине яра было тише и теплее. По мере того как они спускались вниз, огоньки появлялись одни за другими, и их было все больше.

– Это какой-то хороший и большой город, – сказала Эвка.

– Это потому, что татары не сожгли его во время крестьянского восстания; здесь зимовали казаки, а ляхов здесь почти никогда не было.

– Кто здесь живет?

– Татары. У них здесь есть деревянный минарет: в Речи Посполитой каждый может исповедовать свою веру. Здесь живут и армяне, и валахи, и греки.

– Греков я в Каменце видела, – сказала Бася. – Хотя они и далеко живут, но торгуют везде.

– Этот город построен совсем не так, как другие, – сказал Азя. – И народ сюда приезжает всякий, больше торговый люд.

– Мы уже въезжаем, – сказала Бася.

И действительно, они въезжали. Станный запах кож и кислот тотчас же бросился им в нос. Это был запах сафьяна, выделкой которого занимались почти все жители Могилева, особенно армяне. Как и говорил Азя, город этот был совсем не похож на другие. Дома были построены на азиатский манер, с маленькими окнами, заслоненными деревянными решетками; во многих домах совсем не было окон на улицу и свет проникал только со двора. Улицы были немощеные, хотя в окрестностях не было недостатка в камне. Кое-где возвышались странные постройки с решетчатыми, прозрачными стенами. Это были сушильни, где из свежего винограда делали изюм. Запах сафьяна наполнял весь город.

Пан Гоженский, начальник пехоты, предупрежденный черемисами о приезде жены хрептивского коменданта, верхом выехал к ней навстречу. Это был уже немолодой человек, заикавшийся и шепелявивший, так как у него было прострелено лицо, поэтому, когда, приветствуя Басю, он стал говорить о «звезде, что взошла на могилевском небосклоне», Бася чуть не фыркнула от смеха. Он принял ее самым радушным образом. В «форталии» их ожидал ужин и удобный ночлег на свежих и новых пуховиках, взятых у самых богатых армян. Хотя пан Гоженский и заикался, но за ужином он рассказывал так много интересного, что его стоило послушать.

По его мнению, со стороны степей вдруг подул какой-то беспокойный ветер.

Пронесся слух, что сильный чамбул крымской орды, стоявший вместе с Дорошем, вдруг двинулся к Гайсину и направился вверх от этого города; вместе с чамбулом двинулись и несколько тысяч казаков. Кроме того, неизвестно откуда проникло еще много других тревожных известий, которым, впрочем, пан Гоженский не придавал никакого значения.

– Теперь зима, – говорил он, – а с тех пор, как Господь Бог создал эту землю, татары отправлялись в поход только весной, ибо у них нет обоза, и они никогда не берут с собой фуража для лошадей, да и брать его не могут. Всем нам известно, что только мороз держит на привязи войну с турками, так что с появлением первой травы у нас будут гости. Но я никогда не поверю, чтобы что-нибудь могло случиться теперь.

Бася терпеливо и долго ждала, пока пан Гоженский окончит свою речь, а он заикался и поминутно шевелил губами, точно что-то жевал.

– Как же вы объясняете, ваша милость, это движение орды к Гайсину?

– Я объясняю это тем, что на том месте, где они стояли, лошади выгребли всю траву из-под снега, и они решили расположиться в другом месте. Быть может, орда, стоя вблизи казаков Дороша, не ладит с ними; ведь это всегда так бывало. Они будто и союзники и сообща воюют, но чуть что, они на пастбище или на базаре сейчас же передерутся.

– Совершенно верно, – сказал Азия.

– И вот что еще, – продолжал Гоженский, – вести эти дошли до нас не прямо через наших загонщиков – привезли их мужики, и татары здешние ни с того ни с сего начали о них говорить. И только три дня тому назад пан Якубович привез из степей лазутчиков, которые эти слухи подтвердили, вот почему наша конница и ушла.

– Значит, вы остались только с пехотой? – спросил Азия.

– Что же делать? И всего-то сорок человек. И защитить нельзя крепости; а если бы татары, что в Могилеве живут, вдруг вздумали подняться на нас, я не знаю, как бы я и защищался.

– Но ведь они не двинутся? – спросила Бася.

– Не подымутся – они не могут. Многие из них постоянно в Речи Посполитой живут с женами и детьми, и эти, конечно, на нашей стороне, а нездешние приехали сюда не воевать, а торговать. Это народ хороший.

– Я вам оставляю пятьдесят человек конницы, моих липков, – сказал Азия.

– Вот за это спасибо! Вы мне окажете большую услугу. Я могу хоть послать кого-нибудь к нашей коннице за известиями... Но можете ли вы оставить их?

– Могу. В Рашков придут отряды тех ротмистров, которые раньше перешли к султану, а теперь хотят вернуться на службу Речи Посполитой. Придет Крычинский с тремя сотнями конницы, а может быть, и Адурович; другие придут позднее. По приказанию гетмана я должен принять над всеми ними начальство, и таким образом к весне соберется целая дивизия.

Пан Гоженский поклонился Азье. Он знал его давно, но прежде он ценил его меньше, как человека сомнительного происхождения. Теперь же он знал уже, что Азия – сын Тугай-бея, ибо эту новость привез первый караван, с которым ехал Навираг. Пан Гоженский чтит теперь в молодом липке кровь великого воина, хотя и врага, чтит офицера, которому гетман поручает такие важные дела.

Азия ушел, чтобы сделать кое-какие распоряжения, и, позвав сотника Давида, сказал ему:

– Давид, сын Скандеров, ты останешься с пятьюдесятью липками в Могилеве, будешь смотреть глазами и слушать ушами, что здесь будет твориться. А если Маленький сокол пришлет какие-нибудь письма, ты посланного удержишь, отнимешь письма и перешлешь их мне с верным человеком. Останешься здесь до тех пор, пока я не прикажу тебе вернуться; и тогда, если мой посланный скажет тебе: «Ночь», ты уйдешь отсюда тихо, а если скажет: «Близок день», то подожжешь город, переправишься на молдавский берег и пойдешь, куда тебе прикажут.

– Ты приказал! – ответил Давид. – Я буду смотреть глазами и слушать ушами; гонцов от Маленького сокола задержу и, отняв письма, перешлю их тебе с нашим человеком. Останусь здесь до тех пор, пока не получу приказания, а если твой гонец скажет: «Ночь», я уйду тихо, а если скажет, что «Близок день», я подожгу город, сам перейду на молдавский берег и пойду туда, куда мне прикажут.

На следующий день, на рассвете, караван, уже без пятидесяти человек, двинулся дальше. Пан Гоженский проводил Басю за могилевский овраг. Там, заикаясь, он сказал прощальное слово и возвратился в Могилев, а они быстро поехали в Ямполь; Азия был очень весел и так гнал людей, что даже удивил Басю.

– Что это вам так к спеху? – спросила она.

– Каждому к спеху достигнуть счастья, а мое счастье начнется в Рашкове.

Эва, приняв эти слова на свой счет, нежно улыбнулась и, собравшись с духом, ответила:

– Но мой отец...

– Пан Нововойский ни в чем мне не помешает, – ответил Азия.

И по лицу его пробежала мрачная тень.

В Ямполье войска почти не оказалось: пехоты там никогда не было, а конница ушла вся; в замке, или, вернее, в его развалинах, осталось лишь десятка два человек... Ночлег был приготовлен, но Бася спала плохо – все эти известия тревожили ее. Особенно думала она о том, как будет беспокоиться маленький рыцарь, когда окажется, что чамбул Дорошенки действительно двинулся в поход, и утешалась она лишь тем, что все это, может быть, неправда. Ей приходило в голову, не взять ли у Азии для безопасности часть его солдат и не вернуться ли назад. Но этому многое мешало. Во-первых, Азия, который должен был увеличить гарнизон в Рашкове, мог дать ей очень немного людей, и в случае действительной опасности стража эта была бы недостаточна; во-вторых, они уже проехали две трети дороги, в Рашкове у них был знакомый офицер и сильный гарнизон; подкрепленный отрядом сына Тугай-бея и отрядами тех ротмистров, он мог составить большую силу... Приняв все это во

внимание, Бася решила ехать дальше.

Но спать она не могла. В первый раз за все время путешествия ею овладело такое беспокойство, точно над нею нависла какая-то опасность. Быть может, на нее отчасти действовал и ночлег в Ямполье, ибо это было место страшное и кровавое. Бася знала про него из рассказов мужа и пана Заглобы. Здесь во времена Хмельницкого стояли главные силы подольских резунов под начальством Бурлая, сюда приводили пленников, продавали их на восточные рынки или же предавали их ужасной смерти; сюда, наконец, весной 1561 года ворвался Станислав Ланцокоронский, воевода брацлавский, во время шумной ярмарки, и учинил такую страшную резню, что память о ней сохранилась по всему побережью Днестра. Всюду над селениями носились кровавые воспоминания, кое-где еще чернелись пепелища; из-за стен полуразрушенного замка, казалось, глядели бледные лица зарезанных казаков и поляков. Бася была отважна, но привидений боялась: ходили слухи, что под самым Ямпольем, при устье Шумиловки и на ближайших днестровских порогах, каждую полночь слышатся плач и стоны, а при свете луны вода алеет, точно она окрашена кровью. Одна мысль об этом наполняла сердце Баси неприятной тревогой. Она невольно прислушивалась, не услышит ли среди ночной тишины плача и стонов. Но слышны были только протяжные оклики часовых. И вот Басе вспомнилась тихая горница в Хрептиеве, муж, пан Заглоба, дружеские лица пана Ненашинца, Мушальского, Мотовилы, Снитко и других, и она в первый раз почувствовала, что она от них далеко, очень далеко, в чужой стороне, и ее охватила такая тоска по Хрептиеву, что ей захотелось плакать.

Она заснула лишь под утро, но сны ее были очень странны. Бурлай, резуны, татары и кровавые картины резни пролетали перед нею, и в этих картинах она постоянно видела лицо Азьи, но это был не настоящий Азья, а не то казак, не то татарин, не то сам Тугай-бей.

Она встала очень рано и была рада, что ночь прошла и кончились тяжелые видения. Остальную часть дороги она решила ехать верхом, во-первых, потому, что ей хотелось движения, во-вторых, чтобы дать возможность Азье и Эвке переговорить наедине. Рашков был близко, и им, должно быть, нужно было посоветоваться о том, как лучше всего открыть все пану Нововойскому и добиться его согласия. Азья подал ей стремя, но сам не сел в сани рядом с Эвой, а сейчас же ускакал к передовому отряду и потом ехал около Баси.

Заметив, что отряд липков опять убавился сравнительно с тем, как они ехали в Ямполь, она спросила молодого татарина:

– Вы и в Ямполье оставили часть своих людей?

– Пятьдесят человек, как и в Могилеве, – ответил Азья.

– Зачем же это?

Он как-то странно улыбнулся: верхняя губа у него поднялась, как у злого пса, который оскаливает зубы; помолчав, он ответил:

– Чтобы держать тамошние команды в своих руках и обеспечить вашей милости безопасность на обратном пути.

– Если конница вернется из степей, то войска и так будет много.

– Войско так скоро не вернется.

– Откуда вы это знаете?

– Они сначала должны хорошенько разузнать, что делается у Дороша, а это у них отнимет три или четыре недели.

– Если так, то вы хорошо сделали, что оставили этих людей. Некоторое время они ехали молча.

Азия ежеминутно поглядывал на розовое личико Баси, полузакрытое поднятым воротником и шапочкой, и каждый раз закрывал глаза, точно хотел лучше запомнить ее прелестный образ.

– Вы должны переговорить с Эвкой, – сказала Бася, снова начиная разговор. – Ее удивляет, что вы так мало с нею говорите. Скоро вы оба предстанете перед паном Нововейским... Я сама начинаю беспокоиться... Вы должны посоветоваться, как вам действовать.

– Я хотел бы раньше поговорить с вашей милостью, – ответил Азия странным голосом.

– Так почему же вы не говорите?

– Я жду гонца из Рашкова... Я думал, что найду его в Ямполье... С минуты на минуту жду!

– А что же общего между гонцом и разговором?

– Вот, кажется, он едет, – сказал молодой татарин, избегая ответа. И он бросился вперед, но минуту спустя вернулся:

– Нет, это не он.

Во всей его фигуре, в его разговоре, во взглядах, в голосе было что-то беспокойное и лихорадочное, и это беспокойство сообщилось и Басе. Но никаких подозрений у нее не было. Тревогу Азии можно было объяснить близостью Рашкова и грозного отца Эвки; но все же Басе было так тяжело, точно дело касалось ее собственной участи.

Приблизившись к саням, она несколько часов ехала около Эвки, разговаривая с ней о Рашкове, о старом и молодом Нововейском, о Зосе Боской и, наконец, о местности, которая становилась все пустынее и страшнее. Правда, вся эта местность была пустынной начиная с самого Хрептиева, но там все же время от времени на горизонте виднелся столб дыма, который указывал на существование какого-нибудь хутора или селения. А здесь не было никаких следов человеческой жизни, и если бы Бася не знала, что едет в Рашков, где живут люди и стоит польский гарнизон, то она могла бы думать, что ее везут в какую-то неизвестную пустыню, в чужую сторону, на край света.

Обозревая окрестность, она невольно удерживала лошадь и вскоре отстала от саней и от отряда. Минуту спустя к ней присоединился и Азия; он хорошо знал местность и указывал ей различные места, встречавшиеся по пути, сообщая ей их названия.

Но это продолжалось недолго, так как земля задымилась. По-видимому, зима в этой южной части страны была мягче, чем в Хрептиево. Правда, и здесь лежало много снега в оврагах, в расщелинах, на краях скал и на холмах, обращенных к северу, но не вся земля была покрыта снегом, местами на ней чернели кустарники, местами блестела влажная увядшая трава. От этой травы поднимался легкий белый пар и расстилался по земле, издали производя впечатление большого озера, широко разлившегося по равнине; потом пар этот поднимался все выше, затемняя солнечный блеск и превращая ясный день в туманный и пасмурный.

– Завтра дождь будет, – сказал Азя.

– Только бы не сегодня. А до Рашкова еще далеко?

Тугай-беевич поглядел на ближайшую, еле заметную среди тумана окрестность и сказал:

– Отсюда уже ближе к Рашкову, чем к Ямполью.

И он глубоко вздохнул, точно с груди у него свалилась большая тяжесть. В ту же минуту со стороны отряда послышался конский топот и какой-то всадник замаячил в тумане.

– Галим. Я узнаю его! – воскликнул Азя.

Действительно, это был Галим: подъехав к Азье и Басе, он соскочил со своего коня и стал бить челом молодому татарину.

– Из Рашкова? – спросил Азя.

– Из Рашкова, господин, – ответил Галим.

– Что там слышно?

Старик поднял свое некрасивое, исхудалое от неслыханных трудов лицо и посмотрел на Басю, точно желая спросить, может ли он говорить при ней; но Тугай-беевич тотчас же сказал:

– Говори смело. Войска ушли?

– Да, господин. Осталась горсточка.

– Кто повел?

– Пан Нововейский.

– А Петровичи уехали в Крым?

– Давно уже. Остались только две женщины и старый пан Нововейский.

– Где Крычинский?

– По ту сторону реки. Ждет.

– Кто с ним?

– Адурович со своим отрядом. Оба они бьют тебе челом, сын Тугай-бея, и отдаются в твое распоряжение, и они, и все те, которые еще не успели приехать.

– Хорошо, – сказал Азия, и глаза его сверкнули. – Ступай к Крычинскому и скажи ему, чтобы они заняли Рашков.

– Воля твоя, господин.

Минуту спустя Галим вскочил на коня и исчез в тумане, как призрак. Лицо Азии горело страшным, зловещим огнем. Настала решительная и давно ожидаемая минута – минута величайшего для него счастья.. Сердце у него так билось, что он с трудом дышал. Некоторое время он ехал молча рядом с Басей и, лишь когда почувствовал, что голос не изменит ему, повернул к ней свои бездонные, блестящие глаза и сказал:

– Теперь я могу говорить откровенно с вашей милостью.

– Слушаю, – ответила Бася, глядя на него пристально, точно желая прочесть что-то в его изменившемся лице.

II

Азия так придвинул свою лошадь к лошади Баси, что стремями задел за ее стремя. Несколько минут он ехал молча. Он старался окончательно успокоиться и удивлялся, почему это спокойствие дается ему с таким трудом, раз Бася уже в его руках и никакая сила не может отнять ее у него. Но он сам не знал, что в его душе, вопреки всякой очевидности, жила слабая надежда, что желанная им женщина ответит ему взаимностью. Но если эта надежда была слаба, то, наоборот, желание, чтобы так случилось, было так сильно, что его трясло, как в лихорадке. Не раскроет желанная объятий, не бросится ему на шею, не скажет ему тех слов, которые грезилась ему по ночам: «Азия, я твоя!» – не прильнет своими устами к его устам, он знал это! Но как примет его слова? Что скажет? Лишится чувств, как голубь в когтях хищника, и позволит схватить себя так, как отдается беззащитный голубь ястребу? Будет со слезами молить его о пощаде или громким криком ужаса огласит пустыню?

Эти вопросы вихрем носились в голове татарина. Но ведь настало время, когда надо сбросить маску лицемерия и показать свое настоящее страшное лицо.

О, этот страх, эта тревога – еще минута, и все исполнится.

Наконец душевная тревога татарина мало-помалу стала сменяться тем, чем она сменяется у дикого зверя: бешенством. И он сам старался разжечь в себе это бешенство. «Что бы ни случилось, – думал он, – она моя, вся моя, моей будет еще сегодня, и завтра, и не вернуться ей к мужу, а всегда и всюду быть со мной!»

При этой мысли его охватила вдруг дикая радость, и он заговорил голосом, который ему самому показался чужим:

– Вы, ваша милость, до сих пор меня не знали!

– В этом тумане так изменился ваш голос, что мне кажется, будто говорит кто-то другой! – несколько тревожно ответила Бася.

– В Могилеве войск нет, в Ямполье нет, в Рашкове нет. Я здесь хозяин... Крычинский, Адурович и все другие – мои рабы, ибо я князь, я сын владыки, я их визирь, я их главный мурза, я их вождь, как Тугай-бей был вождем, я их хан – здесь все в моей власти, у меня одного здесь сила.

– Зачем вы это говорите?

– Ваша милость, вы до сих пор не знали меня... Рашков недалеко... Я хотел быть гетманом татарским, хотел служить Речи Посполитой, но пан Собеский не позволил... Больше я не буду липком, не буду служить под чужим началом, хочу вести свои чамбулы против Дороша или против Речи Посполитой... как вам, ваша милость, будет угодно, как вы прикажете...

– Как я прикажу?.. Азия! Что с тобой?

– То со мной, что здесь все – мои рабы, а я – твой раб! Что мне гетман? Что его разрешения? Скажите одно слово, ваша милость, и я брошу к вашим ногам Аккерман и Добруджу, и те орды, чьи улусы здесь, и те, что кочуют в степи, и те, что здесь расположились зимовать, – все они будут твоими рабами, как я твой раб! Прикажешь, крымского хана послушаюсь и султана и пойду против них войной, буду помогать Речи Посполитой и положу начало новой орде в этих странах, а сам буду ханом над нею... А надо мной будешь ты одна, одной тебе я буду кланяться, у тебя одной молить милосердия и жалости.

Сказав это, он перегнулся к ней в седле, схватил ее, испуганную и как бы оглушенную его словами, и продолжал хриплым голосом:

– Разве ты не видела, что я любил одну тебя... А настрадался я как! Я тебя и так возьму! Ты моя и будешь моею... Здесь никто не вырвет тебя из моих рук... Ты моя, ты моя, моя...

– Иисус, Мария! – воскликнула Бася.

Он так сильно сжимал ее в своих объятиях, точно хотел задушить. Короткое дыхание вырывалось у него из губ, глаза были подернуты мглой. Наконец он стащил ее с седла и, не выпуская из рук, все сильнее прижимал к своей груди, и его посиневшие губы, открытые жадно, словно пасть рыбы, стали искать ее губы.

Бася даже не вскрикнула, но стала сопротивляться с неожиданной силой. Между ними завязалась борьба, и слышалось только их прерывистое дыхание. Резкость движений и близость его лица вернули ей самообладание. Для нее настала минута ясновидения, какая бывает у утопающих. Она сразу со всей отчетливостью все поняла, все почувствовала... Перед нею раскрылась бездонная пропасть, в которую он ее тащил. Она увидела его любовь, его измену, свою ужасную участь, свою беспомощность и бессилие; ее охватила тревога и страшная боль, а вместе с тем в душе вспыхнуло бесконечное негодование, бешенство и жажда мести. Так много мужества было в рыцарской душе этого полурбенка, этой избранницы лучшего рыцаря Речи Посполитой, что даже в такую страшную минуту у нее сначала мелькнула мысль: «Надо отомстить!», а потом уж: «Спаستись!» Все силы ее напряглись, как напрягаются мускулы при подъеме тяжестей – все она видела с той почти нечеловеческой ясностью, с какой видит все утопающий. Руки ее стали искать оружие и, наконец, наткнулись на костяную ручку восточного пистолета. Но в то же время у нее мелькнула совершенно ясная мысль, что если даже пистолет заряжен, если даже она успеет взвести курок, то прежде, чем она повернет дуло к его

голове, он схватит ее за руку и отнимет у нее последнее средство спасения, – и она решила действовать иначе.

Все это продолжалось одно мгновение. Он действительно предвидел ее намерение и с быстротой молнии протянул руку, но не успел рассчитать ее движения, – Бася отчаянным ударом своей молодой и сильной руки попала ему костяной ручкой пистолета прямо между глаз.

Удар был так страшен, что Азия, даже не вскрикнув, свалился с лошади и упал навзничь, увлекая ее за собой при падении.

Бася поднялась и, вскочив на своего коня, с быстротой вихря помчалась в противоположную сторону от Днестра, к широким степям. Густая мгла заслонила ее.

Лошадь, прижав уши, сломя голову мчалась между скал, расщелин, рытвин и оврагов. Каждую минуту она могла свалиться в пропасть и вместе со своей всадницей разбиться о выступы скал, но Бася ни на что не обращала внимания. Самой страшной опасностью для нее были липки и Азия. Странная вещь! Теперь, когда она вырвалась из рук хищника и когда он лежал, по всей вероятности, бездыханный среди скал, Басей овладела тревога: прильнув лицом к гриве лошади и мчась в тумане, как серна, преследуемая волками, она теперь больше боялась Азии, чем в то время, когда была в его объятиях. Она чувствовала ужас, чувствовала то, что чувствует беспомощный заблудившийся ребенок. И из груди ее вырывались жалобные стоны, полные ужаса и отчаяния:

– Михал, спаси... Михал, спаси...

И лошадь мчалась и мчалась; руководимая каким-то чудесным инстинктом, она перескакивала через овраги, ловкими движениями огибала остроконечные выступы скал, и наконец, копыта ее перестали стучать о каменистую почву: очевидно, она попала на один из лугов, которые тянулись между ярами.

Лошадь была вся в пене; дышала хрипло, но все же бежала.

«Куда спасаться?» – подумала Бася.

И в ту же минуту ответила:

«В Хрептиев!»

Тревога снова охватила ее при мысли о далеком пути через страшные пустыни. Она сейчас же вспомнила, что Азия оставил отряды липков в Могилеве и в Ямполье. Очевидно, все липки были в заговоре, все служили Азие, и, несомненно, схватили бы ее и отвезли в Рашков; оставалось углубиться в степь и тотчас же свернуть на север, минуя приднестровские поселки.

Поступить так надо было еще потому, что если будет погоня, то она, конечно, будет по берегу Днестра, между тем как в степи можно будет встретить один из польских отрядов, возвращающихся в крепость.

Лошадь скакала все тише.

Бася, как опытный ездок, тотчас же поняла, что нужно дать ей отдохнуть, иначе она может пасть. Она знала и то, что в этих пустынях остаться без лошади –

значит погибнуть.

Бася сдержала лошадь и некоторое время ехала шагом. Мгла редела, но с несчастной лошади пар валил столбом.

Бася начала молиться.

Вдруг в нескольких сотнях шагов раздалось во мгле конское ржанье.

Волосы дыбом встали у нее на голове.

– Падет мой конь, но и те падут! – сказала она громко и опять помчалась.

Некоторое время лошадь ее мчалась, как голубь, преследуемый ястребом. Она скакала долго, выбиваясь из последних сил; но ржанье все слышалось вдали. В этом ржанье, доносившемся из тумана, было что-то жалобное и вместе с тем грозное. Но после первой минуты испуга Басе пришло в голову, что если бы на той лошади кто-нибудь сидел, то лошадь бы не ржала, так как ездок, чтобы не выдать себя, заставил бы ее замолчать.

«Это не иначе как лошадь Азыи бежит за мной», – подумала Бася.

Для безопасности она вынула из кобуры оба пистолета, но эта предосторожность оказалась излишней. Вскоре что-то зачернело во мгле, и лошадь Азыи подбежала с развевающейся гривой и раздутыми ноздрями. Увидав Васиного коня, она стала мчаться к нему веселыми скачками, с коротким ржаньем, на которое конь Баси тотчас же ответил.

– Лош! Лош! – воскликнула Бася.

Прирученное животное подошло к Басе и позволило схватить себя за узду. Бася подняла глаза к небу и сказала:

– Господне попечение!

И действительно, лошадь Азыи являлась для Баси обстоятельством необычайно важным. Во-первых, две лучшие во всем отряде лошади были у нее в руках; во-вторых, у нее была лошадь на смену; наконец, появление ее служило доказательством того, что погоня за нею отправится не скоро. Если бы лошадь Азыи побежала за отрядом, то липки, встревоженные его исчезновением, тотчас отправились бы искать своего вождя; теперь же им и в голову не могло прийти, что с Азыей что-нибудь случилось, и если они отправятся на розыски, то только тогда, когда его слишком долгое отсутствие их встревожит.

– А тогда я буду уже далеко, – подумала Бася.

Она опять вспомнила, что отряды Азыи стоят в Ямполе и Могилеве.

– Надо ехать степью и не приближаться к реке до самых окрестностей Хрептиева. Хитро расставил свои сети этот страшный человек, но Бог спасет меня!

Эта мысль ободрила ее, и она начала готовиться в дальнейший путь. У седла Азыи она нашла мушкет, рог с порохом, мешок с пулями и мешочек с конопляным семенем, которое татарин постоянно грыз. Укорачивая стремяна по своей ноге, Бася решила,

что она, как птица, будет питаться этим семенем, и старательно спрятала его.

Она решила избегать людей и объезжать хутора, ибо в этой пустыне от людей можно скорее ожидать зла, чем добра. Сердце ее сжималось при мысли, чем она будет кормить лошадей. Они будут выгребать из-под снега траву и выщипывать мох из трещин в скалах. А что, если они околеют от дурной травы и от утомления? Ведь она не могла их щадить.

Другая причина ее беспокойства заключалась в том, как бы ей не заблудиться в пустыне. Держась берега Днестра, легче будет не заблудиться, но держать этот путь она не могла. Что будет, когда ей придется ехать по громадным, мрачным лесам, безо всяких следов дороги? Как ей узнать, едет ли она на север или в другую сторону, если дни будут туманные, бессолнечные, а ночи беззвездные? О том, что в пущах было много диких зверей, она не думала, она от природы была отважна, и, кроме того, у нее было оружие. Правда, опасно было наткнуться на стаю волков, но она боялась больше людей, чем диких зверей. А больше всего она боялась заблудиться.

– Ну! Бог укажет мне дорогу и позволит вернуться к Михалу! – сказала она громко.

И, перекрестившись, она рукавом стерла с лица иней, который покрыл ее побледневшие щеки; затем она внимательно осмотрелась кругом и пустила лошадей вскачь.

III

Сына Тугай-бея никто и не думал искать, и он лежал в пустынном месте, пока не пришел в себя.

Очнувшись, он сел и, не понимая, что с ним приключилось, начал осматриваться кругом.

Он видел все как будто в тени; наконец он убедился, что видит только одним глазом, да и то плохо. Другой глаз был или выбит, или залит кровью.

Азия дотронулся до лица. Его пальцы наткнулись на сгустки запекшейся крови на усах; рот тоже был полон крови, она душила его так, что ему приходилось несколько раз ее отплевывать, причем он испытывал невыносимую боль в лице. Он осторожно дотронулся до лица над усами, но тотчас же со стоном отнял руку.

Удар, нанесенный Басей, раздробил часть носовой кости и повредил скулу.

С минуту он просидел без движения, затем глазом, который кое-что видел, заметил в расщелине скалы немного снега, подполз к нему, набрал полную горсть и приложил к ране.

Это принесло ему огромное облегчение, и, когда снег начал таять и, смешавшись с кровью, стекал ручьями с усов, он набирал новые пригоршни снега и опять прикладывал. Кроме того, он глотал снег, и это тоже приносило ему облегчение. Вскоре тяжесть, которую он ощущал в голове, настолько уменьшилась, что Азия вспомнил все, что случилось. Но в первую минуту он не чувствовал ни гнева, ни бешенства, ни отчаяния. Физическая боль заглушила все другие чувства; у него было только одно желание – как-нибудь от нее избавиться.

Проглотив еще несколько пригоршней снега, Азия стал искать глазами своего коня,

но его не было. Тогда он понял, что если он не захочет ждать, пока придут липки, то ему придется идти пешком.

Упершись руками в землю, он пытался встать, но только завыл от боли и опять сел.

Просидел он около часа и опять попытался приподняться. На этот раз это удалось ему настолько, что он встал и, опершись спиной о скалу, удержался на ногах; но когда он подумал, что ему придется лишиться опоры и сделать шаг, потом другой и третий и идти по пустынной местности, страх и бессилие сковали его члены, он чуть было опять не сел на землю. Однако он пересилил себя, вынул саблю и, опираясь на нее, двинулся вперед. Это ему удалось. Сделав несколько шагов, он почувствовал, что ноги и все тело здоровы, что он может ими владеть свободно, и только голова, точно огромная гиря, качающаяся то вправо, то влево, то вперед, то назад, мешает ему идти. У него было ощущение, точно эту тяжелую качающуюся голову он несет с величайшей осторожностью, боясь уронить ее и разбить о камни.

Иной раз эта голова точно поворачивала его самого, как будто ей хотелось водить его вокруг да около. Временами у него темнело в единственном глазу, тогда он опирался обеими руками на саблю.

Головокружение мало-помалу проходило, зато боль усиливалась: кололо в глазах, в висках, во всей голове, и тяжелые стоны вырывались из груди Азыи.

И эти громкие стоны повторяло эхо в скалах, а он шел в этой пустыне, окровавленный, страшный, скорее похожий на привидение, чем на живого человека.

Уже смеркалось, когда он услышал впереди конский топот.

Это был липковский десятник, приехавший к нему за приказаниями.

У Азыи в этот вечер хватило еще сил распорядиться насчет погони, но потом он тотчас повалился на шкуры и в продолжение трех дней не мог никого видеть, за исключением грека цирюльника, который за ним ходил, и Галима, помогавшего цирюльнику. Только на четвертый день он мог уже говорить и вместе с тем вспомнил все, что произошло.

И тотчас лихорадочные мысли его устремились за Басей. Он представил себе, как она скачет через скалы, через пустыни; она казалась ему птичкой, улетающей навсегда; он видел ее возвращающейся в Хрептиев, видел ее в объятиях мужа, и боль, которая пронизывала его при этих мыслях, была мучительнее самой раны; и к этой боли примешивалось отчаяние и стыд за понесенное поражение.

– Убежала, убежала! – твердил он, и им овладевало такое бешенство, что минутами казалось, будто он опять лишится сознания. «Горе!» – отвечал он Галиму, когда тот старался его успокоить, уверяя, что Бася не может уйти от погони. Азыя сбрасывал с себя кожи, которыми покрывал его старый татарин, грозился ножом ему и цирюльнику, выл, как дикий зверь, вскакивал, чтобы бежать за нею, схватить ее и от гнева и дикой любви задушить собственными руками.

Временами он бредил в жару: звал Галима и приказывал ему принести голову маленького рыцаря, а жену его запереть рядом в чулан.

Порой он разговаривал с нею, молил, угрожал, протягивал руки, чтобы прижать ее к своей груди. Наконец впал в глубокий сон и проспал целые сутки. Зато, когда он

проснулся, жар прекратился, и он мог видаться с Крычинским и Адуровичем.

А им необходимо было с ним переговорить, потому что они сами не знали, что им делать. Хотя войско, которое ушло под началом молодого Нововейского, должно было вернуться не раньше чем через две недели, но какое-нибудь непредвиденное обстоятельство могло ускорить возвращение войска, и надо было знать, что делать тогда. В сущности, и Крычинский, и Адурович только притворялись, что хотят вернуться на службу Речи Посполитой. Они знали оба, что, в конце концов, и Азия хочет изменить Речи Посполитой, но предполагали, что он им прикажет скрывать эту измену, хотя бы до начала войны, чтобы извлечь из этой измены как можно больше выгоды. Кроме того, его указания были для них вместе с тем и приказаниями, ибо он был их главным вождем, главою всего дела, как человек самый хитрый, самый влиятельный, наконец, как сын Тугай-бея, воина, известного всем татарским ордам. Они поспешно подошли к Азии и стали бить ему поклоны. Азия был уже почти здоров и чувствовал только слабость. Он поздоровался с ними и тотчас же заявил им:

– Я болен. Женщина, которую я хотел похитить и оставить у себя, бежала, ранив меня ручкой пистолета. Это была жена коменданта Володыевского. Пусть чума поразит его и весь род его!

– Да будет так, как ты сказал! – ответили ротмистры.

– Да пошлет вам Бог счастья и успеха!

– И тебе, господин!

Потом они заговорили о том, что им делать.

– Нельзя медлить ни одной минуты и надо сейчас же переходить на службу к султану, – сказал Азия. – После происшествия с той женщиной они нам верить не будут и нападут на нас. Но раньше мы нападём на них, сожжём город во славу Божью. А ту горсть солдат, которая здесь осталась, мы возьмём в плен, жителей – подданных Речи Посполитой – тоже возьмём в плен, все добро валахов, армян и греков отнимем и поделимся и тотчас же уйдём за Днестр, в султанские земли.

У Крычинского и Адуровича, которые с давних пор кочевали с самыми дикими ордами и занимались грабежом, а потому совершенно одичали, засверкали глаза.

– Благодаря тебе, – сказал Крычинский, – нас впустили в этот город, а теперь сам Бог передает его в наши руки.

– Нововейский вам препятствий не ставил? – спросил Азия.

– Нововейский знал, что мы переходим на службу Речи Посполитой и что ты едешь сюда, чтобы соединиться с нами, – он считает нас своими, как и тебя считает своим!

– Мы стояли на молдавской стороне, – прибавил Адурович, – но оба с Крычинским ездили к нему в гости. Он принимал нас как шляхтичей и говорил так: «Своим теперешним поступком вы загладите ваши прежние грехи, а так как гетман, вследствие поручительства Азии, вас прощает, то и мне нечего на вас коситься». Он даже хотел, чтобы мы расположились в городе, но мы сказали: «Мы этого не сделаем, пока Азия не привезет нам разрешения от гетмана...» Тем не менее перед уходом он устроил пир в нашу честь и просил охранять город.

– Мы на этом пиру видели его отца и еще одну старуху, которая ждет мужа из плена, видели и ту панну, на которой Нововейский задумал жениться, – прибавил Крычинский.

– А! – сказал Азыя. – Я и забыл, что все они здесь. А панну Нововейскую я привез.

И он захлопал в ладоши. Когда появился Галим, он сказал ему:

– Как только мои липки заметят пожар в городе, пусть немедленно ударят на оставшихся в крепости солдат и всех перережут; женщин же и старого шляхтича пусть свяжут и стерегут, пока я не дам им приказания.

Сказав это, он обратился к Крычинскому и Адуровичу:

– Сам я слаб и помогать вам не буду, но сяду на коня, чтобы хоть поглядеть. А вы, товарищи, начинайте, начинайте!

Крычинский и Адурович бросились к выходу. Он вышел следом за ними и, приказав подать себе лошадь, поехал к частоколу, чтобы с крепостных ворот посмотреть, что произойдет в городе.

Многие липки тоже взобрались на крепостную ограду, чтобы полюбоваться зрелищем резни. Те солдаты Нововейского, которые не ушли в степь, увидав, что липки взбираются на крепостной вал, и думая, что в городе случилось что-нибудь такое, на что стоит посмотреть, тотчас смешались с ними, ничего не подозревая. Впрочем, пехотинцев здесь было не более двадцати человек, остальные сидели по шинкам.

Между тем отряды Адуровича и Крычинского мгновенно рассыпались по городу. Эти отряды почти исключительно состояли из черемисов и липков, то есть из бывших жителей Речи Посполитой, главным образом шляхты; но они уже покинули родину и за время долгих скитаний так одичали, что нисколько не отличались от татар. Их прежние жупаны изорвались, и почти все они были одеты в бараньи тулупы, мехом наружу, надетые прямо на голое тело, почерневшее от степных ветров и дыма костров. И только оружие у них было лучше, чем у диких татар: у всех были сабли, луки, а у многих самопалы. Лица их были полны жестокости и жажды крови, как и лица добруджских, белгородских и крымских татар. Теперь, рассыпавшись по городу, они стали бегать в разных направлениях с пронзительным криком, словно желая этим криком подстрекнуть друг друга к грабежу и резне. И хотя многие из них, по татарскому обычаю, держали уже лезвие ножей в зубах, население города, состоявшее, как и в Ямполе, из валахов, армян, греков и частью из татар-купцов, смотрело на них без всякого подозрения. Лавки были открыты, купцы с четками в руках сидели, по турецкому обычаю, перед лавками. Крики липков возбудили только их любопытство: они думали, что татары готовятся к какой-то военной потехе.

Вдруг на углах рынка показались столбы дыма, в толпе липков раздался такой пронзительный вой, что страх охватил всех валахов, армян, греков, их жен и детей.

В тот же миг целый ливень стрел хлынул в мирных жителей; их крики, стук наскоро запираемых дверей и ставней смешались с топотом коней и воем грабителей. Рынок заволкло дымом. Со всех сторон послышались крики: «Пожар! Пожар!» В то же время татары стали врываться в лавки, в дома, выволакивать за волосы испуганных

женщин, вытаскивать на улицу домашнюю утварь, выбрасывать сафьян и другие товары и даже перины, из которых пух поднимался кверху облаками. Раздались стоны убиваемых мужчин, рыдания, вой собак и рев скота на задворках, охваченных пожаром. Красные языки пламени были видны даже днем на фоне черных клубов дыма и все выше и выше взвивались к небу.

В крепости конница Азыи набросилась на безоружных пехотинцев.

Здесь почти не было борьбы. Десятки ножей вонзились в грудь каждого поляка; потом им отрезали головы и сложили их у копыт Азыева коня.

Тугай-беевич разрешил почти всем липкам принять участие в кровавом деле товарищей: сам он стоял и смотрел.

Дым заслонял дело рук Крычинского и Адуровича, но запах гари доходил до самой крепости. Город горел, как громадный костер. Иной раз в дыму слышались выстрелы, как удары грома в тучах, порой мелькала фигура бегущего человека, за которым гнались липки.

Азыя все стоял и смотрел. Сердце его было полно радости, жестокая улыбка искривляла его губы, из-под которых блестели его белые зубы; и улыбка эта была тем страшнее, что лицо Азыи кривилось от боли. Но сердце Азыи было полно еще и гордостью: он сбросил тяжелую маску притворства и в первый раз дал волю своей ненависти, которую он таил в течение долгих лет. Теперь он чувствовал, что он настоящий Азыя, сын Тугай-бея.

Но в то же время его охватило отчаяние, что Бася не видит этого пожара, этой резни, что она не видит его, его новой работы. Он любил ее, но вместе с тем его мучила дикая жажда мести. «Она стояла бы вот тут, рядом, – думал он, – я держал бы ее за волосы, а потом я бы зацеловал ее, и она была бы моей, моей, моей... невольницей...»

И от крайнего отчаяния его удерживала только надежда, что отряды, посланные в погоню, или его липки, оставленные по дороге, привезут ее обратно. Он ухватился за эту надежду, как утопающий за соломинку, и она ободряла его. Он не мог свыкнуться с мыслью, что потерял ее, слишком долго думал он о той минуте, когда, наконец, овладеет ею.

Он стоял у ворот, пока не кончилась резня и не утих город. Все это произошло очень скоро: в отрядах Адуровича и Крычинского было почти столько же человек, сколько жителей в городе, и стоны стихли раньше, чем кончился пожар, который не прекращался до вечера. Азыя слез с коня и тихим шагом направился в большую избу, посредине которой для него были разостланы бараньи шкуры; он сел на них и стал ждать возвращения обоих ротмистров.

Вскоре пришли и они, с ними и сотники. Все лица дышали радостью: добыча превзошла их ожидания. Со времени крестьянского восстания город очень разбогател. В плен было взято около ста молодых женщин и множество детей лет десяти, которых можно было выгодно продать на восточных рынках. Мужчин, старух и маленьких детей, как неспособных выдержать дальнюю дорогу, убили. Руки липков дымились кровью, а их тулупы были пропитаны запахом гари. Все уселось около Азыи, и Крычинский сказал:

– После нас останется только куча пепла... Прежде чем вернуться команды, мы могли

бы пойти на Ямполь, там добычи, пожалуй, больше, чем в Рашкове.

– Нет, – ответил Тугай-беевич, – в Ямполье мои люди подождут город, а нам пора в земли хана и султана.

– Как прикажешь! Мы вернемся со славой и добычей! – воскликнули ротмистры и сотники.

– Здесь, в крепости, есть еще женщины и старый шляхтич, – сказал Азя, – надо его наградить по заслугам.

Сказав это, он захлопал в ладоши и велел привести пленников. Их привели тотчас: пани Боскую, всю в слезах, Зою, бледную, как полотно, Эвку и пана Нововейского; у Нововейского были связаны руки и ноги. Все были охвачены ужасом и все были поражены тем, что случилось; все это было для них непонятно. Одна только Эвка терялась в догадках, что случилось с пани Володыевской, почему до сих пор не показывался Азя, почему в городе произошла резня, а их самих связали, как невольников. Она подозревала, что причиной всего этого было желание Азии похитить ее. Она думала, что Азя обезумел от любви к ней и из гордости, не желая просить ее руки у отца, решил взять ее силой и похитить ее. Все это было страшно, но Эвка по крайней мере не дрожала за свою жизнь.

Приведенные пленники не узнали Азии: лицо его было закрыто повязкой. Но еще больший ужас овладел женщинами, ибо в первую минуту они думали, что дикие татары каким-то непонятным образом разбили отряд липков и овладели Рашковым. И только, увидав Адуровича и Крычинского, они Убедились, что находятся в руках липков.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, наконец старый пан Нововейский заговорил неуверенным, но громким голосом:

– В чьих мы руках?

Азя стал снимать с головы повязку, и вскоре они увидели его лицо, столь красивое когда-то, хотя и дикое, а теперь обезображенное навсегда: со сломанным носом и с черным пятном вместо глаза, с выражением холодной мести и улыбкой, похожей на болезненную судорогу. Лицо это было страшно. Он с минуту молчал, потом впился горящими глазами в старого шляхтича и сказал:

– В моих руках, в руках сына Тугай-бея!

Но старый Нововейский узнал его прежде, чем он назвал себя, узнала его и Эвка, и сердце ее сжалось от ужаса и отвращения при виде этого обезображенного лица.

Девушка закрыла лицо руками, а шляхтич разинул рот и от изумления заморгал глазами.

– Азя! Азя! – повторял он.

– Которого вы воспитали, для которого вы были отцом и у которого под вашей отцовской рукой спина обливалась кровью.

У шляхтича лицо побагровело.

– Изменник! – сказал он. – Перед судом ты ответишь за все свои дела... Змея... У

меня есть еще сын!

– И есть дочь, – подхватил Азия, – за которую вы меня избили плетью. А теперь эту вашу дочь я подарю самому последнему ордынцу, чтобы она была его рабыней и наложницей.

– Вождь, подари ее мне! – воскликнул вдруг Адурович.

– Азия! Азия! Я тебя всегда... – крикнула Эвка, бросаясь ему в ноги. Но Азия оттолкнул ее ногой, а Адурович схватил ее за руки и потащил к себе по полу. Пан Нововойский посинел; от страшного напряжения веревки затрещали у него на руках, из горла вырывались какие-то непонятные звуки. Азия привстал со шкур и стал приближаться к нему сначала медленно, потом все быстрее, как дикий зверь, бросающийся на добычу. Подойдя вплотную, он схватил его скорченными пальцами худощавой руки за усы, а другой без милосердия стал бить его по лицу и по голове. Хриплый крик вырвался из его горла, и наконец, когда шляхтич упал на землю, Тугай-беевич уперся коленкой ему в грудь, и в полумраке комнаты сверкнуло лезвие ножа...

– Милосердия! Помогите! – кричала Эвка.

Но Адурович ударил ее по голове, а потом своей широкой ладонью зажал ей рот; Азия между тем резал горло пану Нововойскому.

Это зрелище было так страшно, что даже липковским десятникам стало жутко. Азия с рассчитанной жестокостью медленно водил ножом по горлу несчастного шляхтича, который ужасно стонал и хрипел. Из перерезанных жил кровь била ключом все сильнее на руку убийцы и ручьями стекала на пол. Наконец хрипение мало-помалу стало стихать, и только воздух свистел из перерезанной гортани, а ноги умирающего конвульсивно подергивались. Азия встал.

Глаза его остановились на бледном и нежном личике Зоей Боской, которая казалась мертвой, – она была без чувств и повисла на руке поддерживающего ее липка.

– Эту девушку я оставляю себе, пока не подарю ее кому-нибудь или не продам! – сказал Азия.

Потом он обратился к татарам:

– А теперь, как только вернется погоня, мы отправимся в турецкую землю.

Погоня вернулась через два дня, но с пустыми руками. С отчаянием и бешенством в сердце ушел Тугай-беевич в турецкую землю, оставляя на своем пути кучи голубовато-серого пепла.

IV

Десять-двенадцать украинских миль разделяло те города, через которые Басе пришлось проехать из Хрептиева в Рашков, другими словами, путь по берегу Днестра равнялся тридцати милям. Правда, с каждого ночлега они выезжали еще до рассвета и останавливались только поздней ночью, но все же весь поход вместе с остановками, затруднительными переправами и переездами был совершен ими в три дня. Такая скорость передвижения войск по тогдашним временам была редкостью и вызывалась только необходимостью. Приняв все это во внимание, Бася рассчитала, что обратный путь в Хрептиев должен отнять у нее еще меньше времени, тем более

что она ехала верхом, спасаясь бегством, и что от быстроты езды зависело ее спасение.

Но в первый же день она убедилась, что ошибается: не имея возможности ехать по берегу Днестра, она должна была кружить по степи, что значительно удлиняло дорогу. Вдобавок она могла заблудиться, и это было очень возможно; она могла натолкнуться на растаявшие реки, на непроходимые лесные чащи, на болота, не замерзающие даже зимою, на препятствия со стороны людей и зверей. И потому, хотя она решила ехать и днем, и ночью, но все же, как она ни крепилась, ей пришлось сознаться, что даже в случае успеха одному только Богу известно, когда она придет в Хрептивев. Ей удалось вырваться из рук Азии, но что будет дальше? Несомненно, все было лучше этих отвратительных объятий, но при мысли, что ее ждет, кровь холодела в жилах.

И вот ей сейчас же пришло в голову, что если она будет беречь лошадей, то погоня настигнет ее. Липки прекрасно знали эту степь, и укрыться в ней от погони было невыносимо. Они ведь целыми днями гонялись за татарами по их следам, даже весной и летом, когда лошадиные копыта не оставляют следов на снегу или на намоченной земле. Степь была для них открытой книгой, в которой они без труда читали; они все видели в степи, как орлы; умели выслеживать все, как гончие, вся их жизнь проходила в погонях. Напрасно татары и шли иной раз водой, чтобы не оставлять за собой следов: загонщики – казаки, липки, черемисы и поляки – умели их находить везде, никакие увертки не помогали татарам, загонщики нападали на них так, точно вырастали из-под земли. Как убежать от такой погони? Остается одно: убежать так далеко, чтобы само расстояние сделало погоню невозможной. Но в таком случае могут пасть лошади.

«И наверное падут, если будут идти так, как шли до сих пор», – с ужасом думала Бася, глядя на их взмыленные, дымящиеся бока. Порой она сдерживала лошадей и начинала прислушиваться; и тогда в каждом порыве ветра, в шорохе сухих листьев, в шуме ветвей, в хлопанье крыльев пролетевшей птицы, даже в пустынной тишине, которая звенела в ушах, Басе чудилась погоня. Объятая ужасом, она снова гнала лошадей и неслась с бешеной быстротой, пока храпение лошадей не заставляло ее замедлять ход: продолжать так скакать было невозможно.

Тяжесть одиночества и бессилия давила ее все сильнее. Она чувствовала себя всеми покинутой, и какая-то невыразимая горечь, обида на всех людей, даже самых близких ей и дорогих, наполняла ее сердце. Все ее покинули... Потом ей пришло в голову, что, вероятно, Бог карает ее за ее жажду приключений, за ее желание участвовать во всех походах, иной раз даже вопреки желанию мужа, – карает за ее легкомыслие. Подумав так, Бася расплакалась и, подняв глаза к небу, она, всхлипывая, повторяла:

– Боже, накажи, но не оставь меня! Михала не карай! Михал не повинен!

Между тем наступала ночь, а с нею холод и темень, неуверенность и тревога. Предметы кругом принимали какие-то расплывчатые очертания, и в то же время они как будто таинственно оживали и, притаившись, подстерегали ее.

Неровности на верхушках скал казались какими-то головами, в остроконечных или круглых шапках, которые выглядывают из-за огромных стен и смотрят, кто проезжает там, внизу. В колеблемых ветром ветвях деревьев было что-то похожее на человеческие движения: одни из них кивали Басе, точно маня ее к себе, чтобы сообщить ей какую-то страшную тайну, другие словно предостерегали ее и говорили:

«Не приближайся». Стволы деревьев, вырванных с корнем, казались ей какими-то чудовищами, готовящимися к прыжку. Бася была отважна, очень отважна, но, как и все люди того времени, суеверна. И когда стемнело, волосы дыбом поднялись у нее на голове и мурашки пробежали по коже при одной мысли о нечистой силе, которая могла бродить в этой стране. Она особенно боялась упырей. Вера в них была очень распространена в приднестровских странах, благодаря близкому соседству с Молдавией, – и особенно дурной славой пользовались окрестности Ямполя и Рашкова. Так много людей умирало здесь внезапной смертью, без покаяния и отпущения грехов... Басе припомнились все рассказы, слышанные по вечерам в Хрептиево от рыцарей: о бездонных долинах, где при каждом порыве ветра слышались крики: «Господи! Господи!», о блуждающих огоньках, в которых что-то хрипело, о смеющихся скалах, о бледных детях-«сосунах» с зелеными глазами и чудовищной головой, которые просили, чтобы посадить их на лошадь, а когда их сажали, то они начинали сосать кровь. Наконец, о головах без туловищ, ходящих на паучьих ножках, и о самых страшных из них: о взрослых упырях, или, как их называли валахи, «бруколаках», которые бросались на людей.

Бася крестилась и продолжала креститься до тех пор, пока у нее не уставала рука: тогда она читала молитвы, ибо это было единственное средство против нечистой силы. И только лошади приободряли ее; они не выказывали никакого страха и фыркали резво. По временам Бася хлопала рукой по спине своего коня, словно желая убедиться, что она находится в мире действительности.

Ночь, поначалу очень темная, мало-помалу светлела, и наконец сквозь редящий туман проглянули звезды. Для Баси это было большое счастье: во-первых, страх ее уменьшился, во-вторых, глядя на Большую Медведицу, она могла направиться с севера, то есть в сторону Хрептиева. Вглядевшись в окрестность, она решила, что уже значительно отдалилась от Днестра, так как здесь было меньше скал и больше холмов, поросших дубняком, и чаще попадались обширные равнины.

То и дело приходилось ей переезжать через овраги, и она спускалась в них всегда со страхом: в них было очень темно и пронизывал холод. Некоторые овраги приходилось объезжать, – спуск был слишком крут, и это замедляло дорогу и отнимало много времени. Но хуже всего было, когда приходилось проезжать через речки и ручьи, которые целой сетью текли с востока к Днестру. Все они уже оттаяли, и лошади пугались, храпели, входя ночью в воду и не зная ее глубины. Бася переправлялась только в тех местах, где отлогий берег давал возможность предположить, что там мелко. В большинстве случаев так и бывало; но в некоторых переправах вода доходила лошадям до брюха, тогда Бася, по примеру солдат, становилась на колени на седло и держалась руками за переднюю луку, стараясь не замочить ног. Но это не всегда ей удавалось, и вскоре она стала ощущать невыносимый холод от ступни до колен.

– Даст Бог, настанет день, я поеду быстрее! – ежеминутно повторяла она.

Наконец она выехала на широкую равнину, поросшую редким лесом, и, заметив, что лошади еле передвигают ноги, остановилась отдохнуть. Обе лошади тотчас же опустили головы к земле и стали жадно щипать мох и прошлогоднюю траву. В лесу было совсем тихо, тишину нарушало только громкое дыхание лошадей и хруст травы в их мощных челюстях.

Утолив голод, или, вернее, обманув его, лошади, по-видимому, имели желание поваляться, но Бася не могла им этого позволить: она боялась даже опустить подпруги и сойти на землю, чтобы каждую минуту быть готовой к дальнейшему

бегству.

Она пересела все же на лошадь Азыи, чтобы дать отдых своему коню, который нес ее с последней остановки; хотя он был благородной крови, но не так вынослив, как скакун Азыи.

Жажда, которую Бася утоляла несколько раз при переправах, теперь сменилась голодом, и она принялась за те семена, мешочек с которыми она нашла у седла Азыи. Семена показались ей очень вкусными, хотя и горьковатыми, и она ела, благодаря Бога за это неожиданное подкрепление.

Но она ела экономно, с расчетом, чтобы ей хватило до Хрептиева. Потом ее стало неодолимо клонить ко сну, веки слипались; с тех пор как движения лошадей перестали ее согревать, она стала ощущать сильный холод; ноги совсем ооченели, во всем теле она чувствовала страшную усталость, особенно в спине и в руках, которые у нее после борьбы с Азыей совсем онемели. Она чувствовала сильную слабость и закрыла глаза.

Но минуту спустя она открыла их со страшным усилием.

«Нет, лучше засну днем во время езды, – подумала она, – если я теперь засну, то замерзну...»

Но мысли ее путались, скакали: ей представлялись беспорядочные образы, в которых пуща, бегство и погоня, Азыя, маленький рыцарь, Эвка и последние приключения перемешивались не то наяву, не то в полусне. Все это куда-то бежало вперед, как бежит волна, гонимая ветром, а она, Бася, бежала вместе с ними без страха, без радости, словно по уговору. Азыя как будто гнался за ней, но в то же время и разговаривал с ней и беспокоился за лошадей; пан Заглоба сердился, что ужин остынет; Михал указывал дорогу, а Эвка ехала за ними в санях и ела финики.

Потом эти образы стали ступешиваться, точно их поволакивала туманная пелена, и постепенно исчезали: остался только какой-то странный непроницаемый мрак, который казался ей огромной пустыней, уходящей в бесконечную даль. Этот мрак проникал всюду, проник, наконец, и в голову Баси и погасил все эти видения, все мысли, как ветер гасит факелы, горящие ночью на открытом воздухе.

Бася заснула, но, к счастью, прежде чем холод успел заморозить ее кровь в жилах, какой-то необыкновенный шум разбудил ее. Лошади вдруг рванулись, очевидно, в пуще случилось что-то необыкновенное.

Бася в одну минуту очнулась, схватила мушкет Азыи и, наклонившись вперед, стала внимательно прислушиваться. У нее была такая натура, что всякая опасность в одно мгновение пробуждала в ней чуткость, отвагу и готовность к борьбе. Но на этот раз, прислушавшись внимательно, она тотчас успокоилась. Звуки, разбудившие ее, оказались хрюканьем диких кабанов. Волки ли подбирались к ним, или кабаны грызлись между собой из-за самок, только вся пуща огласилась их ревом. Шум этот, вероятно, доходил издали, но среди ночной тиши и глубокого покоя все казалось так близко, что Бася слышала не только визг и хрюканье, но и громкий свист, выходящий из ноздрей животных при учащенном дыхании. Вдруг послышался топот и треск ломаемых ветвей, и целое стадо, которого Бася так и не увидела, пронеслось вблизи ее и скрылось в глубине пущи.

А в неисправимой Басе, несмотря на весь ужас ее положения, на одно мгновение

проснулась охотничья жилка, и ей стало досадно, что она не видала пробежавшего мимо стада.

«Хоть бы взглянуть немного, – подумала она. – Ну ничего! В лесах я еще не то увижу...»

Но тут она вспомнила, что ей лучше ничего не видеть, а как можно скорей спастись бегством; и она тронулась в дальнейший путь.

Оставаться дольше нельзя было еще и потому, что холод пронизывал ее всю, а движения лошадей согревали, сравнительно мало утомляя. Но зато лошади, которые успели лишь пощипать немного мху и мерзлой травы, двинулись очень неохотно, опустив головы. Во время остановки их бока покрылись инеем, и они еле передвигали ноги. Они шли с полуденной остановки почти без отдыха.

Проехав поляну и не сводя глаз с Большой Медведицы, Бася углубилась в пущу, не очень густую, но холмистую и полную узких оврагов. Стало темнее не только от теней, которые бросали деревья, но и от поднявшегося с земли тумана, который заслонил звезды. Приходилось ехать наобум. Одни только овраги указывали Басе, что она не сбилась: она знала, что все они тянутся с востока к Днестру и что, переезжая через них, она подвигается к северу. Она все же помнила, что, несмотря на эти указания, ей грозит опасность или слишком отдалиться от Днестра, или слишком приблизиться к нему. И то и другое было опасно, так как в первом случае она могла удлинить себе дорогу, во втором – подъехать слишком близко к Ямполью и попасть в руки врагов.

Была ли она еще под Ямполем или уже миновала его, об этом она не имела ни малейшего понятия.

«Я скоро узнаю, когда миную Могилев, – подумала Бася, – он лежит в глубоком овраге, который тянется очень далеко, и я его узнаю».

Потом, посмотрев на небо, она опять подумала:

«Дай бог скорее проехать Могилев; там уже начинаются владения Михала, там уж мне нечего бояться».

Между тем ночь становилась все темнее. К счастью, земля здесь была покрыта снегом, на белом фоне которого можно было различить темные стволы деревьев, низкие пни и объезжать их; зато Басе пришлось ехать медленнее, и ею снова овладел тот самый страх перед нечистой силой, от которого холодела кровь в ее жилах.

«Если я увижу горящие глаза невысоко над землей, – подумала она, – это ничего, это волк, но если на уровне человеческого роста...»

И в ту же минуту она вскрикнула:

– Во имя Отца и Сына!..

Был ли это обман зрения, или, быть может, дикая кошка сидела на ветке дерева, но только Бася явственно увидела пару горящих глаз на уровне человеческого роста.

От страха у нее потемнело в глазах, но когда она взглянула снова, то ничего не

увидела, слышался только какой-то шелест между ветвями, да сердце ее билось так сильно, точно хотело выскочить.

И она долго-долго ехала вперед, тоскуя по дневному свету. Ночь казалась ей бесконечной. Вскоре река снова преградила ей путь. Бася была уже далеко за Ямполем – близ берегов Росавы, но не знала, где она. Догадывалась только, что все подвигается к северу, раз на ее пути опять река. Она также догадывалась, что ночь уже на исходе, так как мороз усилился. Туман рассеялся, на небе опять появились звезды, но они были уже бледнее.

Наконец стало понемногу светать. Стволы и ветви деревьев сделались отчетливее. В лесу воцарилась полная тишина. Светало.

Вскоре Бася могла уже различать масть лошадей. На востоке, между ветвями деревьев, появилась светлая полоска, наступал день, и притом погожий.

Тут Бася почувствовала страшную усталость. Рот то и дело открывался от зевоты, глаза слипались; вскоре она крепко заснула, но ненадолго: ее разбудила ветка, за которую она зацепилась головой. К счастью, лошади шли очень медленно, пощипывая по дороге мох, и удар был так легок, что не причинил ей никакого вреда. Солнце уже вошло, и его бледные прекрасные лучи пробивались сквозь ветви. При виде солнца Бася ободрилась; ее отделяла от погони огромная степь, столько гор и оврагов осталось позади; прошла и ночь. «Только бы меня не схватили люди из Ямполья или Могилева, а те уж не догонят», – думала Бася.

Она рассчитывала и на то, что с самого начала бегства она ехала по каменистой почве, на которой лошадиные копыта не могли оставить следов. Но вскоре ею опять овладело сомнение.

«Липки заметят следы и на камнях, и на скалах, и будут гнаться за мной, пока у них не попадают лошади».

Последнее предположение было наиболее правдоподобно. Басе достаточно было взглянуть на своих лошадей: у обеих бока ввалились, головы были опущены, взгляд был мутный. На ходу они то и дело наклоняли головы к земле, чтобы пощипать мох или пожелтевшие засохшие листья на низких дубовых кустах. Лошадей, должно быть, мучила жажда, потому что на всех переправах они с жадностью пили воду.

Несмотря на это, Бася, выехав на поляну между двумя лесами, опять пустила измученных лошадей вскачь, пока не доехала до другого леса.

Проехав лес, она снова очутилась на поляне, еще более обширной и холмистой. За холмами на расстоянии четверти мили виднелся столб дыма, поднимавшийся прямо, как сосна, к небу. Это было первое жильё, встретившееся Басе по дороге; вся эта страна, за исключением побережья Днестра, была превращена в пустыню, не только благодаря татарским набегам, но и вследствие постоянных войн поляков с казаками. После последнего похода Чарнецкого, жертвой которого сделалась Буша, местечки превратились в убогие деревушки, а деревни поросли молодым лесом. А ведь после Чарнецкого сколько было таких походов, сколько резни, и все это продолжалось до самого последнего времени, пока, наконец, Собеский не отнял эти земли у неприятеля. Страна опять оживала, население возрастало, но та дорога, по которой ехала Бася, была особенно пустынна; здесь скрывались только разбойники, но и они почти все были уничтожены польскими отрядами, которые стояли в Рашкове, Ямполье, Могилеве и Хрептиеве.

При виде этого дыма первой мыслью Баси было – ехать туда, отыскать хутор, шалаш или даже простой костер, согреться около него и подкрепить свои силы. Но вскоре ей пришло в голову, что в этих краях лучше встретиться со стаей волков, чем с людьми; люди эти были более дики и жестоки, чем звери. Напротив, надо было гнать лошадей и поскорее миновать это лесное человеческое убежище, где ее могла ждать только смерть.

На самом краю противоположного леса Бася заметила небольшой стог сена и, ни на что уже не обращая внимания, остановилась около него, чтобы покормить лошадей. Они стали жадно есть, погружая в стог свои головы вместе с ушами и вытаскивая оттуда целые охапки сена. К несчастью, им очень мешали мундштуки, но Бася не решалась разнуздать лошадей, рассуждая так:

– Там, где виден дым, должен быть и хутор, а раз здесь стог стоит, то в хуторе есть и лошади, на которых меня могли бы преследовать, – значит, надо быть наготове.

Тем не менее она провела у стога около часу, так что лошади подкормились хорошенько, и сама она подкрепилась семенем. Двинувшись вперед и проехав несколько сажень, она увидела вдруг двух людей с вязанками хвороста на плечах.

Один из них был не стар, но и не первой молодости, с лицом, изрытым оспой, косой, страшный, с жестоким и зверским выражением лица; другой, подросток, казался сумасшедшим. Это можно было заключить по его глуповатой улыбке и бессмысленному взгляду.

Оба они при виде вооруженного всадника побросали хворост на землю и, по-видимому, испугались. Но встреча была так неожиданна, и они стояли так близко, что бежать не могли.

– Слава богу! – сказала Бася.

– Во віки віков.

– А как зовется этот хутор?

– А зачем ему называться? Так, просто – хата!

– Отсюда далеко до Могилева?

– Мы не знаем.

Тут старший из них стал пристально всматриваться в Басю. Так как она была в мужском платье, то он принял ее за подростка, и тотчас на лице его вместо прежнего страха появилось выражение дерзости и жестокости.

– А шо ви такой молоденький, пан льцарь?

– А тоби шо?

– И одни едете? – продолжал мужик, делая шаг вперед.

– За мной войско идет.

Он остановился, взглянул на широкую поляну и отвечал:

– Неправда. Никого нет.

Сказав это, он сделал еще два шага вперед, его косые глаза загорелись угрюмым огнем, и в то же время он стал издавать звуки, похожие на крик перепела, очевидно, желая таким способом кого-то позвать.

Все это показалось Басе очень подозрительным, и она, нимало не колебалась, прицелилась в его грудь из пистолета, крикнув:

– Молчи, не то погибнешь!

Крестьянин умолк и даже упал как пласт на землю. То же сделал и сумасшедший подросток, но при этом завыл от страха, как волк. Возможно, что он когда-то и помешался от страха, ибо вой его был теперь полон ужаса.

Бася хлестнула лошадь и помчалась стрелой. К счастью, лес был редкий. Вскоре показалась новая поляна, очень узкая и длинная. Хорошо покормленные лошади с новыми силами понеслись вихрем.

«Побегут домой, сядут на коней и будут меня преследовать!» – думала Бася.

Ее утешала мысль, что лошади идут хорошо и что от хутора до той местности, где она встретила людей, было довольно далеко.

«Пока они дойдут до хаты, пока выведут лошадей, я буду от них на расстоянии мили, а то и двух».

Так и случилось.

Когда прошло несколько часов и Бася убедилась, что ее не преследуют, она удержала лошадей, а давящий страх камнем лег ей на грудь, и ей стало так тяжело, что она не могла удержаться от слез.

Встреча показала ей, какие люди живут в этих краях и чего можно от них ожидать. Правда, это не было для нее неожиданностью. И по собственному опыту и из рассказов, слышанных в Хрептиеве, она знала, что прежние спокойные жители или переселились из этих пустынь, или погибли во время войны, а те, что остались, жили в постоянной тревоге, среди ужасов междоусобной войны, наездов татар и относились друг к другу, как волки; у них не было ни церквей, ни веры, кругом они не видели других примеров, кроме убийств и поджогов, не знали других законов, кроме кулачной расправы, потеряли всякие человеческие чувства и дикостью своей походили на диких зверей. Все это знала Бася, но человек одинокий, заблудившийся в пустыне, голодный, продрогший от холода невольно ждет помощи от себе подобных. Так и она, увидав дым, указывавший на присутствие жилища, и невольно следуя первому порыву сердца, хотела бежать туда, чтобы приветствовать этих людей именем Божиим и под их кровлей преклонить измученную голову. Между тем жестокая действительность, словно злая собака, сразу оскалила на нее зубы, сердце ее переполнилось горечью, и слезы сами собой полились из глаз.

«Неоткуда ждать помощи, как от Бога! – подумала она. – Не дай бог встретиться с

людьми!»

Потом она стала думать о том, почему этот человек стал подражать крику перепела. По всей вероятности, невдалеке были еще люди, и он хотел их позвать. Ей пришло в голову, что она попала в логово разбойников, которых, вероятно, вытеснили из прибрежных оврагов и которые скрывались здесь, в глухой пуще, где соседство широкой степи обеспечивало им полную безопасность и где они могли легко избежать преследования.

«А что будет, – думала Бася, – если я встречу нескольких или несколько десятков? Мушкет – для одного, пара пистолетов, – для двух, сабля еще для двух, пожалуй, но если их будет больше, тогда я погибну страшной смертью».

И поскольку раньше среди ночи и ее тревог она мечтала о наступлении дня, постольку теперь она стала ждать сумерек, которые могли бы ее укрыть от глаз людей.

Но Басе еще дважды пришлось наткнуться на людей. В первый раз она Увидала на окраине высокой поляны несколько десятков хат. Быть может, в них жили не разбойники по ремеслу, но она предпочла объехать эту местность, зная, что здесь и крестьяне не лучше разбойников; в другой раз она слышала стук топоров: рубили деревья в лесу.

Наконец желанная ночь спустилась на землю. Бася так устала, что, доехав до голой степи, не поросшей лесом, она сказала себе:

– Здесь я не разобьюсь о дерево. Я засну, хотя бы мне пришлось замерзнуть.

Когда у нее уже смыкались глаза, ей показалось, что она видит вдали на белом снегу несколько черных точек, которые двигаются в разных направлениях. На минуту она пересилила сон и тихо пробормотала: «Это, верно, волки!»

Но, прежде чем она успела проехать несколько шагов, точки эти исчезли, и она тотчас уснула так крепко, что проснулась только тогда, когда лошадь Азыи, на которой она сидела, заржала.

Она оглянулась кругом; она была на краю леса и проснулась вовремя, иначе могла удариться о какое-нибудь дерево.

Вдруг она заметила, что другой лошади нет.

– Что случилось?! – воскликнула она с тревогой.

А случилась вещь очень обыкновенная: хотя Бася и привязала поводья второй лошади к луке седла, на котором сидела, но окоченевшие руки плохо ее слушались, и она не могла покрепче затянуть узел; поводья развязались и уставшая лошадь отстала, чтобы поискать корма под снегом или же прилечь.

К счастью, пистолеты были у Баси за поясом, а на кобуре при ней был и рог с порохом, и мешочек с семенем. Несчастье даже было не так уж велико: лошадь Азыи, если даже и уступала ее коню в быстроте, зато была выносливее и привычнее к холоду. Все же Басе стало жаль любимого скакуна, и она решила его отыскать.

Но ее удивило, когда она, оглянувшись кругом, нигде его не увидела, тем более

что ночь была совсем светлая.

«Остаться он остался, не поскакал же он вперед, – подумала Бася. – Верно, улегся в каком-нибудь овраге, и я его не вижу».

Лошадь Азы заржала снова, причем как-то странно вздрогнула и стала стричь ушами, но в степи было тихо.

– Поеду поищу, – сказала Бася.

И она уже повернула лошадь, как вдруг неожиданно тревога овладела ею, и точно чей-то голос крикнул ей:

– Бася, не поворачивай назад!

В ту же минуту в тишине раздались какие-то зловещие голоса где-то вблизи и, казалось, из-под земли. Это был вой, хрипенье, стоны, наконец, страшный отрывистый визг.

Все это было тем страшнее, что в степи ничего не было видно. У Баси холодный пот выступил от страха, и из ее посиневших губ вырвалось восклицание:

– Что это такое? Что там случилось?!

Впрочем, она сразу догадалась, что волки напали на ее лошадь, но она не могла понять, почему она этого не видит, если, судя по звукам, все это должно происходить на расстоянии каких-нибудь пятисот шагов от нее.

Но спешить на помощь было уже поздно, так как волки, должно быть, уже растерзали лошадь; к тому же надо было думать о собственном спасении. Выстрелив для острстки из пистолета, Бася помчалась дальше. По дороге она раздумывала о том, что случилось, и ей пришло в голову, что, быть может, это не волки напали на ее лошадь, раз звуки выходили из-под земли. При этой мысли мурашки пробежали у нее по коже, но, пораздумав, она вспомнила, что ей во сне казалось, будто она спускается с горы, а потом опять поднимается на гору.

– Вероятно, так и было, – решила она, – должно быть, я спала, проехала через какой-нибудь неглубокий овраг, там и остался мой конь, и волки на него напали.

Остаток ночи прошел без приключений. Лошадь, подкрепившись накануне сеном, шла очень хорошо, так что Бася даже удивлялась ее выносливости. Это была настоящая татарская лошадь «волчарь», очень красивая и необыкновенно выносливая. Во время коротких остановок она ела все, что попало, не разбирая: и мох, и листья, обгрызала даже древесную кору, и все шла вперед. На полянах Бася пускала ее вскачь, тогда она стонала, тяжело и громко дыша. Когда Бася ее останавливала, она сопела, дрожала, опускала голову, но не падала. Если бы скакуна Баси и не растерзали волки, он не выдержал бы такой езды.

На другой день Бася, прочитав утреннюю молитву, стала рассчитывать время:

– Я вырвалась из рук Азы в четверг, около полудня, ехала вскачь до ночи, потом в дороге прошла одна ночь, потом день, снова ночь – теперь наступил третий день. Если даже и была погоня, то она, должно быть, уже вернулась, а до Хрептиева недалеко, потому что я не жалела лошадей.

Минуту спустя она прибавила:

«Ох, пора уже! Боже, сжался надо мной!»

Минутами у нее являлось желание приблизиться к Днестру, чтобы скорее сообразить, где она, но она боялась тех липков, которых Азия оставил в Могилеве у пана Гоженского: что же будет, если она еще не миновала Могилева.

По дороге, когда сон не смыкал ей глаз, она внимательно следила, не попадет ли ей на пути большой овраг, похожий на тот, где лежал Могилев, но она ничего не заметила. Впрочем, овраг мог суживаться и в Могилеве иметь совсем другой вид, чем здесь, быть может, он кончался в нескольких верстах от города, словом, Бася не имела ни малейшего понятия о том, где она находится.

Она неустанно молила Бога, чтобы Хрептиев был близко. Она чувствовала, что у нее ненадолго хватит сил выносить все трудности пути, холод, бессонницу и голод; три дня она уже питалась только конопляным семенем и хотя очень берегла его, но в это утро съела последние зерна, и в мешочке уже ничего не оставалось.

Теперь ее могла поддерживать и согревать надежда, что Хрептиев уже недалеко. Кроме надежды, ее, наверное, согревал и лихорадочный жар; Бася прекрасно понимала, что у нее лихорадка, потому что, несмотря на мороз, ее руки и ноги, прежде коченевшие от холода, теперь почти горели, и ее мучила жажда.

«Только бы не потерять сознания, – подумала она, – только бы сил хватило добраться до Хрептиева, увидеть Михала, а там да будет воля Божья...»

Ей опять пришлось переправляться через многочисленные ручьи и реки; они были или мелкие или замерзшие; на некоторых вода шла поверх льда, но лед под ней был крепок. Все же Бася больше всего боялась таких переправ, боялась их и неустрашимая лошадь. Вступая в воду или на лед, она храпела, настораживала уши, иной раз даже упиралась, ступала осторожно, не сразу переводя ноги и раздувая ноздри.

Было уже за полдень, когда Бася, проехав лес, остановилась перед какой-то большой и широкой рекой. По ее предположению, это должна была быть Лядава или Калусик. Сердце у нее радостно забило: Хрептиев во всяком случае был уже близко. Если бы даже Бася и проехала мимо Хрептиева, она могла считать себя спасенной, так как местность здесь была заселена довольно густо, народ был лучше и опасности для нее быть не могло. Берега Реки, насколько могла разглядеть их Бася, были крутые, и только в одном месте был, по-видимому, песчаный берег, залитый водой. Берега были покрыты толстым слоем льда, посредине реки протекала вода узкой темной полосой. Бася надеялась, что под водой окажется лед.

Лошадь по обыкновению не хотела входить в реку и, как и при прежних переправах, ступала осторожно, низко опустив голову и обнюхивая снег.

Подъехав к воде, протекавшей поверх льда, Бася стала на колени на седло, держась обеими руками за переднюю луку.

Вода зашлепала под копытами.

Под водой, действительно, был твердый лед, и копыта стучали по нему, как по

скале, но, по-видимому, от долгой езды по скалистой дороге подковы лошади стерлись, и она начала оступаться, скользить, ноги разъезжались в разные стороны; вдруг она упала, так что даже ткнулась мордой в воду, поднялась, опять упала на задние ноги, вскочила и в ужасе стала бросаться из стороны в сторону и отчаянно бить копытами. Бася дернула за узду, – в эту минуту послышался глухой треск и задние ноги лошади провалились под лед.

– Господи боже! – воскликнула Бася.

Лошадь, передними ногами стоя еще на крепком льду, сделала страшное усилие, но, видно, глыба льда, за которую она цеплялась задними ногами, ускользала у нее из-под ног, погружаясь все глубже, и вместе с ней проваливалась и лошадь все глубже и глубже; наконец она хрипло застонала. У Баси еще хватило времени уцепиться за гриву лошади, и, пробравшись по ее шее, соскочить на твердый лед перед лошадью. Тут она упала и вся промокла в воде. Но, поднявшись и ощутив лед под ногами, она поняла, что спасена. Попыталась даже спасти лошадь, нагнулась, схватила ее за поводья и, не отступая к берегу, стала тянуть их к себе изо всех сил. Но лошадь все погружалась в глубину и не могла уже вытащить даже передних ног, чтобы зацепиться за уцелевший лед. Наконец она окончательно погрузилась, и только шея и голова торчали над водой. Она застонала почти человеческим стоном и, оскаливая зубы, глядела на Басю с такой неописанной печалью, точно хотела сказать: «Нет уже для меня спасения, пусти поводья: иначе я и тебя еще втащу».

Действительно, спасения не было, и Бася должна была пустить поводья.

Когда лошадь совсем скрылась под водой, Бася перешла на другой берег, уселась под безлиственным кустом и зарыдала, как ребенок.

В эту минуту энергия ее на время была сломлена. Горечь и тоска, которые наполнили ее сердце после встречи с людьми, теперь еще сильнее овладели ею. Все было против нее – и неизвестность дороги, и темнота, и стихии, и люди, и звери – одна только десница Божья руководила ею. Она с детским доверием вручала свою судьбу Господу, но и здесь надежда обманула ее. Это было чувство, в котором Бася не отдавала себе ясного отчета, но которое было в ней очень глубоко.

Что ей оставалось? Жалобы и слезы! А ведь она обнаружила уже столько мужества, сколько вряд ли могло найтись в слабом и жалком создании. И вот лошадь ее утонула, исчезла последняя надежда на спасение, последняя соломинка, за которую она могла ухватиться, как утопающий, последнее живое существо, которое было с ней. Без этой лошади она чувствовала себя бессильной среди неведомого пространства, отделяющего ее от Хрептиева, среди лесов, оврагов и степей, не только беззащитной от людей и зверя, но еще более одинокой и всеми покинутой.

Она плакала, пока у нее хватило слез. Потом наступили упадок сил и утомление, горькое сознание своей беспомощности, почти граничащее со спокойствием. Глубоко вздохнув несколько раз, Бася сказала:

– Против воли Божьей не пойдешь... Здесь и умру!

И она закрыла глаза, когда-то такие ясные и веселые, а теперь впалые, с подтеками.

Но хотя тело ее с каждой минутой слабело, мысль билась в ее голове, как птица в клетке. Если бы ее никто не любил, умереть было бы не так тяжело, но ведь все,

все ее так любили.

И она представляла себе, что будет, когда обнаружится измена Азьи и когда узнают о ее побеге. Как ее будут искать, как найдут посиневшую, замерзшую, спящую вечным сном под этим кустом на берегу реки. И вдруг она громко сказала:

– То-то горевать будет мой Михал! Ай-ай! – И она стала оправдываться перед ним, объяснять ему, что все случилось не по ее вине.

«Я, Михалок, – говорила она, мысленно обнимая его за шею, – сделала все, что было в моих силах, но что же делать, дорогой, раз Богу было не угодно...»

И вскоре ее охватило такое сильное чувство к любимому человеку, такое неодолимое желание хоть умереть вблизи него, что, собрав последние силы, она встала и пошла.

Сначала это было ей очень трудно. Ноги ее за время столь продолжительной езды отвыкли ходить. К счастью, ей не было холодно, ей было даже тепло, лихорадка не оставляла ее ни на минуту.

Углубившись в лес, она пошла вперед, следя за тем, чтобы солнце было слева. Оно уже перешло на молдавскую сторону; была вторая половина дня, часа четыре. Бася теперь уже не думала о том, чтобы не приближаться к Днестру: ей все казалось, что Могилев остался сзади.

– Ах, если бы знать наверняка, если бы знать! – повторяла она, поднимая кверху посиневшее и в то же время воспаленное лицо.

Если бы какое-нибудь животное или дерево заговорило и сказало: до Хрептиева миля-две, – она, может быть, еще бы дошла.

Но деревья молчали и казались ей даже какими-то враждебными, и своими корнями загораживали ей дорогу. Бася ежеминутно спотыкалась о засыпанные снегом отростки корней. Через некоторое время ей стало невыносимо тяжело, она сбросила с себя верхнюю одежду и осталась в тулупчике. Теперь она пошла быстрее, то спотыкаясь, то падая в снежные сугробы. Ее сафьяновые сапожки, подбитые мехом, без подошв, очень удобные для верховой езды или для езды в санях, не защищали ее ног от ушибов о камни, корни и кочки, да, кроме того, намокшие при переправах через ручьи, они совсем отсырели и скоро могли совершенно истрепаться от ходьбы по лесу.

«Босиком пойду, или в Хрептиев, или к смерти!» – думала Бася.

И скорбная улыбка озарила ее лицо.

У нее было одно утешение: она идет так неумоимо, что если и умрет в дороге, то Михал ни в чем не сможет ее упрекнуть. И так как она уже привыкла мысленно разговаривать с мужем, то сейчас же сказала:

«Эх, Михалок, другая и того бы не сделала, например, Эвка!»

Об Эве она думала часто и молилась за нее; ей теперь стало ясно, что если Азья не любил этой девушки, то судьба ее и остальных пленных в Рашкове ужасна.

– Им хуже, чем мне! – повторяла она ежеминутно, и эта мысль придавала ей сил.

Прошел час, другой, третий. Силы ее таяли с каждым шагом. Солнце медленно зашло за Днестр, залило небо красноватой зарей и погасло; снег принял фиолетовый оттенок. Потом море золота и пурпура стало темнеть на небе и суживаться; из огромного моря оно превратилось в озеро, наконец, в узкую яркую полосу, и все стемнело.

Наступила ночь.

Прошел еще час. Лес стоял черный, таинственный, ветра не было, и он молчал; казалось, он раздумывал, что ему делать с этим бедным заблудившимся существом. Но ничего хорошего не сулила эта мертвая тишина, наоборот, в ней было безучастие и равнодушие. Бася шла вперед все быстрее, жадно ловила воздух воспаленными губами, от темноты и усталости она падала все чаще и чаще.

Голова ее была поднята вверх, но она уже не смотрела на Большую Медведицу – она потеряла направление. Шла, лишь бы идти. Шла, потому что ее уже стали посещать предсмертные видения, полные света и сладости...

Ей казалось, например, что четыре стороны леса быстро сходятся и образуют четыре стены хрептиевской комнаты. Бася – там, и видит все ясно. В камине горит яркий огонь; на скамьях сидят, как всегда, офицеры: пан Заглоба препирается с паном Снитко; пан Мотовило сидит молча, смотрит в камин и каждый раз, как услышит шипение огня, говорит своим протяжным голосом: «Душа в чистилище, что тебе нужно?» Пан Мушальский и пан Громыка играют в кости с Михалом. Бася подходит к ним и говорит: «Михал, я сяду на скамейке и немного прижмусь к тебе... мне не по себе...» Михал обнимает ее: «Что с тобою, котенок? А может быть...» И он наклоняется к ней и что-то шепчет ей на ухо. А она говорит ему: «Ах, как мне не по себе!»

Как спокойно, как светло в этой комнате, как дорог ей этот Михал, но Басе так нехорошо, что ею овладевает тревога.

Басе так нехорошо, что жар вдруг проходит, и ее одолевает предсмертная слабость. Видения исчезают. К ней возвращается сознание и вместе с ним и память.

– Я бегу от Азыи, – говорит Бася. – Я ночью, в лесу, не могу дойти до Хрептиева и умираю...

Вслед за жаром ее начинает знобить, холод пронизывает ее до костей. Ноги сгибаются под нею, она становится на колени на снегу, под деревом. Ни малейшее облачко не затемняет ее сознания. Ей ужасно жаль жизни, но она прекрасно сознает, что умирает... Она поручает себя Богу и говорит прерывистым голосом:

– Во имя Отца и Сына...

.

Дальнейшие слова молитвы прерываются какими-то странными, пронзительными, скрипучими звуками: в ночной тишине они так явственны, так неприятны. Бася раскрывает рот и вопрос: «Что это?» – замирает на ее губах. Она словно не верит и начинает ощупывать руками лицо; из уст ее вырывается громкий крик:

– О, Господи, Господи! Это колодезные журавли! Это Хрептиева! О, Господи! И это

существо, умиравшее за минуту перед тем, вскакивает на ноги и, задыхаясь, дрожа, с глазами, полными слез, тяжело дыша, бежит по лесу, падает, поднимается снова и повторяет:

– Там поят лошадей. Это Хрептиев! Это наши журавли. Хоть до ворот. Хоть до ворот... О, Господи... Хрептиев! Хрептиев!..

А тут и лес редееет, открывается снежное поле и холм, с которого на Басю глядят несколько десятков светящихся глаз.

Но это не волчьи глаза... Ах, это окна хрептиевского дома мелькают таким отрадным, ясным и спасительным светом. Это крепость там, на холме, обращенная восточной стороной к лесу. До крепости было еще полверсты, но Бася даже не заметила, как она пробежала это расстояние. Солдаты, стоявшие у ворот, не узнали ее впотьмах и пропустили, думая, что это казачок, куда-нибудь посланный, возвращается к коменданту; она вбежала во двор и, пробежав мимо колодцев, у которых драгуны, вернувшиеся из объезда, поили коней на ночь, остановилась у дверей главного дома.

Маленький рыцарь с паном Заглобой сидели верхом на скамейке перед камином и, попивая мед, говорили о Басе, думая, что она уже хозяйничает там, далеко, в Рашкове. Оба они были не в духе; им было тоскливо без Баси, и оба они ежедневно спорили о дне ее возвращения.

– Не дай бог, настанет оттепель, дожди, распустье, тогда бог знает, когда она вернется! – мрачно говорил пан Заглоба.

– Зима еще продержится, – говорил маленький рыцарь, – а дней через восемь-десять я буду все поглядывать в сторону Могилева.

– Я предпочел бы, чтобы она не уезжала. По-моему, в Хрептиеве без нее мне нечего делать.

– А зачем же вы уговаривали?

– Не выдумывай, Михал, это ты все устроил!

– Только бы она вернулась здоровой...

Тут маленький рыцарь вздохнул и прибавил:

– Здоровой и как можно скорей.

Вдруг скрипнула дверь, и какое-то маленькое, жалкое, оборванное существо жалобно запищало с порога:

– Михал! Михал!

Маленький рыцарь вскочил, но в первую минуту был так поражен, что не двинулся с места, – только развел руками, заморгал глазами и так замер...

– Михал... Азия изменил... хотел меня похитить... но я убежала и... спаси... Сказав это, она зашаталась и, как мертвая, упала на землю; тогда он подскочил к ней, схватил ее как перышко на руки и крикнул пронзительно:

– Боже милосердный!

Но ее бледная посиневшая головка безжизненно повисла на его плече, и он, думая, что держит в своих объятиях уже мертвую, закричал страшным голосом:

– Баська умерла... умерла... помогите!

V

Весть о возвращении Баси молнией облетела Хрептиева, но никто, кроме маленького рыцаря, пана Заглобы и служанок, не видел ее ни в этот вечер, ни в следующие дни. После того, как она лишилась чувств еще на пороге, она пришла в себя настолько, что могла в нескольких словах рассказать все, что случилось с нею. Но потом начались новые обмороки, а час спустя, несмотря на то, что ее всячески приводили в чувство, старались согреть, давали вина, пробовали даже кормить, – она не узнавала даже мужа, и не было сомнения, что у нее начинается тяжелая и долгая болезнь. Между тем во всем Хрептиева поднялось движение. Солдаты, узнав, что пани вернулась полуживая, высыпали на двор, как рой пчел. Офицеры собрались в главной комнате хрептевского дома и, тихо перешептываясь, с нетерпением ждали известия из спальни, куда перенесли Басю. Долгое время они не могли ничего узнать; служанки, правда, бегали туда-сюда, – то в кухню за горячей водой, то в аптеку за пластырями, мазями и травами, но они ни на минуту не давали себя задержать. Эта неизвестность камнем давила все сердца. На дворе толпа все росла, пришли даже мужики из деревни. Все осаждали друг друга вопросами; скоро разошлась весть об измене Азыи и о том, что Бася целую неделю убегала от погони без пищи и сна. При этом известии все пришли в бешенство. Возмущению солдат не было предела, и если они не выражали его вслух, то лишь боясь повредить больной шумом. Наконец, после долгого ожидания, к офицерам вышел пан Заглоба с красными от слез глазами; офицеры бросились к нему гурьбой и тотчас же засыпали его вопросами.

– Жива? Жива?

– Жива, – ответил старичок, – но одному Богу известно, что будет через час...

Тут слова застряли у него в горле, нижняя губа задрожала, и, схватившись руками за голову, он тяжело опустился на скамью. Плечи его затряслись от глухих рыданий.

Увидав это, пан Мушальский бросился в объятия пана Ненашинца, хотя и недолюбливал его, и завыл тихонько; пан Ненашинец тотчас завторил ему. Пан Мотовило вытаращил глаза, точно хотел что-то проглотить и не мог, пан Снитко начал дрожащими руками расстегивать жупан, а пан Громыка поднял руки кверху и так ходил по комнате.

Солдаты заметили через окна эти знаки отчаяния и, полагая, что пани уже умерла, подняли шум и плач.

Пан Заглоба, услышав этот шум, впал в бешенство и выскочил на двор.

– Молчать, шельмы! Чтоб вас громом разразило... – крикнул он сдавленным голосом.

Они тотчас умолкли, поняв, что не пришло еще время оплакивать пани, но все же не расходились со двора. Пан Заглоба вернулся в комнату несколько успокоенный и

снова сел на скамью.

В эту минуту в дверях снова появилась служанка.

Пан Заглоба бросился к ней.

– Ну как там?

– Спит.

– Спит? Слава богу!

– Может быть, Бог даст...

– Что делает пан комендант?

– Пан комендант у постели.

– Хорошо! Ступай туда, куда тебя послали.

Пан Заглоба обратился к офицерам и сказал, повторяя слова служанки:

– Может быть, Бог даст... Спит! Я начинаю надеяться... Ух!

И все глубоко вздохнули. Потом окружили пана Заглобу и стали его расспрашивать:

– Ради бога! Как это случилось? Что это было? Каким образом она убежала пешком?

– Сначала она бежала не пешком, – ответил пан Заглоба, – у нее даже были две лошади; и этого пса, чтобы его зараза задушила, она сбросила с седла.

– Ушам своим не верим!

– Рукояткой пистолета ударила его меж глаз, а так как они в то время отстали, то никто этого не видел и никто не погнался. Одного коня волки заели, а другой утонул при переправе через реку. Боже милосердный! Шла, бедняжка, одна по лесу, ничего не ела, не пила...

Тут пан Заглоба снова зарыдал и на некоторое время прервал свой рассказ, а офицеры опомниться не могли от изумления, ужаса и жалости к этой общей любимице.

– Будучи уже близко от Хрептиева, – продолжал Заглоба минуту спустя, – но не узнав местности, она готовилась умереть, но услышала скрип колодезных журавлей и сообразила, что до Хрептиева уже недалеко, и, выбиваясь из последних сил, дотащилась.

– Бог охранял ее в такой опасности, – сказал Мотовило, вытирая мокрые усы. – Он сохранит ее и теперь!

– Иначе и быть не может! Вы сказали истинную правду! – прошептали офицеры.

Но вот на дворе опять послышался сильный шум. Пан Заглоба снова впал в бешенство и выскочил из комнаты. На дворе стояла сплошная толпа солдат. Увидав пана Заглобу и двух офицеров, солдаты раздвинулись, уступая дорогу.

– Помолчите, собачьи души! – начал Заглоба. – Не то я вас...

Но из полукруга выступил Сидор Люсня, драгунский вахмистр, настоящий мазур, любимец Володыевского. Сделав два шага вперед, он вытянулся в струнку и произнес решительным тоном:

– Ваша милость! Не может быть иначе! Ежели он, такой-сякой сын, хотел нашу пани обидеть, то все мы на него двинемся, чтоб отомстить! Не я один говорю, все того просят. А так как пан полковник идти не может, то мы пойдем под началом кого другого, хотя бы в самый Крым, лишь бы его схватить и отомстить за нашу пани...

В голосе вахмистра звучала упорная, холодная мужицкая угроза; остальные драгуны скрежетали зубами и, сопя и ворча, тихонько ударяли руками по саблям. В этом глухом ворчании толпы, напоминавшем рычание медведя в ночной тишине, было что-то страшное.

Вытянувшись в струнку, вахмистр стоял и ждал ответа, за ним стояли в ожидании и остальные ряды, и в них чувствовалось столько упорства и злобы, что теперь бессильна была даже военная дисциплина.

С минуту продолжалось молчание.

Вдруг в задних рядах раздался чей-то голос:

– Кровь его – лучшее лекарство для пани.

Гнев пана Заглобы сразу прошел: его тронула привязанность солдат к Басе, а при упоминании о лекарстве у него вдруг мелькнула мысль о том, что надо привезти доктора для Баси. В первую минуту в пустынном Хрептиеве о докторе никто даже не подумал, а между тем в Каменце было несколько медиков и в числе их был один грек, человек знаменитый, богатый и такой ученый, что его повсюду считали чернокнижником. Но было сомнительно, захочет ли он за какое бы то ни было вознаграждение ехать в такую пустыню, как Хрептиев, он, которого даже магнаты величали «вашей милостью».

Пан Заглоба задумался на минуту, потом сказал:

– Этот бешеный пес не уйдет от справедливой мести, за это я вам ручаюсь, а ты бы, наверное, предпочел, чтобы в этом поклялся король, а не Заглоба! Но еще неизвестно, жив ли он; пани, вырываясь из его рук, ударила его по голове рукояткой пистолета. Теперь не время об этом думать, надо прежде всего спасти больную.

– Мы хоть жизнью спасать ее готовы! – ответил Люсня.

В подтверждение слов вахмистра толпа опять заворчала.

– Слушай, Люсня, – сказал Заглоба, – в Каменце живет медик Родопул. Поезжай к нему, скажи, что пан генерал подольский вывихнул ногу у самого города и ждет его помощи. А когда вы будете за городскими стенами, ты схватишь его за шиворот и посадишь на коня, а то и в мешок, и единым духом повезешь в Хрептиев. Через каждые две версты я велю расставить для тебя лошадей, и вы все время будете ехать вскачь. Но только смотри, доведи его живым, – в мертвом толку мало.

Толпа загудела теперь уже от удовольствия. Люсня только зашевелил усами и сказал:

– Уж я его раздобуду и не оброну до самого Хрептиева!

– Ступай.

– Ваша милость!

– Что еще?

– А если он потом помрет?

– Пускай помирает, только бы доехал живым. Бери шесть человек и ступай. Люсня побежал. Остальные бросились седлать лошадей: они были рады хоть чем-нибудь услужить пани. Через несколько минут шесть человек поехали в Каменец. За ними повели лошадей налегке, чтобы порасставлять их по дороге. Пан Заглоба, довольный собою, вернулся в комнату.

Минуту спустя вышел Володыевский. Он почти не сознавал ничего, равнодушно выслушивал слова утешения. Сообщив Заглобе, что Бася все спит, он сел на скамью и, как помешанный, смотрел на дверь, за которой она лежала. Офицерам казалось, что он прислушивается, и они затаили дыхание. В комнате царила мертвая тишина.

По прошествии некоторого времени Заглоба на цыпочках подошел к маленькому рыцарю.

– Михал, – сказал он, – я послал за доктором в Каменец, но... может быть, еще за кем-нибудь послать?

Володыевский смотрел, собирался с мыслями и, очевидно, не понимал.

– За ксендзом, – сказал Заглоба, – ксендз Каминский мог бы и к утру поспеть...

Маленький рыцарь закрыл глаза, отвернул к камину побледневшее как мел лицо и начал быстро повторять:

– О, Господи, Господи, Господи!

Заглоба не спрашивал больше ни о чем и вышел, чтобы сделать надлежащие распоряжения. Когда он вернулся, Володыевского уже не было в комнате. Офицеры сказали ему, что больная звала мужа, но неизвестно, в бреду или в сознании.

Старый шляхтич тотчас же убедился собственными глазами, что это было в бреду.

Щеки Баси горели ярким румянцем; на вид она казалась здоровой, но глаза, хотя и блестели, были мутны, ее белые руки чего-то искали на одеяле и однообразными движениями скользили по нему. Володыевский ни жив ни мертв лежал у ее ног. Время от времени больная что-то тихонько бормотала, некоторые слова она говорила громче, и среди них чаще всего слышалось: «Хрептиев». Очевидно, порой ей казалось, что она все еще в дороге. Пана Заглобу в особенности тревожили движения ее рук по одеялу; в этих бессознательных движениях он видел один из признаков приближающейся смерти. Он был человек опытный, и немало людей умирало

у него на глазах, но никогда еще его сердце так не разрывалось, никогда еще он не испытывал такой щемящей тоски, как при виде этого цветка, увядающего так безвременно... Он понял, что только один Бог может спасти эту угасавшую жизнь, и, опустившись на колени, стал громко молиться.

Между тем дыхание Баси становилось все тяжелее и тяжелее и, наконец, перешло в хрипение. Володыевский вскочил. Заглоба поднялся с колен. Они не произнесли ни слова, а только обменялись взглядом – и в этом взгляде был ужас. Им показалось, что она уже кончается. Но это продолжалось только минуту. Вскоре дыхание ее стало спокойнее и даже медленнее.

С этой минуты они жили между страхом и надеждой. Ночь тянулась бесконечно. Офицеры не пошли к себе отдохнуть, а сидели в комнате, то посматривали на двери спальни, то перешептывались, то дремали. Слуга входил время от времени, чтобы подбросить дров в печку, при каждом шорохе они вскакивали, думая, что это идет Володыевский или Заглоба и что они услышат страшное слово: «Умерла!»

Запели петухи, а Бася все еще боролась с горячкой. Под утро началась страшная буря с дождем: ветер гудел, выл в балках, выл на крыше, по временам колебал пламя в камине, выбрасывая в комнату целые клубы дыма и искр. Как только начало светать, пан Мотовило на цыпочках вышел из комнаты: ему нужно было еще ехать в объезд. Наконец настал и день – бледный, туманный – и осветил усталые лица.

На дворе началось обычное движение: среди завывания ветра слышался конский топот на конюшне, скрип колодезных журавлей и голоса солдат, но вскоре раздался звон колокольчика: приехал ксендз Каминский.

Когда он вошел в белом стихаре, все офицеры опустились на колени. Всем казалось, что настала торжественная минута, после которой, несомненно, должна наступить смерть. Больная была без сознания, и ксендз не мог ее исповедать. Он ее миропомазал, потом стал утешать маленького рыцаря и убеждать его в необходимости подчиниться воле Божьей. Но горе его было так велико, что никакие слова не доходили уже до его сознания.

Весь день смерть носилась над Басей. Как паук, спрятавшийся в темном уголке потолка, выползет по временам на свет и по незаметной паутинной нити спускается вниз, так минутами и смерть спускалась к изголовью Баси. И не раз присутствующим казалось, что тень ее падает уже на чело Баси, что ее ясная душа раскрывает свои крылья, чтобы улететь из Хрептиева куда-то в бесконечное пространство, по ту сторону жизни; потом смерть, как паук, опять куда-то скрывалась, и в сердца окружающих снова вступала надежда.

Но надежда эта была очень слабая и временная: никто не смел даже думать, что Бася переживет эту болезнь. Не ждал этого и Володыевский, и его отчаяние было так велико, что встревоженный Заглоба стал опасаться за него и поручил его наблюдению офицеров.

– Ради бога, следите за ним, – говорил он, – а то он еще руки на себя наложит.

Хотя Володыевскому мысль эта и не приходила в голову, но в этих муках тоски и скорби он постоянно спрашивал себя:

«Как же я могу остаться, если она уходит? Как могу я отпустить ее одну? Что скажет она, когда, оглянувшись, не найдет меня возле себя?»

Раздумывая так, он всей душой жаждал умереть вместе с нею, ибо как он не мог представить себе жизни без нее здесь, на земле, так не понимал, чтобы в той жизни она могла быть счастлива без него, могла бы не тосковать по нему.

После полудня зловещий паук снова скрылся под потолок; щеки Баси уже не так горели, жар настолько уменьшился, что к больной на минуту вернулось сознание.

Некоторое время она лежала с закрытыми глазами, потом, открыв их, поглядела на маленького рыцаря и спросила:

– Михадок, я в Хрептиеве?

– Да, дорогая, – ответил Володыевский, стискивая зубы.

– И ты вправду около меня?

– Да. Как ты себя чувствуешь?

– Ох! Хорошо!

Она сама, по-видимому, еще не была уверена, не бред ли это. Но с тех пор к ней все чаще и чаще возвращалось сознание.

Вечером с солдатами приехал Люсня, он вытряхнул из мешка у ворот крепости еле живого каменецкого медика вместе с его лекарствами. Медик, убедившись, что он не в руках разбойников, как раньше предполагал, а просто несколько странным способом привезен к больной, принялся, отдышавшись немного, за лечение, тем более что пан Заглоба показал ему в одной руке мешок с червонцами, а в другой заряженный пистолет и сказал:

– Это награда за жизнь, а это за смерть!

И в ту же ночь, еще на рассвете, зловещий паук куда-то скрылся навсегда. Приговор медика: «Будет долго хворать, но выздоровеет», – радостным эхом облетел весь Хрептиев. Когда Володыевский услышал это в первый раз, он упал на землю и так разрыдался, что, казалось, рыдания разорвут его грудь, пан Заглоба совсем ослабел от радости, на лбу у него выступили капли пота, и он едва мог крикнуть:

– Пить!

Офицеры бросились друг другу в объятия.

А на дворе опять собрались драгуны, челядь и казаки Мотовилы. Их с трудом удержали от громких криков радости. Они хотели чем бы то ни было выказать свою радость и стали просить разрешения повесить в честь пани хоть нескольких разбойников, заключенных в хрептиевских погребах.

Но маленький рыцарь отказал.

VI

В продолжение целой недели Бася чувствовала себя так плохо, что, если бы не уверения медика, маленький рыцарь и пан Заглоба стали бы ждать, что огонек ее жизни с минуты на минуту погаснет. И только по прошествии недели Басе стало

несколько лучше; она совсем пришла в себя, и, хотя медик предполагал, что ей придется пролежать в постели месяц или полтора, было уже ясно, что она совсем поправится и к ней вернутся прежние силы.

Володыевский за все время болезни Баси ни на одну минуту не отходил от ее постели и полюбил ее еще сильнее, поскольку это было возможно, и просто души в ней не чаял. Минутами, сидя около нее и глядя на это исхудалое, осунувшееся, но уже веселое личико, в эти глаза, к которым с каждым днем возвращался их прежний блеск, он испытывал неодолимое желание и смеяться, и плакать, и кричать от радости:

– Выздоровливает моя Баська, выздоравливает!

И он бросался к ее рукам, а иной раз целовал ее бледные худенькие ножки, которые так неумоимо шли по глубокому снегу до самого Хрептиева, словом, он любил и чтил ее необычайно. Он чувствовал себя в таком долгу перед Провидением, что однажды сказал в присутствии пана Заглобы и офицеров:

– Не богат я, но если мне придется даже последнюю рубашку продать, продам, и хоть деревянный костел, а построю.. И каждый раз, когда в нем заблаговестят, буду вспоминать о милосердии Господнем, и душа моя будет полна благодарности.

– Дай бог сначала благополучно турецкую войну закончить, – ответил ему пан Заглоба.

Маленький рыцарь зашевелил усиками и ответил:

– Господь сам знает, чем я ему больше угожу. Захочет костела, меня сохранит, а захочет жизни моей, то я ее для него не пожалею!

К Басе вместе со здоровьем возвращалась и ее обычная веселость. Однажды вечером, недели через две, она велела приоткрыть немного двери своей спальни, и, когда в главной комнате собрались офицеры, она крикнула им своим серебристым голоском:

– Добрый вечер, панове! Я уже не умру. Ага!

– Слава всевышнему! – хором ответили воины.

– Слава богу, дытына мыленькая! – воскликнул пан Мотовило, который любил Басю отеческой любовью и который в минуту большого волнения всегда говорил по-малороссийски.

– Смотрите, панове, – продолжала она, – что случилось! Кто бы мог этого ожидать! Хорошо еще, что все так кончилось!

– Бог не даст в обиду невинность! – опять хором ответили офицеры.

– А пан Заглоба все надо мной смеялся, что я больше саблю люблю, чем веретено! Много бы мне помогло веретено или иголка! А ведь я совсем по-рыцарски нашлась! Правда?

– И ангел не мог бы лучше!

Пан Заглоба закрыл двери спальни и этим прервал дальнейший разговор: он боялся,

чтобы Бася не утомилась. Но она зафыркала на него, как котенок, ей очень хотелось поговорить еще, а особенно слушать похвалы своему мужеству и находчивости. Теперь, когда опасность уже миновала и стала только воспоминанием, она очень гордилась своим поступком с Азией и требовала, чтобы ее хвалили. Не раз она обращалась к маленькому рыцарю и, касаясь пальцем его груди, говорила с видом избалованного ребенка:

– Хвалить за мужество!

Тогда он, повинувшись ей, хвалил, ласкал, целовал глаза и руки, а пан Заглоба, всегда растроганный этим в душе, притворялся негодующим и ворчал:

– Эх, совсем избалуется! Никуда будет!

Радость по поводу выздоровления Баси омрачалась только мыслью о вреде, который причинила измена Азии Речи Посполитой, и об ужасной участи пана Нововейского, обеих Боских и Эвки. Бася тоже горевала, ибо подробности рашковских событий были известны не только в Хрептиеве, но и в Каменце и других местностях. Несколько дней тому назад в Хрептиеве остановился пан Мыслишевский, который, несмотря на измену Азии, Кричинского и Адуровича, все еще не терял надежды, что ему удастся перетянуть на сторону Польши других липковских ротмистров. Вслед за паном Мыслишевским приехал пан Богуш, а затем получены были известия прямо из Могилева, Ямполья и Рашкова.

В Могилеве пан Гоженский, очевидно, лучший воин, чем оратор, не дал себя провести. Перехватив приказ Азии к оставшимся в Могилеве липкам, он там напал на них с горстью мазурской пехоты и частью перерезал их, частью взял в плен; кроме того, он послал предупреждение в Ямполь, чем спас город. Вскоре затем вернулись войска, и только один Рашков пал жертвой измены. Володыевский получил письмо от пана Бялогловского, в котором сообщалось о рашковских событиях и о других делах, касающихся Речи Посполитой.

«Хорошо, что я приехал, – писал, между прочим, пан Бялогловский, – ибо Нововейский, который заменял меня, не был бы теперь в состоянии исполнять свои обязанности. Он скорее на покойника похож, чем на живого человека, и мы, вероятно, лишимся этого кавалера, ибо горе совсем придавило его. Отца его зарезали, сестра совсем опозорена Адуровичем, а панну Боскую Азия оставил у себя. Для них уже нет спасения, если бы даже удалось освободить их из плена. Мы обо всем узнали от одного липка, который при переправе через реку свернул себе шею. Азия Тугай-беевич, Кричинский и Адурович отправились далеко – под Адрианополь. Нововейский рвется за ними в погоню, говорит, что должен найти Азию, хотя бы в самой середине султанского лагеря, и отомстить ему за все. Он всегда был горяч и решителен, а теперь и не удивительно: дело касается панны Боской, чью горькую участь все мы оплакиваем горячими слезами, ибо была она такая кроткая, что трудно было ее не любить. Я все же сдерживаю Нововейского и говорю, что Азия сам к нему придет, ибо война неизбежна, а верно и то, что татары пойдут впереди. У меня есть известия из Молдавии от перкулабов и даже от турецких купцов, что под Адрианополем начинают собираться войска. Тьма ордынцев. Собирается и турецкая конница, или, как ее зовут, «спаги», а сам султан появится с янычарами. Войска будет целый муравейник, ибо весь восток двинется, а у нас войск горсточка. Одна надежда на Каменецкую крепость, ее, даст Бог, укрепят. В Адрианополе уже весна, и у нас страшные дожди и уж показывается трава. Я иду в Ямполь, ибо от Рашкова осталась только куча золы, негде головы преклонить, да и есть нечего. Притом думаю, что скоро нас всех соберут под общую команду».

У маленького рыцаря были тоже известия, и еще, пожалуй, более достоверные, потому что они были получены из Хотима: война была неизбежна. Недавно он даже известил об этом гетмана. Но письмо Бялогловского, присланное с крайнего пограничного пункта и подтверждающее те известия, которые он получил раньше, произвело на него сильное впечатление. Но не войны боялся маленький рыцарь, он беспокоился за Басю.

– Приказ гетмана собирать войско, – говорил он Заглобе, – может прийти не сегодня завтра, и тогда придется немедленно двинуться в путь, а тут Баська лежит, и погода скверная.

– Если бы и десять приказов пришло, – отвечал Заглоба, – все же Баська – самое главное. И мы будем сидеть, пока она не выздоровеет. Война не начнется не только перед концом зимы, но даже и тогда, когда наступит распутица, – ведь неприятелю придется везти тяжелые орудия против Каменца.

– Вечно в вас старый волонтер сидит! – нетерпеливо ответил маленький рыцарь. – Вы думаете, что можно жертвовать приказом ради частных дел?

– Если тебе приказ дороже Баси, то сажай ее на телегу и поезжай. Знаю, знаю, что ты, чтобы поскорей исполнить приказ, готов подсадить ее вилами, коли она сама на телегу сесть не сможет. Черт вас возьми с такой дисциплиной! В старину человек делал что мог, а чего не мог – не делал. На словах ты сострадатель, а пусть только крикнут: «Айда на турок!» – ты сейчас плюнешь на сострадание, а эту бедняжку потащишь за собой на аркане.

– У меня нет сострадания к Басе?! Побойтесь Бога!! – воскликнул маленький рыцарь.

Некоторое время пан Заглоба еще гневно сопел, потом, заметив огорчение Володыевского, сказал:

– Ты знаешь, Михал, что я это говорю в сердцах, потому что искренне люблю Баську. Если бы не Бася, разве стал бы я сидеть здесь, подставляя голову под удары турок, вместо того чтобы где-нибудь в безопасном месте пользоваться полным отдыхом, за что в мои годы меня никто не осудит. А кто тебе сосватал Баську? Если окажется, что не я, то прикажи мне выпить бочку воды, ничего туда для вкуса не прибавляя!

– Во всю мою жизнь я не отблагодарю вас за это! – ответил маленький рыцарь.

Они обнялись, и после этого между ними воцарилось полное согласие.

– Я так решил, – сказал маленький рыцарь, – когда наступит война, вы возьмете Баську и поедете с ней к Скшетуским, в Луковскую землю. Туда ведь не дойдут чамбулы.

– Я сделаю это для тебя, хотя у меня у самого руки чешутся на турок идти: нет для меня народа более неприятного, чем этот свинский народ, который не пьет вина.

– Одного только я боюсь, как бы Баська не уперлась ехать в Каменец, чтобы быть со мной! Когда подумам об этом, у меня мурашки по спине бегут, а я уверен, что

она упрется, ей-богу, упрется!

– А ты не разрешай! Мало ли было горя оттого, что ты ей во всем уступаешь и что отпустил ее в Рашков, хотя я тебя и отговаривал.

– Неправда, вы сказали, что не хотите советовать!

– Если я говорю, что не хочу советовать, то это значит больше, чем если бы я отговаривал.

– Конечно, Баська теперь проучена.. Но что же? Когда она увидит меч над моей головой, она упрется ехать со мной!

– А ты не соглашайся, повторяю. Господи! Тряпка ты, а не муж!

– Сознаюсь, что, стоит ей поднести кулачки к глазам и заплакать или притвориться, что плачет, у меня сердце тает, как масло на сковороде. Она меня просто приворожила, не иначе! Отослать я ее отошлю, потому что ее безопасность мне дороже собственной жизни, но когда я подумаю, что придется огорчить ее, у меня от жалости дух захватывает.

– Михал, побойся ты Бога, не давай себя водить за нос!

– Ага, не давай! А кто говорил, что у меня нет к ней сострадания?

– Гм... – замялся Заглоба.

– Вы, всегда такой находчивый, теперь сами за ухом почесываете.

– Потому что обдумываю, как бы ее получше убедить.

– А если она сразу прижмет кулачки к глазам, что тогда?

– Прижмет, ей-богу, прижмет! – ответил Заглоба.

И оба они встревожились, потому что, правду говоря, Бася прекрасно знала их обоих. Они так избаловали ее во время болезни и так любили, что мысль поступить вопреки ее желанию ужасала их. Что Бася сопротивляться не будет, что она с покорностью подчинится их решению, они прекрасно знали: но, не говоря уже о Володыевском, даже пан Заглоба скорее предпочел бы одному наброситься на целый полк янычар, чем видеть, как она прижмет кулачки к глазам.

VII

Между тем в тот же день им подоспела надежная, как им казалось, помощь в лице неожиданных и самых дорогих для них гостей. Никого не предупредив, к вечеру приехали супруги Кетлинги. Радость и изумление в Хрептиева были неопишуты; а они, узнав с первого же слова, что Бася выздоравливает, страшно обрадовались. Кшися сейчас же бросилась в спальню, и тотчас оттуда послышались писк и крики, возвестившие рыцарям о том, как рада Баська.

Кетлинг и Володыевский долго обнимали друг друга, то отстраняя один другого, то снова бросаясь в объятия.

– Ей-богу, Кетлинг, я бы не так обрадовался гетманской булаве, как твоему

приезду. Что поделяваешь ты в наших сторонах?

– Гетман поручил мне начальство над каменецкой артиллерией, – ответил Кетлинг, – и вот мы приехали с женой в Каменец. Там, узнав о вашем несчастье, мы немедленно отправились к вам, в Хрептиев. Слава богу, Михал, что все так счастливо кончилось! Мы ехали, не зная, застанем ли у вас радость или горе.

– Радость! Радость! – вставил свое слово Заглоба.

– Как же это случилось? – спросил Кетлинг.

Маленький рыцарь и пан Заглоба стали ему рассказывать, перебивая друг друга, а Кетлинг поднимал глаза и руки к небу, удивляясь мужеству Баси.

Наговорившись досыта, маленький рыцарь принялся расспрашивать Кетлинга про его жизнь, и тот дал ему подробный отчет.

После свадьбы они жили на границе Курляндии. Им было так хорошо, что и в раю не могло быть лучше. Женясь на Кшисе, Кетлинг хорошо знал, что берет себе в жены «неземное создание», и до сих пор не изменил этого мнения.

Эти слова Кетлинга напомнили Володыевскому и пану Заглобе прежнего Кетлинга с его выпреним слогом, с его изысканной любезностью, и они опять бросились обнимать его; наконец старый шляхтич спросил:

– Ну а с этим неземным созданием не случился ли какой-нибудь земной казус, который барахтается ногами и пальчиком ищет зубов во рту?

– Бог нам дал сына, – ответил Кетлинг. – А теперь еще...

– Я это заметил, – сказал Заглоба, – а у нас все по-старому.

Сказав это, он уставился своим единственным глазом в маленького рыцаря, и тот быстро зашевелил усиками.

Дальнейший разговор был прерван появлением Кшиси; показавшись в дверях, она сказала:

– Бася просит к себе.

Все отправились в спальню, и там снова начались приветствия. Кетлинг целовал руки Баси, а Володыевский – руки Кшиси. Все они с любопытством присматривались друг к другу, так как давно не виделись.

Кетлинг почти не изменился; только волосы его были коротко острижены, и это делало его моложе. Зато Кшиса, по крайней мере теперь, очень изменилась. В ней не было прежней гибкости и стройности, лицом она была бледнее, и от этого пушок на губах выделялся еще больше. У нее остались только ее прелестные глаза с длинными ресницами и прежнее спокойствие в лице. Когда-то прекрасные, черты его утратили прежнюю нежность. Конечно, все это было временно, но все же Володыевский, глядя на нее и сравнивая со своей Баськой, невольно думал:

– Боже мой! Как мог я ее любить, когда они были вместе? Где у меня были глаза?

Но зато Баська показалась Кетлингу прелестной. И она, действительно, была прелестна со своими русыми кудрявыми волосами, спускавшимися на брови, со своим нежным цветом лица, походившим на лепесток белой розы, – после болезни у нее уже не было прежнего румянца. Но теперь лицо ее слегка порозовело от радости, и ее нежные ноздри быстро раздувались. Она казалась такой молоденькой, что ее можно было принять за подростка, и на первый взгляд можно было думать, что она лет на десять моложе Кхиси.

Но ее красота произвела на чувствительного Кетлинга такое впечатление, что он стал с большей нежностью думать о жене, так как чувствовал, что виноват перед нею.

Обе женщины уже сказали друг другу все, что можно было сказать в такое короткое время, и все общество уселось около постели Баси, начали вспоминать прежние времена. Но этот разговор не клеился, так как в этих воспоминаниях было много больных мест: отношение пана Михала к Кхисе и равнодушие маленького рыцаря к обожаемой теперь Баське, всякие обещания и отчаяние. Пребывание в домике Кетлинга было для всех приятным воспоминанием, но говорить об этом было неудобно.

Вскоре Кетлинг переменял разговор.

– А я еще вам и не сказал, что по дороге мы заезжали к Скшетуским. Они не отпускали нас две недели и приняли нас так, что и в раю нам не могло бы быть лучше, чем у них.

– Боже, как поживают Скшетуские?! – воскликнул пан Заглоба. – Вы, значит, застали дома и его.

– Да, застали, он приехал на время от гетмана с тремя старшими сыновьями, которые служат в войске.

– Скшетуских я не видел со времени нашей свадьбы, – сказал маленький рыцарь. – Он был здесь в Диких Полях и сыновья были с ним вместе, но встретиться с ним нам не пришлось.

– Все там ужасно скучают по вас! – сказал Кетлинг, обращаясь к пану Заглобе.

– А я по ним! – ответил старый шляхтич. – Да это всегда так: сижу здесь, без них скучаю, поеду туда, буду скучать по этой козочке. Уж такова жизнь человека, если не в одно, так в другое ухо дует ветер... Сироте всего хуже: будь у меня кто-нибудь близкий, я бы так чужих не любил.

– И родные дети не любили бы вас больше, чем мы! – ответила на это Бася.

Услышав это, пан Заглоба страшно обрадовался: бросив мрачные мысли, он тотчас повеселел и, посопев немного, сказал:

– Ха, глуп я был тогда у Кетлинга, что сосватал вам Кхиську и Баську, не подумав о себе. Тогда еще было время...

Потом, обратившись к молодым женщинам, он прибавил:

– Сознайтесь, что обе вы полюбили бы меня и что каждая предпочла бы идти за меня

замуж, чем за Михала или Кетлинга?

– Ну конечно! – ответила Бася.

– Гальшка Скшетуская тоже в свое время предпочла бы меня. Эх! Ничего не поделаешь... Вот это степенная дама, не какой-нибудь сорванец, который татарам зубы вышибает. Ну а здорова ли она?

– Здорова, но огорчена немного: два средних сына убежали у них из школы в Лукове в войско, – сказал Кетлинг. – Сам Скшетуский доволен, что их тянет в солдаты, но мать – есть мать!

– А много у них детей? – со вздохом спросила Бася.

– Мальчиков двенадцать, а теперь пошел прекрасный пол, – сказал Кетлинг.

А пан Заглоба заметил:

– Благодать Божья над этим домом. И всех-то я выходил на собственной груди, как некий пеликан. Этих средних я за уши выдеру, потому что если уж бежать, то бежать к Михалу!.. Пойдите, стало быть, убежали Михалок с Яськом. У них там их такая куча, что отец и тот их путал; на полмили от них не увидишь ни одной вороны, всех перестреляли из луков. Да! Другой такой женщины днем с огнем не найдешь. Бывало, я скажу ей: «Гальшка, сорванцы подрастают, надо бы мне новую радость!» Она будто и рассердится, а смотришь: к сроку готово, словно по заказу! Представьте, до того дошло, что если какая женщина детей не могла дожидаться, то стоило ей только на время взять платье у Гальшки, и это помогало, ей-богу, помогало!

Все очень удивились, даже замолчали на минуту; вдруг раздался голос маленького рыцаря:

– Баська, слышишь?

– Замолчишь ты, Михал?! – ответила Бася.

Но Михал не хотел молчать: ему пришли в голову разные хитрые мысли, тем более что ему казалось, что, воспользовавшись этим удобным случаем, можно будет уладить и другое не менее важное дело; и он начал, точно нехотя, словно дело касалось самой обыкновенной вещи:

– Ей-богу, не мешало бы навестить Скшетуских. Его, конечно, дома не будет, он отправится к гетману, но ведь она женщина умная, Господа искушать не будет и, конечно, останется дома...

Затем он обратился к Кшисе:

– Идет весна, и погода будет прекрасная. Теперь Баське еще рано, но попозднее, ей-богу, может быть, я и не противился бы – ведь это долг дружбы. Пан Заглоба вас бы проводил, а осенью, когда все успокоится, и я бы приехал за вами.

– Это великолепная мысль! – воскликнул Заглоба. – Мне и так надо к ним поехать, а то в неблагодарности попрекнут. Хе! Я и позабыл, что они на свете. Мне даже совестно.

– Что вы скажете на это? – спросил Володыевский, пристально глядя на Кшисю.

Но Кшися с обычным спокойствием совершенно неожиданно ответила:

– Я бы не прочь, но это невозможно – я останусь с мужем в Каменце и ни в каком случае его не оставлю.

– Боже, что я слышу! – воскликнул Володыевский. – Вы останетесь в крепости, которую, наверное, будет осаждать неприятель, и главное – неприятель, не знающий никаких церемоний? Я еще ничего не говорил бы, будь война с каким-нибудь политичным народом, но ведь тут дело с варварами. Вы, значит, не знаете, что такое взятый город? Что такое – татарская или турецкая неволя? Я ушам своим не верю!

– А все-таки иначе быть не может! – ответила Кшися.

– Кетлинг, – воскликнул с отчаянием маленький рыцарь, – и ты позволил так овладеть собою? Побойся Бога!

– Мы долго это обсуждали и на том порешили, – ответил Кетлинг.

– Наш сын уже в Каменце под присмотром одной моей свойственницы. Разве Каменец непременно будет взят?

Кшися подняла к небу глаза и сказала:

– Бог сильнее турок, и он не оставит верующих. Я клялась мужу, что до самой смерти не покину его, а потому мое место там, где он.

Маленький рыцарь страшно смутился, он не ожидал услышать что-либо подобное из уст Кшиси.

Бася, которая с самого начала разговора поняла, к чему клонит Володыевский, лукаво улыбалась и, пристально глядя на него, сказала:

– Слышишь, Михал?

– Замолчишь ты, Баська?! – воскликнул в необычайном смущении маленький рыцарь.

Сказав это, он стал бросать умоляющие взгляды в сторону пана Заглобы, как будто ожидая от него помощи, но этот изменник вдруг встал и сказал:

– Не словом единым жив будет человек, надо позаботиться и насчет ужина! – и вышел из комнаты.

Пан Михал побежал за ним и загородил ему дорогу.

– Ну, и что же теперь будет? – спросил Заглоба.

– Что теперь будет?

– А чтоб эту Кшисю! Как не погибнуть Речи Посполитой, коли в ней женщины управляют.

– Вы ничего не придумаете?

– Если ты жены боишься, что я могу придумать? А чтобы ей ездить на тебе было удобнее, вели кузнецу себя подковать!

VIII

Кетлинги прогостили около трех недель. По прошествии этого времени Бася пробовала встать с постели, но оказалось, что она еще не может стоять на ногах. Здоровье к ней возвращалось, но сил у нее еще не было. Медик приказал ей лежать до тех пор, пока она совсем не окрепнет. А между тем наступала весна. Прежде всего с Диких Полей и с Черного моря подул сильный и теплый ветер и разорвал, растрепал на небе саван туч, как истлевшую от времени одежду. Потом стал сгонять и разгонять по небу эти тучи, как овчарка сгоняет и разгоняет стадо овец. Убегавшие от него тучи орошали землю обильным дождем, который падал крупными каплями величиной с ягоду. Растаявшие остатки снега и льда образовали на степной равнине озера; с обрывов потекли струйки воды, на дне оврагов образовались ручьи – все это с шумом и гулом мчалось к Днестру, мчалось радостно, как мчатся дети к матери, завидев ее вдали.

В разрывах туч ежеминутно просвечивало солнце, светлое, помолодевшее, как будто влажное, словно оно выкупалось в этом весеннем половодье.

Из размякшей земли начали выглядывать светло-зеленые стебельки трав, на тонких ветках деревьев разбухли почки. Солнце грело все сильнее; на небе появились стаи птиц: журавли, дикие гуси, аисты; затем ветер пригнал Целые тучи ласточек, громким хором в теплой воде заквакали лягушки; запели мелкие, серенькие птички; и боры, и леса, и степь, и овраги, и вся природа, казалось, кричала громким голосом радости и упоения:

– Весна! Весна!

Но для этой несчастной страны весна принесла печаль вместо радости, смерть – вместо жизни. Через несколько дней после отъезда Кетлингов маленький рыцарь получил следующее известие от пана Мыслишевского:

«В Кучункаврийской степи собирается все больше войска. Султан послал значительные суммы в Крым. Хан с пятьюдесятью тысячами орды идет на помощь Доротиенке. Как только весенние воды обсохнут, тьма-тьмущая хлынет по Черному и Кучменскому тракту. Боже, смилуйся над Речью Посполитой!»

Володыевский тотчас же послал своего слугу, Пентку, с этим известием к гетману.

Но сам он не торопился уезжать из Хрептиева. Во-первых, как солдат, он не мог без гетманского приказа оставить этой станицы, во-вторых, он слишком много лет провел в войне с татарами, чтобы не знать, что чамбулы так скоро не двинутся. Ведь вода еще не спала, трава недостаточно выросла, казаки стояли еще на зимовках. Турок маленький рыцарь ожидал не раньше лета; хотя они и собрались уже под Адрианополем, но такой огромный табор, такое множество войска, обозной прислуги, тяжестей, лошадей, верблюдов и волов могло подвигаться только очень медленно. Легкие татарские отряды можно было ожидать раньше, в начале апреля или мая. Правда, впереди главных отрядов, насчитывающих несколько десятков тысяч воинов, всегда шли маленькие передовые чамбулы и более или менее многочисленные ватаги, подобно тому, как перед проливным дождем на землю падают отдельные

капли. Но их маленький рыцарь не боялся. Даже отборный татарский чамбул не мог в открытом поле устоять против превосходной польской конницы, а что же говорить о маленьких отрядах, которые при одном слухе о приближении польских войск рассеивались, как пыль, гонимая вихрем.

Во всяком случае, времени было достаточно, а если бы даже его не хватило, Володыевский был бы не прочь столкнуться с какими-нибудь чамбулами и оставить им после себя не слишком приятное воспоминание.

Это был воин по плоти и крови, воин по призванию, и приближение войны пробуждало в нем жажду неприятельской крови и в то же время возвращало ему спокойствие.

Пан Заглоба, хотя он в течение своей долгой жизни уже успел освоиться со всякими опасностями, был не так спокоен. В случае необходимости он находил в себе отвагу; впрочем, он выработал ее в себе долголетней и подчас невольной практикой и совершил в жизни много подвигов, но все же первое известие о предстоящей войне произвело на него большое впечатление. Но, когда маленький рыцарь высказал ему свое мнение, Заглоба приободрился и начал на чем свет стоит поносить весь Восток и угрожать ему.

– Когда христианские народы воюют между собой, – говорил он, – тогда и Господь Иисус Христос печалится, и все святые, ибо всегда, если хозяин озабочен, озабочены и слуги. Но нет небу большей радости, как если кто убьет турка. Я слышал от одной духовной особы, что святых просто мутит при виде этих собачьих детей, и они не могут пользоваться небесной пищей и напитками, а стало быть, и вечным блаженством.

– Так-то так, – ответил маленький рыцарь, – но турки очень могущественны, а у нас войска горсточка.

– Да ведь не завоеуют же они всей Речи Посполитой! Мало ли сил было у Карла Густава, а ведь в то время мы вели войну с Русью, и с казаками, и с Ракочи, и с курфюрстом, а теперь где они? Мы еще сами вошли к ним с огнем и мечом.

– Это правда. Лично я не боюсь этой войны, тем более что, как я уже говорил, я должен совершить какой-нибудь подвиг, чтобы отблагодарить Господа Иисуса Христа и Пресвятую Деву за спасение Баси. Только бы Господь послал случай. Но я боюсь за ту землю, которая, хоть и на время, все же может перейти в языческие руки вместе с Каменцем. Представьте себе, как будут поруганы церкви Господни и как угнетаемы будут христиане!

– Не говори мне только о казаках. Шельмы! Они сами подняли руку на мать-отчизну, пусть же теперь и получают то, чего заслужили. Самое главное, – чтобы Каменец выдержал осаду. Как ты думаешь, Михал, выдержит?

– Я думаю, что пан генерал подольский не укрепил его как следует, а жители, рассчитывая на природные укрепления, тоже не сделали того, что надо. Кетлинг говорил, что туда пришли полки епископа Тжебицкого, и полки превосходные. Господи, мы удержались под Збаражем, за жалким земляным валом, против столь же сильного неприятеля, а ведь Каменец – орлиное гнездо...

– Ха! Орлиное гнездо! Да только найдется ли там такой орел, каким был Вишневецкий. И не ворона ли это будет. Ты знаешь генерала подольского?

– Знатный пан и хороший воин, но порядком беспечный.

– Знаю! Знаю! Я его не раз упрекал за это. Потоцкие хотели в свое время, чтобы я ехал с ним за границу воспитывать и обучать хорошим манерам. А я сказал им: «Не поеду именно из-за его неаккуратности: у его сапог всегда уши оборваны, бывая при дворе, ему придется всегда мои надевать, а теперь сафьян дорог». Потом, при Марии Людвики, он одевался французом, и у него постоянно сползали чулки, голые икры так и сверкали! Не дорасти ему Вишневецкому и до пояса!

– Каменецкие мещане также боятся осады, потому что во время осады в торговле застой. Они скорее предпочли бы под владычество турок перейти, только бы не закрывать лавок.

– Шельмы! – сказал Заглоба.

И оба они с маленьким рыцарем беспокоились за будущую судьбу Каменца. Тревожились они и за Басю, которая в случае взятия крепости должна была бы разделить участь всех жителей города.

Минуту спустя пан Заглоба ударил себя по лбу.

– Господи боже! – воскликнул он. – К чему мы тревожимся? Зачем нам идти в этот паршивый Каменец и запирается в нем? Не лучше ли остаться при гетмане и сражаться с неприятелем в открытом поле. В этом случае Баська ведь не сможет идти с тобой в полк, а должна будет уехать куда-нибудь подальше, и, конечно, не в Каменец, а хотя бы к Скшетуским. Михал, бог видит мое сердце, и видит, как я жажду неприятельской крови, но для тебя и для Баськи я готов пожертвовать и этим, – я сам отвезу Баську.

– Благодарю вас, – ответил маленький рыцарь. – Конечно, если я не буду в Каменце, то и Баська не будет настаивать ехать со мной, но что будешь делать, если придет приказ от гетмана?

– Что делать, если придет приказ?.. Черт бы побрал все эти приказы.. Что делать?.. Постой! Я придумал: надо опередить приказ.

– Как же это?

– Пиши сейчас же Собескому, якобы сообщая ему новости, и в конце письма припиши, что ввиду близости войны ты хотел бы из привязанности к нему остаться при его особе и сражаться в открытом поле. Ей-богу, это великолепная мысль. Во-первых, совершенно невероятно, чтобы такого загонщика, как ты, заперли в крепости, вместо того чтобы пользоваться им в поле, во-вторых, за такое письмо гетман полюбит тебя еще сильнее и, конечно, захочет оставить при себе. Ему нужны будут преданные солдаты. Пойми, наконец, что если Каменец устоит, то слава победы падет на генерала подольского, а все твои подвиги в поле прославят гетмана. Не бойся, гетман тебя генералу не отдаст. Скорей он отдал бы кого-нибудь другого, но тебя или меня не отдаст. Пиши письмо! Напомни ему о себе! Ха! Моей находчивости еще на многих хватит. Михал! Выпьем при этом случае, что ли? Пиши письмо!

Володыевский очень обрадовался, обнял пана Заглобу и, подумав с минуту, сказал:

– И я не обману ни Господа Бога, ни отчизну, ни гетмана, потому что могу так

принести много пользы. От всего сердца благодарю вас! И полагаю, что гетман захочет оставить меня при себе после письма. Но, чтобы не оставить и Каменца без помощи, знаете ли, что я сделаю? Я снаряжу за свой счет горсть пехоты и отправлю в Каменец. И об этом сейчас напишу гетману.

– Еще лучше! Но, Михал, откуда ты людей возьмешь?

– У меня в погребах сидит до сорока разбойников, их я и возьму. Каждый раз, когда я хотел кого-нибудь из них повесить, – Баська просила их помиловать, и не раз уже советовала мне сделать из них солдат. Я не соглашался, нельзя было. Но теперь война и все можно. Народ это аховый, и все они нюхали порох. Кроме того, я объявлю всем скрывающимся в оврагах и пущах, что тем, кто добровольно поступит в полк, будут прощены прежние преступления. Наберется до ста человек... Баська тоже будет довольна. Да, вы камень у меня с сердца сняли.

И в тот же самый день маленький рыцарь послал нового гонца к гетману, а разбойникам объявил помилование, если они поступят в пехоту. Те радостно согласились и обещались привлечь и других. Бася обрадовалась ужасно.

Из Ушицы, из Каменца и откуда только было возможно вызвали портных шить солдатам одежду. Прежние разбойники маршировали теперь на хрептиевском дворе, а пан Володыевский радовался, что ему придется сражаться в открытом поле, что его Бася не подвергнется опасности во время осады, а Каменцу и отчизне он окажет большую услугу.

Прошло несколько недель, как вдруг однажды вечером вернулся гонец с письмом от пана гетмана Собеского.

Гетман писал:

«Дорогой мой и милый Володыевский. За то, что ты так без промедлений присылаешь мне все новости, я тебе очень благодарен и благодарна должна быть отчизна. Война неизбежна, я получил из другого источника известие, что в Кучункаврийской степи стоит большая сила; вместе с ордой – до трех сот тысяч. Орды двинутся со дня на день. Ничем султан так не интересуется, как Каменцем. Я надеюсь, что эту змею – Тугай-беевича – Господь выдаст в руки твои или в руки Нововойского, над несчастьем которого я искренне скорблю.

Что касается того, чтобы ты был при мне, то видит бог, как я этого хочу, но это невозможно. Хотя пан генерал подольский не всегда с одинаковым дружелюбием относился ко мне после выборов, но я хочу послать ему лучшего солдата, ибо берегу Каменецкую твердыню как зеницу ока. Там будет много людей, которые за свою жизнь раз или два воевали. Но все же война для них дело не очень привычное. А человека, для которого война – что-то вроде насущного хлеба, который мог бы в каждом случае дать совет, там не будет; а если и найдется, то не пользующийся большим влиянием. Поэтому я посылаю тебя, ибо хотя Кетлинг – хороший воин, но там он меньше известен, чем ты, между тем как глаза всех будут обращены на тебя, и я думаю, что хотя главное начальство будет поручено другому, но тому, что скажешь ты, все охотно подчинятся. Небезопасна эта служба в Каменце, но ведь мы уже привыкли за других мокнуть и за других холодать. Наша награда – слава и благодарность потомства, но отчизна – первое дело, и мне нечего торопить тебя ее спасать».

Письмо это, прочитанное в присутствии всех офицеров, произвело сильное

впечатление, – все предпочитали сражаться в открытом поле, чем в крепости. Володыевский понурил голову.

– Что ты думаешь, Михал? – спросил пан Заглоба.

Он поднял лицо, уже спокойное, и ответил спокойным голосом, как будто ничего не случилось:

– Пойдем в Каменец! О чем мне еще раздумывать?..

И могло казаться, будто ничего другого ему и в голову не приходило. Минуту спустя он зашевелил усиками и прибавил:

– Да, милые товарищи, пойдем в Каменец, но не отдадим его, пока сами не погибнем!

– Пока сами не погибнем! – повторили офицеры. – Двум смертям не бывать, одной не миновать!

Пан Заглоба некоторое время молчал, обводя глазами всех присутствующих и видя, что они ждут, что он скажет, вдруг засопел и сказал:

– Иду с вами! Черт побери!

IX

Когда земля пообсохла и покрылась травой, двинулся на помощь Дорошу и взбунтовавшимся казакам сам хан с пятьюдесятью тысячами астраханской и крымской орды. И сам хан, и его родственники, и все главные мурзы, и беи были одеты в кафтаны, подаренные падишахом, и шли они на Речь Посполитую не так, как ходили всегда, – за добычей и пленниками, – а шли на священную войну, на гибель Ляхистану и всему христианству.

Другая, еще более грозная, туча собиралась под Адрианополем, и это наводнение должна была удержать одна только Каменецкая крепость, а вся Речь Посполитая была как открытая степь, как больной человек, который не может не только защищаться, но даже встать на ноги. Силы Речи Посполитой истощились прежними, хотя и победоносными, войнами – шведскими, прусскими, русскими, казацкими и венгерскими, военными конфедерациями и бунтом презренной памяти Любомирского, а теперь ее окончательно ослабили домашние смуты, бездарность короля, ослепление безмозглой шляхты и ужасы междоусобной войны. Тщетно великий Собеский предсказывал гибель, никто не хотел верить в войну; не было принято никаких мер для защиты: в казне не было денег, у гетмана войск. Против такого неприятеля едва могли бы устоять союзные войска всех христианских народов, а у гетмана было всего несколько тысяч войска.

Между тем на Востоке, где все совершалось по воле падишаха, где народ был послушным орудием в руках одного человека, все было иначе. С той же минуты, как было поднято великое знамя пророка, как бунчуки были развешены на воротах серала и на башне сераскериата, а улемы возвестили священную войну, и тронулись пол-Азии и весь север Африки. Сам падишах явился весной на Кучункаврийской равнине и стал собирать уже давно небывалое по своему могуществу войско. Сто тысяч спагов и янычар – отборного турецкого войска – находились при его священной особе, а потом стали собираться войска из всех отдаленных провинций и владений. Те, которые жили в Европе, явились раньше всех. Пришли конные отряды

боснийских бегов, быстрые, как молния, в одеждах ярких, как пламя. Пришли дикие албанские воины – пехотинцы, вооруженные турецкими кинжалами, пришли ватаги отуреченных сербов, пришел народ, который жил по берегам Дуная и ниже, по ту сторону Балкан или еще ниже – с греческих гор. Каждый паша вел за собой целую армию, и каждая из них могла залить собой беззащитную Речь Посполитую. Пришли валахи и молдаване, пришло множество добруджских и белгородских татар, прибыло несколько тысяч липков и черемисов, которыми командовал страшный Азия Тугай-беевич и которые должны были быть проводниками турецких войск в несчастной и хорошо им знакомой стране. Потом хлынуло всеобщее ополчение из Азии. Паши Сиваса, Бруссы, Алеппо, Дамаска, Багдада, кроме регулярных войск, привели с собой вооруженные толпы, начиная с диких горцев из поросших кедрами гор Малой Азии и кончая смуглыми жителями берегов Евфрата и Тигра. На призыв калифа явились арабы, и их бурнусы точно снегом покрыли Кучункаврийскую равнину; тут были и кочевники из песчаных пустынь, и жители всех городов, от Медины до Мекки. Не остались дома и египетские вассалы, и те, что сидели в многолюдном Каире, и те, что любовались по вечерам освещенными вечерней зарей пирамидами, и те, что жили в мрачных странах, откуда вытекает священный Нил, и те, чья кожа, опаленная солнцем, была черна, как сажа, – все они в полном вооружении стояли у Адрианополя и каждый вечер молились о победе для ислама и о гибели для страны, которая целые века одна заслоняла весь мир от исповедников пророка.

Были здесь сотни тысяч вооруженного народа, – сотни тысяч лошадей ржали на равнине, сотни тысяч волов, овец и верблюдов паслись рядом с лошадьми. Можно было думать, что, по воле Божьей, ангел изгнал народы из Азии, как некогда Адама из рая, и повелел им идти в страну, где солнце бледнее и где степь зимой покрывается снегом. И шли они вместе со стадами, как бесчисленный муравейник белых, темных и черных воинов. Сколько там слышалось наречий, сколько одежд блестяло и пестрело в лучах весеннего солнца! Один народ дивился другому; чужды они были друг другу по обычаям, оружию, военным приемам, и только вера объединяла эти блуждающие племена, и только, когда муэдзины призывали их на молитву, тогда все эти разноязычные полчища поворачивались лицом на восток и зывали к Аллаху.

Одной прислуги при дворе султана было больше, чем всех войск в Речи Посполитой. За войсками и вооруженными добровольцами тянулись толпы торговцев, продававших всякие товары; их возы вместе с войском переправлялись через реку. Двое трехбунчужных пашей, шедших во главе двух войск, должны были заботиться о том, как прокормить весь этот человеческий муравейник, поэтому всего было в избытке.

За войском шло двести пушек, из них десять было осадных, таких огромных, каких не было ни у одного христианского короля. Азиатские беглербеи расположились на правом крыле, европейские – на левом. Палатки занимали такое огромное пространство, что рядом с ним Адрианополь казался не очень большим городом. Шатры султана, сверкавшие пурпуром, шелковыми кистями и золотым шитьем, составляли как бы отдельный город. Среди них роилась вооруженная стража, черные абиссинские евнухи в желтых и голубых кафтанах; великаны из курдских племен, предназначенные для переноски тяжестей, и юные, необыкновенно красивые пажи, и множество другой прислуги, одетой в пестрые, яркие, как степные цветы, одежды: стремянные, повара, виночерпии, факельщики и прислуга знатнейших придворных.

На обширном майдане, вокруг султанской ставки, которая своим великолепием и роскошью напоминала правоверным обетованный рай, находились ставки, уступавшие в роскоши ставке султана, но все же необычайно роскошные: ставки визиря, улемов и анатолийского паши, молодого каймакана, Кара Мустафы, на которого были обращены

все взоры, не исключая даже самого султана, как на будущее «солнце войны».

Перед шатрами падишаха виднелась великолепная стража «поляхской» пехоты в таких высоких тюрбанах, что люди, носившие их, казались великанами. Вооружены они были дротиками на древках и короткими, кривыми мечами. Их полотняные палатки находились рядом с шатрами султана. Далее стоял лагерь страшных янычар, вооруженных мушкетами и копьями, – главная сила турецкой армии. Ни кесарь немецкий, ни король французский не могли похвастать таким количеством отборной пехоты. В войнах с Речью Посполитой менее выносливые турецкие подданные не могли устоять перед равным по численности регулярным польским войском, и только численное превосходство иной раз давало им победу. Но янычары не боялись и грудью встречать польскую конницу. Они внушали страх всему христианскому миру, их боялись даже в Царьграде. Неоднократно сам султан трепетал перед этими преторианцами, а главный ага этих «барашков» был всегда одним из самых знаменитых сановников дивана.

За янычарами стояли спаги, за ними – регулярные войска пашей, а дальше ополченцы. Все эти войска уже несколько месяцев стояли под Константинополем, ожидая, пока армия эта не пополнится новыми полчищами из самых отдаленных владений султана и пока весеннее солнце не обсушит землю и этим облегчит поход на Ляхистан.

Солнце, как будто тоже покоряясь воле султана, заливало землю горячими лучами. С начала апреля до мая только несколько раз теплые дожди оросили Кучункаврийскую равнину, остальное время над шатром султана висел голубой божий шатер, без единой тучки. Солнечные лучи чернели на белых полотнищах палаток, на громадных тюрбанах, на разноцветных одеждах, на остроконечных шлемах, знаменах и копьях, заливая все: и лагерь, и палатки, и людей, и стада – морем яркого света. Вечером на погожем небе блеснул незатуманенный месяц и тихо покровительствовал этим несметным полчищам, которые под его знаком шли покорять новые земли; потом он стал подниматься все выше и бледнел при блеске костров, и когда они разгорались на всем необозримом пространстве, когда пешие арабы из Дамаска и Алеппо зажигали зеленые, красные, желтые и голубые фонари около шатров султана и визирей, то казалось, что часть неба упала на землю и что это звезды так мигают и мерцают на широкой равнине.

Образцовый порядок и дисциплина царили в войсках. Перед волей султана гнулись паши, как слабый тростник под ветром, перед пашами гнулись войска. Провианта было достаточно и для людей, и для скота. Все доставлялось вовремя и в избытке. Образцово соблюдались часы, предназначенные для военных упражнений, для отдыха и для молитвы. Когда муэдзины начинали призывать правоверных к молитве с сооруженных наскоро деревянных минаретов, все воины обращались лицом к востоку, каждый из них расстилал на земле кожу или коврик, и все как один падали на колени. Такой порядок и дисциплина придавали бодрости толпе, и сердца воинов наполнялись надеждой на победу.

Султан, прибыв в лагерь под конец апреля, все же не сразу двинулся в поход. Он ждал больше месяца, пока не обсохла земля; тем временем он обучал войска, приучал их к походной жизни, управлял, принимал послов в своей крытой пурпуром палатке и совершал все обряды.

Прекрасная, как сон, первая жена султана Кассека сопровождала его в этом походе, а за нею следовал ее двор, тоже похожий на райский сон.

Повелительница ехала в позолоченной колеснице под пурпурным балдахином, за нею следовали возы, белые сирийские верблюды с поклажей, тоже покрытые пурпуром. Баядерки пели ей песни. Когда усталая от дороги повелительница опускала свои шелковистые ресницы, раздавались нежные, тихие звуки инструментов и ублаживали ее. Во время дневного зноя над ней колебались опахала из павлиньих и страусовых перьев; драгоценные восточные благовония курились в индийских чашах перед ее шатром. С нею были все сокровища, все редкости и богатства, какие только мог добыть Восток и могущественный султан. Баядерки, черные евнухи, мальчишки, похожие на ангелов, сирийские верблюды, арабские кони, словом, все шествие сверкало бисером, парчой, золотом, отливало всеми цветами радуги от брильянтов, рубинов, смарагдов и сапфиров. Перед этим шествием падали ниц все народы, не смея взглянуть в лицо той, на которую имел право лишь один султан, и, казалось, шествие это сам Аллах перенес на землю из мира грез и райских видений.

Солнце пригревало все сильнее и сильнее, и, наконец, наступили знойные дни. И вот, однажды вечером на высокой мачте перед султанским шатром появилось знамя, и выстрел из пушки возвестил, что поход на Ляхистан начат. Послышался бой священного барабана, за ним грянули все другие; раздался пронзительный звук дудок, набожные завывания полунагих дервишей, и ночью, чтобы избежать дневного зноя, двинулся табор, вышли те паши, которые должны были доставлять продовольствие войскам, тронулся целый легион ремесленников, которые должны были разбивать шатры, тронулись стада вьючного и предназначенного на убой скота. Войско должно было выйти через несколько часов после первого сигнала.

Поход должен был продолжаться каждую ночь по шесть часов, и притом так, чтобы войско, придя на стоянку, находило там и готовую пищу, и место для отдыха.

Когда наконец пришло время трогаться и войску, султан выехал на возвышение, чтобы охватить глазами все свои силы и полюбоваться ими. С ним был визирь, улемы и молодой каймакан, Кара Мустафа, «восходящее солнце войны», и стража, состоявшая из «поляхской» пехоты. Ночь была тихая и светлая; месяц ярко светил, и султан мог бы осмотреть все войско, если бы человеческий взор был в состоянии сразу охватить его: войско хотя и шло тесными колоннами, но растянулось на несколько десятков верст.

Но все же он обрадовался в душе и, перебирая четки из благовонного сандалового дерева, возносил глаза к небу, благодаря Аллаха за то, что он сделал его властелином стольких войск и стольких народов. Вдруг, когда передние отряды скрылись из виду, он прервал молитву и, повернувшись к молодому каймакану, Черному Мустафе, сказал:

– Я забыл, кто идет впереди?

– Свет небесный, – ответил Кара Мустафа, – впереди идут липки и черемисы, а ведет их твой пес, Азия, сын Тугай-бея.

Х

Азия, сын Тугай-бея, после долгой стоянки в Кучункаврийской равнине действительно двинулся во главе липков впереди всех турецких войск к границам Речи Посполитой.

После тяжелого поражения, нанесенного ему рукой Баси, счастливая звезда, казалось, снова начала светить ему. Прежде всего он выздоровел. Правда, красоты он раз и навсегда лишился, один глаз совсем вытек, нос был раздроблен, а лицо

его, когда-то напоминавшее сокола, теперь было страшно и безобразно. Но именно то, что лицо его было страшно, вселяло к нему еще большее уважение среди добруджских татар. Его прибытие произвело большое впечатление в лагере, и слава о его подвигах в рассказах людей достигла небывалых размеров. Говорили, что он привел всех липков и черемисов на службу султана, что он разбил ляхов так, как никто никогда не разбивал их; что он сжег все города на берегу Днестра, перерезал гарнизоны и взял ценную добычу. Те, которые должны были еще идти в Ляхистан, те, которые, прибыв из далеких стран Востока, до сих пор еще не знали «ляшского» оружия, те, у кого тревожно билось сердце при мысли о том, что им скоро придется встретиться лицом к лицу с конницей неверных, – видели в молодом Азые воина, который уже имел дело с ляхами и не только не испугался их, но победил и положил счастливое начало войне. Один уже вид богатыря наполнял все сердца бодростью, а так как Азья был сыном страшного Тугай-бея, имя которого гремело на всем Востоке, то все взоры были обращены на него.

– Ляхи воспитали его, – говорили о нем, – но он, сын льва, искушав их, вернулся на службу к падишаху.

Сам визирь пожелал его видеть, а «восходящее солнце войны», молодой каймакан Кара Мустафа, влюбленный в воинскую славу и диких воинов, полюбил его. Они оба усердно расспрашивали Азью про Речь Посполитую, про гетмана, войско и Каменец и радовались его ответам, видя по ним, что война будет не трудная и что она принесет султану победу, а ляхам поражение, а им обоим звание гази, то есть завоевателей. И впоследствии Азья не раз имел возможность падать ниц перед визирем, сидеть на пороге палатки каймакана и получать от них обоим в подарок верблюдов, лошадей и оружие.

Великий визирь подарил ему кафтан из серебряной парчи, что еще больше возвысило Азью в глазах всех липков и черемисов. Кричинский, Адурович, Моравский, Грохольский, Творковский, Александрович – словом, все ротмистры, которые служили когда-то Речи Посполитой, а теперь вернулись на службу к султану, все беспрекословно подчинялись команде Азьи, преклоняясь перед ним, как перед княжеским сыном и воином, которому пожалован кафтан. Он стал влиятельным мурзой, и ему беспрекословно повиновались две с лишком тысячи воинов – несравненно лучших, чем обыкновенные татары. Предстоящая война, в которой молодой мурза мог отличиться скорее, чем кто-нибудь другой, могла доставить ему славу, почести и власть. А все же Азья носил яд в душе. Во-первых, самолюбие его страдало оттого, что татары для турок, в особенности же для янычар и спагов, были чем-то вроде гончих собак для охотников. Сам он пользовался влиянием, но вообще татар считали плохим войском. Турок нуждался в них, иной раз боялся, но в лагере им пренебрегал. Заметив это, Азья отделил липков от других татар, как особую и лучшую часть орды, но этим сразу вооружил против себя других добруджских и белгородских мурз и не убедил турецких офицеров в превосходстве липков над остальными ордынцами. С другой стороны, воспитанный в христианской стране, среди шляхты и рыцарства, он не мог привыкнуть к обычаям Востока. В Речи Посполитой он был только простым офицером, да и то незначительного чина, все же при встрече со старшинами, и даже с самим гетманом, он не был вынужден так унижаться, как здесь, где он был мурзой и вождем всех липков. Здесь ему приходилось падать ниц перед визирем, бить земные поклоны перед каймаканом, расстилаться перед пашами, улемами, перед главным агой янычар. Азья к этому не привык, он помнил, что он сын витязя, душа его была полна дикости и горести и стремилась так высоко, как устремляются орлы, и он очень страдал.

Но особенно мучительны были мысли о Басе – они жгли его, как огнем. Важно не то,

что слабая женская рука свалила его с лошади, его, который под Брацлавом и Кальником и в сотне других мест вызывал на бой и поражал насмерть самых грозных запорожских наездников; важен даже не стыд и позор, но он безгранично, без памяти был влюблен в эту женщину, он хотел обладать ею в своем шатре, смотреть на нее, бить ее и целовать. Если бы ему предложили на выбор: стать падишахом, владеть половиной мира или держать ее в своих объятиях, ощущать ее теплоту, ее дыхание, ее уста на своих устах, то он выбрал бы ее, ее бы предпочел Царьграду, Босфору и званию калифа. Он жаждал ее, потому что любил ее, и, любя, ненавидел; чем чище она была, чем вернее мужу и непорочнее, тем более желал он обладать ею. Не раз, сидя в своей палатке, он вспоминал, как однажды в овраге после сражения с Азбой-беем он целовал ее глаза; когда же он вспоминал, что под Рашковом он прижимал ее к своей груди, то безумная, дикая страсть охватывала все его существо. Он не знал, что с ней случилось, не погибла ли она в дороге? При мысли, что, быть может, она замерзла, он то испытывал облегчение, то тоску. Бывали минуты, когда он думал, что лучше было бы не похищать ее, не сжигать Рашкова, не приходить сюда, а остаться липком в Хрептиева, лишь бы видеть ее.

Зато несчастная Зося Боская была в его шалаше. Жизнь ее проходила в рабском услужении, в позоре и в вечном ужасе, ибо в сердце Азьи к ней не было ни капли сострадания. Он попросту издевался над нею только за то, что она не была Басей. В ней была свежесть и прелесть полевого цветка, в ней была молодость и красота, и он наслаждался ее красотой, но при каждом удобном случае он попирал ее ногами и стегал плетью ее нежное белое тело. Жизнь для нее стала страшнее ада, ибо она жила уже без всякой надежды. Жизнь ее зацвела в Рашкове, зацвела весенним цветком любви к Нововейскому. Она полюбила его от всей души, полюбила эту рыцарскую, благородную, честную натуру, и вот она стала игрушкой, невольницей отвратительного слепца; дрожа, как избитая собака, она должна была ползать у его ног, смотреть ему в глаза, смотреть на его руки, не хватаются ли они за плетку, и сдерживать дыхание, и сдерживать слезы.

Она прекрасно знала, что для нее уже нет и не может быть спасения; если бы даже какое-нибудь чудо смогло вырвать ее из этих страшных рук, все же она не была прежней Зосей, белой, как первый снег, способной за любовь заплатить чистотой сердца. Все это прошло безвозвратно. А так как в постигшем ее позоре с ее стороны не было никакой вины, так как она всегда была непорочна как агнец, кротка как голубка, доверчива как дитя, так как она искренне любила, то она никак не могла понять, почему судьба обидела ее так страшно, что обиду эту уже ничем нельзя вознаградить; не могла понять, почему тяготеет над нею такой неумолимый гнев Божий, и этот душевный разлад еще усиливал ее боль, ее отчаяние.

Так проходили ее дни, недели, месяцы. Азья еще зимой прибыл в Кучункаврийскую равнину, а поход к границам Речи Посполитой начался только в июне. Все это время проходило для Зоей в позоре, в муках и в труде. Так как Азья, несмотря на ее нежность и красоту, несмотря на то, что она жила в его шатре, не только не любил ее, но скорей ненавидел за то, что она не была Басей, и смотрел на нее как на простую невольницу, то она должна была и работать как невольница. Она водила его лошадей, его верблюдов на водопой, приносила воду для омовения, дрова, расстилала шкуры на ночь. В других отрядах турецких войск женщины не выходили из шатров, из страха перед янычарами или из уважения к обычаям, но лагерь липков стоял поодаль, а обычай не выпускать на улицу женщин между липками не был распространен: живя когда-то в Речи Посполитой, они привыкли к другим обычаям. Невольницы простых солдат выходили даже с непокрытым лицом. Женщинам, правда, запрещено было выходить дальше границы липковского лагеря, ибо за этими границами их бы непременно похитили, но в пределах лагеря они могли ходить

свободно и заниматься хозяйством.

Несмотря на то что Зосе было тяжело носить дрова, ходить с лошадьми и верблюдами на водопой, но и это было для нее некоторым утешением: в палатке она не смела плакать, а здесь она безнаказанно давала волю слезам. Однажды, возвращаясь с вязанкой дров, она встретила с матерью, которую Азия подарил Галиму. Они упали друг другу в объятия, и их пришлось разнимать силой, и, хотя Азия избил потом Зою, все же это была сладостная встреча. В другой раз, стирая у брода белье Азии, она издали увидела Эвку, которая шла с ведрами воды. Эвка стонала под тяжестью ведер; фигура ее сильно изменилась и отяжелела, но черты ее лица, хотя и закрытого фатой, напомнили Зосе Адама, и такая боль схватила ее за сердце, что она на минуту потеряла сознание. Но от страха они ни слова не сказали друг другу.

Страх этот заглушал и притуплял в Зосе все чувства и, наконец, сменил в ней собой все желания, надежды, воспоминания. Не быть битой – стало теперь целью ее жизни. Бася, на ее месте, в первый же день убила бы Азию его собственным ножом, не думая о том, что могло бы ожидать ее за это; но робкая Зося, еще ребенок почти, не обладала решительностью Баси. И дошло до того, что она считала благодеянием, когда страшный Азия под влиянием минутной страсти приближал свое изуродованное лицо к ее устам. Сидя в палатке, она не спускала глаз с своего господина, стараясь узнать, гневается он или нет, следя за каждым его движением, стараясь угадать все его желания.

А когда случалось, что она не угадывала, и когда у него, как некогда у старого Тугай-бея, сверкали от ярости зубы, Зося, вне себя от ужаса, ползала у его ног, целовала побледневшими губами его сапоги и, судорожно обнимая его колена, кричала, как дитя, которое наказывают:

– Не бей меня, Азия, прости, не бей!

Он не прощал почти никогда, измывался над нею только за то, что она не была Басей.

Это была прежняя невеста Нововойского. Азия был неустрашим, но так страшны были счеты между ним и Нововойским, что при мысли об этом великане и о его мести Азия испытывал некоторую тревогу.

Наступала война, они могли встретиться, и это было очень вероятно. Азия не мог не думать об этом, а так как мысли эти приходили ему в голову при виде Зоей, то он и мстил ей, как бы желая ударами плети отогнать свою тревогу.

Наконец час пробил и султан повелел начать поход. Липки, а за ними целая тьма добруджских, новоградских и других татар должны были идти впереди. Это было решено султаном, визирем и каймаканом. Но первое время, до Балкан, войска шли вместе. Поход не был утомителен: хотя и началась жара, но войска шли только ночью по шесть часов в сутки. Вдоль всего пути были расставлены бочки с горячей смолой. Путь же султана освещался разноцветными фонарями. По необозримой равнине, подобно морской волне, двигался целый муравейник людей, наполняя, точно саранча, глубокие долины, покрывая собой горы. За войском следовал табор, с ним гарем, за табором – бесчисленные стада.

Между тем в прибалканских болотах золотисто-пурпурная колесница Кассеки увязла так, что двадцать волов не могли ее вытащить. «Дурное предзнаменование,

господин, для тебя и для всего войска!» – сказал султану главный муфтий. «Дурное предзнаменование!» – стали повторять в лагере полупомешанные дервиши. Султан испугался и решился отослать домой из лагеря всех женщин, а с ними и прекрасную Кассеку.

Приказ этот был объявлен войску. Те из солдат, которым некуда было отослать своих невольниц, и те, которые не хотели продавать их другим, предпочли убить их. Других целыми тысячами скупали торговцы из караван-сарая, чтобы потом перепродать в Стамбул и в азиатские города. Три дня кряду продолжалась эта ярмарка. Азия без колебаний выставил Зою на продажу, и ее купил богатый старик, купец из Стамбула, за хорошие деньги, для своего сына.

Это был человек добрый: видя слезы Зоей и вняв ее мольбам, он, правда за бесценок, купил у Галима и ее мать.

На следующий день обе отправились в сторону Стамбула; в Стамбуле участь Зоей хотя и осталась позорной, но несколько улучшилась. Новый хозяин полюбил ее, и по прошествии нескольких месяцев она стала его женой. Ее мать уже с ней не разлучалась.

Много народу, а в том числе и женщины, иногда после долгих лет неволи возвращались в отчизну. Были слухи, что кто-то делал всяческие попытки найти Зою при посредстве армян, греческих купцов и послов Речи Посполитой, но безуспешно. Потом эти поиски вдруг прекратились, и Зося не видела больше ни близких ее сердцу людей, ни родной страны.

До конца жизни она жила в гареме.

XI

Еще до выступления турок из-под Адрианополя началось большое движение во всех приднестровских станицах. В Хрептивее, который находился ближе всего к Каменцу, то и дело прилетали гонцы с приказами, которые маленький рыцарь либо исполнял сам, либо, если они относились к другим, пересылал через надежных людей. Вследствие этих приказов гарнизон Хрептивеевской крепости значительно уменьшился. Пан Мотовило со своими казаками пошел к Умани на помощь Ханенке, который с горстью преданных Речи Посполитой казаков, насколько мог, боролся с Дорошем и союзной с ним Крымской ордой; пан Мушальский, несравненный лучник, пан Снитко, герба «Месяц на ущербе», пан Ненашинец и пан Громыка повели свои отряды и линкгаузовых драгун к несчастной памяти Батогу, где стоял пан Лужецкий, который должен был вместе с Ханенкой следить за Дорошем. Пан Богуш получил приказ до тех пор оставаться в Могилеве, пока не увидит чамбулы невооруженным глазом.

Гонец с приказом гетмана усердно разыскивал пана Рушица, знаменитого загонщика, которого превосходил один только Володыевский. Но пан Рушиц, отправившись в степь во главе нескольких десятков человек, как в воду канул. О нем услышали только потом, когда распространились странные слухи, что около лагеря Дорошенки и татарской орды носится какой-то злой дух, который ежедневно похищает воинов поодиночке и даже небольшие отряды. Догадались, что это пан Рушиц делает набег на неприятеля, ибо никто, за исключением маленького рыцаря, не мог бы подходить к нему так близко. И действительно, это был Рушиц.

Володыевский, как это было решено раньше, должен был отправиться в Каменец. Он нужен был гетману именно там, ибо гетман знал, что один его вид ободрит и жителей, и гарнизон. Гетман был убежден, что Каменец не выдержит осады, он хотел

только одного, чтобы Каменец держался как можно дольше, до тех пор, пока Речь Посполитая успеет кое-как подготовиться к обороне. И с этой целью он послал почти на верную смерть самого знаменитого кавалера Речи Посполитой и любимого солдата. Он послал на смерть знаменитейшего воина и даже не жалел его. Гетман всегда был того убеждения, которое он высказал впоследствии под Веной: солдат рожден для того, чтобы умереть на войне.

Он сам был готов погибнуть и считал, что погибнуть – прямой долг каждого солдата, а когда своей смертью он может оказать громадную услугу отчизне, то смерть эта для него должна быть великой милостью и наградой. Гетман знал, что маленький рыцарь одного с ним мнения.

Впрочем, он не мог щадить отдельных солдат теперь, когда гибель надвигалась на церкви, города, страны и всю Речь Посполитую, когда Восток двинулся с небывалыми до сих пор полчищами против Европы с целью покорить весь христианский мир, который, защищенный грудью той же Речи Посполитой, и не думал идти к ней на помощь. Гетман мог думать только о том, чтобы Каменец сначала защитил Речь Посполитую, а потом Речь Посполитая – христианский мир.

Так бы и случилось, если бы у Речи Посполитой были силы, если бы она не была ослаблена постоянными неурядицами. Но у гетмана не хватало войск даже для разведок, а не то что для войны. Если он посылал в одно место несколько десятков солдат, в другом образовывалась брешь, через которую волна неприятелей могла ворваться беспрепятственно. Ночная стража султанских войск была многочисленнее всего гетманского войска. Неприятель шел с двух сторон – от Днепра и от Дуная. Так как Дораш со всей Крымской ордой был ближе всего и уже вторгнулся в пределы Речи Посполитой, уничтожая все по пути огнем и мечом, то против него и пошли главные отряды, а в другую сторону некого было посылать даже на разведку.

В таких затруднительных обстоятельствах гетман послал Володыевскому следующее письмо:

«Я уже колебался, не послать ли тебя навстречу неприятелю в Рашков, но я испугался, что если орда высадится с молдавского берега в нескольких местах и займет наш край, то ты не сможешь потом пробраться в Каменец, где твое присутствие необходимо. И только вчера я вспомнил о Нововейском: он солдат опытный и решительный, к тому же в своем отчаянии он на все готов, а потому я полагаю, что он сослужит мне службу. Конницы сколько можно пошли ему на помощь, а он пусть идет как можно дальше, пусть показывается везде, пусть везде распространяет слухи о могуществе нашего войска, и, когда неприятель будет уже у него на виду, пусть он появляется перед ним в разных местах, стараясь не попасть ему в руки. Мы знаем, как они будут идти, но, если он заметит что-нибудь новое, пусть тотчас известит тебя, а ты, не мешкая, пошлешь тонна ко мне и в Каменец. Нововейский пусть отправляется возможно скорее, а ты будь готов ехать в Каменец, но подожди известий от Нововейского и из Молдавии».

Так как Нововейский временно находился в Могилеве и, как говорили, должен был и без того приехать в Хрептив, то маленький рыцарь дал ему знать, чтобы он поторопился с приездом, потому что в Хрептивее его ждет приказ от гетмана. Нововейский приехал через три дня. Знакомые едва узнали его и подумали, что пан Бялогловский был прав, назвав Нововейского кощею. Это не был уже тот лихой солдат, весельчак и удалец, который бросался на неприятеля с громким смехом, похожим на ржанье лошади, и размахивал саблей, как мельница крыльями. Он пожелтел, почернел, похудел и от этой худобы казался еще огромнее прежнего.

Глядя на знакомых, он моргал глазами, и казалось, не узнавал их. Приходилось повторять по нескольку раз одно и то же, ибо он, казалось, не понимал сразу. Видно, в жилах его текла не кровь, а желчь. Видно, о некоторых вещах он старался не думать, забыть, чтобы не сойти с ума.

Правда, в этих краях не было человека, не было семьи, не было в войске ни одного офицера, которого бы не постигло несчастье, который бы не оплакивал кого-нибудь из знакомых, друзей и близких людей; но на Нововейского обрушилась целая туча несчастий. В один день он лишился отца, сестры, невесты, которую любил всеми силами своей горячей души. Пусть бы даже его сестра и та нежная, любимая им девушка умерли или погибли от ножа или огня! Но их участь была такова, что в сравнении с нею величайшие муки были в глазах Нововейского ничем. Он старался не думать об этом, ибо чувствовал, что эти мысли граничат с безумием, но не думать не мог.

С виду он казался спокойным.

Но в душе не было покорности судьбе, и при взгляде на него каждый мог отгадать, что под этой мертвенностью таится нечто зловещее и ужасное, и если только оно прорвется наружу, то этот великан совершит такие страшные дела, какие может совершить лишь обезумевшая стихия. Это было так ясно написано на его челе, что даже друзья подходили к нему с некоторой тревогой и в разговоре с ним избегали малейшего намека на то, что случилось.

Встреча с Басей в Хрептиеве разбередила его незажившие раны, ибо, целуя ее руку, он начал стонать, как добываемый охотниками зубр, причем глаза его налились кровью, жилы на шее напряглись. Когда же Бася расплакалась и с материнским чувством обхватила его голову руками, он упал к ее ногам, и его долго нельзя было оторвать от нее. Зато, узнав, какое поручение дает ему гетман, он оживился, лицо его вспыхнуло зловещей радостью, и он сказал:

– Я сделаю это, сделаю даже больше!

– А если встретишь ту бешеную собаку, убей! – вставил Заглоба.

Нововейский сначала ничего не ответил и только пристально посмотрел на Заглобу; вдруг в его глазах появилось выражение безумия, он встал и направился в сторону старого шляхтича, точно желая броситься на него.

– Вы верите, – сказал он, – что я никогда не сделал зла этому человеку и всегда желал ему добра?!

– Верю, верю, – поспешно ответил пан Заглоба, благоразумно прячась за спину маленького рыцаря. – Я сам бы пошел с тобой, но меня подагра мучит.

– Нововейский, – сказал маленький рыцарь, – когда думаешь ты отправиться?

– Сегодня ночью.

– Я дам тебе сто человек драгун. Сам останусь здесь с другой сотней, если не считать пехоты. Пойдем во двор.

И они ушли, чтобы сделать надлежащие распоряжения. У порога их ждал Зыдор Люсня, вытянувшийся в струнку. Весть об экспедиции уже распространилась между

солдатами, и вахмистр от своего имени и от имени своих товарищей просил маленького рыцаря разрешить идти с Нововейским.

– Вот как! Ты хочешь меня покинуть? – спросил с удивлением Володыевский.

– Пан комендант, мы все поклялись отомстить тому собачьему сыну. Он, может, попадетя в наши руки!

– Это правда. Мне уже говорил об этом пан Заглоба, – ответил маленький рыцарь.

Люсня обратился к Нововейскому:

– Пан комендант!

– Что нужно?

– Если мы его добудем, позвольте мне им заняться!

И на лице мазура отразилась такая зверская жестокость, что Нововейский тотчас же поклонился маленькому рыцарю и сказал:

– Ваша милость, отпустите со мной этого человека! Володыевский и не думал противиться, и в этот же вечер сто всадников, с Нововейским во главе, двинулись в путь. Они отправились по знакомой дороге на Могилев и Ямполь. В Ямполье они встретились с прежним рашковским гарнизоном, из числа которого двести человек, по приказу гетмана, соединились с Нововейским, а остальные, под началом Бялогловского, должны были идти в Могилев, где стоял пан Богуш. Нововейский двинулся прямо к Рашкову.

Окрестности Рашкова были уже совершенно пустынно; город превратился в кучу пепла, уже рассеянного ветром на все четыре стороны; немногочисленные жители в ожидании предстоящей грозы разбежались в разные стороны. Было уже начало мая, Добруджская орда с минуты на минуту могла появиться в этих краях, и оставаться здесь было небезопасно. На самом же деле орда и турки все еще находились в Кучункаврийской равнине, но об этом не знали в рашковском лагере, а потому каждый из прежних жителей Рашкова, уцелевших от последней резни, спасался бегством куда только мог. Всю дорогу Люсня придумывал способы и приемы, к каким, по его мнению, должен был прибегнуть Нововейский, чтобы делать удачные набеги на неприятеля. Этими мыслями он милостиво делился с рядовыми.

– Вы, конские лбы, – говорил он, – этого дела не понимаете, а я, старик, понимаю. Мы придем в Рашков, там притаимся в оврагах и будем выжидать. Подойдет орда к броду, сначала переправятся маленькие отряды. У них так всегда: чамбул стоит и ждет, пока его не известят, что все безопасно. Тогда мы бросимся на них и погоним с собой к Каменцу.

– А этак, пожалуй, того собачьего сына не захватим, – заметил один из Драгун.

– Заткни глотку, – ответил Люсня. – А кто же пойдет впереди, коли не липки.

И действительно, предположение вахмистра, казалось, оправдывалось. Нововейский, дойдя до Рашкова, дал солдатам отдохнуть. Все были уверены, что потом пойдут к пещерам, которых было много в окрестностях Рашкова, и спрячутся там до появления передовых отрядов неприятеля.

Но на следующий день комендант поставил свой отряд на ноги и повел его дальше.

– Значит, в Ягорлык пойдём, что ли? – говорил вахмистр.

Между тем тотчас за Рашковым они подошли к реке и несколько минут спустя остановились у так называемого «кровавого брода». Тогда Нововейский, не сказав ни слова, направил коня в воду и стал переправляться на другой берег.

Солдаты с изумлением переглядывались: «Как же это? Значит, в Турцию идем?» Но это была не шляхта из ополчения, способная сопротивляться, а простые солдаты, привыкшие к железной станичной дисциплине, и за комендантом вошли в воду сначала первые ряды, за ними остальные. Они только удивлялись, что триста человек конницы идут в Турецкое государство, с которым не может справиться весь мир, – но все же шли. Вскоре взволнованная вода подобралась под брюхо лошадям, и солдаты уже перестали удивляться, а заботились лишь о том, чтобы не замочить мешков с провиантом. И только на следующий день они снова стали переглядываться.

– Господи! Да ведь мы уже в Молдавии! – слышался тихий шепот.

Некоторые из них стали оглядываться на Днестр, который блестел в лучах заходящего солнца, как золотая лента. Прибрежные скалы, со множеством пещер, были тоже залиты яркими лучами. Они поднимались высокой стеной, отделившей теперь эту горсть людей от их отчизны. Для многих из них это, быть может, было последнее прощание.

Люсьне приходило в голову, не сошел ли комендант с ума, но коменданта дело – приказывать, а его – повиноваться.

Когда лошади выбрались на берег, они стали громко фыркать.

– На здоровье! На здоровье! – раздались крики солдат.

Это считалось хорошим предзнаменованием, и они все приободрились.

– Трогай! – скомандовал Нововейский.

Ряды двинулись и направились на запад, навстречу тысячам неприятелей, к этому бесчисленному муравейнику людей, к этим народам, стоящим в Кучункаврийской равнине.

XII

Переправа Нововейского через Днестр и его поход с тремястами солдат против всех султанских сил, насчитывавших сотни тысяч воинов, человеку, незнакомому с военным делом, могли казаться настоящим безумием. Между тем это была смелая военная экспедиция, которая могла рассчитывать на успех.

Во-первых, не раз случалось тогдашним загонщикам близко подходить к чамбулам, которые были во сто раз сильнее их, и, мелькнув у них перед глазами, тотчас же отступить, кроваво расправляясь с погоней. Так волк иной раз заманивает собак, чтобы, улучив минуту, вдруг обернуться и загрызть самую смелую и злую. Зверь в одно мгновение становится охотником: скрывался, таился, нападал невзначай и загрызал, кусал насмерть. Это и был так называемый татарский способ нападения, который сводился к состязанию в хитростях, к ловушкам и засадам. В этом деле

особенно славился пан Володыевский, потом пан Рущиц, пан Пиво, пан Мотовило; но и Нововейский, с детства привыкший к степи, принадлежал к числу славнейших загонщиков, а потому было весьма вероятно, что, встретившись с ордой, он не позволит захватить себя. Поход мог быть вполне успешным еще и потому, что за Днестром тянулась пустынная страна, в которой укрыться было легко. Кое-где на берегу реки встречались человеческие жилища, но в общем местность была мало населена; вблизи берегов было много скал и холмов, дальше тянулись степь или леса, где блуждали многочисленные стада зверей: буйволов, оленей, серн и кабанов. Так как султан перед походом хотел «убедиться в своем могуществе» и сосчитал свои силы, то по его приказанию орды добруджские и белгородские, живущие в низовьях Днестра, отправились за Балканы, а за ними пошли и молдавские каралаша; страна опустела совершенно, и можно было идти целые недели, не встретив ни души. Кроме того, Нововейский был слишком хорошо знаком с татарскими обычаями, чтобы не знать, что, раз чамбулы перейдут границу Речи Посполитой, они будут уже идти осторожно, внимательно следя за всем; здесь же, в собственных владениях, они идут широкой стеной, не соблюдая никаких предосторожностей. Действительно, так и случилось.

Встретить смерть здесь, в глубине Бессарабии, на татарской границе, татарам казалось вероятнее, чем встретить войска Речи Посполитой, у которой их не хватало даже для защиты собственных границ.

Нововейский верил, что его поход, во-первых, изумит неприятеля и принесет еще больше пользы, чем рассчитывал гетман; во-вторых, он будет гибелью для Азыи и липков. Молодой поручик легко мог догадаться, что липки и черемисы, прекрасно знающие Речь Посполитую, пойдут впереди, и, основываясь на этой уверенности, строил все свои планы. Напасть врасплох, схватить вражьего сына Азыю, может быть, отбить Зосю и сестру, вырвать их из неволи, отомстить, а потом погибнуть на войне, – вот все, чего хотела еще истерзанная душа Нововейского.

Под влиянием этих мыслей и надежд Нововейский стряхнул с себя свою мертвенность и ожил. Поход по незнакомым дорогам, тяжелый труд, степной ветер, опасности дерзкого предприятия вернули ему здоровье и прежние силы.

Загонщик победил в нем несчастного человека. Прежде в его душе не было места ничему, кроме воспоминаний и мук. Теперь он по целым дням придумывал, как бы провести и разгромить неприятеля.

Перейдя через Днестр, они пошли в сторону, затем вниз к Пруту, днем скрываясь в лесах, ночью делая таинственные и быстрые переходы. Страна эта, не особенно населенная и теперь, в то время была обитаема кочующими племенами и была совершенной пустыней. Изредка лишь встречались поля кукурузы и около них поселки.

Отряд старался избегать больших селений, чтобы не выдать себя, не раз смело заезжал в маленькие поселки, состоявшие из десятка-двух хат, зная, что никому из обитателей в голову не придет бежать к Буджаку, предупредить местных татар. Люсня, впрочем, внимательно следил, как бы этого не случилось, но вскоре он оставил и эту предосторожность, во-первых, потому, что немногочисленные поселенцы хотя и считались турецкими подданными, но сами с тревогой ожидали нашествия султанских войск, во-вторых, потому, что они не имели никакого понятия о том, что за люди к ним пришли; они принимали их за каралашей, которые вслед за другими идут на зов султана.

И им без малейшего сопротивления доставляли кукурузные лепешки, кизил и сушеное буйволовое мясо. У каждого хуторянина были свои стада овец, волов и лошадей, которые были тщательно спрятаны около рек. Время от времени им попадались многочисленные стада полудиких буйволов, которых пасли несколько десятков пастухов, кочующих в степях; они жили в палатках и оставались на одном месте до тех пор, пока на пастбищах хватало корма; зачастую это были старые татары. Нововейский окружал этих «чабанов» с большими предосторожностями, как будто дело касалось целого чамбула; окружив их, он не оставлял никого в живых, боясь, как бы они не донесли неприятелю о его походе. Что касается татар, то предварительно, расспросив их про дорогу, или, вернее, про бездорожье, он отдавал приказ убивать всех до одного. Затем, взяв из их стада столько скота, сколько было нужно, он направлялся дальше. По мере того как они подвигались к югу, стада попадались все чаще и стерегли их почти одни татары, иной раз в довольно большом количестве. В продолжение двухнедельного похода Нововейский окружил и истребил три ватаги пастухов, по несколько десятков человек в каждой. Драгуны снимали с них кожухи, и, очистив их над огнем, одевались в них сами, чтобы походить на местных чабанов. Через неделю все они уже были одеты по-татарски и походили на чамбул. У них осталось только оружие регулярной конницы, колеты свои они спрятали в седла, рассчитывая переодеться на обратном пути. Вблизи их можно было узнать по большим светлым усам и голубым глазам, но издали ошибиться мог бы даже самый опытный глаз, тем более что они гнали перед собой стада, необходимые для продовольствия во время похода.

Достигнув Прута, они пошли по левому берегу вниз по течению. Так как кучманская дорога была слишком опустошена, то легко можно было предвидеть, что султанские войска и татарские орды пойдут на Фалешты, Гуж, Котиморы и потом уже по валахской дороге и или свернут к Днестру, или пойдут прямо через Бессарабию, чтобы появиться в пределах Речи Посполитой около Ушицу. Нововейский был так в этом уверен, что шел все медленнее и осторожнее, не обращая внимания на время; он боялся, как бы внезапно самому не натолкнуться на чамбулы. Дойдя, наконец, до разветвления Сарата и Текучи, он остановился здесь надолго, чтобы дать отдых людям и лошадям и в хорошо защищенном месте ждать передовой ордынский отряд.

Место было защищено прекрасно – оно сплошь поросло кизилом и бирючиной. Роща эта расстилалась вплоть до самого горизонта, местами росла сплошь, местами образовывала отдельные группы деревьев, между которыми серели пустые пространства, где было очень удобно расположиться лагерем. В это время года деревья и кустарники уже зацветали, и ранней весной вся местность покрывалась морем желтых и белых цветов. Роща была совершенно безлюдна, но в ней было множество диких зверей, оленей, серн, зайцев. Кое-где по берегам ручьев солдаты заметили следы медведей. Вскоре после прибытия отряда один из них задушил нескольких овец, и Люсня мечтал устроить на него облаву, но Нововейский, решив тихо сидеть в засаде, запретил солдатам употреблять в дело мушкеты, и на медведя пошли с топорами и рогатинами.

На берегу найдены были и следы костров, но по всей вероятности прошлогодние. Очевидно, сюда заглядывали иногда и кочевники со стадами, а быть может, и татары заходили сюда срезать кизилловые ветки для кистеней. Самые тщательные розыски не обнаружили ни одной живой души.

Нововейский решил не уходить дальше и ожидать здесь прибытия турецких войск. Отряд расположился лагерем и построил шалаши.

На краю рощи стояли часовые, одни из них день и ночь смотрели в сторону Буджака,

другие посматривали в сторону Прута, третьи – в сторону Фалешт. Нововейский знал, что по некоторым признакам он отгадает приближение турецких войск; кроме того, он выслал людей на разведку и чаще всего отправлялся с ними сам. Погода им благоприятствовала. Дни стояли очень знойные, но в тени чащи легко было укрыться от жары; ночи были ясные, тихие, лунные, по всей роще раздавалось пение соловьев. Во время таких ночей Нововейский страдал особенно сильно, он не мог спать и раздумывал о былом счастье и теперешней горе.

Он жил только мыслью, что когда насытит свое сердце местью, то будет и спокойнее, и счастливее. Между тем приближалось время, когда он должен был или отомстить, или погибнуть.

Проходили недели за неделями, а они все стояли в этой пустыне и выжидали. За это время они изучили все дороги, все овраги, поля, реки и ручьи, снова захватили несколько стад, истребили несколько небольших партий кочевников и подстерегали неприятеля, как дикий зверь подстерегает свою добычу. Наконец наступила столь долгожданная минута.

Однажды утром они уже издали увидели целые стаи птиц, которые неслись по небу и по земле. Дрофы, кулики, перепела бежали по траве к роще, в выси летели вороны, галки и даже болотные птицы, очевидно, спугнутые с берегов Дуная или с добруджских болот. Увидав это, драгуны переглянулись, и из уст в уста переходили слова: «Идут! Идут!..» Все лица оживились, глаза засверкали, усы зашевелились, и в этом оживлении не видно было ни малейшей тревоги; все это были люди, у которых вся жизнь прошла в схватках с татарами; они чувствовали только то, что чувствуют охотничьи собаки, когда почуют зверя. Костры тотчас были потушены из боязни, что дым может обнаружить присутствие людей в чаще; тотчас были оседланы лошади и весь отряд был готов к походу.

Теперь необходимо было рассчитать время, чтобы напасть на неприятеля именно в ту минуту, когда он будет отдыхать. Нововейский прекрасно понимал, что султанские войска не пойдут сплошной массой, тем более что они еще в пределах своего государства и им не могла даже в голову прийти мысль о какой-нибудь опасности. Он знал, что передовые отряды всегда идут на расстоянии мили или двух от остального войска, и не сомневался, что в авангарде пойдут липки.

Некоторое время он колебался, идти ли ему навстречу тайными и хорошо ему известными дорогами или ждать в кизиловой роще. Он решил ждать, так как из этой чащи удобнее было напасть внезапно. Прошел еще день, потом ночь, и к лесной чаще потянулись не только птицы, но и звери. На следующее утро неприятель уже был виден.

К югу от кизиловой рощи тянулась обширная холмистая равнина, которая терялась на горизонте. На этой равнине и показался неприятель, который быстро шел к Текучу. Драгуны смотрели из-за кустарников на эту чернеющую массу, которая порой то скрывалась из глаз, углубляясь в неровности почвы, то опять появлялась на всем протяжении.

Люсня, у которого были необычайно зоркие глаза, пристально всматривался в эту приближающуюся массу и подошел к Нововейскому.

– Пан комендант, – сказал он, – людей там немного, это только скот выгоняют на пастбище.

– Значит, ночевка их пришлось в миле или двух отсюда?

– Точно так, – ответил Люсня. – Они, видно, идут по ночам, чтобы избежать жары; днем они отдыхают, а лошадей до вечера высылают на пастбище.

– А много там людей около стада?

Люсня опять подошел к краю рощи и долго не возвращался обратно, наконец он появился снова и сказал:

– Лошадей будет тысячи полторы, а людей не более двадцати пяти. Они еще у себя дома и ничего не боятся, а потому и стражи немного.

– А людей ты мог разглядеть?

– Они еще далеко. Но это липки, пан, и они уже наши!

– Да, – сказал Нововейский.

И он был уверен, что ни один человек из них не уйдет. Для такого загонщика, как он, и для таких солдат, как те, которыми он командовал, это была слишком легкая задача.

Между тем конюхи гнали стадо все ближе и ближе. Люсня еще раз вышел на край рощи и еще раз вернулся обратно.

Лицо его сияло от радости.

– Липки, пан комендант, наверно, липки! – прошептал он.

Услышав это, Нововейский закричал ястребом, и тотчас же отряд драгун углубился в рощу. Там он разделился на две половины: одна из них засела в овраге, чтобы выйти из него уже в тылу у липков и их табуна, а другая образовала полукруг и стала ждать.

Все это совершилось так тихо, что самый чуткий слух не мог бы уловить ни малейшего звука, – не заржала ни одна лошадь, не лязгнула ни одна сабля; даже конского топота не было слышно в траве, которой поросла земля в роще. Казалось, и лошади понимали, что успех нападения зависит от тишины, ибо и они не в первый раз несли такую службу. Из оврага и из рощи слышались только крики ястреба, но все тише, все реже.

Липковское войско остановилось около рощи и разбрелось по равнине. Сам Нововейский стоял теперь у опушки и следил за всеми движениями конюхов. День стоял ясный, близок был полдень; солнце поднялось уже высоко и страшно припекало; лошади подошли к роще. Конюхи подъехали к опушке леса, слезли с лошадей и, пустив их на арканах, в поисках тени и прохлады вошли в чашу и расположились под небольшим тенистым кустарником.

Вскоре вспыхнул костер, а когда сухой хворост истлел и испепелился, конюхи положили на жар половину жеребенка, а сами сели поодаль от костра, в тени.

Некоторые из них растянулись на траве, некоторые, усевшись по-турецки, разговаривали; один из них начал играть на дудке. В роще царила полная тишина,

лишь изредка нарушаемая криком ястреба.

Запах горелого мяса дал знать конюхам, что жаркое готово; двое из них вынули его из золы и потащили под тенистый кустарник. Там все уселись в кружок, и, разрезав жаркое на части, стали пожирать с животной прожорливостью полусырые куски, с которых кровь стекала у них по пальцам и по подбородкам.

Затем, напившись кумысу, они некоторое время еще разговаривали, но вскоре головы их отяжелели. В полдень стало еще жарче. Солнечные лучи, проникающие сквозь чашу, бросали на землю светлые, дрожащие блики. Все кругом смолкло; даже ястреба не кричали.

Несколько липков встали и побрели к опушке рощи, чтобы взглянуть на лошадей; остальные же растянулись на земле, словно убитые на поле битвы, и вскоре заснули. Но сон их после того, как они объелись и опились, должно быть, был очень тяжелый и зловещий, то и дело кто-нибудь стонал, кто-нибудь открывал глаза и повторял: «Алла, бисмилла».

Вдруг на опушке рощи раздался какой-то тихий, но страшный звук, точно предсмертное хрипение человека, которого душат, но который не успел даже вскрикнуть.

Слух ли был чуток у конюхов, или какой-то животный инстинкт предупредил их об опасности, или, наконец, смерть дохнула на них своим ледяным дыханием, но все они мигом проснулись и вскочили на ноги.

– Что это такое? Где те, что пошли к лошадям? – начали они спрашивать друг у друга.

Вдруг из-за кизилового куста раздался чей-то голос по-польски:

– Они не вернуться.

И в эту же минуту полтора человека окружили конюхов, которые пришли в такой ужас, что крик замер у них в груди. Никто даже не успел ухватиться за кинжал. Лавина нападающих сжала их совершенно. Кустарники затряслись от напора человеческих тел, сбившихся в беспорядочную кучу. Слышался только резкий свист или сопение, иной раз стон или хрип, но все это продолжалось одно мгновение.

Потом все утихло.

– Сколько живых? – спросил чей-то голос среди нападающих.

– Пятеро, пан комендант.

– Осмотреть тела, не притаился ли кто, и для верности каждого ножом по горлу, а пленников к костру.

Приказание было исполнено в ту же минуту. Трупы были пригвождены к земле их же собственными ножами; пленников, привязанных к палкам, положили вокруг костра, который развел Люеня.

Пленники смотрели на приготовления и на Люсю блуждающими глазами.

Среди них было три липка из Хрептиева, и они прекрасно знали вахмистра. Он тоже узнал их и сказал:

– Ну, приятели, теперь вам придется петь, а не захотите, пойдете на тот свет с поджаренными подошвами. Я, по старому знакомству, угольков не пожалею.

Сказав это, он подбросил сухих ветвей, которые тотчас же запылали высоким пламенем.

Но пришел Нововейский и стал допрашивать. Из их показаний выяснилось то, о чем отчасти и догадывался молодой поручик; липки и черемисы шли впереди всех ордынцев и всех султанских войск. Вел их Азия Тугай-беевич, которому и поручили над ними команду. Из-за жары войско шло ночью, днем же оно высылало стадо на пастбище, а само отдыхало. Не было принято никаких мер предосторожности, никто не предполагал, чтобы на них могло напасть какое-нибудь войско не только у побережья Прута, по соседству с ордой, но даже вблизи самого Днестра. Они шли с большими удобствами, со стадами, с верблюдами, которые везли шатры старшин. Шатер азиатского мурзы легко узнать по бунчуку, воткнутому поверх палатки, и потому, что около него ставят знамена всех отрядов. Отряд липков остановился на расстоянии одной мили; у них около двух тысяч человек, но часть людей осталась при белгородской орде, которая идет в миле от липковского чамбула. Нововейский расспросил еще про дорогу, которая ведет прямо к чамбулу, расспросил, в каком порядке раскинуты шатры, наконец, принялся расспрашивать о том, что его больше всего интересовало:

– Есть какие-нибудь женщины в палатке? – спросил он.

Липки испугались за собственную шкуру. Те из них, которые прежде служили в Хрептиева, прекрасно знали, что одна из этих женщин была сестрой Нововейского, а другая его невеста; они поняли, в какое бешенство он придет, когда узнает всю правду.

Его гнев мог прежде всего обрушиться на них, и они начали колебаться, но Люсня тотчас же сказал:

– Пан комендант, подогреем этим собакам подошвы, тогда они скажут!

– Всунь им ноги в уголья! – сказал Нововейский.

– Помилуйте! – воскликнул Ильяшевич, старый хрептевский липок. – Я скажу все, на что смотрели мои очи.

Люсня вопросительно взглянул на коменданта, не прикажет ли он все же исполнить угрозу, но Нововейский сделал ему знак рукой и обратился к Ильяшевичу:

– Говори, что ты видел?

– Мы не виноваты, пан, – ответил Ильяшевич, – мы начальству повиновались. Мурза наш подарил сестру вашей милости пану Адуровичу, который держал ее в своей палатке. Я ее видел в Кучункаврах, когда она с ведрами за водой ходила. Я ей помогал нести ведра, потому что она была беременна.

– Горе! – шепнул Нововейский.

– А другую панну наш мурза оставил у себя в палатке. Мы ее не часто видели, но не раз слышали, как она кричала; мурза хоть и жил с нею, но каждый день бил ее плетью и топтал ногами...

Губы Нововейского задрожали, и Ильяшевич едва расслышал его вопрос:

– Где они теперь?

– Проданы в Стамбул.

– Кому?

– Мурза сам, верно, не знает. Вышел указ от падишаха, чтобы в лагере не было женщин. Все продавали на базаре, продал и мурза.

Допрос кончился, и около костра воцарилась тишина. С некоторых пор дул горячий южный ветер, раскачивая ветви кизила, которые шумели все сильнее. В воздухе стало душно; на горизонте показалось несколько тучек, темных в середине, а по краям блестящих, как медь.

Нововейский отошел от костра и шел как безумный, сам не сознавая, куда идет. Потом бросился лицом на землю и стал ее царапать ногтями, потом кусать свои руки и хрипел, как умирающий. Его огромное тело судорожно вздрагивало. Так пролежал он несколько часов. Драгуны смотрели на него издали, но никто, даже Люсня, не осмеливался к нему подойти.

Зато, зная, что комендант не рассердится за то, что он не пощадил пленных, страшный вахмистр с врожденной жестокостью набил им травы в рот, чтобы заглушить крики, и зарезал их, как волов. Он пощадил одного только Ильяшевича, предполагая, что он понадобится в качестве проводника. Окончив это дело, он оттащил от костра еще трепетавшие тела и, уложив их рядом, пошел посмотреть на коменданта.

– Если он и сошел с ума, – пробормотал он, – мы того стервеца все же раздобудем.

Прошел полдень, прошли и послеполуденные часы. День уже клонился к закату. Маленькие прежде тучки заняли теперь уже весь небосклон, становились все гуще и темнее, не теряя по краям своего медного блеска. Огромными клубами кружились они, как мельничные жернова вокруг своих осей, наталкиваясь друг на друга, сталкивая друг друга с высоты, спускаясь к земле все ниже и ниже. По временам, подобно хищной птице, налетал ветер, пригибая к земле кизил и поднимая целые тучи листвы, с бешенством уносил их; порой утихал, точно уходил в землю. В такие минуты затишья в клубящихся облаках слышалось какое-то злое шипение, шум; казалось, громовые удары готовятся к борьбе и, глухо ворча, разжигают друг в друге бешенство и гнев, прежде чем броситься и ударить на охваченную ужасом землю.

– Буря! Буря идет! – шептали драгуны. Шла буря, становилось все темнее.

Вдруг на востоке, со стороны Днестра, грянул гром и раскатился со страшным грохотом по всему небу; там, у Прута, он замер, но опять раздались его удары над буджакскими степями, и, наконец, загрохотало все небо.

Первые крупные капли дождя упали на высохшую от зноя траву.

В эту минуту перед драгунами появился Нововейский.

– На коней! – крикнул он громовым голосом.

И через несколько минут он уже двинулся во главе ста пятидесяти всадников.

Выехав из рощи, он в том месте, где стоял табун, соединился с другой половиной своего отряда, который сторожил со стороны поля, чтобы ни один из конюхов не пробрался в лагерь. Драгуны в одно мгновение погнали табун вперед и, издав дикий крик, какой издавали обыкновенно татарские конюхи, двинулись вперед, погоняя испуганный табун.

Вахмистр держал на аркане Ильяшевича и кричал ему на ухо, стараясь перекричать громовые раскаты:

– Веди, собака, да прямо, не то горло перережу!

Между тем облака спустились так низко, что почти касались земли. Вдруг, точно из печки, пахнуло жаром: поднялся ураган; вскоре ослепительный свет прорезал мрак. Раздался удар грома, за ним другой, третий, в воздухе послышался запах серы, и снова стало темно. Табун был охвачен ужасом. Лошади, подгоняемые дикими криками драгун, мчались вперед с раздувающимися ноздрями, с развевающимися гривами, почти не касаясь земли; удары грома не умолкали ни на минуту, ветер выл, и среди этого вихря, этой темноты, среди раскатов грома, от которых, казалось, трескалась земля, они мчались, гонимые грозой и мщением, похожие среди пустынной степи на хоровод страшных упырей или злых духов...

Земля убегала у них из-под ног. Они не нуждались и в проводнике, табун несся прямо к лагерю липков, который был все ближе и ближе. Но прежде чем он доскакал, буря разразилась с такой силой, точно обезумели и небо, и земля. Весь горизонт был объят пожаром, и при его блеске драгуны уже издали увидели стоявшие в степи палатки. Земля дрожала от раскатов грома; казалось, клубы туч оборвутся и упадут на землю. И разверзлись хляби небесные, и вся степь сразу была залита потоками дождя. На расстоянии нескольких шагов ничего не было видно, а с раскаленной от дневного жара земли поднимался густой пар. Еще минута, и табун, а за ним и драгуны будут в лагере...

Но табун перед самыми палатками в диком испуге разбежался в разные стороны. Тогда триста всадников издали страшный крик, триста сабель засверкали при свете молний, и драгуны ворвались в палатки.

Липки еще до ливня видели, при блеске молний, бегущее стадо, но никто из них не догадался, какие страшные конюхи гнали его. Они только удивились и встревожились, отчего конюхи гонят стадо прямо к палаткам, и подняли страшный крик, чтобы испугать лошадей. Сам Азья Тугай-беевич откинул занавес своего шатра и, несмотря на дождь, вышел из палатки с выражением гнева на своем грозном лице. Но именно в эту минуту табун разбежался, и среди потоков дождя и тумана зачернели какие-то страшные фигуры, которых было гораздо больше, чем конюхов, и, как гром, раздался ужасный крик:

– Бей! Режь!

Не было времени подумать даже о том, что случилось, не было времени даже

испугаться. Человеческий ураган, еще более яростный и страшный, чем сама буря, обрушился на лагерь. Прежде чем Тугай-беевич успел сделать один шаг к палатке, какая-то нечеловеческая сила подхватила его с земли и он почувствовал, что его сжимают в страшных объятиях, что в этих объятиях трещат его кости, ломаются его ребра; на минуту он, как в тумане, увидел перед собой лицо – и оно было для него страшнее лица самого дьявола... Он лишился сознания.

Между тем началась битва, или, вернее, страшная резня. Буря, темнота, неожиданность нападения и переполох с лошадьми были причиной того, что липки почти совсем не защищались. Они просто обезумели от ужаса. Никто не знал, куда бежать, где спрятаться; многие не были даже вооружены, многих нападение застигло спящими, и, совсем растерявшись, обезумев от страха, они сбивались в густые толпы, толкая, опрокидывая и топча друг друга. Их сшибали с ног лошади, поражали сабли, топтали копыта. И вихрь не так ломает, уничтожает и опустошает молодой бор, волки не вгрызаются так в стадо растерянных овец, как давили и рубили татар драгуны. С одной стороны паника, с другой – бешенство и жажда мести увеличивали размеры поражения. Потоки крови смешались с потоками дождя. Липкам казалось, что небо падает на них, что земля разверзается у них под ногами. Раскаты грома, громовые удары, шум дождя, темнота и буря вторили этой резне. Лошади драгун, охваченные ужасом, бросались, как бешеные, в толпу людей, разрывая ее, топча и устилая землю трупами. Наконец, маленькие группы обратились в бегство, но так растерялись, что кружили вокруг лагеря вместо того, чтобы бежать вперед, и, не раз наталкиваясь друг на друга, подобно двум встречным волнам, опрокидывали друг друга и попадали под мечи поляков. Остатки липков были рассеяны, их догоняли и рубили, не взяв никого в плен. Наконец, звуки труб прекратили погоню.

Никогда еще нападение не было так неожиданно и поражение так ужасно. Триста человек рассеяли на все четыре стороны около двух тысяч отборной конницы, превосходившей своей опытностью обыкновенные чамбулы. Большая часть этой конницы лежала теперь вповалку среди красных луж, образовавшихся от дождя и крови. Остальная часть, благодаря темноте, рассеялась и бежала куда глаза глядят, не зная, не попадет ли опять под мечи. Победителям помогла буря и темнота, словно Божий гнев был на их стороне против изменников.

Была уже глубокая ночь, когда Нововейский во главе своих драгун двинулся в обратный путь к границам Речи Посполитой. Между молодым поручиком и вахмистром Люсней шла лошадь из табуна, на спине которой лежал, связанный веревками, вождь всех липков Азия Тугай-беевич, без чувств, с переломанными ребрами, но живой.

Оба они ежеминутно глядели на него с таким вниманием и заботливостью, точно везли какое-нибудь сокровище и боялись его уронить.

Буря начинала стихать; по небу носились еще громады туч, но в прорезах между ними уже просвечивали звезды, отражаясь в небольших озерах, образовавшихся в степи от ливня.

Вдали, в стороне Речи Посполитой, время от времени еще слышались раскаты грома.

XIII

Липковские беглецы дали знать о своем поражении орде белгородской, а гонцы передали эту весть из орды в ордуй-гамаюн, то есть в лагерь султана, где она произвела необычайно сильное впечатление. Правду говоря, пану Нововейскому не было никакой надобности так спешить со своей добычей к границам Речи Посполитой – никто за ним не гнался не только в первую минуту, но и в течение следующих

двух дней. Султан был поражен до того, что не знал даже, что ему предпринять. Сначала он послал белгородские и добруджские чамбулы узнать, какие войска находятся в окрестностях. Опасаясь за собственную шкуру, они пошли неохотно.

Между тем весть эта, переходя из уст в уста, возросла до необыкновенных размеров. Жителей глубинной Азии и Африки, которым еще никогда не приходилось воевать с Ляхистаном и которые только из рассказов слышали о страшной коннице неверных, обуял страх при мысли, что они вот-вот столкнутся с неприятелем, который не только ждет их в своих границах, но даже ищет их во владениях султана. Сам великий визирь и «восходящее солнце войны» – каймакан Черный Мустафа не знали, что об этом нападении думать. Каким образом эта Речь Посполитая, о бессилии которой у них были совершенно точные сведения, перешла вдруг в наступление, – этого не могла понять ни одна турецкая голова; во всяком случае, поход теперь не казался уже триумфальным шествием, как думали раньше. Султан на военном совете принял и визиря, и каймакана с гневным лицом.

– Вы обманули меня: не так слабы ляхи, если они сами нас ищут. Вы говорили, что Собеский не будет защищать Каменца, а он, верно, сам со всем своим войском перед нами.

Визирь и каймакан пытались было объяснить властелину, что, может быть, это была какая-нибудь шайка разбойников, но так как были найдены мушкеты и мешки с драгунскими колетами, то они и сами не верили этому. Недавний необычайно смелый поход Собеского, увенчавшийся победой, позволял предполагать, что грозный вождь и на этот раз предпочтет напасть на неприятеля врасплох.

– У него нет войска, – говорил великий визирь каймакану, когда они возвращались с военного совета, – но в нем живет лев, не знающий страха; если он собрал хоть полтора десятка тысяч, то нам предстоит кровавый путь в Хотим.

– Я хотел бы с ним помериться, – сказал молодой Кара Мустафа.

– Да отвратит от тебя Аллах это несчастье, – ответил великий визирь. Постепенно белгородские чамбулы убедились, что в окрестностях нет не только больших войск, но нет вообще никаких. Зато отысканы были следы отряда числом около трехсот всадников, который поспешно уходил в сторону Днестра. Ордынцы, помня о судьбе липков, не погнались за ним, боясь засады. Нападение на липков осталось чем-то поразительным и необъяснимым, но мало-помалу в ордуй-гамаюне воцарилось спокойствие, и войска падишаха опять двинулись в поход.

Между тем Нововейский совершенно безопасно возвращался со своей добычей в Рашков. Возвращался он поспешно, но опытные загонщики уже на другой день убедились, что за ними погони нет, и поэтому, несмотря на поспешность, шли так, чтобы не очень утомлять лошадей. Азия, привязанный веревками к спине татарской лошади, все время ехал между Нововейским и Люсней. У него были сломаны два ребра, и он ослаб от борьбы с Нововейским и оттого, что у него вскрылись раны, нанесенные Басей, поэтому страшный вахмистр, боясь, чтобы он не умер по дороге в Рашков и тем самым не сделал мести неосуществимой, должен был заботиться о нем всю дорогу. Молодой татарин, зная, что его ждет, жаждал смерти. Прежде всего он решил уморить себя голодом и не хотел принимать пищи, но Люсня раздвигал ему ножом челюсти и насильно вливал ему в рот водку и молдавское вино с растертыми в порошок сухарями. На каждой стоянке он обливал его водой, боясь, как бы раны на глазу и на носу, которые облепляли мухи, не загноились и не были причиной преждевременной смерти несчастного юноши. Нововейский ни слова не говорил с ним,

только раз в самом начале дороги, когда Азия за свою свободу и жизнь обещал ему вернуть Зосю и Эвку, поручик сказал ему:

– Лжешь, пес! Ты продал обеих в Стамбул купцу, который перепродает их там на базаре.

И сейчас же к нему привели Ильяшевича, и он в присутствии всех повторил:

– Да, эфенди, ты продал ее и сам не знаешь кому, а Адурович продал сестру богатыря, хотя она была от него беременна...

Азые минуту казалось, что после этих слов Нововейский раздавит его в своих страшных руках, и потому, когда он увидел, что для него уже нет спасенья, он решил довести молодого великана до того, чтобы он в пылу гнева сразу покончил с ним и тем избавил его от предстоящих мук, а так как Нововейский, не спуская с него глаз, все время ехал около него, то Азия самым ужасным и бесстыдным образом стал хвастаться всем, что он сделал. Он рассказывал ему, как зарезал его отца, как взял к себе Зосю Боскую, как наслаждался ее невинностью, как истязал ее тело плетью и топтал ее ногами. По бледному лицу Нововейского пот катился градом; он слушал, и у него не хватало ни сил, ни воли отъехать, он жадно вслушивался в каждое слово, хотя руки его дрожали, хотя все тело судорожно подергивалось, но он владел собой и не убивал его.

Впрочем, Азия, терзая врага, терзался и сам; его рассказы напоминали ему о его теперешнем несчастье. Еще недавно он повелевал, жил в роскоши, был любимцем молодого каймакана, а теперь ехал, привязанный к спине лошади, заживо съедаемый мухами, ехал на страшную смерть. Для него было облегчением, когда от ран, от боли, от утомления он терял сознание. Это случалось все чаще и чаще, так что Люсня стал беспокоиться, довезет ли он его живым. Но они ехали днем и ночью, останавливаясь лишь для того, чтобы дать отдых лошадям, и Рашков был все ближе. Живучая душа татарина не хотела покинуть его измученное тело. Кроме того, в последние дни Азия заболел лихорадкой и постоянно впадал в глубокий сон. Не раз в бреду или во сне ему представлялось, что он все еще в Хрептиеве, что вместе с Володыевским он собирается на войну; то казалось ему, что он провожает Басю в Рашков, что он похитил ее и держит в своей палатке; иногда в бреду ему грезилась битва, и он отдавал приказания уже как гетман польских татар. Но наступало пробуждение, возвращалось сознание, и тогда, открыв глаза, он видел лицо Нововейского, Люсни, шлемы драгун, которые уже сбросили татарские барашковые шапки, и всю эту действительность, столь ужасную, что она казалась ему кошмаром. Каждое движение лошади причиняло ему невыносимую боль; раны горели, и он лишался чувств. Были минуты, когда ему казалось невероятным, что он, такой жалкий человек, – не кто иной, как Азия, сын Тугай-бея, что его жизнь, полная необыкновенных приключений, которые, казалось, предсказывали ему великую будущность, кончается так быстро и так ужасно. Порой ему приходило в голову, что сейчас после пыток и смерти он пойдет в рай, но так как он некогда исповедовал христианскую веру и долго жил среди христиан, то при мысли о Христе им овладевал страх. Христос не окажет ему никакого милосердия, а если бы пророк был сильнее Христа, то он не отдал бы его в руки Нововейского. Может быть, пророк окажет ему милосердие и возьмет его душу, прежде чем его предадут пыткам. А между тем Рашков был уже недалеко. Они въехали в скалистую местность, уже поблизости Днестра. К вечеру Азия впал в полугорячее, в полусознательное состояние, в котором видения смешивались с действительностью. И ему казалось, что они уже приехали, что они остановились, что он слышит вокруг себя восклицания: «Рашков! Рашков!» Потом ему казалось, что он слышит стук топоров по дереву.

Тут он почувствовал, что ему на голову льют холодную воду, а потом долго-долго вливают в рот водку. Он совсем очнулся. Ночь была звездная, а около него мелькало несколько десятков факелов; до его слуха донеслись слова:

– В сознании?

– В сознании.

И в эту минуту он увидел перед собой лицо Люсни.

– Ну, брат, – сказал вахмистр спокойным голосом, – тебе пора!

Азия лежал навзничь и дышал свободно, его руки были вытянуты кверху по обеим сторонам головы, и грудь набирала больше воздуха, чем тогда, когда он лежал привязанным к спине лошади. Но руками он не мог двигать, они были привязаны над головой к дубовому колу, на котором он лежал, и обернуты соломой, намоченной в смоле. Тугай-беевич тотчас догадался, для чего это сделано; и в ту же минуту он заметил и другие приготовления, которые говорили о том, что муки его будут долги и ужасны. Он был раздет от пояса до ног; несколько приподняв голову, он заметил между своими нагими коленями острие свежеструганного кола; кол этот толстым концом упирался о пень дерева. К каждой ноге Азии были привязаны веревки, оканчивавшиеся вальком, в который была впряжена лошадь. Азия при свете факелов заметил только крупы нескольких лошадей впереди, их, по-видимому, держали под уздцы.

Несчастный юноша одним взглядом окинул все эти приготовления, потом машинально взглянул вверх и увидел над собой звезды и блестящий серп луны.

«Меня посадят на кол!» – подумал он.

И он так сильно стиснул зубы, что судорога свела челюсти. На лбу выступил пот, лицо похолодело, кровь отхлынула от головы. Потом ему показалось, что тело его летело в какую-то бездонную пропасть. С минуту он не сознавал ни времени, ни места, ни того, что с ним происходит. Вахмистр разжал ему зубы ножом и опять стал лить ему в рот водку.

Азия давился и выплевывал жгучий напиток, но все же принужден был его глотать. Тогда он впал в странное состояние: он не был пьян, наоборот, никогда еще сознание его не было так ясно, как теперь. Он видел все, что с ним происходит, все понимал, но им овладело какое-то необыкновенное возбуждение, какое-то нетерпение, что все эти приготовления тянутся так долго и что ничего еще не начинают.

Но вот вблизи него послышались тяжелые шаги, и перед ним появился Нововейский. При виде его татарин задрожал всем телом. Люсни он не боялся, он слишком его презирал, но Нововейского он не презирал, – увы! – его не за что было презирать; и при каждом взгляде на его лицо душу Азии наполнял какой-то суеверный страх, отвращение, омерзение. И в эту минуту он подумал: «Я в его власти, я боюсь его!..» И это было так страшно, что у Азии волосы становились дыбом.

Нововейский сказал:

– За то, что ты сделал, умрешь в мучениях! Липок ничего не ответил и только

громко засопел.

Нововейский отошел в сторону, воцарилась тишина, которая была нарушена Люсней.

– Ты поднял руку и на нашу пани, – сказал он хриплым голосом, – но пани теперь с мужем, а ты в наших руках! Пришло твое время!

После этих слов начались муки Азыи. Этот страшный человек в минуту своей смерти узнал, что все его жестокости и его измена не привели ни к чему. Если бы хоть Бася умерла по дороге, у него было бы то утешение, что, не принадлежа ему, она никому принадлежать не будет. И у него отняли это последнее утешение именно тогда, когда острое кола находилось уже в нескольких вершках от его тела. Все напрасно! Сколько измен, сколько крови и сколько предстоящих мук, – и все понапрасну!.. Люсня и не знал, насколько этими словами он усилил мучения Азыи; если бы он знал это, он повторял бы их всю дорогу.

Но теперь было уже не время для душевных мук – они должны были уступить мучениям телесным. Люсня наклонился и, взяв обеими руками Азыю за бедра так, чтобы мог управлять им, крикнул людям, державшим лошадей:

– Трогай! Да потише, разом!

Лошади тронулись. Веревки напряглись и потянули Азыю за ноги. Тело его скользнуло по земле и наткнулось на острый кол. Острое стало впиваться в тело, и началось что-то страшное, что-то противное природе и человеческим чувствам. Кости несчастного раздвинулись, тело разрезывалось; несказанная боль, такая страшная, что она граничила с каким-то чудовищным наслаждением, охватила все его существо. Кол погружался все глубже и глубже в тело. Тугай-беевич стиснул челюсти, наконец не выдержал: зубы его оскалились страшно и из горла вырвался крик: «А-а-а!», похожий на карканье ворона.

– Легче! – скомандовал вахмистр.

Азыя повторял свой страшный крик все быстрее.

– Каркаешь? – спросил вахмистр. Потом он крикнул солдатам:

– Ровней! Стой! Вот и все! – прибавил он, обращаясь к Азые, который вдруг замолк и только глухо хрипел.

Быстро выпрягли лошадей, потом подняли кол и толстым концом опустили в заранее вырытую яму и начали засыпать его землей. Тугай-беевич уже сверху смотрел на эту работу. Он был в сознании. Этот страшный род наказания был тем страшнее, что жертвы, насаженные на кол, жили иногда по три дня. Голова Азыи опустилась на грудь, губы его шевелились и чмокали, точно он что-то жевал; он чувствовал какую-то страшную слабость и видел перед собой какую-то бесконечную беловатую мгlistую пелену – и она, неизвестно почему, пугала его... Но в этой мгле он узнавал лица вахмистра и драгун, – знал, что он на колу, что его тяжелое тело оседает на кол все ниже; потом почувствовал, что ноги его немеют, и постепенно терял чувствительность к боли...

Порой этот страшный беловатый туман исчезал перед ним во мраке, тогда он моргал своим единственным глазом, желая все видеть, на все смотреть до самой смерти. Взгляд его с каким-то особенным упорством переходил с факела на факел; ему

казалось, что около каждого огня образуется какой-то радужный круг. Но муки его еще не кончились; минутой спустя вахмистр подошел к нему с буравчиком в руке и крикнул стоявшим тут же драгунам:

– Подсадите меня!

Два сильных солдата подняли его кверху. Азия, моргая глазом, все смотрел на него, как бы желая узнать, кто этот человек, который взбирается к нему наверх. Между тем вахмистр сказал:

– Пани выбила тебе один глаз, а я поклялся, что высверлю тебе другой!

Сказав это, он вонзил острие буравчика в глаз, повернул его раз, другой, а когда веки и нежная кожа, окружающая глаз, обернулась вокруг нарезов буравчика, – он дернул. Тогда из обеих глазниц Азии хлынули два потока крови и текли, как два ручья слез, по его лицу.

Лицо это побелело и становилось все бледнее. Драгуны, как бы стыдясь, что свет озаряет такую страшную работу рук человеческих, стали молча тушить факелы. Тело Азии освещалось только серебристыми, не очень яркими лучами луны. Голова его совсем опустилась на грудь, и только руки его, обмотанные соломой и привязанные к бревну, торчали кверху, как будто этот сын Востока взывал о мести своим палачам к турецкому полумесяцу.

– На коней! – раздался голос Нововейского.

Перед самым отъездом вахмистр зажег еще последним факелом поднятые руки татарина, и весь отряд двинулся к Ямполью, а среди развалин Рашкова, среди пустыни и ночи остался только на высоком колу один Азия, сын Тугай-бея, и долго, долго освещал пустыню.

XIV

Три недели спустя пан Нововейский прибыл в Хрептив. Из Рашкова он ехал так долго потому, что часто еще переправлялся на другую сторону Днестра, подстерегая чамбулы и перкулабовых людей, стоявших в разных станицах вдоль реки. Последние рассказывали потом прибывающим султанским войскам, что они всюду видели польские отряды и слышали про большое войско, которое, вероятнее всего, не дожидаясь прибытия турок под Каменец, само пойдет им навстречу и вступит с ними в бой.

Султан, которого раньше уверяли в полном бессилии Речи Посполитой, был поражен; он высылал вперед липков, валахов и придунайские орды, а сам двигался медленно, так как, несмотря на свое могущество, он очень опасался открытого сражения с регулярным войском Речи Посполитой.

Пан Нововейский не застал в Хрептиве Володыевского – маленький рыцарь пошел вслед за паном Мотовилой на помощь пану подляскому, против крымской орды и Дорошенки. Там он новыми подвигами приумножил свою славу: разгромил свирепого Корпана, оставив его тело в Диких Полях на растерзание диких зверей; разгромил грозного Дрозда, храброго Малышку и двух братьев Синих, известных казацких загонщиков, и рассеял множество небольших ватаг и чамбулов.

В день приезда пана Нововейского пани Володыевская с остатком людей и с вещами собиралась в Каменец, так как ввиду скорого нашествия Хрептив приходилось покинуть. С грустью выезжала пани Володыевская из этой деревянной крепости, где

она, правда, пережила много опасных минут, но где тем не менее прошли самые счастливые дни ее жизни, – с мужем, среди славных воинов, среди любящих сердец. Теперь по собственному желанию она едет в Каменец, – там ее ждет неизвестность и опасность, какая будет грозить всем осажденным.

Но ее мужественное сердце не поддавалось отчаянию. Она внимательно следила за всеми приготовлениями, наблюдая за солдатами и обозом. Ей помогал пан Заглоба, который во всех обстоятельствах всех превосходил умом, помогал и пан Мушальский, несравненный стрелок из лука, человек опытный и дельный.

Все они обрадовались приезду пана Нововейского, хотя по лицу молодого рыцаря прочли, что ни Эвки, ни нежной Зоей освободить из неволи ему не удалось. Бася горькими слезами оплакивала участь обеих девушек, так как их можно было считать погибшими. Они были проданы неизвестно кому, быть может, их увезли из Стамбула в Малую Азию, на острова, находящиеся под турецким владычеством, или в Египет и там могли держать в гаремах. Ввиду этого не только выкупить, но даже узнать о них что-нибудь было немыслимо. Плакала Бася, плакал и рассудительный пан Заглоба, плакал и пан Мушальский, и у одного только Нововейского глаза были сухи, – слез у него уже не хватало. Когда он начал рассказывать, как со своим отрядом подошел к далекому Дунаю и под Текучем, чуть не на глазах у орды и султана, разгромил липков и схватил страшного Азью Тугай-беевича, оба рыцаря схватились за сабли и воскликнули:

– Давай его сюда! Здесь, в Хрептиеве, он и должен погибнуть! А пан Нововейский ответил:

– Он погиб не в Хрептиеве, а в Рашкове, там он и должен был принять муку; вахмистр придумал ему такую смерть, которая была нелегка.

Тут он рассказал, какой смертью умер Азия; они слушали с ужасом, но без сострадания.

– Что Бог наказывает злодеев, это всем известно, – сказал наконец Заглоба, – но удивительно, что дьявол так плохо защищает своих слуг!

Бася набожно вздохнула, подняла глаза кверху и, немного подумав, сказала:

– У него нет силы, которая бы сравнялась с могуществом Господа!

– Вы верно изволили сказать, – воскликнул пан Мушальский, – если бы, упаси боже, дьявол был сильнее Бога, тогда бы исчезла всякая справедливость, а вместе с нею и вся Речь Посполитая.

– Вот почему я турок и не боюсь! Во-первых, это собачьи сыны, а во-вторых, сыны дьявола! – сказал Заглоба.

На минуту воцарилось молчание.

Нововейский сидел на скамейке, сложив руки на коленях, и безжизненными глазами смотрел на землю; пан Мушальский обратился к нему:

– Но тебе, верно, легче стало, – сказал он, – ибо справедливая месть дает большое утешение.

– Говорите, легче ли вам, лучше ли вам теперь? – спрашивала Бася голосом, полным сострадания.

Великан молчал некоторое время, точно боролся со своими собственными мыслями, и, наконец, ответил голосом, в котором слышалось как бы удивление, и притом чуть слышным:

– Вообразите, Панове, ей-богу я сам думал, что мне будет легче, когда покончу с ним... Я видел его на колу, видел, как у него высверлили глаз, я старался себя убедить, что мне легче, но это неправда! Неправда!..

Тут пан Нововейский схватился за голову обеими руками и, стиснув зубы, прибавил:

– Легче ему было на колу, легче с буравом в глазу, легче с зажженными руками, чем мне с тем, что сидит во мне, о чем думаю, о чем помню. Одна лишь смерть будет мне утешением... Смерть, смерть!.. Вот что...

Услышав это, Бася быстро встала и, положив руку на голову несчастного, сказала:

– Да пошлет же тебе Господь смерть под Каменцем, ибо поистине нет для тебя другого утешения!

Он закрыл глаза и стал повторять:

– О да! О да! Наградит вас Бог!

И в тот вечер все двинулись в Каменец.

Выехав из ворот, Бася долго-долго еще оглядывалась на крепость, освещенную вечерней зарей, потом, осенив себя крестным знаменем, сказала:

– Милый Хрептиев! Дай Бог нам вернуться к тебе вместе с Михалом! Дай Бог, чтобы нас не ждало что-нибудь худшее!

И две слезы покатались по ее розовому лицу. Грусть сдавила все сердца... Все ехали молча... Между тем наступили сумерки...

В Каменец они ехали медленно, так как обоз не мог двигаться быстрее. В обозе шли телеги и стада быков, буйволов, верблюдов и табун лошадей; военная челядь присматривала за стадами. Некоторые из солдат и челяди поженились в Хрептиеве, а потому не было недостатка и в женщинах. Обоз сопровождал отряд Нововейского и, кроме того, двести человек венгерской пехоты, которую набрал и обучил за свой счет маленький рыцарь. Покровительницей этой пехоты была Бася, а командовал ею хороший офицер, Калушевский. В этой пехоте не было настоящих венгерцев, и она называлась венгерской только потому, что у нее было мадьярское вооружение. Унтер-офицерами были старые «служилые» из драгун, а рядовыми были прежние разбойники, пойманные Володыевским и приговоренные им к смерти. Их помиловали с условием, что они будут служить в пехоте и загладят прежние преступления верностью и мужеством. Среди них было немало добровольцев, которые, покинув овраги, яры и другие разбойничьи притоны, предпочли поступить на службу к Маленькому соколу, чем вечно чувствовать над собой его меч. Это был народ не очень складный и не очень опытный в военном деле, но храбрый и привыкший к лишениям, опасностям и кровопролитиям. Бася ужасно любила эту пехоту, это детище Михала, и в этих диких сердцах вскоре зародилась привязанность к прекрасной и

добрый пани. Теперь они шли вокруг ее коляски с самопалами на плечах, с саблями у пояса, гордые сознанием, что они охраняют пани, готовые до последней капли крови защищать ее, в случае если бы какой-нибудь чамбул загородил им дорогу.

Но дорога была еще свободна. Пан Володыевский был очень предусмотрителен и к тому же слишком любил жену, чтобы подвергнуть ее какой-либо опасности. Выехав из Хрептиева после полудня, они ехали до самого вечера, затем всю следующую ночь, и на другой день, тоже после полудня, увидели высокие каменецкие скалы. При виде их, при виде башен и круглых бойниц, украшавших верхушки скалистых стен, все сразу ободрилось. Казалось неправдоподобным, чтобы это орлиное гнездо на вершине скал, окруженных рекой, могла разрушить чья-либо рука, кроме Божьей десницы. День был летний, ясный; башни костелов и купола церквей, видневшиеся из-за утесов, горели как гигантские свечи; мир, тишина, радость носились над этим прекрасным местом.

– Баська, – сказал Заглоба, – не раз уже язычник пробовал грызть эти стены и всегда ломал себе зубы. Сколько раз я сам видел, как они убегали отсюда, хватаясь руками за морды, – ведь, как-никак, больно! Даст Бог, и теперь то же будет.

– Конечно, будет! – ответила Бася, вся просияв от радости.

– А здесь уж был один ихний султан, Осман. Это было, как сейчас помню, в 1621 году. Приехал, собака, из Хотима, с той стороны Смотрича, вытаращил глаза, разинул рот, смотрит, смотрит, наконец спросил: «А эту крепость кто так укрепил?» – «Бог», – ответил визирь. «Пусть же Бог ее и осаждает, – а я не дурак». И сейчас же повернул назад.

– И как еще скоро повернул! – вставил Мушальский.

– Скоро, – сказал пан Заглоба, – потому что мы их сзади копьями подгоняли в слабые места, а меня потом рыцари на руках понесли к пану Любомирскому.

– Значит, вы были и под Хотимом? – спросил несравненный лучник. – Ушам не поверишь!.. Подумать только, где вы не были и каких только подвигов не совершили!

Пан Заглоба несколько обиделся и ответил:

– Не только был там, но даже ранен был, а эту рану, если вы уж так любопытны, я мог бы вам показать, но только где-нибудь в сторонке, ибо в присутствии пани Володыевской хвастаться мне ею не подobaет.

Знаменитый лучник тотчас же понял, что над ним подшутили, а так как не чувствовал себя в силах состязаться в остроумии с паном Заглобой, то он больше не расспрашивал и переменял разговор.

– То, что вы говорите, сущая правда, – сказал он. – Когда сидишь далеко и слушаешь людские толки: «Каменец не подготовлен для защиты! Каменец сдастся!», то тебе и страшно станет, а когда увидишь этот Каменец, сейчас же и ободрись.

– Да к тому же Михал будет в Каменце! – воскликнула Бася.

– Может быть, и пан Собеский пришлет подкрепление.

– Слава богу, не так-то уж плохо! Бывало и хуже, а мы не сдавались.

– Если бы и было хуже, главное – не унывать! Не съели нас до сих пор, не съедят и теперь, пока дух жив! – закончил пан Заглоба.

Под влиянием этих радостных мыслей они умолкли, но молчание это было нарушено очень грустным обстоятельством. К Басиной коляске подъехал вдруг пан Нововейский; лицо его, всегда мрачное и страшное, было теперь озарено улыбкой. Устремив глаза на залитый солнечными лучами Каменец, он все улыбался.

Оба рыцаря и Бася смотрели на него с удивлением; они не могли понять, почему вид крепости снял страшную тяжесть с его души. А Нововейский сказал:

– Да славится имя Господне! Много было горя, но настал и час радости. Тут он обернулся к Басе:

– Обе они у войта Томашевича, и хорошо, что они туда укрылись, в такой крепости и тот разбойник ничего с ними не сделает!

– О ком вы говорите? – с ужасом спросила Бася.

– О Зосе и Эвке.

– Да умудрит тебя Господь! – воскликнул Заглоба. – Не поддавайся дьяволу!

А Нововейский продолжал:

– А то, что говорили про моего отца, будто Азия его зарезал, это тоже неправда.

– Он помешался! – прошептал пан Мушальский.

– Вы позволите, – сказал пан Нововейский, – я поеду вперед; я так долго их не видал, что соскучился. Ох! Скучно вдали от милой, скучно...

Сказав это, он стал раскачивать своей огромной головой, потом пришпорил коня и ускакал.

Пан Мушальский сделал знак нескольким драгунам и двинулся за ним, чтобы не упускать из виду помешанного. Бася закрыла лицо руками, и вскоре сквозь ее пальцы потекли горячие слезы, а пан Заглоба сказал:

– Человек был просто золото, но не по силам ему такие несчастья, к тому же одной мстью жить нельзя!

В Каменце кипели приготовления к обороне. На стенах, в старом замке, у ворот, особенно у Русских, работали горожане, населявшие город, каждая «нация» под началом своего старосты. Над всеми старостами начальствовал ляшский староста Томашевич, во-первых, благодаря своей храбрости, во-вторых, потому, что умел искусно стрелять из пушек. Ляхи, русины, армяне, цыгане, евреи работали с лопатами и тачками в руках. Офицеры разных полков присматривали за работой; вахмистры и рядовые помогали жителям: работала даже шляхта, забыв на этот раз, что Бог создал ее руки только для сабли, а всякую другую работу оставил людям «подлого» звания. Пример им подавал пан Войцех Гумецкий, хорунжий подольский; он

собственными руками возил тачки с камнями. Работа кипела в городе и в замке. В толпе мелькали доминиканцы, иезуиты, кармелиты, францисканцы, которые благословляли трудящихся. Женщины приносили им есть и пить; прекрасные армянки, жены и дочери богатых купцов, и еще более красивые еврейки привлекали к себе взоры всех солдат.

Но особенное внимание толпы привлек к себе приезд Баси. В Каменце, конечно, было много женщин еще более знатных, чем она, но не было ни одной, муж которой был бы окружен такой славой. Кроме того, в Каменце слышали и о самой пани Володыевской как о женщине храброй, которая не боялась жить в пустыне среди полудикого населения, принимала участие в походах мужа и, будучи похищена татаринном, поборола его и спаслась от его хищных рук. Но те, кто ее не знал и не видел, представляли ее себе какой-то великаншей, ломающей подковы и разбивавшей панцири. Каково же было их удивление, когда они увидели ее маленькое, розовенькое, полудетское личико.

– Это и есть сама пани Володыевская или ее дочь? – спрашивали в толпе.

– Сама! – ответили те, которые знали ее.

Изумление охватило и мещан, и женщин, и духовенство, и войско. С не меньшим удивлением поглядывали и на непобедимый хрептиевский гарнизон, на драгун, среди которых ехал Нововойский, спокойный, улыбающийся, с блуждающими глазами, на грозные лица прежних разбойников, превращенных в венгерскую пехоту. За Басей следовало несколько сот превосходных воинов, людей как на подбор, – и сердца горожан ободрились. «Это сила немалая! Они смело взглянут туркам в глаза!» – слышалось всюду в толпе. Некоторые из мещан и даже солдат, особенно из полка епископа Тжебицкого, который только что прибыл в Каменец, думали, что и сам Володыевский находится в этом отряде, а потому тотчас послышались крики:

– Виват пан Володыевский!

– Да здравствует наш защитник, знаменитый рыцарь!

– Виват Володыевский, виват!

Бася слушала, и сердце ее было полно радости, ибо для любящей жены нет высшей радости, как слава мужа, особенно когда славу эту возвещает целая толпа в большом городе. «Здесь так много рыцарей, – думала Бася, – и никому из них не кричат, а только моему Михалу». И ей самой захотелось крикнуть вместе с другими: «Виват Володыевский!» Но пан Заглоба убеждал ее держать себя, как подобает знатной особе, и кланяться на обе стороны, как это делают королевы, въезжая в столицу. И сам он тоже кланялся, то снимая шапку, то делая знак рукой; когда его знакомые и в его честь стали кричать – «Виват!», он сейчас же обратился к толпе:

– Мосци-панове! Кто устоял под Збаражем, тот устоит и в Каменце!

Согласно распоряжению Володыевского, отряд подъехал к вновь отстроенному женскому Доминиканскому монастырю. У маленького рыцаря в Каменце был собственный домик, но так как монастырь находился в укромном уголке, куда ядра не могли попадать, то он и предпочел поместить туда свою Басю, тем более что, считаясь благодетелем этого монастыря, он мог рассчитывать на хороший прием. И действительно, игуменья, мать Виктория, дочь Стефана Потоцкого, воеводы брацлавского, приняла Басю с расprostертыми объятиями. Из этих объятий она

перешла в еще более милые ей объятия – тетушки Маковецкой, с которой не видалась уже много лет. Обе они плакали, плакал с ними и пан стольник летичевский; Бася всегда была его любимицей. Едва обсохли слезы радостного волнения, как в комнату вбежала Кхися Кетлинг, и снова начались приветствия.

Потом Басю окружили монахи и шляхтянки, знакомые и незнакомые, – жена пана Мартина Богуша, пани Станиславская, пани Калиновская, пани Хоцимирская, жена пана Войцеха Гумецкого, хорунжего подольского, знаменитого кавалера. Одни, как пани Богуш, расспрашивали ее про мужей, другие про турецкое нашествие, третьи спрашивали ее мнения, устоит ли Каменец? Бася с радостью заметила, что ее считают каким-то военным авторитетом и ждут от нее утешения.

И она на утешения не поскупилась:

– Не может быть и речи о том, чтобы мы не устояли против турок. Михал приедет сюда не сегодня завтра, самое большее через несколько дней он будет здесь, а когда он займется обороной, вы можете спать спокойно. К тому же сама крепость неприступна, в этом я, слава богу, кое-что понимаю.

Уверенность Баси приободрила женщин, в особенности успокоило их обещание Баси, что приедет Володыевский. Его так ценили и уважали, что, несмотря на то что был уже вечер, к Басе явились представляться офицеры Каменецкого гарнизона; каждый из них, после первых слов приветствия, начинал расспрашивать, когда приедет маленький рыцарь и правда ли, что он намерен запереться в Каменце? Бася приняла только майора Квасибродского, который командовал пехотой, ксендза епископа Краковского, пана Жевуского, командовавшего конным полком, и Кетлинга. Остальных Бася не приняла, так как она устала с дороги и ей необходимо было заняться паном Нововейским. Этот несчастный свалился с лошади перед самым монастырем и без чувств был перенесен в келью. Тотчас послали за медиком, тем самым, который лечил Басю в Хрептиеве; он нашел тяжелую болезнь мозга и даже опасался за жизнь. До поздней ночи Бася, Мушальский и Заглоба разговаривали об этом случае, раздумывая над несчастной долей рыцаря.

– Медик говорил мне, – сказал Заглоба, – что если после удачного кровопускания Нововейский и останется жив, то он сойдет с ума, и тогда он легче будет переносить свое несчастье.

– Для него уже нет утешения, – сказала Бася.

– Иной раз лучше бы человеку не иметь памяти! – сказал пан Мушальский.

Но старик за это замечание обрушился на знаменитого лучника.

– Если бы у вас не было памяти, то вы не могли бы ходить к исповеди, – сказал он, – а тогда вы уподобились бы лютеранам и были бы достойны адского огня! Вас уже и ксендз Каменский укорял в богохульстве, но как волка ни корми, он все в лес смотрит!

– Какой же я волк, – сказал знаменитый лучник, – вот Азья, тот был волк!

– А разве я этого не говорил? – спросил Заглоба. – Кто первый сказал, что он волк?

– Нововейский мне говорил, – сказала Бася, – что он и днем и ночью слышит, как

Эвка и Зося кричат ему: «Спаси!» А как тут спасти? Так и должно было кончиться болезнью! Такого горя никто бы не выдержал! Их смерть он мог бы пережить, но позора – не мог!

– Теперь он лежит, как бревно, и ничего не сознает, – сказал Мушальский, – а жаль: он был хороший загонщик!

Дальнейший разговор был прерван слугой, который пришел доложить, что в городе опять поднялся шум: народ побежал встречать пана генерала подольского, который только что приехал с большой свитой и с несколькими десятками человек пехоты.

– Начальство принадлежит ему, – сказал Заглоба. – Это очень хорошо со стороны пана Михала Потоцкого, что он предпочитает быть здесь, а не где-нибудь в другом месте, но что касается меня, то я предпочел бы, чтобы его здесь не было! Ха! Он был против гетмана, не верил в возможность войны, а теперь, кто знает, может быть, ему придется поплатиться за это жизнью.

– Вслед за ним, может, приедут и другие Потоцкие, – сказал пан Мушальский.

– Значит, турки недалеко, – сказал Заглоба. – Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Дай Бог, чтобы генерал оказался вторым Иеремией, а Каменец Збаражем.

– Так и быть должно, и мы лучше погибнем! – послышался чей-то голос у входа.

На звук этого голоса Бася вскочила и, крикнув: «Михал!», бросилась в объятия маленького рыцаря.

Пан Володыевский привез с поля много важных новостей, но, прежде чем передать их на военном совете, он сообщил их жене, в отведенной им келье. Сам он наголову разбил несколько небольших чамбулов и с великой славой подходил вплотную к отрядам крымского хана и Дорошенки. Он привел несколько десятков пленников, от которых можно было получить сведения относительно войск Дорошенки и хана.

Другим загонщикам не так повезло. Пан Подлясский, который командовал значительным отрядом, был разбит в кровопролитной битве. Пана Мотовило, который подвигался к валахской дороге, разбил Кричинский, с помощью белгородской орды и лииков, уцелевших после тыкицкого погрома. Володыевский, прежде чем попасть в Каменец, свернул в Хрептив, ибо, как он говорил, ему хотелось еще раз взглянуть на место их недавнего счастья...

– Я был там, – сказал он, – тотчас после вашего отъезда, и легко мог вас догнать, но в Ушице я переправился на молдавский берег, чтобы проведать, что делается в степи. Некоторые чамбулы уже переправились на другой берег, и, боюсь, как бы они неожиданно не напали на наших. Другие идут впереди турецкого войска и скоро будут здесь. Будет осада, голубка моя милая, делать нечего, но мы не сдадимся, потому что каждый здесь защищает не только отчизну, но и свое собственное добро!

Сказав это, он пошевелил усиками, потом обнял жену и стал целовать ее. В этот день они больше не разговаривали друг с другом. На следующий день Володыевский повторил свои новости у епископа Ланцкоронского на военном совете, на котором кроме епископа присутствовали: пан генерал подольский, пан подкоморий подольский Ланцкоронский, пан писарь подольский Ржевуский, хорунжий Гумецкий, Кетлинг, пан Маковецкий, майор Квасибродский и несколько других военных. Пану Володыевскому

не понравилось заявление генерала подольского, что он ни за что не примет команду над войском, а поручает ее военному совету.

– В трудные минуты должен быть один ум и одна воля! – ответил маленький рыцарь.

– Под Збаражем было три начальника, которым власть принадлежала по чину, а все же они уступили ее Иеремии Вишневецкому, справедливо полагая, что в минуты опасности лучше слушаться кого-нибудь одного!

Слова эти не привели ни к чему. Тщетно ученый Кетлинг ссылался на римлян, которые, будучи лучшими воинами в мире, изобрели диктатуру. Ксендз, епископ Ланцкоронский, – который не любил Кетлинга, так как неизвестно почему думал, что Кетлинг – шотландец по происхождению и должен быть в душе еретиком, – ответил, что полякам не за чем учиться истории у иностранцев, что у поляков есть свой собственный ум и им нечего подражать римлянам, которым к тому же они ни по уму, ни в храбрости нисколько не уступают.

«Как от вязанки дров больше огня, чем от одного полена, – говорил он, – так несколько голов могут больше придумать, чем одна». При этом он похвалил генерала подольского за скромность (хотя многие понимали, что это скорее страх перед ответственностью) и предложил войти с неприятелем в переговоры. Как только было произнесено это слово, все рыцари вскочили, как ужаленные, со своих мест: и Володыевский, и Кетлинг, и Маковецкий, и Квасибродский, и Гумецкий, и Ржевуский – все заскрежетали зубами и ударили руками по саблям.

– Не для переговоров мы сюда пришли! – кричали они.

– Посредника только духовная ряса защищает!

А Квасибродский крикнул даже:

– В исповедальню ему, а не в военный совет!

И поднялся шум. Тогда епископ встал и произнес громким голосом:

– Я первый готов был бы жизнь отдать за храм Божий и за мою паству, и, если я упомянул о переговорах, то, беру Бога в свидетели, не для того, чтобы сдать крепость, а лишь чтобы выиграть время и дать возможность гетману собрать войско. Язычникам страшно уже и само имя пана Собеского, и если бы даже у него не было большого войска, пусть только пройдет слух, что он идет, как басурман тотчас откажется от Каменца.

После этих слов епископа все смолкли и некоторые даже обрадовались, видя, что епископ не имел в виду сдачи крепости неприятелю.

Вдруг Володыевский сказал:

– Прежде чем неприятель осадит Каменец, он должен разгромить Жванец: ему никак нельзя оставлять за собой укрепленный замок. И вот, с разрешения пана подкомория подольского, я готов запереться в Жванце и продержаться там столько времени, сколько думает сберечь ксендз-епископ путем переговоров. Возьму с собой надежных людей и буду защищаться, пока жизни хватит.

Но все собравшиеся восстали против этого.

– Это невозможно. Ты здесь нужен! Без тебя и горожане падут духом, и солдаты не будут драться с таким рвением. Этого нельзя делать! У кого здесь больше опыта? Кто был под Збаражем? А если придется сделать вылазку, кто поведет? Ты погибнешь в Жванце, а мы здесь погибнем без тебя!

– Я во власти начальства, – ответил Володыевский.

– В Жванец надо бы послать какого-нибудь храбреца, который мне был бы помощником, – сказал пан подкоморий подольский.

– Пусть идет Нововейский! – воскликнуло несколько голосов.

– Нововейский идти не может – у него болезнь мозга, – ответил пан Володыевский, – он лежит в постели без памяти.

– А пока надо решить, кому где стать и какие ворота защищать, – сказал епископ.

Глаза всех устремились на генерала подольского, а он произнес:

– Прежде чем я отдам приказания, я хотел бы знать мнения опытных воинов, а так как пан Володыевский своим опытом превосходит всех, то его первого я и выслушаю.

Володыевский советовал прежде всего хорошо укрепить замки, находившиеся перед городом, так как он полагал, что неприятель начнет нападение именно с этих замков. Все согласилось с его мнением. В крепости было тысяча шестьдесят человек пехоты, которую разделили следующим образом: правую сторону замка должен был защищать пан Мыслишевский, левую пан Гумецкий – воин, известный своими подвигами под Хотимом. Со стороны Хотима в самом опасном месте должен был стоять сам пан Володыевский, несколько ниже разместили отряд сердюков; со стороны Зинковец крепость должен был защищать майор Квасибродский, южную сторону пан Вонсович, а со стороны дворца капитан Букар с людьми пана Красинского.

Все это были не какие-нибудь волонтеры, а солдаты по призванию, превосходные воины и такие стойкие в сражении, что иные не так легко переносили жару, как они пушечную пальбу. Кроме того, служба в войсках Речи Посполитой, всегда многочисленных, они с юных лет привыкли давать отпор неприятелю в десять раз более сильному и считали это в порядке вещей. Главный надзор над крепостной артиллерией был поручен красавцу Кетлингу, который всех превосходил в искусстве наводить пушки. Главным комендантом крепости был назначен маленький рыцарь, которому генерал подольский предоставил полную свободу делать вылазки всякий раз, когда это будет нужно и удобно.

Когда офицеры узнали, где и кто из них должен стоять, они подняли радостный крик, застучали саблями в знак готовности защищать крепость. Услыхав это, генерал подольский подумал: «Я не верил, что мы сможем защищаться, и пришел сюда без всякой веры, лишь повинуюсь голосу совести, но кто знает, с такими воинами, быть может, нам и удастся отразить неприятеля. Успех будет приписан мне, и меня провозгласят вторым Иеремией, а в таком случае, ей-богу, меня сюда привела счастливая звезда!»

И, как прежде он сомневался в возможности обороны, так теперь он стал сомневаться в возможности взять крепость, – он воспрянул духом и стал деловито совещаться о том, как укрепить город.

И было решено, что в самом городе, у Русских ворот, станет пан Маковецкий с гордостью шляхты, польскими мещанами, более выносливыми в сражении, и несколькими десятками армян и евреев. Луцкие ворота были поручены пану Гродецкому, управление же пушкой у этих ворот было поручено пану Жуку и пану Матчинскому. Сторожевой пост перед ратушей занял пан Лукаш Дзевановский; пан Хоцимирский за Русскими воротами принял начальство над крикливыми цыганами. От моста до дома пана Сеницкого сторожевыми постами заведовал пан Казимир Гумецкий. Дальше должны были расположиться – пан Станишевский, над Ляцкими воротами – пан Мартин Богуш, у медной башни должен был стать пан Юрий Скаржинский с паном Янковским. Пан Дубровский с Петрушевским заняли Мясницкую башню. Главный городской шанец был поручен Томашевичу, войту польской юрисдикции, а маленький шанец – Яцковскому; был отдан приказ сделать насыпь и для третьего шанца; с этого шанца впоследствии один очень искусный еврей-пушкарь причинил много вреда туркам.

Так распорядившись, все отправились ужинать к пану генералу подольскому, который во время этого пиршества особенно чествовал пана Володыевского; усадив его на почетное место, он угощал его вином, едой, занимал разговором, предвидя, что после осады к его прозвищу «маленький рыцарь» потомство присоединит титул «Гектор каменецкий». Володыевский заявил, что он намерен до последней капли крови послужить отчизне и с этой целью хочет в кафедральном соборе связать себя обетом, и просил разрешения епископа сделать это завтра же. Ксендз-епископ, зная, что этот обет может послужить на благо отчизне, охотно согласился. На другой день в соборе было торжественное богослужение. Благоговейно слушали его и рыцари, и шляхта, и солдаты, и простолюдины. Пан Володыевский с Кетлингом лежали ниц перед алтарем; Кшися и Бася стояли на коленях тут же за решеткой; обе они плакали, зная, что этот обет может подвергнуть опасности жизнь их мужей. По окончании обедни епископ обратился к народу с Дарами; тогда маленький рыцарь встал и, опустившись на колени на ступенях алтаря, сказал взволнованным, хотя и спокойным голосом:

– За особые благодеяния и многие милости, ниспосланные мне Господом Богом, Иисусом Христом, Сыном Божьим, даю я обет и клянусь, что подобно тому, как Господь Бог и Сын Божий оказали мне помощь, я до последнего издыхания моего буду защищать Святой Крест. Понеже поручено мне начальство над старым замком, то клянусь и обещаю, пока жив и владею рукой и ногой, не впускать в крепость неприятеля, в нечестии живущего, со стен осажденного города не сойду и белого флага не вывешу, если бы мне даже пришлось погибнуть под развалинами... В том да поможет мне Господь Бог и его Святой Крест. Аминь!

Торжественная тишина воцарилась в костеле, потом раздался голос Кетлинга:

– Даю обет, – сказал он, – что за особые благодеяния, оказанные мне этой моей отчизной, буду защищать замок до последней капли крови и скорее погибну под его развалинами, чем допущу неприятеля войти в его стены. Обет сей приношу от чистого сердца и в искренней благодарности: в том помощи мне Господь Бог и Святой Крест. Аминь!

Тут ксендз наклонил дароносицу и дал к ней приложиться сначала Володыевскому, потом Кетлингу. И, видя это, многие рыцари подняли шум в костеле, слышались крики:

– Все мы клянемся! Погибнем друг подле друга! Не падет крепость! Клянемся! Клянемся! Аминь! Аминь! Аминь!

Сверкнули сабли и рапиры, вынутые из ножен, и заблестали на весь костел. Осветились грозные лица, горящие огнем глаза, и шляхту, и солдат, и народ охватило несказанное воодушевление. Потом зазвонили в колокола, загремел орган. Епископ запел: «Под твою милость!..» В ответ ему загремело сто голосов. Так молились за крепость, которая стояла на страже христианства и была ключом Речи Посполитой.

По окончании богослужения Кетлинг с Володыевским под руку вышли из костела. С ними прощались, их благословляли, ибо никто не сомневался, что они скорее погибнут, чем отдадут замок. Но не смерть, а победа и слава, казалось, носились над ними. Среди всей этой толпы, вероятно, только они одни сознавали, какой страшной клятвой связали себя. Быть может, предчувствовали гибель, нависшую над ними, и два любящих сердца, ибо ни Кшися, ни Бася не могли успокоиться, а когда наконец Володыевский пришел к жене в монастырь, она, задыхаясь от рыданий, как ребенок, прижималась к его груди и говорила прерывающимся голосом:

– Помни... Михал, если, сохрани бог, с тобою несчастье... я... я... не знаю... что со мной... будет!..

И она вся затряслась от рыданий; маленький рыцарь был тоже очень взволнован. Его желтые усики то и дело шевелились, наконец он сказал:

– Что ж, Баська... так нужно было. Что ж, Баська!

– Лучше бы мне умереть, – ответила Бася.

Услышав это, маленький рыцарь еще сильнее зашевелил усиками и несколько раз повторил: «Молчи, Баська, молчи!» – и наконец сказал, чтобы успокоить дорогую женщину:

– А помнишь, что я сказал, когда Господь вернул мне тебя? Я сказал: «Я даю обет отблагодарить Господа чем только смогу! Если по окончании войны я останусь жив, построю часовню, но во время войны совершу нечто великое, чтобы не отплатить Господу неблагодарностью». Что – крепость? За такое благодеяние и этого мало! Настало время! Неужели надо дожидаться, чтобы Спаситель сказал: «А где же твое обещание?» Пусть меня развалины крепости раздавят, если я нарушу кавалерское слово, данное Господу Богу! Так надо, Баська, вот и все... Будем уповать на Бога, Баська!

XV

В тот же день Володыевский выехал с большим отрядом на помощь Васильковскому, который двинулся в сторону Гринчука, так как прошли слухи, что туда ворвались татары, берут в плен людей, уводят скот, но деревень не жгут, чтобы скрыть свое присутствие. Пан Васильковский тотчас же разбил их наголову и взял много пленников. Пан Володыевский увел их в Жванец, передал пану Маковецкому, приказав их пытать и записать показания, чтобы потом послать эти показания гетману и королю. Татары сознались, что они по приказанию перкулаба перешли границу, получив подкрепление от ротмистра Стингана и валахов. Но, несмотря на пытки, они не могли сказать, далеко ли в настоящее время находится султан со своим войском: они шли впереди беспорядочной массой и не сообщались совсем с лагерем.

Все они показали одно и то же: что султан со своим войском уже двинулся в Речь Посполитую и вскоре станет под Хотимом. В этих показаниях не было ничего нового

для будущих защитников Каменца, но так как в Варшаве при королевском дворе не верили в возможность войны, то пан подкоморий подольский решил отправить пленников в Варшаву вместе с их показаниями.

Солдаты вернулись из первой экспедиции очень довольные. Между тем вечером прибыл к Володыевскому секретарь его побратима, Габарескула, старшего хотимского перкулаба. Он не привез ему письма, так как перкулаб боялся писать, но поручил сказать своему побратиму Володыевскому, «зенице своего ока» и «любви своего сердца», чтобы он принял меры предосторожности, и если в Каменце мало войск, то пусть он под каким-нибудь предлогом оставит город, ибо султана ожидают в Хотиме на следующий день.

Володыевский приказал поблагодарить перкулаба и, наградив секретаря, отправил его обратно, а сам тотчас уведомил комендантов о надвигающейся опасности. Известие это, хотя его и ожидали с минуты на минуту, произвело большое впечатление. С удвоенным усердием стали производить работы по укреплению города. Пан Иероним Ланцкоронский немедленно отправился в свой Жванец, чтобы оттуда следить за Хотимом. Некоторое время прошло в ожидании, наконец 2 августа султан подошел к Хотиму. Войска разлились под городом, как безбрежное море, и при виде последнего города, находящегося в пределах турецких владений, из сотен тысяч грудей вырвался крик: «Аллах! Аллах!» По ту сторону Днестра лежала беззащитная Речь Посполитая, которую все эти несметные войска должны были затопить, как наводнение, или превратить в пепел, как огонь. Толпы воинов, не имея возможности поместиться в городе, расположились в поле, в том самом поле, где несколько десятков лет тому назад польские сабли разгромили не менее многочисленную армию пророка. Теперь, казалось, настал час мести, и никто среди этих диких полчищ, начиная с султана и кончая последним слугой, не предчувствовал, что это поле будет дважды роковым для полумесяца. Не надежда, а уверенность в победе воодушевляла всех. Янычары и спаги, толпы ополченцев с Балкан, с Родопских гор, из Румелии, с Пелиона и Оссы, с Ливана, из Кармелии, из Арабских пустынь, с берегов Тигра, с низовий Нила и с песков Африки – все издавали дикие крики, требуя, чтобы их тотчас же вели «на берег неверных». Между тем муэдзины с хотинских минаретов стали призывать к молитве – и все тотчас же утихло. Целое море голов в тюрбанах, шапках, фесках и стальных шлемах склонилось к земле, и по всему полю разнесся, подобно жужжанию пчел в улье, глухой шепот молитвы, и, уносимый ветром, летел через Днестр в Речь Посполитую.

Потом раздался звук барабанов, труб и дудок – сигнал к привалу. Хотя войска шли медленно, со всеми удобствами, но падишах хотел дать им хорошенько отдохнуть после продолжительного пути из Адрианополя. Сам совершил омовение в прозрачном ручье, протекавшем недалеко от города, и уехал в хотимский дворец, а на полях для войска стали разбивать палатки, которые вскоре словно снегом покрыли окрестность. День был прекрасный, солнце клонилось к закату. По окончании последних вечерних молитв весь лагерь предался отдыху. Загорелись тысячи и сотни тысяч огней, и на их мерцание с тревогой смотрели с противоположного замка в Жванце. Костры горели на таком огромном пространстве, что польские солдаты, которые ходили на разведку, отдавая отчет в том, что видели, говорили, что «вся Молдавия занята кострами». Но по мере того как светлый месяц поднимался все выше на небе, гасли и все эти огни, за исключением сторожевых; лагерь мало-помалу утихал, и среди ночной тишины слышалось только ржание коней и рев буйволов, пасущихся на тарабанских равнинах.

На следующее утро, чуть рассвело, султан отрядил янычар, татар и липков, поручив им перейти через мост и занять Жванец, и город, и замок. Храбрый пан Иероним

Ланцкоронский не стал ждать неприятеля за стенами крепости, а с сорока татарами, восемьюдесятью киянами и одним собственным полком ударил на янычар во время переправы и, невзирая на густой ружейный огонь, так смял эту превосходную пехоту, что она рассыпалась и стала отступать в воду. Между тем чамбул с помощью липков переправился через Днестр и ворвался в город. Дым и крики указали храброму пану подкоморию, что город уже в руках неприятеля, и он тотчас же приказал отступать от переправы, чтобы прийти на помощь несчастным жителям. Пешие янычары не могли преследовать, а он во весь опор помчался на помощь. Он уже был почти у города, как вдруг его придворные татары перешли на сторону неприятеля. Наступила крайне опасная минута. Чамбул и липки, предполагая, что измена татар произвела замешательство среди поляков, со страшной силой ударили на пана подкомория. К счастью, кияне, воодушевленные примером вождя, дали сильный отпор, а полк подкомория вскоре сломил неприятеля, который, впрочем, и не мог устоять против регулярной польской конницы. Земля около моста покрылась трупами татар, особенно липков: как более стойкие, по сравнению с ордынцами, они дольше выдержали на поле сражения. Немало было вырезано липков и на улицах местечка; тогда пан Ланцкоронский, увидав, что со стороны реки приближаются янычары, скрылся за стену крепости, послав в Каменец гонца за подкреплением.

Падишах не собирался даже в первый же день овладеть Жванской крепостью, основательно предполагая, что ею овладеет сразу при общей переправе войск через реку. Он хотел только занять город и, думая, что высланных им отрядов совершенно достаточно, не посылал больше ни янычар, ни ордынцев. Янычары, которые переправились уже через реку, после отступления пана подкомория заняли опять город, но не сжигали его, надеясь в будущем найти в нем убежище и для себя и для других отрядов, но зато стали хозяйничать в нем с саблями и кинжалами в руках. Они не щадили ни женщин, ни мужчин, ни детей и убивали всех топорами; татары занялись грабежом.

Вдруг с крепостной башни было замечено, что со стороны Каменца приближается какая-то конница. Услышав об этом, пан Ланцкоронский сам взшел на башню в сопровождении нескольких офицеров; внимательно и долго смотрел он в подзорную трубу и наконец сказал:

– Это легкая конница из хрептивского гарнизона, с которой пан Васильковский ходил к Гринчику. По всей вероятности, его самого теперь послали к нам на помощь.

И он опять стал смотреть.

– Вижу волонтеров, – вероятно, пан Гумецкий.

Минуту спустя он прибавил:

– Слава богу! Там и сам Володыевский. Я вижу его драгун. Мосци-панове, сделаем мы вылазку и с божьей помощью прогоним неприятеля не только из города, но даже за реку.

Сказав это, он стремглав бросился вниз, чтобы собрать киян и свой полк. Между тем в городе татары первые заметили приближавшиеся отряды и с пронзительным криком «Алла!» стали выстраиваться. По всем улицам слышались звуки барабана; янычары построились в ряды с такой быстротой, на какую не была способна почти ни одна пехота в мире.

Чамбул помчался, как вихрь, за город и бросился на легкоконный отряд. Чамбул этот, не считая липков, которых сильно потрепал пан Ланцкоронский, был втрое многочисленнее Жванского гарнизона и приближавшегося отряда, а потому татары без колебания напали на пана Васильковского. Но пан Васильковский, неустрашимый юноша, который жадно бросался на всякие опасные предприятия, приказал людям пустить лошадей вскачь и, нисколько не задумываясь о численности неприятеля, летел на него, как ураган. Такая отвага смутила татар, которые вообще не любили стычек врукопашную. И вот, несмотря на крики ехавших сзади мурз, несмотря на пронзительный свист дудок и бой барабана, призывавшего на «кейсим», то есть к обезглавливанию неверных, они начали удерживать лошадей, – ими, видно, овладела тревога; наконец, на расстоянии выстрела от польского отряда, они рассыпались в разные стороны, выпустив целую тучу стрел в мчавшихся на них всадников.

Пан Васильковский, не зная ничего о янычарах, которые построились в ряды по другую сторону местечка, погнался стремглав со своими людьми за татарами, или, вернее, за половиной чамбула, догнал их вскоре и стал рубить тех, у которых лошади были похуже и которые не могли спастись бегством. Тогда другая половина чамбула вернулась и намеревалась окружить его, но в эту минуту налетели добровольцы и подоспел пан подкоморий с киянами.

Татары, сжатые с разных сторон, в одно мгновение рассеялись как пыль; и вот началась погоня то массой, то врассыпную; земля устилалась трупами татар, которые падали один за другим, особенно от руки Васильковского: в пылу битвы он один бросался на целые толпы неприятеля, как сокол налетает на стаю подорожников или воробьев. Но пан Володыевский, воин дальновидный и спокойный, сдерживал своих драгун. Как охотник сдерживает горячих псов, держа их на привязи, и выпускает их только тогда, когда увидит сверкающие глаза и белые клыки страшного кабана, так и маленький рыцарь, пренебрегая трусливой ордой, смотрел, нет ли за нею спагов, янычар или какого-нибудь другого отборного войска.

Вдруг перед ним появился пан Иероним Ланцкоронский со своими киянами.

– Благодетель! Янычары стоят у реки, прижмем-ка их! – воскликнул он. Володыевский вынул рапиру из ножен и скомандовал:

– Вперед!

Драгуны подтянули поводья, чтобы вернее управлять лошадьми, потом наклонились слегка и дружно двинулись вперед. Они шли сначала рысью, потом вскачь, но все еще не пуская лошадей во весь опор. Только, миновав дома у реки с восточной стороны, они заметили белые шапки янычар и увидели, что им придется иметь дело уже с регулярными войсками.

– Бей! – крикнул Володыевский.

Лошади вытянулись так, что почти касались брюхом земли и взрывали копытами комья затверделой почвы.

Янычары, не зная, какая сила идет на помощь Жванцу, действительно направлялись к реке. Один отряд, человек в двести, был уже у реки, и первые его ряды садились на плоты; другой, не меньший по численности, в полном порядке шел за ним; увидав несущуюся конницу, янычары остановились и мгновенно повернулись фронтом к неприятелю. Ружья мелькнули у них в руках, и раздался стройный залп. Вдобавок неустрашимые воины, рассчитывая, что товарищи, оставшиеся на берегу, поддержат

их огнем, не только не рассыпались после выстрела, но с громкими криками бросились вперед и бешено набросились с саблями на конницу. Это было безрассудство, на которое способны были только янычары, но они за него дорого заплатились: конница не могла, если бы даже и хотела, удержать лошадей, обрушилась на них, как гром, и, смяв в одно мгновение янычар, стала раздавать смертельные удары.

Под силой натиска легли первые ряды, как колосья под вихрем. Правда, многие падали только от напора и, вскочив, бросались врассыпную к реке, откуда другой отряд давал залп за залпом, прицеливаясь высоко, чтобы поражать драгун над головами своих. В рядах янычар, стоявших у паромов, было заметно минутное колебание: садиться ли им на паромы или по примеру первого отряда ударить на конницу? Но вид бегущей толпы, на которую напирала лошадьми конница и которую она рубила с каким-то бешенством, удержал их от этого последнего шага. По временам эта толпа, когда на нее слишком напирала конница, поворачивалась вдруг и в отчаянии начинала огрызаться, как огрызается дикий зверь, когда видит, что для него нет спасения. Стоявшие на берегу янычары могли видеть, как на ладони, что в рукопашной борьбе с такой конницей им устоять невозможно – так она неотразима. Защищавшихся янычар рубили с такой ловкостью и быстротой, что немислимо было уследить глазом за движениями сабель. Как бывает в зажиточном хозяйстве, когда работники молотят хорошо высушенный горох, и от их сильных ударов дрожит все гумно, и вылущенные зерна отскакивают во все стороны, так и от звона сабель гремело все побережье, а кучки янычар, убиваемых без пощады, рассеивались во все стороны.

Пан Васильковский во главе своей конницы бросался на янычар, нисколько не заботясь о своей безопасности. Но насколько опытный косарь превосходит хотя бы и более сильного, но менее опытного работника, – ибо когда последний уже обливается потом, то первый равномерно подвигается вперед, снимая полосы ржи, – так Володыевский превосходил пылкого юношу. Перед самой стычкой с янычарами он пустил драгун вперед, а сам остался несколько позади, чтобы следить за всем ходом сражения. Стоя в отдалении, он внимательно смотрел вперед и в самый разгар битвы ежеминутно врезался в ряды неприятеля, ударял и направлял куда следует, потом опять давал битве переместиться и снова следил и снова бросался. Как это всегда бывает в битве с пехотой, так случилось и в этот раз – конница в своей стремительности опередила спасающихся бегством. Несколько десятков янычар, не имея возможности бежать по направлению к реке, бросились обратно в город, намереваясь скрыться в подсолнечниках, растущих тут же перед домами. Но Володыевский заметил их, догнал двух, которые были впереди, и, слегка взмахнув саблей, дал им два легких удара. Они тотчас упали, обливаясь кровью и корчась в судорогах, и испустили дух. Увидав это, третий выстрелил в маленького рыцаря из янычарского ружья, но промахнулся, а маленький рыцарь ударил его острием сабли между носом и ртом и уложил на месте. Потом немедля бросился за другими. Крестьянский мальчик так скоро не собирает грибы, растущие в кучке, как он покончил с ними, прежде чем они достигли подсолнечников. Только двух последних схватили жители Жванца; Володыевский приказал их оставить в живых.

Сам он, уже несколько разгоряченный, увидев, что янычар приперли к реке, бросился в самый разгар битвы и, поравнявшись с драгунами, принялся за работу. Он взмахивал саблей то перед собой, то вправо, то влево, раздавал легкие удары, и за каждым таким ударом летела на землю белая шапка янычара. Янычары с криком ужаса столпились вокруг него, а он удвоил быстроту ударов, хотя сам оставался спокоен: ни один глаз не мог уже уследить за движениями его сабли и различить, кого он рубит и кого колет; вокруг него образовался светящийся круг от сабли.

Пан Ланцкоронский, который давно уже слышал о нем как о величайшем мастере фехтовального дела, но который никогда еще не видал его за работой, перестал сражаться и глядел в изумлении, не веря своим глазам, что один человек, хотя бы и величайший мастер своего дела, хотя бы и знаменитый рыцарь, мог совершить такие чудеса. Ланцкоронский схватился за голову, его товарищи слышали, как он все повторял: «Ей-богу, это превосходит все, что о нем говорили». Другие же кричали:

– Смотрите, вы нигде ничего подобного не увидите!

А Володыевский все продолжал работать.

Наконец янычар оттеснили к реке, и они в беспорядке бросились на плоты. Паромов было много, а людей возвращалось меньше, чем пришло, и они поместились быстро.

Тотчас же задвигались тяжелые весла, и вскоре между янычарами и поляками образовалось расстояние, которое с каждой минутой все увеличивалось... С паромов янычары стали стрелять из своих ружей. Драгуны ответили им из пистолетов. Целые облака дыма поднялись над рекой и длинной полосой потянулись вдоль берега. Паромы с янычарами все отдалялись. Драгуны, одержав победу, подняли крик и, угрожая кулаками отъезжающим, вопили им вслед:

– А что, собака, пойдешь еще? Пойдешь?

Пан Ланцкоронский, несмотря на то, что пули еще шлепались в воду, тут же на берегу реки обнял Володыевского.

– Глазам своим я не верил! Это просто чудеса, чудеса, достойные пера. А Володыевский на это:

– Врожденная способность и практика – вот и все! Ведь в скольких сражениях я участвовал!

Тут, в свою очередь обняв пана Ланцкоронского, маленький рыцарь освободился из его объятий и, взглянув на берег, воскликнул:

– Поглядите только, и вы увидите нечто еще более примечательное!

Подкоморий, обернувшись, увидел стоявшего на берегу офицера: он прицеливался из лука.

Это был пан Мушальский.

Знаменитый стрелок из лука до сих пор сражался наряду с другими, но теперь, когда янычары отдалились настолько, что пули уже не могли долетать до них, он вынул лук и, остановившись на более возвышенном месте, сначала попробовал пальцем тетиву, а когда она зазвенела, приложил к ней стрелу и прицелился. Володыевский и Ланцкоронский обернулись к нему именно в эту минуту. Чудная была картина! Стрелок сидел на коне, левую руку держал прямо, а в ней лук, как бы сжатый в клещах, правую же он все сильнее прижимал к груди, так что даже жилы напряглись у него на лбу – и спокойно прицеливался. Вдали под облаками дыма виднелись несколько паромов, двигавшихся по реке, которая из-за таяния снегов в горах сильно разлилась и в этот день была так прозрачна, что в ней отражались и

паромы, и сидевшие на них янычары. Пистолеты на берегу умолкли, и глаза всех устремились на пана Мушальского или по тому направлению, куда должна была полететь смертоносная стрела.

Вдруг громко зазвенела тетива, и гонец смерти вылетел из лука. Ничей глаз не мог уследить за его полетом, но все тотчас же заметили, что стоявший у весла здоровенный янычар развел руками и, зашатавшись, упал в воду; под его тяжестью брызнула во все стороны вода, а пан Мушальский сказал:

– Для тебя, Дыдюк! Потом он взял другую стрелу.

– В честь пана гетмана! – сказал он товарищам.

Все затаили дыхание, и минуту спустя опять засвистело в воздухе, и второй янычар упал на паром. На всех паромах быстрее заработали весла, прорезая ясную поверхность воды. Несравненный стрелок из лука с улыбкой обратился к маленькому рыцарю и сказал:

– В честь вашей достойной супруги, ваша милость!

И в третий раз он натянул свой лук и в третий раз пустил смертоносную стрелу, и она в третий раз погрузилась в человеческое тело. На берегу раздался крик восторга и крик бешенства на паромах. Потом пан Мушальский повернул назад, его примеру последовали и остальные сегодняшние победители, и все направились в город.

На обратном пути они с удовольствием посматривали на жатву этого дня. Ордынцев погибло немного, они почти не вступали в бой и, рассеявшись, переправились через реку; но зато несколько десятков янычар лежали, как срезанные снопы. Некоторые из них еще метались, но все уже были ограблены слугами пана подкомория.

Глядя на них, пан Володыевский сказал:

– Это очень храбрая пехота, она идет в бой, как кабан на охотника, но она далеко не так обучена, как шведы.

– Они так дружно дали залп, точно один человек, – заметил пан подкоморий.

– Но это случилось само собою, а не благодаря их умению – их не обучают военному делу. Это была султанская гвардия, кроме них есть еще и регулярные янычары, те значительно хуже.

– Ну и задали же мы им трепку! Бог милостив, если мы начинаем войну такой важной победой!

Но опытный Володыевский был другого мнения.

– Не велика эта победа и не значительна. Хорошо и это – ободрятся люди, мало бывшие в сражениях, ободрятся и жители города, но другого значения она не будет иметь.

– Неужели вы думаете, что язычники не падут духом?

– Язычники духом не падут! – ответил Володыевский.

Разговаривая так, они подъехали к городу, где им выдали тех двух янычар, взятых в плен живыми, которые, спасаясь от сабли Володыевского, хотели спрятаться в подсолнечниках.

Один был слегка ранен, другой совсем здоров и полон бодрости. Остановившись в замке, маленький рыцарь приказал пану Маковецкому допросить его; сам он хотя и понимал по-турецки, но не мог свободно говорить на этом языке. Пан Маковецкий допрашивал, стоит ли в Хотиме султан и скоро ли он думает подойти к Каменцу?

Турок давал ясные показания, но держал себя гордо.

– Падишах здесь, – ответил он. – В лагере говорили, что Галил и Мурад-паши должны переправиться на другую сторону, взяв с собой мегентисов, которые тотчас же начнут копать рвы. Завтра или послезавтра настанет час вашей гибели.

Тут пленник подбоченился и, уверенный в грозе султанского имени, продолжал:

– Безумные ляхи! Как осмелились вы на глазах повелителя нападать на его людей и убивать их? Неужели вы думаете, что вы не избежите страшного наказания? Или, быть может, думаете, что вас защитит эта маленькая крепость? Кем будете вы через несколько дней, если не невольниками? Кто вы теперь, как не псы, нападающие на своего господина?

Маковецкий старательно все записывал, но пан Володыевский, желая наказать дерзкого пленника, ударил его по лицу. Турок оторопел, но тотчас же проникся уважением к маленькому рыцарю и стал выражаться гораздо приличнее.

Когда по окончании допроса его вывели из зала, пан Володыевский сказал:

– Надо этих пленников вместе с их показаниями тотчас отправить в Варшаву: там, при дворе короля, все еще не верят в войну.

– Что это за мегентисы, с которыми будут переправляться Галил и Мурад? – спросил пан Ланцкоронский.

– Мегентисы – это инженеры, которые будут возводить земляные укрепления для пушек, – отвечал Маковецкий.

– А как вы думаете, Панове, правда ли то, что говорил этот пленник?

– Если вам угодно, ему можно будет прижечь пятки, – ответил Володыевский. – У меня есть вахмистр, который расправился с Азией Тугай-беевичем, он в этих делах большой мастер. Но, по-моему, янычар сказал правду: немедленно начнется переправа и препятствовать этому мы, конечно, не сможем, если бы даже нас было в сто раз больше! Нам не остается ничего другого, как возвращаться в Каменец.

– Под Жванцем мне так повезло, что я готов бы запереться в этой крепости, – сказал пан подкоморий, – только бы иметь уверенность, что вы время от времени будете присылать мне подкрепления из Каменца. А там будь что будет!

– У них двести пушек, – ответил Володыевский, – а если они переправят через реку тяжелые орудия, то крепость не устоит и одного дня. Я сам хотел в ней запереться, но теперь вижу, что это бесполезно.

Остальные присоединились к мнению маленького рыцаря. Пан Ланцкоронский некоторое время настаивал на том, что он останется в Жванце, но он был слишком опытный солдат, чтобы не согласиться с Володыевским. Размышления его прервал Васильковский, который вбежал, запыхавшись.

– Мосци-панове, – сказал он, – весь Днестр покрыт плотами, даже реки не видно.

– Переправляются? – спросили все в один голос.

– Как видите! Турки на плотам, а чамбулы вплавь. Пан Ланцкоронский не колебался более.

Он тотчас велел бросить в воду старые замковые орудия, а вещи по возможности спрятать куда-нибудь или увезти в Каменец. Володыевский вскочил на лошадь и во главе своего отряда двинулся к отдаленной возвышенности, чтобы посмотреть на переправу. Галил и Мурад-паши действительно переправлялись. Куда ни взглянешь, всюду виднелись паромы и плоты. Весла мерно ударяли по светлой поверхности воды. Ехали янычары и спаги в огромном количестве на судах, которые уже давно были заготовлены в Хотиме. Кроме того, на берегу, вдаль, стояли большие массы войск. Володыевский предполагал, что турки начинают строить мост, но султан еще не двинул главных сил. Между тем подъехал пан Ланцкоронский со своими людьми, и оба они, с маленьким рыцарем направились к Каменцу. В городе их ожидал пан Потоцкий. Вся его квартира была переполнена старшими офицерами, а на дворе стояла толпа мужчин и женщин, встревоженная, озабоченная и с нетерпением ждущая известий.

– Неприятель переправляется, и Жванец занят! – сказал маленький рыцарь.

– Работа окончена, и мы ждем его! – ответил пан Потоцкий. Известие это дошло до толпы, и она взволновалась, как бушующее море.

«К воротам, к воротам! – раздавались по городу крики. – Неприятель в Жванце!» Горожане и горожанки бежали к крепостным воротам, но солдаты не хотели пускать их на места, занятые служебными постами.

– Ступайте домой, – кричали они толпе, – если вы будете мешать обороне, то жены ваши скоро увидят турок вблизи!

Впрочем, в городе не особенно тревожились; весть о сегодняшней победе, конечно, преувеличенная, уже успела облететь весь город. Преувеличивали ее и солдаты, которые рассказывали всякие чудеса об этой стычке.

– Пан Володыевский разбил янычар, гвардию самого султана, – повторяли все. – Не язычникам тягаться с паном Володыевским! Он убил самого пашу. Не так страшен черт, как его малюют! Ведь вот – не устояли перед нашими войсками! Так вам и надо, собачьи дети! На погибель и вам и вашему султану!

Горожанки еще раз появились у окопов, у башен, у ворот, но теперь уже они пришли нагруженные фляжками водки, вина и меду. На этот раз их приняли охотно, и среди солдат начался пир. Пан Потоцкий не препятствовал, желая поддержать в солдатах бодрость и веселость, а так как в городе и в крепости военных припасов было в изобилии, то он позволил даже давать залпы, в надежде, что, если только их услышит неприятель, он ими немало смутится.

Между тем пан Володыевский, дождавшись сумерек в квартире генерала Подольского, сел на лошадь и в сопровождении слуги пробрался тайком к монастырю, желая как можно скорее повидаться с женой. Но его хитрость ни к чему не привела. Его узнали, и тотчас же многочисленная толпа окружила его лошадь. Раздались громкие приветствия и крики. Матери поднимали к нему детей. «Вот он, смотрите и запомните!» – повторяли бесчисленные голоса. Все смотрели на него с восторгом. Но особенно изумляла людей, не знавших военного дела, его маленькая фигурка. Они никак не могли понять, каким образом такой маленький человек, с таким веселым лицом, мог быть самым страшным рыцарем Речи Посполитой, с которым никто не мог равняться? А он ехал среди толпы и время от времени шевелил своими рыжими усиками и улыбался. Все это его радовало. Приехав в монастырь, он попал прямо в объятия Баси. Она уже знала о его сегодняшних подвигах, о его мастерских ударах; минуту назад у нее был пан подкоморий подольский и, как очевидец, дал ей подробный отчет обо всем. Как только пан подкоморий начал свой рассказ, Бася тотчас позвала всех бывших в монастыре дам, и пани Потоцкую, и пани Маковецкую, и Гумецкую, и Кетлинг, и пани Богуш, и Хоцимирскую. И чем больше рассказывал пан подкоморий, тем больше она гордилась. Володыевский пришел тотчас после того, как разошлись женщины. Когда они поздоровались, маленький рыцарь, страшно утомленный, сел ужинать. Бася, сидя рядом с ним, сама накладывала ему на тарелку, подливала меду в кубок. Он пил и ел охотно, так как весь день у него не было ни крошки во рту. В промежутках он рассказывал ей кой о чем, а Баська слушала с горящими глазами, по обыкновению встряхивая своим хохолком:

– Ага! Ну и что же? Ну и что же?

– Среди них есть сильные люди, но турка, искусного в фехтовальном деле, трудно встретить! – говорил маленький рыцарь.

– Значит, и я могла бы с любым сразиться?

– Могла бы, но только я тебя не возьму!

– А если б хоть разик!.. Знаешь, Михал, когда ты уходишь за стены, я даже не тревожусь. Я знаю, что с тобой никто не справится!

– А разве меня не могут подстрелить?

– Молчи! Разве нет Бога над нами? Ты не дашь себя зарубить – это главное!

– Одному или двум не дамся!

– Ни троим, Михалок, ни четверым!

– Ни четверем тысячам! – сказал Заглоба, передразнивая ее. – Если бы ты знал, Михал, что она выделявала во время рассказа пана подкомория. Я чуть не лопнул от смеха! Ей-богу! Носом фыркала, как коза, и по очереди смотрела в лицо каждой бабе, чтобы убедиться, достаточно ли она восхищается. Под конец я испугался, как бы она не вздумала кувыркатся от радости, а это было бы не совсем приличное зрелище!

Маленький рыцарь слегка потянулся – он очень устал, потом вдруг обнял жену и сказал:

– Моя квартира в крепости уже готова, но как мне не хочется туда возвращаться!

Баська, уж не остаться ли мне здесь?

– Как хочешь, Михалок! – ответила Бася, опуская глаза.

– Ха! – воскликнул Заглоба. – Меня уж здесь считают старым грибом, а не мужчиной – настоятельница позволяет мне жить в монастыре. Но я отомщу за это! Вы заметили, как мне подмигивала пани Хоцимирская! Вдовушка она... ладно! Больше я ничего не скажу!

– Ей-богу, останусь! – сказал маленький рыцарь. А Бася на это:

– Только бы тебе отдохнуть хорошенько!

– Почему же ему не отдохнуть? – спросил Заглоба.

– Потому, что мы будем говорить, говорить, говорить!

Пан Заглоба стал искать свою шапку, чтобы идти на покой; наконец нашел ее, надел на голову и сказал:

– Не будете вы говорить, говорить, говорить! И он ушел.

XVI

На следующий день, на рассвете, маленький рыцарь отправился под Княгин, где имел несколько стычек со спагами, и взял в плен Булука, известного турецкого воина. Весь день он провел в деле, на поле битвы; часть ночи просидел на военном совете у пана Потоцкого и, только когда запели первые петухи, отправился спать. Только лишь заснул он крепким сном, как вдруг его разбудил грохот пушек. В ту же минуту его верный слуга жмудин Пентка, почти друг Володыевского, вошел в комнату.

– Ваша милость, – воскликнул он, – неприятель под городом! Маленький рыцарь вскочил на ноги.

– А чьи орудия слышно?

– Наши пугают язычников. Подъехал большой отряд и захватил скот в поле.

– Янычары или конница?

– Конница, пан! Все чернокожие. Наши их крестным знаменем разгоняют; кто их знает, не черти ли они!

– Черти или не черти, а нам надо к ним ехать! – ответил маленький рыцарь. – Ты пойдешь к пани и скажешь ей, что я в поле. Если она захочет прийти в крепость посмотреть, то пусть идет, но только с паном Заглобой, ибо на его благоразумие я особенно полагаюсь!

Полчаса спустя пан Володыевский во главе своих драгун и волонтеров из шляхты, которые рассчитывали отличиться в стычке, отправился за стены. Из старого замка можно было прекрасно рассмотреть всю неприятельскую конницу, числом около двух тысяч, состоявшую отчасти из спагов, но главным образом из египетской султанской гвардии. В гвардии этой служили богатые и храбрые мамелюки с берегов Нила. Их блестящие доспехи, пестрые, тканые золотом головные уборы, белые бурнусы и оружие, осыпанное драгоценными камнями, делали из них самую блестящую конницу

в мире. Они вооружены были только копьями из коленчатого тростника, кривыми кинжалами и ножами. Сидя на лошадях, легких, как ветер, они с криком носились по полю, словно радужное облако. Осаждаемые не могли ими вдоволь налюбоваться.

Пан Володыевский двинулся к ним во главе своей конницы. Но и тем и другим трудно было вступить в рукопашный бой: турок удерживали крепостные пушки, а маленький рыцарь не мог выйти из-за линии пушечного огня – их было слишком много. А потому и те и другие некоторое время держались вдалеке друг от друга, потрясая оружием и издавая громкие крики. Наконец пылким сынам пустыни, очевидно, надоели эти пустые угрозы, всадники один за другим начали отделяться от общей массы и, приблизившись, стали вызывать противников на единоборство. Они тотчас рассеялись по полю и мелькали на нем, подобно цветам, колеблемым ветром. Володыевский смотрел на своих.

– Мосци-панове! Нас вызывают! Кому угодно?

Первым кинулся огненный рыцарь, пан Васильковский, за ним пан Мушальский, несравненный стрелок из лука и превосходный фехтовальщик, за ними двинулся пан Мязга, герба Прус, который на всем скаку умел нанизывать перстень на копье, за ним пан Теодор Падаревский, пан Озевич и пан Шмлуд-Плоцкий, князь Овсяный и пан Мурос Шелюта и еще несколько прекрасных кавалеров; отправилась и кучка драгун в надежде захватить хорошую добычу, особенно бесценных арабских коней. Во главе драгун ехал суровый Люсня и, покусывая свой светлый ус, уже заранее высматривал кого-нибудь побогаче.

День был прекрасный, и все было отлично видно. Пушки на валах понемногу умолкали: пушкари боялись стрелять, чтобы не подстрелить кого-нибудь из своих; к тому же они предпочитали смотреть на битву, чем стрелять по рассеянным всадникам. А те ехали друг другу навстречу сначала шагом, потом рысью и не в ряд, а как кому было удобнее. Подъехав близко друг к другу, они удержали лошадей и начали переругиваться, чтобы разъярить противника и подбодрить себя.

– Не разжиреете вы от нас, псы басурманские! Не спасет вас ваш пророк нечестивый! – кричали поляки.

А турки кричали что-то по-турецки и по-арабски. Среди поляков многие знали оба языка, ибо многие, подобно несравненному лучнику, пережили тяжкую неволю.

А так как язычники особенно поносили Пресвятую Деву, у верных слуг Марии волосы встали дыбом от негодования, и они пришпорили лошадей, чтобы отомстить за оскорбление ее имени.

Кто из них первым напал на врага и лишил его жизни? Пан Мушальский прежде всего поразил стрелой молодого бея в пурпурной чалме и в серебряных, блестящих, как лунный свет, доспехах. Стрела вонзилась ему под левый глаз и до половины ушла в голову, а он, откинув назад свое красивое лицо, распростер руки и упал с лошади. Стрелок спрятал лук, подскочил к нему и пронзил его саблей, потом взял его превосходное оружие, погнав его лошадь в сторону своих и крикнул по-арабски:

– Дай-то Бог, чтобы это был сын султана! Он тут сгниет, прежде чем вы отступить станете!

Услышав это, турки и египтяне смутились, и тотчас к пану Мушальскому кинулись два бея, но им загородил дорогу Люсня, своей свирепостью напоминавший волка, и в

одно мгновение укусил одного из них насмерть. Сначала ранил его в руку, и когда тот наклонился, чтобы поднять выскользнувшую саблю, он страшным ударом по шее почти отсек ему голову. Другой, видя это, быстро повернул коня назад; но пан Мушальский опять вынул лук и пустил ему вдогонку смертоносную стрелу; стрела догнала его во время бегства и вонзилась между лопатками.

Третьим поразил своего противника пан Шмудд-Плоцкий, который разрубил ему шлем. Не выдержало страшного удара серебро шлема: конец сабли застрял в костях черепа, и Шмудд-Плоцкий некоторое время не мог его вытащить. Другие сражались с переменным успехом, но в большинстве случаев победа оставалась за опытной в фехтовальном деле шляхтой. От руки великана Гамди-бея пало двое драгун, он же ударил потом по лицу князя Овсяного кривым булатом и свалил его на землю.

Князь обагрив родную землю своей княжеской кровью, а Гамди повернул коня к пану Шелюте, лошадь которого, споткнувшись, попала ногой в яму. Пан Шелюта, видя, что смерть неизбежна, прыгнул с коня, чтобы хоть с земли сразиться со страшным всадником. Но Гамди опрокинул его своим конем и концом сабли рассек ему плечо. У Шелюты рука тотчас повисла, а бей бросился дальше в поле, ища себе противников. Но у многих не хватило мужества сразиться с ним, так явно превосходил он всех своей силой. Ветер развеивал его белый бурнус наподобие крыльев хищной птицы, золоченые доспехи бросали зловещий отблеск на его лицо, почти черное, с дикими, сверкающими глазами; кривая сабля блестела над головой, как в ясную ночь блестит серп месяца.

Знаменитый лучник выпустил в него уже две стрелы, но обе только жалобно зазвенели, ударившись о кольчугу, и упали в траву; пан Мушальский стал раздумывать, пустить ли ему третью стрелу в шею коня или с саблей броситься на бея. Но пока он раздумывал, бей заметил его первый и погнался к нему своего жеребца.

Оба они столкнулись посередине поля. Пан Мушальский хотел похвастаться своей страшной силой и взять Гамди живым; сильным ударом снизу он выбил у него саблю из рук, схватил его одной рукой за горло, другой за гребень шлема и с силой потянул его к себе. Вдруг у его седла лопнула подпруга, и несравненный стрелок перевернулся вместе с седлом и свалился на землю. Гамди рукояткой сабли ударил его по голове и оглушил. Раздались радостные крики спагов и мамелюков, которые уже испугались, было, за Гамди. Огорчились поляки, и враги кучками бросились друг к другу, одни, чтобы схватить лучника, другие, чтобы отстоять хотя бы его тело.

Маленький рыцарь до сих пор не принимал участия в этом бою: ему не позволяло его достоинство полковника. Но, увидав падение Мушальского и перевес Гамди-бея, он решил отомстить за лучника и вместе с тем ободрить других. Воодушевленный этой мыслью, он пришпорил свою лошадь и помчался в поле наискось с быстротой ястреба, налетающего на стаю ржанок. Бася, стоявшая с Заглобой у бойницы старого замка, заметила его в подзорную трубу и тотчас крикнула пану Заглобе:

– Михал скачет! Михал скачет!

– Вот тут ты и узнаешь его! – воскликнул старый воин. – Смотри внимательно, смотри, на кого он прежде всего бросится! Не тревожься!

Подзорная труба дрожала в руках Баси. Так как в поле уже не стреляли ни из луков, ни из янычарок, то она не очень тревожилась за жизнь мужа. Ее охватило

волнение, нетерпение и любопытство, душа в эту минуту полетела за мужем. Она перегнулась через стену так, что пан Заглоба, боясь, чтобы она не свалилась в ров, должен был схватить ее за талию.

– Двое скачут на Михала! – крикнула она.

– Двумя будет меньше! – ответил пан Заглоба.

И действительно, два рослых спага выехали навстречу маленькому рыцарю. Судя по его одежде, они догадались, что это кто-нибудь из офицеров, и, видя маленький рост всадника, полагали, что он легко достанется им в руки. Глупцы! Они летели на верную смерть! Как только они отделились от остальных всадников, маленький рыцарь, не сдерживая даже своей лошади, мимоходом дал им по удару. Удары эти с виду были так легки, словно шлепки матери, а спаги свалились на землю и, впившись в нее пальцами, стали корчиться, как две рыси, одновременно пораженные смертоносными стрелами.

Маленький рыцарь поскакал дальше к всадникам, носившимся по полю, всюду сея гибель. Как после окончания обедни мальчик с жестяной, насаженной на длинную палку, обходит церковь и гасит одну за другой свечи, горящие перед алтарем, и алтарь мало-помалу погружается во мрак, так и Володыевский гасил направо и налево жизнь блестящих турецких и египетских воинов, погружая их в мрак смерти. Поняли язычники, что перед ними мастер из мастеров, и ужаснулись. Один за другим сдерживали они лошадей, чтобы не встретиться со страшным воителем, но маленький рыцарь бросался за беглецами и, как злой шершень, жалил своим жалом всадника за всадником.

Видя все это, артиллеристы, стоявшие у крепостной пушки, радостно закричали. Некоторые подбегали к Басе и в порыве восторга целовали край ее одежды, другие ругали турок.

– Бася, сдержи себя! – ежеминутно восклицал пан Заглоба, не выпуская ее из объятий, а пани Володыевской хотелось и плакать, и смеяться, и хлопать в ладоши, и кричать, и смотреть, и лететь за мужем на поле сражения. А он все мчался и мчался, и продолжал раздавать смертельные удары спагам и египетским беям.

Наконец по всему полю раздались крики: «Гамди! Гамди!» Исповедники пророка громко призывали самого сильного из своих воинов вступить в бой с этим страшным маленьким всадником, который им казался воплощением смерти.

Гамди давно уже заметил маленького рыцаря, но, увидав его подвиги, попросту испугался в первую минуту. Ему было страшно подвергать опасности свою великую славу и молодую жизнь при встрече с этим зловещим противником, и он притворился, что не видит его, и помчался на другой конец поля. Там он только что поразил пана Ялмбжика и пана Коса, как вдруг отчаянные крики: «Гамди! Гамди!» – донеслись до его ушей. Тогда он понял, что дальше прятаться невозможно и что надо либо стяжать великую славу, либо сложить голову. И он издал такой пронзительный крик, что эхо отдалось в скалах, и вихрем понесся навстречу маленькому рыцарю.

Володыевский издали заметил его и тоже сжал ногами гнедого валахского коня. Все остальные прекратили битву. Бася, которая со стены уже раньше видела все подвиги грозного Гамди-бея, несмотря на свою слепую веру в непобедимость маленького рыцаря, слегка побледнела, но пан Заглоба был совсем спокоен.

– Я предпочел бы быть наследником этого нехристя, чем быть теперь на его месте!
– решительным тоном сказал он.

Пентка, хладнокровный жмудин, так был уверен в своем господине, что на лице его не отразилось ни малейшей тревоги; наоборот, увидав летевшего Гамди, он стал напевать народную песенку:

Наскочил на волка пес, –
Видно, черт его понес!

А противники съезжались посреди поля между двумя рядами войск, издали смотревшими на поединок. На минуту у всех замерли сердца. Вдруг какая-то змеевидная молния сверкнула над головами сражающихся, это из рук Гамди вылетела кривая сабля, словно стрела, выпущенная из лука. Гамди согнулся в седле, точно он уже был заколот саблей, и закрыл глаза, но пан Володыевский схватил его левой рукой за шею и, приставив ему острие рапиры под мышку, помчался с ним в сторону своих. Гамди не сопротивлялся, напротив, сам пришпоривал коня; он чувствовал острие рапиры у тела и ехал, как оглушенный, только руки его бессильно повисли, а из глаз потекли слезы. Володыевский передал его Люсне, а сам вернулся на поле битвы.

Но в турецких дружинах слышались звуки труб и дудок; это был сигнал выстраиваться – и все помчались к своим, унося с собой стыд, тревогу и воспоминание о страшном всаднике.

– Это был шайтан, – говорили между собой спаги и мамелюки. – Кто с ним столкнется, тому не миновать смерти. Шайтан, не иначе!

Поляки еще оставались на месте, чтобы доказать, что поле за ними, и с громким криком победы отступили под защиту своих орудий, из которых пан Потоцкий опять велел стрелять.

Но турки стали отступать. Их бурнусы, разноцветные тюрбаны и блестящие шлемы некоторое время сверкали еще на солнце, потом скрылись в лазури.

На месте битвы остались только убитые турки и поляки. Из замка вышла челядь, чтобы подобрать и похоронить своих. Затем прилетели вороны, чтобы заняться уборкой тел язычников, но пир их продолжался недолго: уже вечером их спугнули новые полчища слуг пророка.

XVII

На следующий день к Каменцу подъехал сам визирь во главе огромного войска спагов, янычар и ополченцев из Азии. Судя по большому количеству войск, полагали, что он сейчас же начнет штурм, но оказалось, что ему нужно было только осмотреть стены. Прибывшие с ним инженеры осматривали крепость и земляные насыпи. Навстречу визирю вышел на этот раз пан Мыслишевский с пехотой и отрядом конных волонтеров. Снова начались рукопашные схватки, но уже не столь удачные, как вчера. Наконец визирь приказал янычарам подойти к стенам. Гром орудий тотчас потряс город и замки. Подойдя к месту стоянки пана Подчаского, янычары дали залп, но так как пан Подчаский ответил сверху меткими выстрелами и можно было опасаться, что польская конница наскочит с боку на янычар, они немедленно двинулись по Жванецкой дороге и вернулись к главному войску.

Вечером в город пробрался некий чех, который был пажом у Янчар-аги, и после

того, как его избили палками по пяткам, бежал от них. От него узнали, что неприятель уже укрепился в Жванце и занял обширные поля около деревни Длужка. Беглеца старательно расспрашивали, какого мнения турки о Каменце: овладеют ли они им или нет?

Он ответил, что настроение в войске бодрое и что предзнаменования были благоприятны. Два дня тому назад перед султанской палаткой поднялся из земли столб дыма, тонкий снизу и расширяющийся кверху огромной кистью. Муфти объяснили, что это явление означает, что слава падишаха достигнет небес и что именно он будет тем властелином, который сокрушит неприступную до сих пор Каменецкую твердыню. Это воодушевило войско. Турки, говорил беглец, боятся пана гетмана Собеского; они прекрасно помнят, как опасно сражаться с войсками Речи Посполитой в открытом поле. Они предпочитают сражаться с венецианцами, венгерцами или каким-либо другим народом. Но так как им известно, что у Речи Посполитой войска нет, то они и надеются завладеть Каменцем, хоть и не без труда. Черный Мустафа, каймакан, советовал взять город штурмом, но более благоразумный великий визирь предпочитает окружить город окопами и начать бомбардировку. Султан согласился с мнением визиря, а потому надо ожидать правильной осады.

Так говорил беглец. Услышав это, пан Потоцкий, ксендз епископ, пан подкоморий подольский, пан Володыевский и все старшие офицеры сильно огорчились: они рассчитывали на штурмы и надеялись, что хорошо укрепленное место даст им возможность отразить неприятеля с большим уроном для него. Они по опыту знали, что во время штурма осаждающие терпят огромные потери, что каждая отраженная атака подрывает в них уверенность в себе и, наоборот, придает мужества осажденным. Подобно тому, как збаражские рыцари, наконец, влюбились в свою оборону, в битвы, в вылазки, так и каменецкие мещане могли бы полюбить войну, особенно если бы каждая попытка турок взять крепость оканчивалась бы их поражением и победой каменчан. А правильная осада, где все сводится к траншеям, минам и установке пушек на позиции, только измучит осажденных, лишит их бодрости и склонит к переговорам. Трудно было рассчитывать на вылазки, крепостные стены не могли оставаться без войска, а челядь и мещане за стенами не выдержали бы натиска янычар.

Сообразив все это, старшие офицеры очень опечалились и были уже не так уверены в благополучном исходе осады. И исход этот был сомнителен не только благодаря численности турецких сил, но и благодаря их личному составу. Пан Володыевский был несравненный и знаменитый воин, но в нем не было ореола величия. Кто носит в себе солнце, тот сразу согревает всех, но пламя, хотя бы и самое горячее, может согреть только тех, кто вблизи. Так было и с маленьким рыцарем. Он не умел и не мог передать другим свой пыл и воодушевление, как не мог передать своего фехтовального искусства. Пан Потоцкий, главный вождь, не был воином, кроме того, у него не было веры в себя, в других и в Речь Посполитую; ксендз епископ рассчитывал главным образом на переговоры; у его брата была тяжелая рука, но и ум не легче. Рассчитывать на помощь было немыслимо – гетман Собеский был великий человек, но в то время бессильный гетман. Бессилен был и король, и вся Речь Посполитая.

16 августа к Каменцу подошел хан с ордой и Дорошенко со своими казаками. Они заняли огромное пространство на полях от Орынина. Суфанказ-ага в тот же день вызвал пана Мыслишевского для переговоров; он советовал городу сдаться и говорил, что если он сделает это немедленно, то жителям будут предложены такие мягкие условия, о каких еще не слыхивали в истории осад. Епископ

заинтересовался, в чем они будут заключаться, но на военном совете на него только прикрикнули, и туркам был послан отказ. 18 августа стали подходить турки, а вместе с ними и сам султан.

Они двигались как необозримое море – поляшская пехота, янычары, спаги. Каждый паша вел войска своего пашалыка: здесь были жители Европы, Азии, Африки. За ними тянулся огромный обоз с возами, запряженными мулами и быками; этот бесчисленный муравейник людей, одетых в пестрые одежды, тянулся без конца. От рассвета до самой ночи шли они без усталости, переходили с места на место, размещались по отрядам, проходили по полям, разбивали палатки, которые заняли такое огромное пространство, что с башен и самых высоких пунктов Каменца нельзя было разглядеть клочка земли, не занятого палатками. Казалось, что снег выпал и покрыл всю окрестность. Татары располагались лагерем при несмолкаемом грохоте выстрелов, ибо заслонявший эту работу отряд янычар не переставал стрелять в крепость, а осажденные отвечали пушечным огнем. Гремело эхо в скалах, дым поднимался кверху и застилал небесную лазурь. К вечеру Каменец был окружен такой сплошной массой, что разве что голуби могли ускользнуть из крепости. Перестрелка замолкла лишь с появлением первых звезд на вечернем небосклоне. В продолжение нескольких следующих дней с обеих сторон не прекращалась перестрелка, причинившая много вреда осаждающим. Стоило только янычарам собраться толпой на расстоянии выстрела, тотчас над стенами крепости взвивалось облако белого дыма, ядра попадали в янычар, и они рассеивались, как стая воробьев, когда в них выстрелят из ружья. Турки, должно быть, не знали, что в обоих замках и в самом городе были дальноточные орудия, и слишком близко разбили свои палатки. По совету маленького рыцаря им не мешало это сделать; только когда во время отдыха солдаты, спасаясь от жары, попрятались по палаткам, со стен загрохотали немолкаемые выстрелы. Наступал переполюх: ядра разрывали полотнища, убивали солдат и отбивали обломки скал. Янычары в замешательстве отступали и во время бегства опрокидывали палатки, разнося всюду тревогу и страх. В минуту этой паники на них напал Володыевский со своей конницей и рубил их до тех пор, пока им не пришли на помощь значительные отряды конницы. Канонадой распорядился Кетлинг, а находившийся с ним ляхский войт Киприян причинил неприятелю огромный урон. Он сам наклонялся над каждым орудием, сам прикладывал фитиль; потом, защищая глаза рукой, смотрел на последствия выстрела и радовался, что его работа так полезна. Но и турки копали апроши, возводили окопы и размещали на них тяжелые пушки. Но прежде чем они начали из них стрелять, приехал турецкий посол и, прикрепив к длинной тростниковой палке письмо султана, показал его осажденным. Высланные из замка драгуны схватили его и повезли в крепость. Султан предлагал городу сдаться, превознося до небес свое могущество и великодушие. «Войско мое, – писал он, – может быть с листьями древесными и песком морским сравнимо. Взгляните на небо и, когда увидите бесчисленное множество звезд, тогда устрашитесь и скажете один другому: такова сила правоверных. Понеже я выше всех иных царей и внук истинного Бога, то во имя его и начинаю все свои дела. Знайте, что гордых я ненавижу, а потому, не сопротивляясь моей воле, сдайте город. Если вы будете сопротивляться, все погибнет от меча, а против меня ни один голос человеческий не смеет подняться». Долго обдумывали, какой ответ дать на это письмо, и отвергли неприличный совет пана Заглобы: отрубить собаке хвост и послать его вместо ответа.

Послали, наконец, ловкого человека – Юрипу, хорошо говорившего по-турецки, с письмом следующего содержания: «Мы не хотим прогневать султана, но и не обязаны ему повиноваться, ибо присягали нашему королю, а не ему. Каменца не отдадим, мы клялись до смерти защищать крепость и церковь». После этого ответа офицеры разошлись по стенам. Воспользовавшись этим, епископ Ланцкоронский и генерал

подольский отправили другое письмо султану, прося у него перемирия на четыре недели. Когда слух об этом разнесся по крепости, поднялся шум и звон сабель. «Так вот как, – говорили воины, – мы здесь стоим у пушек, а там у нас за спиной посылают письма без нашего ведома, хотя мы имеем право голоса». И как только протрубили вечернюю зарю, офицеры толпой отправились к генералу, во главе с маленьким рыцарем и паном Маковецким; оба они были огорчены тем, что случилось.

– Как же это так! – воскликнул стольник латычевский. – Ужель вы уже думаете о сдаче, раз отправили посла со вторым письмом? Почему же это случилось без нашего ведома?

– Конечно, – сказал маленький рыцарь, – если мы были вызваны на военный совет, то без нас письма посылать не годилось. О сдаче города мы здесь говорить не позволим; кто желает этого, пусть сложит с себя власть.

Сказав это, он грозно зашевелил усиками; это был солдат, необыкновенно почитавший дисциплину, и ему было очень тяжело противоречить начальству. Но ввиду того, что он поклялся защищать замок до последней капли крови, он полагал, что говорить иначе он не может.

Генерал подольский смутился и ответил:

– Я думал, что это было с общего согласия.

– Нет нашего согласия. Мы хотим здесь погибнуть! – воскликнуло несколько голосов.

Генерал ответил:

– Я очень рад это слышать, ибо и мне вера милее жизни. Я никогда не был трусом и не буду. Оставайтесь, мосци-панове, ужинать, и мы легче столкнемся.

Но они не захотели оставаться.

– Наше место в крепости, а не за столом, – ответил маленький рыцарь. Тем временем подъехал епископ и, узнав, в чем дело, обратился к маленькому рыцарю и к пану Маковецкому:

– Благородные люди! У каждого из нас в душе то же, что и у вас, и никто не упоминал о сдаче города. Я послал просить о перемирии на четыре недели. Я написал так: за это время мы пошлем гонца к королю и попросим у него инструкции, а затем будет, что Богу угодно.

Услышав это, маленький рыцарь опять зашевелил усиками, но на этот раз потому, что его раздражала и злость и смеяться хотелось над таким пониманием военного дела. Он, солдат с детских лет, привыкший к войне, не верил собственным ушам, чтобы можно было просить врага о перемирии для того, чтобы выгадать время и послать за подкреплением. Тут маленький рыцарь стал поглядывать на пана Маковецкого и на других офицеров, а они поглядывали на него. «Шутка это или нет?» – спросили несколько голосов. Потом все смолкли.

– Ваше преподобие, – сказал наконец Володыевский. – Я участвовал в войне с татарами, казаками, русскими и шведами и о таких мотивах еще не слыхивал. Султан пришел сюда не затем, чтобы доставить удовольствие нам, а затем, чтобы доставить

выгоду себе. Как же он может согласиться на перемирие, если ему пишут, что за это время мы будем ждать себе подкрепления?

– Если он не согласится, то все останется по-прежнему, – ответил епископ.

– Кто умоляет о перемирии, тот доказывает свой страх и свое бессилие, а кто рассчитывает на подкрепление, тот не доверяет своим собственным силам. Обо всем этом узнал теперь пес басурманский из письма – это непоправимая ошибка!

Услыхав это, епископ опечалился.

– Я мог бы быть в другом месте, и за то, что я не хотел бросить своей паствы в минуту опасности, мне приходится выслушивать упреки.

Маленькому рыцарю стало жаль почтенного прелата, он обнял его колени и, приложившись к его руке, ответил:

– Боже меня упаси делать вам упреки, но так как у нас здесь военный совет, то я говорю то, что мне подсказывает моя опытность.

– Что теперь делать? Как исправить зло? – спрашивал епископ.

– Как исправить зло? – повторил пан Володыевский.

Он с минуту задумался, потом весело поднял голову.

– Что ж, это можно. Мосци-панове, за мной.

И он ушел, а за ним все офицеры. Через четверть часа весь Каменец задрожал от грома орудий. Пан Володыевский с охотниками сделал вылазку и, напав на спящих в апрошах янычар, рубил их до тех пор, пока не отогнал обратно в лагерь. Потом вернулся к генералу, где он застал и епископа Ланцкоронского.

– Ваше преподобие, – сказал он весело, – ошибка исправлена!

XVIII

После этой вылазки вся ночь прошла в перестрелке, но стреляли вразброд. На рассвете дали знать, что несколько человек турок стоят у ворот замка и хотят переговоров. Как бы там ни было, надо было узнать, чего они хотят, и на военном совете было решено послать для переговоров пана Маковецкого и пана Мыслишевского.

Минуту спустя к ним присоединился пан Казимир Гумецкий, и они отправились. Турок было тоже трое: Мухтар-бей, Саломи, паша рушукский, и третий – Козра, толмач. Встреча произошла под открытым небом, за городскими воротами. Турки, завидев послов, стали кланяться, прикладывая кончики пальцев к губам, к сердцу и ко лбу. Поляки любезно их приветствовали, спрашивая, по какому делу они пришли.

– Милые мои! – сказал Саломи. – Нашему властелину нанесли оскорбление, о коем сокрушаются все те, кто любит справедливость; за эту обиду вас покарает сам предвечный, если только вы не исправите дела. Вы сами прислали к нам Юрицу; он бил челом визирю и просил о перемирии, а когда мы, поверив вашей честности, вышли из-за окопов, вы начали стрелять в нас из пушек, сделали вылазку и усеяли трупами всю дорогу до самого шатра падишаха. Этот поступок не останется без

наказания и простится только тогда, когда вы немедленно сдадите город и крепость. Маковецкий ответил:

– Юрипа – пес, который превысил свои полномочия и приказал вывесить белое знамя, за что его будут судить. Епископ спрашивал частным образом, лично от себя, нельзя ли будет заключить перемирия, а так как и вы не перестали стрелять даже в то время, когда к вам был отправлен посол с письмами, – чему я сам могу быть свидетелем, ибо у меня осколком камня рассекло губу, – то и вы не имели права требовать от нас прекращения стрельбы. Если вы теперь приходите с предложением перемирия, – это хорошо, если же нет, то скажите вашему властелину, что мы по-прежнему будем защищать и стены и город до тех пор, пока не погибнем, или, что вернее, пока вы не погибнете среди этих скал. Больше нам нечего вам сказать, милые, кроме того, лишь, как пожелать, чтобы Господь Бог продлил ваши дни и дал вам дожить до глубокой старости!

После этих переговоров послы тотчас разъехались. Турки вернулись к визирю, а Маковецкий, Гумецкий и Мыслишевский в замок, где их забросали тысячей вопросов относительно того, с чем они отправили послов. Они передали предложение турок.

– Вы, верно, не примете его, братья дорогие, – сказал Казимир Гумецкий. – Короче говоря, эти псы требуют, чтобы мы к вечеру передали им ключи от города.

На это многие повторили свою любимую поговорку: «Не разжиреет от нас басурманский пес. Не сдадимся мы и со стыдом прогоним! Не хотим!»

После такого решения все разошлись, и пальба возобновилась.

Между тем турки успели втащить на окопы несколько больших орудий, и ядра, минуя брустверы, стали попадать в город.

Пушкари в городе и крепости работали в поте лица весь день и всю ночь. Если кто из них погибал, заменить его было некому. Некому было и разносить порох и ядра.

Только на рассвете грохот утих. Но едва лишь занялся день и на востоке появилась розовая, с золотистыми краями полоска зари, как в обоих замках забила тревогу. В городе все проснулись. Полусонные толпы появились на улицах и внимательно прислушивались. «Готовится штурм», – говорили горожане друг другу, указывая в сторону замков. «А пан Володыевский там?» – слышались тревожные голоса. «Там, там!» – отвечали другие.

В обоих замках звонили во все колокола, и со всех сторон раздавался бой барабанов. В полумраке занимавшегося дня, когда в городе было сравнительно тихо, звон этот раздавался таинственно и торжественно.

В эту минуту в разных концах лагеря турки заиграли зарю и эхо отдалось по всему необозримому пространству. Языческий муравейник зашевелился около палаток.

На рассвете из мрака стали выступать шанцы и апроши, длинной цепью тянувшиеся вдоль замка. Вдруг на всем их протяжении загремели турецкие пушки; скалы Смотрича откликнулись им громким эхом; поднялся такой страшный грохот, словно в небесном арсенале вспыхнули вдруг все запасные молнии и вместе с небосводом рушились на землю.. Не было видно ни турецких укреплений, ни Каменца, виднелась только огромная серая туча, в которой раздавался гром и грохот. Но турецкие пушки были дальнобойнее польских. Вскоре в городе смерть стала собирать свою

жатву. Несколько пушек было разбито. Прислуга выходила из строя по несколько человек сразу. Отцу францисканцу, который обходил шанцы и благословлял пушки, осколком ядра оторвало нос и часть губы; тут же были убиты два храбреца еврея, помогавшие наводить орудия.

Огонь неприятельских пушек был направлен главным образом против городских укреплений. Пан Казимир Гумецкий сидел там, как саламандра, среди дыма и огня. Половина людей его погибла, а остальные почти все были ранены. Он сам онемел и оглох, но с помощью ляшского войта все же заставил замолчать неприятельскую батарею, по крайней мере, до тех пор, пока на место поврежденных пушек не поставили новые.

Прошел день, другой, третий, а этот страшный «разговор» ни на минуту не умолкал. У турок пушкари сменялись четыре раза в день, а в городе бессменно оставались одни и те же, без отдыха, без сна, без пищи, задыхаясь от порохового дыма; многие из них были ранены осколками камней и обломками лафетов.

Солдаты были спокойны, но мещане пали духом. Их приходилось подгонять палками к орудиям, где многие из них погибали. К счастью, на третий день вечером и всю ночь, с четверга на пятницу, главный огонь неприятеля был обращен на замки.

На них, особенно на старый, посыпались ядра и гранаты; но они не причинили большого вреда, ибо в темноте каждая граната была заметна и почти всегда можно было от нее спрятаться. И только под утро, когда людьми овладела такая усталость, что они валились с ног, многие из них стали погибать. Маленький рыцарь, Кетлинг, Мыслишевский и Квасибродский отвечали из замков на турецкий огонь. Генерал подольский то и дело заглядывал к ним и ходил под градом пуль озабоченный, но не обращал внимания на опасность. К вечеру, когда огонь еще усилился, генерал Потоцкий подошел к пану Володыевскому.

– Мосци-полковник, нам здесь не удержаться!

– Мы удержимся, пока они будут довольствоваться пальбой, – но они нас взорвут – уже подводят мины, – ответил маленький рыцарь.

– Неужели подводят? – тревожно спросил генерал.

– Семьдесят орудий гремят, и грохот почти не умолкает, но бывают минуты затишья. В такую минуту прислушайтесь, ваша вельможность, и вы услышите.

Им не пришлось долго ждать – помог случай. Разорвалось одно из турецких осадных орудий. Это вызвало некоторое замешательство; со всех шанцев посылали гонцов узнать, что случилось, и наступил перерыв в стрельбе.

Тогда Потоцкий и Володыевский подошли к самому краю стены и стали внимательно прислушиваться; через некоторое время они уловили отчетливые удары ломов, которыми долбили скалистую стену.

– Долбят, – сказал пан Потоцкий.

– Долбят, – ответил маленький рыцарь.

Потом они оба умолкли. В лице генерала появилось сильное беспокойство; он схватился за голову. Увидав это, Володыевский сказал:

– Это вещь обыкновенная при всякой осаде. Под Збаражем мины подводили день и ночь.

Генерал поднял голову.

– Что в таком случае делал Вишневецкий?

– Мы переходили из более широких окопов в более узкие.

– А что следует делать нам?

– Нам следует забрать пушки и все, что возможно, и перейти в старый замок: он построен на таких скалах, что его не взорвут и мины. Я всегда полагал, что новый послужит нам только для того, чтобы дать первый отпор неприятелю, потом нам придется самим взорвать его на воздух, а настоящая оборона начнется в старом замке.

Настала минута молчания, и генерал понурил озабоченную голову.

– А если нам придется уйти и из старого замка, куда мы уйдем? – спросил он дрогнувшим голосом.

Маленький рыцарь выпрямился, шевельнул усиками и указал пальцем на землю.

– Я – только туда!

В эту минуту опять взревели пушки и целые тучи гранат посыпались на замок, но так как было уже темно, то гранаты были видны прекрасно. Володыевский, простившись с генералом, пошел вдоль стен и, переходя от одной батареи к другой, всех ободрял, давал советы; наконец, встретившись с Кетлингом, он сказал:

– Ну что?

Тот нежно улыбнулся.

– От гранат светло, как днем, – сказал он, пожимая руку маленького рыцаря, – для нас не жалеют огня.

– У них взорвано большое орудие. Ты взорвал?

– Я.

– Мне страшно хочется спать.

– И мне, но теперь не время.

– Да, – сказал Володыевский, – и наши жены, должно быть, беспокоятся. При этой мысли сон пропадает.

– Они за нас молятся, – сказал Кетлинг, поднимая глаза к пролетавшим гранатам.

– Дай бог здоровья твоей и моей.

– Между земными женщинами, – начал Кетлинг, – нет...

Он не закончил, так как маленький рыцарь обернулся и громко крикнул:

– Господи боже! Что я вижу!

И бросился вперед. Кетлинг обернулся с удивлением: в нескольких шагах он увидел Басю в сопровождении пана Заглобы и жмудина Пентки.

– К стене, к стене! – кричал маленький рыцарь, поспешно увлекая их за прикрытие.
– Ради бога!

– Ну что поделаешь с такой, как она? – говорил, громко сопя, пан Заглоба. – Я просил, убеждал: «Ты погубишь и себя и меня!» Что ж мне было делать – одну ее пускать, что ли? Пойду да пойду. Вот тебе она!

На лице Баси был испуг, губы ее дрожали, точно от плача. Ни гранат, ни пушечного грохота, ни обломков камней она не боялась, боялась она только гнева мужа. Она сложила руки, как ребенок, который боится наказания, и говорила голосом, дрожащим от слез:

– Я не могла, Михалок, клянусь любовью к тебе, не могла. Не сердись, Михалок, не сердись. Я не могу там усидеть, когда ты в огне, не могу, не могу!

Он, действительно, начал было сердиться и даже крикнул:

– Баська! Побойся ты Бога!

Но вдруг его охватила жалость к ней, голос его дрогнул, и, только когда эта милая светлая головка была уже у него на груди, он сказал:

– Друг ты мой верный, верный до смерти! Мой... И он обнял ее.

А Заглоба между тем, укрывшись в нишу стены, поспешно говорил Кетлингу:

– И твоя тоже хотела идти, но мы ее обманули, сказав, что не пойдем. На мост из города в замок гранаты летят, как груши. Я думал, что умру, – не от страха, конечно, а от злости. Я упал на острые осколки и так оцарапал себе кожу, что целую неделю сесть не смогу. Уф, а эти шельмы все стреляют, чтоб их громом перебило. Пан Потоцкий хочет мне передать команду. Дайте пить солдатам, иначе не выдержат. Смотрите на эту гранату. Ей-богу, она упадет здесь, где-нибудь близко... Заслоните Басю. Ей-богу, близко.

Но граната упала далеко – на крышу лютеранской часовни в старом замке. Рассчитывая на прочность сводов, осажденные поместили там пороховые запасы, но граната пробил свод, и произошел взрыв. Страшный грохот, сильнее пушечных громов, потряс основания обоих замков. Со стен послышались крики ужаса, польские и турецкие пушки замолкли. Кетлинг бросил Заглобу, Володыевский Басю, и оба бросились на крепостные стены. С минуту было слышно, как они оба, запыхавшись, отдавали приказания, но их голоса были заглушены боем барабанов в турецких шанцах.

– Будут атаковать! – прошептал Заглоба.

И действительно, турки, услышав взрыв, предположили, что оба замка разрушены, а защитники частью погребены под их развалинами, частью в панике. Рассчитывая на это, они готовились к штурму. Глупцы! Они не знали, что одна только лютеранская часовня взлетела на воздух, взрыв же, кроме потрясения, не причинил никакого вреда; в новом замке ни одна пушка не сошла с лафета. Но в шанцах бой барабанов был все громче. Толпы янычар сошли с шанцев и побежали к замку. Огни были погашены и в замке, и в турецких окопах, но ночь была ясная, и при свете луны легко можно было разглядеть массу белых янычарских шапок, колеблемых во время бега наподобие волны, колыхаемой ветром. Несколько тысяч янычар и несколько сотен «джамаков». Некоторым из них никогда уже не пришлось увидеть константинопольских минаретов, светлых вод Босфора и темных кипарисов, но они бежали с яростью, рассчитывая на победу.

Володыевский побежал во весь дух вдоль крепостных стен.

– Не стрелять, ждать команды! – кричал он у каждого орудия. Драгуны с мушкетами легли на стенах.

Воцарилась тишина, слышен был только отголосок быстрых шагов янычар, точно отдаленный гром. Чем ближе они были, тем были увереннее, что сразу овладеют обоими замками. Многие полагали, что остатки защитников отступили к городу и что на крепостных стенах никого нет. Добежав до рва, они стали засыпать его мешками с соломой и засыпали в одно мгновение.

На крепостных стенах все было тихо.

Но когда первые ряды вошли в засыпанный мешками ров, в одном месте бастиона раздался выстрел из пистолета, и пронзительный голос скомандовал:

– Огонь!

И тотчас оба бастиона и соединяющая их стена засветились длинной лентой огня; раздался грохот орудий, треск мушкетных выстрелов, крики нападающих. И как копье, брошенное сильной рукой охотника, до половины вонзается в брюхо медведя, и тот свертывается в клубок, рычит, бросается в разные стороны, мечется и опять свертывается, так и толпы янычар сбились в одну кучу. Ни один выстрел поляков не пропал даром. Орудия, заряженные картечью, валили на землю людей целыми десятками, как ветер одним порывом клонит к земле целое хлебное поле. Та часть янычар, которая бросилась на стену, соединяющую бастионы, очутилась среди трех огней и, охваченная ужасом, столпилась в беспорядочную кучу. Кетлинг из двух орудий засыпал эту кучу картечью, и когда наконец она бросилась бежать, он отрезал ей путь к спасению, залив узкий проход между бастионами дождем свинца и железа.

Штурм был отбит по всей линии. Когда янычары, отступив от рва, обратились в паническое бегство, в турецких шанцах зажгли смоляные бочки и факелы, пускали ракеты, превращая ночь в день, чтобы осветить дорогу бегущим и помешать вероятной вылазке осажденных. Между тем пан Володыевский, заметив янычар в узком проходе между бастионами, крикнул драгунам и бросился к ним; несчастные еще раз пробовали проскочить в узкий проход, но Кетлинг направил туда такой страшный огонь, что проход тотчас покрылся грудой трупов, образовавших высокий вал. Оставшимся в живых оставалось только погибнуть, так как осажденные не хотели никого брать в плен и янычары стали бешено защищаться. Эти сильные люди, сбиваясь в маленькие группы по два, по три, по пять человек, вооруженные

копьями, бердышами, ятаганами и саблями, рубили с каким-то остервенением. Страх, ужас, неминуемость смерти, отчаяние уступили место одному чувству – бешенству. Ими овладела горячка боя. Некоторые из них в одиночку бросались на драгун. Их в одно мгновение рубили саблями. Это была борьба двух стихий, ибо и драгуны, доведенные усталостью, бессонницей и голодом до зверского бешенства, беспощадно рубили неприятеля. Кетлинг, желая осветить поле сражения, тоже приказал зажечь смоляные бочки, и при их свете видны были толпы Мазуров, которые рубили янычар, таскали их за волосы и за бороды. Особенно бесновался свирепый Люсня; он походил на разъяренного быка. В конце другого крыла сражался сам Володыевский; зная, что Бася смотрит на него с крепостной стены, он превзошел самого себя. Как злая ласка, забравшись в амбар, где завелись мыши, нападает на них, так и маленький рыцарь бросался на неприятеля, как дух истребитель. Имя его было уже известно туркам по прежним битвам и по рассказам хотимских татар – и уже сложилось общее мнение, что, кто бы ни столкнулся с ним, тому не миновать смерти. А потому многие из янычар, попавших в западню между бастионами, увидав перед собой маленького рыцаря, не сопротивляясь, даже закрывали глаза и со словом «кисмет»[26] на устах погибали под ударом его сабли. Наконец сопротивление янычар ослабело, остальные бросились ко рву – и там их добивали. Углубление ниши было залито светом, и на лицах Баси и маленького рыцаря играли лунные лучи. Внизу на дворе замка видны были группы спящих солдат и трупы убитых во время бомбардировки, которых еще не успели похоронить. Тихий свет луны скользил по этим группам, точно этот странник небесный хотел проверить, кто здесь спит от усталости, а кто заснул вечным сном. Далее обрисовывалась стена главного замка, от которого ложилась тень до середины двора. Из-за крепостных стен, где между бастионами лежали трупы убитых янычар, до них доходили мужские голоса. Это те из солдат, которым добыча была милее сна, грабили убитых. Их фонари мелькали точно светляки. Некоторые из них перекликались друг с другом, а один из них даже напевал вполголоса песенку, которая так не подходила к его занятию:

Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.

Немного погодя движение прекратилось, и наступила тишина, нарушаемая лишь глухим звуком ломов, долбящих стену, и перекличкой часовых. Эта тишина и прекрасная летняя ночь опьянили Басю и маленького рыцаря. Неизвестно почему им стало и грустно, и тоскливо, и в то же время сладостно. Бася первая подняла глаза на мужа и, видя, что у него глаза открыты, спросила:

– Ты не спишь, Михалок?

– Странно, но мне спать не хочется.

– А хорошо тебе здесь?

– Хорошо, а тебе? Баська кивнула головой.

– Ах, Михалок, так хорошо, так хорошо. Слышал ты, что там сейчас пели?

Тут она повторила слова песенки:

Серебра мне и золота не надо,
Только б быть мне с тобой, моя отрада.

Они замолчали на минуту; молчание это прервал маленький рыцарь.

– Баська, – сказал он. – Слушай, Баська!

– Что, Михалок?

– По правде сказать, нам ужасно хорошо с тобой, и я так полагаю, что если б кто-нибудь из нас погиб, то другой страшно бы тосковал.

Бася прекрасно понимала, что если маленький рыцарь говорил, «если б кто-нибудь из нас погиб», то он просто не хотел сказать «умер» и подразумевал только себя. Ей пришло в голову, что он, быть может, не надеется выйти живым из этой осады и хочет подготовить ее к этому несчастью. Странное предчувствие сжало ей сердце, и, сложив руки, она сказала:

– Михал, пожалей ты и себя и меня!

Голос маленького рыцаря был несколько взволнован, хотя и спокоен.

– Видишь ли, Баська, ты не права, – сказал он, – ибо если рассудить, то что такое наша жизнь? Кого может удовлетворить здесь счастье и любовь, когда все это здесь так непрочно, как засохшая ветка, ведь правда?

Бася затряслась от рыданий и принялась повторять:

– Не хочу! Не хочу! Не хочу!

– Клянусь Богом, ты не права, – повторил маленький рыцарь. – Вот видишь, там вверху, за ясной луной страна вечного блаженства. Вот о каком счастье ты мне говори. Только тот, кто попадет туда, отдохнет по-настоящему, словно после долгой дороги, и не будет знать забот. Когда придет мой черед (а для солдата ведь это дело обыкновенное), ты сейчас должна сказать сама себе: «Михал уехал, правда, далеко, гораздо дальше, чем отсюда до Литвы, да это ничего, я за ним поеду!» Баська, ну тише, не плачь! Кто из нас первый уедет, тот другому квартиру приготовит, вот и все!

Тут перед ним, как перед ясновидящим, открылась завеса будущего, он поднял глаза к лунному сиянию и продолжал:

– Что есть жизнь земная? Допустим, что я уже там, и вдруг кто-то стучит в небесные врата. Святой Петр отворяет, я гляжу: кто же это? Моя Баська! Господи! Вот я брошусь к ней, вот крикну!.. Слов не хватит! И не будет там слез, только вечное веселье, и не будет ни язычников, ни пушек, ни мин под стенами, только счастье и спокойствие. Баська, помни: это ничего!

– Михал, Михал! – повторяла Бася.

И снова наступила тишина, нарушаемая только отдаленным, однообразным звуком ломов.

Наконец Володыевский сказал:

– Баська! Будем молиться!

И эти две души, чистые, как слеза, стали читать молитву. По мере того, как они молились, на них нисходило спокойствие, потом их стало клонить ко сну, и они проспали до рассвета.

Пан Володыевский еще до утренней зари проводил жену до моста, соединявшего старый замок с городом, и сказал на прощание:

– Помни, Баська: это ничего!

ХІХ

Тотчас после утренней зари оба замка и город дрогнули от грохота выстрелов. Турки уже вырыли ров вдоль замка длиной в полтора сажени, а в одном месте они уже подошли к самой стене. Обстрел стен с окопов не прекращался. Осажденные делали прикрития из кожаных мешков, набитых шерстью, но так как с шанцев летели фанаты, то около пушек погибало много народу. У одного орудия сразу было убито шесть человек из пехоты Володыевского, у других орудий то и дело падали пушкари; к вечеру все убедились, что держаться дольше невозможно, тем более что каждую минуту могли взорваться мины. Поэтому ночью, при неумолкающей пальбе, перенесли пушки, порох и съестные припасы в старый замок. Он был построен на скале и мог дольше выдержать осаду, к тому же под него труднее было подкопаться. Когда на военном совете спросили мнения Володыевского, он сказал, что если только никто не будет начинать переговоров, то он готов защищаться в замке хоть целый год. Слова его разошлись по всему городу, и горожане ободрились: все знали, что маленький рыцарь сдержит свое слово, даже если бы ему пришлось заплатить жизнью. Покидая новый замок, подвели мину под оба бастиона и переднюю часть замка. Мины взорвались около полудня, но они не причинили большого урона туркам: они помнили вчерашний урок и не решались занять оставленное поляками место. Зато фасад замка и оба бастиона представляли гигантский вал развалин. Эти развалины, правда, затрудняли доступ к старому замку, но зато лазали превосходное прикрытие для стрелков и особенно для рудокопов, которые, не испугавшись вида каменного утеса, принялись подводить новую мину. За этой работой следили искусные инженеры, валахские и венгерские, состоявшие на службе у султана, и дело пошло быстро.

Осажденные не могли стрелять в неприятеля ни из пушек, ни из мушкетов, так как не видели его. Пан Володыевский подумывал о вылазке, но ее нельзя было осуществить – солдаты были слишком утомлены. От постоянного прикладывания ружей у драгун образовались на правом плече синие нарывы величиной с каравай. Некоторые из них совсем не владели правой рукой. Между тем было очевидно, что если неприятелю не помешают подводить мину, то главные ворота будут взорваны. Предвидя это, пан Володыевский приказал возвести за этими воротами высокий вал и, не теряя бодрости, говорил:

– Не беда! Взорвут ворота, мы будем защищаться за валом, взорвут вал, мы заранее возведем другой, и так далее – пока у нас будет под ногами хоть аршин земли.

Но генерал подольский, потеряв всякую надежду, спросил его:

– А когда не будет и аршина?

– Тогда не будет и нас! – ответил маленький рыцарь.

Между тем он велел кидать в неприятеля ручные гранаты, которые причиняли ему много вреда. Искуснее всех в этом деле оказался поручик Дембинский, который перебил бесчисленное количество турок, пока, наконец, слишком рано зажженная граната не лопнула у него в руке и не оторвала ее. Так же погиб и капитан Шмидт. Многие погибали от пушечных выстрелов, многие – от ручных орудий, из которых

стреляли янычары, укрывшись за развалинами нового замка. В это время поляки в замке мало стреляли из пушек, что смущало жителей города.

«Не стреляют, значит, и сам Володыевский усомнился в возможности обороны», – таково было общее мнение. Из военных никто не решался высказать вслух, что остается только выхлопотать самые выгодные условия сдачи; но епископ, в котором совершенно не было воинского самолюбия, громко высказал это.

Еще раньше к генералу подольскому был послан пан Васильковский за известиями о положении дел в замке.

Он ответил: «По моему мнению, крепость не выдержит и до вечера, но здесь думают иначе».

Когда был прочитан этот ответ, даже военные заговорили: «Мы делали все, что могли, никто из нас не щадил себя, но что невозможно, то невозможно. Надо вступить с неприятелем в переговоры».

Слова эти распространились по городу и собрали огромную толпу. Она стояла перед ратушей встревоженная, молчаливая и, по-видимому, совсем не склонная вступать в переговоры. Некоторые богатые армянские купцы радовались в душе, что осада кончится и что опять начнется торговля; но другие армяне, издавна поселившиеся в Речи Посполитой и очень ей преданные, а также ляхи и русины хотели защищаться. «Если уж сдаваться, то надо было делать это в самом начале; тогда можно было бы добиться хороших условий сдачи, – говорили то тут, то там, – а теперь условия будут тяжелы, и потому лучше похоронить себя под развалинами».

И ропот недовольства раздавался все громче. Как вдруг совершенно неожиданно он сменился криками восторга и виватами. Что случилось? На площади появился пан Володыевский в сопровождении пана Гумецкого; генерал нарочно послал их, чтобы они сами дали отчет о том, что делается в замке. Толпа встретила их радостными криками. Некоторые кричали так громко, что казалось, будто это турки уже ворвались в город, у других глаза наполнялись слезами при виде обожаемого рыцаря, на лице которого видны были следы страшных трудов. Его лицо похудело и почернело от порохового дыма, глаза были красны и ввалились, но он был весел. Когда они оба с Гумецким пробрались сквозь толпу и вошли в залу совета, их радостно приветствовали и там, а епископ сказал:

– Дорогие братья! *Nee Hercules contra plures!* Генерал нам уже писал, что вам придется сдаться.

Гумецкий, человек очень горячий и к тому же с большими связями, не очень считавшийся с людьми, резко ответил:

– Генерал потерял голову; но, к чести его будь сказано, он этой головой не побоится пожертвовать, если нужно будет; что же касается обороны, то я передаю слово пану Володыевскому, он лучше меня сумеет рассказать об этом.

Глаза всех остановились на маленьком рыцаре, а он шевельнул своими светлыми усиками и ответил:

– Ради бога, кто здесь говорит о сдаче? Разве мы не поклялись Господу Богу, что готовы погибнуть все до одного?

– Мы поклялись сделать все, что в нашей власти, и мы все сделали, – ответил епископ.

– Кто что обещал, пусть за то и отвечает. Мы с Кетлингом присягали, что, пока живы, крепости не отдадим, – и не отдадим. Ибо если я должен сдерживать рыцарское слово, данное человеку, то что же говорить о слове, данном Господу Богу, который превосходит всех своим величием!

– Ну а как замок? Говорят, что под ворота подведена мина. Долго ли вы выдержите? – спрашивали многочисленные голоса.

– Мина либо подведена, либо будет подведена, но перед воротами устроен вал, и я приказал туда втащить орудия. Братья дорогие, побойтесь Бога и подумайте, что, сдаваясь, придется предать храмы Божьи в руки неверных, они превратят их в свои мечети, чтобы совершать в них нечестивые службы свои. Как же вы можете так легко говорить о сдаче, как можете вы открыть ворота и впустить неприятеля в самое сердце отчизны? Я сижу в замке и не боюсь мин, а вы боитесь, находясь в городе, вдали от них. Ради бога, не сдавайтесь, пока живы! Пусть воспоминание о нашей обороне перейдет к потомству, как перешла Збаражская осада.

– Турки превратят крепость в груды развалин! – сказал кто-то.

– Пускай превращают. И за развалинами можно защищаться.

Тут маленький рыцарь потерял терпение.

– И я буду защищаться за груды развалин, в том да поможет мне Бог! Наконец я вот что скажу: я не отдам туркам замка. Слышите?

– И погубишь город? – спросил епископ.

– Пусть лучше он погибнет, чем перейдет в руки турок. Я поклялся. Я больше даром слов тратить не стану и уйду к моим пушкам. Ибо пушки защищают Речь Посполитую, а не предадут ее.

Сказав это, он ушел, а за ним вышел Гумецкий, хлопнув дверью. Они оба очень спешили. Они, действительно, чувствовали себя лучше среди развалин, трупов, ядер, чем среди людей, слабых духом.

По дороге их нагнал пан Маковецкий.

– Михал, – спросил он, – скажи правду, говорил ли ты об обороне, чтобы ободрить других, или ты действительно сможешь удержаться в замке?

Маленький рыцарь пожал плечами:

– Клянусь Богом! Пусть только не сдадут города, а я целый год буду защищаться.

– Почему вы не стреляете? Это всех пугает, оттого и о сдаче заговорили.

– Мы не стреляем, потому что занялись бросанием ручных гранат, которые причиняют много вреда рудокопам.

– Слушай, Михал, есть ли у вас в крепости орудия, из которых вы могли бы

обстреливать неприятеля за Русскими воротами. Иначе турки (сохрани бог) ворвутся в ворота. Я всеми силами охраняю их, но с одними мещанами, без солдат, я ничего не поделаю.

На это маленький рыцарь ответил:

– Не беспокойся, милый брат. Я уже в ту сторону направил пятнадцать орудий. Насчет замка тоже будьте покойны. Мы не только защитимся, но, если надо будет, даже вам к воротам пошлем подкрепление.

Услышав это, пан Маковецкий сильно обрадовался и хотел уже удалиться, но маленький рыцарь удержал его и спросил:

– Скажи мне – ты чаще бываешь на этих советах, – хотят ли они нас испытать или действительно хотят отдать город в руки мусульман?

Маковецкий опустил голову.

– Михал, скажи и ты откровенно, разве этим дело не должно кончиться? Некоторое время вы будете сопротивляться, ну, неделю, две недели, месяц, два месяца, а в конце концов придется сдаться.

Володыевский взглянул на него мрачно и, наконец, подняв руки кверху, воскликнул:

– И ты, Брут, против меня? Что ж, сами будете расхлебывать ваш позор, а я к этому не привык...

И они расстались с горечью в душе.

Вскоре после возвращения Володыевского главные ворота старого замка были взорваны. Летели камни, кирпичи, поднялись столбы пыли и дыма. На минуту ужас охватил канониров. Турки мгновенно бросились в пролом, как стадо овец бросается в открытые двери овчарни, когда пастухи гонят их туда бичами... Но Кетлинг засыпал эту толпу картечью из шести орудий, заранее поставленных на валу, – засыпал раз, другой, третий и прогнал. Володыевский, Гумецкий, Мыслишевский подоспели с пехотой и драгунами, которые покрыли вал так густо, как мухи в летний жаркий день покрывают пададь. Теперь началась ружейная пальба. Пули падали на вал, как капли дождя, как хлебные зерна, которые сильный парень подбрасывает лопатой кверху. Турки роились в развалинах нового замка, как пчелы; в каждом углублении, за каждым обломком, за каждым камнем, в каждой расщелине развалин сидело их по двое, по трое, по пяти, десяти и стреляли без усталости. Со стороны Хотима наплывали все новые и новые подкрепления. Полки шли за полками и, дойдя до развалин, немедленно открывали огонь. Весь новый замок был точно вымощен тюбанами. То и дело эти массы тюбанов вдруг срывались с криком и бежали к пролomu, но тогда начинал действовать Кетлинг. Глухой бас орудий заглушал трескотню ружей, и целый рой картечи с пронзительным свистом попадал в толпу, валил ее на землю и заполнял пролом вздрагивающими кучами человеческого мяса. Четыре раза бросались янычары, четыре раза отражал и рассеивал их Кетлинг, как буря рассеивает кучи листьев. Сам он стоял среди огня и дыма, разрывающихся гранат, похожий на ангела. Глазами он впился в пролом, на ясном челе не было ни одной тучки беспокойства. Иной раз он брал из рук пушкаря фитиль, сам подносил его к орудию, потом, защищая глаза рукой, смотрел на результаты выстрела. Порой он с улыбкой обращался к польским офицерам и говорил им:

– Не войдут!

Никогда еще ярость атаки не разбивалась о такое бешенство обороны. Офицеры и солдаты состязались друг с другом. Казалось, будто внимание этих людей обращено на все, кроме смерти. А смерть косила всюду: погиб пан Гумецкий, пан Макошицкий, начальник киян. Вот со стоном схватился за грудь седовласый пан Калушовский, старый друг Володыевского, – воин кроткий, как ягненок, и страшный, как лев. Володыевский поддержал его, когда он падал, а он сказал ему: «Дай руку, дай скорее руку!» Потом прибавил: «Слава богу!» И лицо его стало так же бело, как усы и борода. Это было перед четвертой атакой.

Ватага янычар ворвалась в то время в пролом или, вернее, не могла вернуться обратно благодаря сильному огню. Володыевский во главе своей пехоты бросился на них и в одно мгновение перебил их штыками и прикладами.

Проходили часы за часами, а огонь все не ослабевал. Между тем по городу разнесся слух о геройской защите, который ободрил и воодушевил всех. Польские мещане, особенно молодежь, стали сзывать друг друга криком: «Пойдем на помощь в замок! Пойдем! Пойдем! Не дадим братьям погибнуть! Вперед, хлопцы!» Крики эти раздавались на рынке, около ворот и по всему городу, и вскоре несколько сот людей, вооруженных чем попало, но с мужеством в сердце, двинулись к мосту. Турки тотчас направили на них такой убийственный огонь, что весь мост покрылся трупами. Но все-таки часть их перебралась через мост и с большим усердием принялась обстреливать турок. Наконец была отбита и четвертая атака, с такой страшной потерей для турок, что казалось, должны бы наступить минуты отдыха. Напрасная надежда! Гром янычарок не прекращался до вечера. И только когда заиграли вечернюю зорю, пушки смолкли, и турки покинули развалины нового замка. Оставшиеся офицеры сошли тогда с вала и перешли на другую сторону.

Маленький рыцарь, не теряя времени, велел заделать пролом чем только можно было: бревнами, песком, мусором и землей. Пехота, драгуны, солдаты и офицеры работали взапуски, без различия чинов.

Они каждую минуту ожидали, что опять загрохочут турецкие орудия; все же этот день был днем значительной победы, так что все лица сияли радостью, все души горели надеждой и желанием дальнейших побед.

Когда работа была кончена, Кетлинг и Володыевский, взявшись под руки, стали обходить майдан, стены, и с бойниц осматривали двор нового замка, и радовались обильной жатве.

– Там труп на трупе, – сказал маленький рыцарь, указывая на развалины. – А около пролома такие груды, что хоть лестницу приставляй. Кетлинг, это твоя работа?

– Лучше всего то, что мы так заделали пролом, что туркам доступ опять закрыт, и им придется подводить новую мину. Их силы безмерны, как море, но такая осада через какой-нибудь месяц или два должна же им надоеть.

– А за это время подоспеет гетман с подкреплением. Впрочем, что бы ни случилось, мы связаны присягой, – прибавил маленький рыцарь.

В эту минуту они взглянули друг другу в глаза и Володыевский, понизив голос, спросил:

– Ты сделал то, о чем я тебе говорил?

– Все готово, – шепотом ответил Кетлинг, – но я думаю, что до этого Дело не дойдет. Мы действительно можем здесь продержаться очень долго, и впереди у нас будет много таких дней, как сегодня.

– Послал бы нам Господь Бог такой день и завтра!

– Аминь! – ответил Кетлинг, возводя глаза к небу.

Дальнейший разговор прервал грохот орудий. Гранаты опять посыпались на замок. Некоторые из них разрывались в воздухе и гасли, как зарницы.

Кетлинг глядел на них глазом знатока.

– На том шанце, откуда стреляют, – сказал он, – фитили гранат сильно пропитаны серой.

– Дымятся и другие шанцы! – ответил Володыевский.

И действительно так было. Как среди ночной тиши, когда раздастся лай одной собаки, ей тотчас же ответят другие, и, наконец, вся деревня оглашается громким лаем, – так и на турецких шанцах выстрел одной пушки разбудил все соседние, и осажденный город был окружен целым венком гранат. На этот раз обстреливали главным образом не замок, а самый город. Зато с трех сторон начали подводить новые мины. Очевидно, несмотря на то, что крепкая скала сводила на нет всю работу рудокопов, турки все же решились взорвать на воздух это скалистое гнездо.

Кетлинг и Володыевский отдали приказ метать ручные гранаты в ту сторону, откуда слышались удары ломов. Но ночью нельзя было проверить, причиняет ли этот способ обороны какой-нибудь вред неприятелю. К тому же внимание всех было обращено на город, куда летели целые стаи огненных птиц. Некоторые снаряды разрывались в воздухе, другие, описав огненную кривую, падали на крыши домов. Сразу в нескольких местах появилось кровавое зарево, осветив ночную темноту. Загорелся костел Св. Екатерины, церковь Св. Георгия в русском квартале; пламенем был охвачен армянский собор, который, впрочем, загорелся еще днем, а теперь снова вспыхнул от гранат. Пожар рос с каждой минутой, и пламя озаряло окрестность. Крики из города доходили до старого замка. Можно было думать, что весь город в огне.

– Скверно! – говорил Кетлинг. – Мещане падут духом.

– Пусть все сгорит, – ответил маленький рыцарь, – лишь бы уцелела скала, с которой можно защищаться.

Между тем крики все усиливались. С собора пожар перекинулся на склады дорогих армянских товаров, построенные на рынке. Горели изделия из золота и серебра, ковры, кожи и дорогие ткани. Минуту спустя огненные языки появились кое-где и над домами.

Володыевский страшно встревожился.

– Кетлинг, – сказал он, – следи за метанием ручных гранат и, насколько можешь, помешай подкопам, а я поеду в город: сердце у меня замирает при мысли о

доминиканском монастыре. Слава богу, что они оставили замок в покое и я могу отлучиться.

В замке действительно было не много дела, и маленький рыцарь вскочил на лошадь и уехал. Он вернулся спустя два часа в сопровождении пана Мушальского, который уже оправился после удара, полученного им от Гамди, и теперь ехал в замок, надеясь, что во время штурмов он своей стрельбой из лука может причинить немалый вред язычникам и тем прославиться.

– Здравствуйте! – сказал Кетлинг. – Я уже тревожился за доминиканок.

– Все хорошо! – ответил маленький рыцарь. – Ни одна граната там не разорвалась. Место укромное и безопасное.

– Слава богу! А Кшися не беспокоится?

– Она спокойна, как у себя дома. Обе с Баськой сидят в одной келье, а с ними и пан Заглоба. Там и Нововейский, к которому уже вернулось сознание. Он просил меня взять его с собой в замок, но он на ногах устоять не может. Кетлинг, теперь поезжай ты, а я тебя заменю.

Кетлинг обнял Володыевского, уж очень его тянуло к Кшисе, и тотчас приказал подать себе лошадь. Но, пока ее подали, он стал расспрашивать маленького рыцаря, что слышно в городе.

– Мещане очень храбро тушат огонь, – ответил маленький рыцарь, – но богатые армянские купцы, видя, что у них горят склады, послали депутацию к ксендзу епископу с настоятельным требованием сдать город. Узнав об этом, я, хотя и дал себе слово не ходить больше на эти советы, все же пошел. Там я ударил по лицу одного из них, который больше всех настаивал на сдаче города, и епископ за это на меня надулся. Скверно, брат. Люди все меньше ценят нашу готовность защищаться. Там нас порицают, а не хвалят и говорят, что мы напрасно подвергаем опасности город. Я слышал тоже, как нападали на Маковецкого за то, что он был против переговоров. Сам епископ сказал ему: «Мы не отступимся ни от веры нашей, ни от короля, но к чему приведет дальнейшее сопротивление? Ты увидишь, – говорит, – здесь оскверненные святыни, опозоренных девушек и взятых в плен невинных детей. А заключив мирный договор, – говорит, – мы можем обеспечить их судьбу и выговорить себе свободный пропуск». Так говорил епископ, а генерал качал головой и повторял: «Лучше бы мне погибнуть, но это правда!»

– Да будет воля Божья, – ответил Кетлинг.

Володыевский заломил руки.

– И если бы это была правда! – воскликнул он. – Но Бог свидетель, что мы еще можем защищаться.

Между тем Кетлингу привели лошадь. Он быстро вскочил на нее; Володыевский сказал ему на прощание:

– Через мост поезжай поосторожнее: туда то и дело падают гранаты.

– Через час я вернусь, – сказал Кетлинг. И уехал.

Володыевский вместе с Мушальским стали обходить стены. В трех местах слышались удары в скалу и в трех местах осажденные кидали ручные гранаты. С левой стороны замка руководил этой работой Люсня.

– Ну, как дела? – спросил Володыевский.

– Плохо, пан комендант, – ответил вахмистр, – эти черти уже в скале сидят и только у входов в подкоп иной раз кого-нибудь из них заденет осколком. Немногого мы добились.

В других местах дело было еще хуже, тем более что небо нахмурилось, пошел дождь и отсырели фитили в фанатах. Темнота мешала работе.

Володыевский отвел Мушальского в сторону и, вдруг остановившись перед ним, сказал:

– Слушайте, ваць-пане, а что, если мы попробуем передушить этих кротов в их норе?

– По мне, это верная смерть, их охраняют целые полки янычар. Ну что ж, попробуем!

– Полки их охраняют, это правда, но ночь темна, и мы вызовем среди них переполох. Подумайте только, – в городе поговаривают о сдаче. А почему? Потому что говорят: «Под вами мины, и вы не сможете защищаться». Вот мы бы им и зажали рты, если бы, к примеру, сегодня ночью еще послали к ним с вестью: «Нет более мин». Разве ради этого не стоит рискнуть жизнью?

– Стоит, ей-богу, стоит!

– В одном месте только недавно начали подкоп, – сказал Володыевский, – этих мы оставим в покое, но вот с этой и с той стороны они подкопались уж очень глубоко. Вы возьмете с собой пятьдесят драгун, я возьму столько же, и мы попытаемся передушить тех. Хотите?

– Хочу. Возьму с собой десятка два гвоздей, чтобы заклепать ими какую-нибудь пушку, может, по дороге мы на нее наткнемся.

– Ну, сомневаюсь, хотя несколько пушек и стоит недалеко. Все же захватите гвозди. Мы только подождем Кетлинга, он лучше других будет знать, как нам помочь в нужную минуту.

Кетлинг вернулся, как обещал, не опоздав ни на одну минуту, а через полчаса два отряда драгун, по пятидесяти человек каждый, подошли к пролому и начали осторожно пробираться на другую сторону. Скоро они скрылись в темноте. В продолжение некоторого времени Кетлинг приказал бросать гранаты, но недолго, наконец он прекратил свою работу и стал ждать. Сердце его тревожно билось: он прекрасно понимал, как безрассудно было это предприятие. Прошло четверть часа, полчаса, час, казалось, что они уже должны были дойти до места, между тем, приложив ухо к земле, можно было превосходно слышать удары ломов.

Вдруг у подножия крепости, с левой стороны, раздался выстрел из пистолета, который, благодаря влажности воздуха и непрерывающейся пальбе на шанцах, был плохо слышен и, может быть, даже совсем не был бы замечен, если бы не страшный

шум, поднявшийся тотчас же вслед за выстрелом. «Дошли, – подумал Кетлинг, – но вернутся ли?» А там раздались крики, треск барабанов, свист дудок, наконец, торопливый, беспорядочный грохот ружей. Стреляли со всех сторон и целой толпой; очевидно, целые отряды прибежали на помощь рудокопам. Но, как и предполагал Володыевский, среди янычар произошел страшный переполох; боясь нападать на своих, они громко перекликались, стреляя наобум и по большей части вверх. Крик и пальба с каждой минутой усиливались. Как в сонном курятнике, когда в него среди ночи ворвется вдруг хищная куница, сразу поднимается страшный шум, кудахтанье и переполох, – так поднялась суматоха и вокруг замка. С шанцев начали бросать гранаты, чтобы осветить местность. Кетлинг направил несколько пушек в ту сторону, где стояли турецкие сторожевые войска, и стал засыпать их градом картечи. Осветились турецкие укрепления, осветились стены крепости. В городе ударили в набат. Там думали, что турки уже ворвались в крепость. А в турецком городе думали обратное: что осажденные сделали вылазку и сразу атаковали все места минных работ, и поднялась всеобщая тревога.

Темнота ночи благоприятствовала смелому предприятию Володыевского и Мушальского. Пушечные выстрелы и гранаты прорезали темноту только на одно мгновение, и потом становилось еще темнее. Наконец, пошел проливной дождь. Удары грома заглушили стрельбу, раскатываясь по всему небу, они отдавались эхом в скалах. Кетлинг соскочил с вала и подбежал к пролому во главе нескольких десятков людей и стал ждать. Но ждать пришлось недолго.

Вскоре какие-то темные фигуры замаячили между бревнами, которыми был завален пролом.

– Кто идет? – крикнул Кетлинг.

– Володыевский, – раздался ответ.

И минуту спустя оба рыцаря бросились друг другу в объятия.

– Ну что? Как там? – спрашивали офицеры, которые толпой сбежались к пролому.

– Слава богу! Рудокопы перебиты все до одного, инструменты переломаны и разбросаны. Вся их работа пропала даром.

– Слава богу! Слава богу!

– А Мушальский вернулся со своими?

– Нет еще!

– Не пойти ли им на помощь? Мосци-панове, кто из вас пойдет?

Но в ту же минуту у пролома опять замелькали темные фигуры. Это люди Мушальского возвращались поспешно и в значительно меньшем числе: многие из них погибли от неприятельских пуль. Все же они возвращались радостно, так как и их предприятие увенчалось успехом. Некоторые из них принесли с собой ломы, буравы и инструменты в доказательство того, что они были в подкопе.

– А где пан Мушальский? – спросил Володыевский.

– Правда, где же пан Мушальский? – спросили несколько голосов.

Люди из отряда Мушальского переглядывались друг с другом, вдруг один тяжело раненный драгун сказал тихим голосом:

– Пан Мушальский погиб. Я видел, как он упал, я также упал рядом с ним, но я поднялся, а он остался...

Рыцари страшно огорчились, услышав о смерти знаменитого лучника, ведь это был один из первых кавалеров Речи Посполитой. Стали расспрашивать драгуна, как все это случилось, но он уже не мог отвечать, так как истекал кровью и, наконец, как сноп повалился на землю. Рыцари стали горевать о Мушальском.

– Память о нем навсегда сохранится, – говорил пан Квасибродский, – а кто из нас переживет эту осаду, тот будет прославлять его имя.

– Такого стрелка, как он, никогда уже не будет! – сказал кто-то из воинов.

– В Хрептиеве это был самый сильный человек, – сказал маленький рыцарь. – Нажав талер одним пальцем, он мог вдавить его в свежую доску. Один только пан Подбипента, литвин, превосходил его силой, но он убит под Збаражем, а из живых с ним сравнится разве лишь один Нововейский...

– Да, страшная потеря! – говорили рыцари. – Только в старину рождались такие кавалеры.

Почтив такими словами память лучника, офицеры отправились на вал. Володыевский тотчас же отправил гонца к генералу подольскому и к ксендзу епископу с извещением, что мины уничтожены и рудокопы перебиты. Это известие было принято с огромным изумлением, но, сверх всякого ожидания, с тайным недоброжелательством. И пан генерал, и ксендз епископ были того мнения, что эти минуты победы города не спасут, а лишь раздражат жестокого неприятеля. Победы эти могли бы принести пользу только в том случае, если бы воюющие стороны вошли в переговоры. Вот почему оба начальника решили продолжать переговоры с турками.

Но ни Володыевский, ни Кетлинг не предполагали ни на минуту, чтобы эти счастливые вести могли произвести такое впечатление. Наоборот, они были уверены, что даже самые слабые духом люди теперь ободятся и захотят оказать неприятелю упорное сопротивление.

Нельзя было взять город, не овладев сначала замком, а так как замок не только сопротивлялся, но еще громил неприятеля, то осажденным не было никакой необходимости прибегать к переговорам. Съестных припасов было достаточно, пороху также, а потому нужно было только охранять ворота и тушить пожар в городе. За все время осады для Володыевского и для Кетлинга это была самая радостная ночь. Никогда еще они не надеялись так крепко, что останутся целы и спасут дорогих им женщин.

– Еще два-три штурма, – говорил маленький рыцарь – и, как Бог свят, туркам надоест штурмовать, и они начнут нас морить голодом. А съестных припасов у нас достаточно. Сентябрь уже не за горами, через два месяца начнется ненастье и холод, а войско у них не очень выносливо; стоит им раз хорошенько промерзнуть, и они непременно отступят.

– Многие из них родом из Эфиопии и из других жарких стран, где растет перец, и

их сразу мороз проймет. В худшем случае два месяца осады мы еще выдержим. Невозможно допустить, чтобы нам не прислали подкрепления. Очнется, наконец, Речь Посполитая, если даже пан гетман и не соберет большого войска, он все же будет докучать туркам набегами.

– Кетлинг! Мне кажется, что еще не пробил наш час.

– Все в воле Божьей, но и мне кажется, что до этого не дойдет.

– Разве, если бы кто из нас погиб, как пан Мушальский, тогда, конечно, ничего не поделаешь. Страшно мне жаль пана Мушальского, хотя он и умер геройской смертью.

– Дал бы Бог и нам такую смерть, но только не теперь, скажу тебе, Михал, мне ужасно жаль было бы... Кшиси.

– А мне Баси... Ну! Мы трудимся на совесть, и Господь Бог будет к нам милостив. Ужасно у меня радостно на душе. Надо будет и завтра совершить какой-нибудь подвиг!

– Турки на шанцах устроили деревянные щиты из бревен, и я хочу прибегнуть к способу, к которому прибегают при сжигании кораблей: тряпки уже мокнут в смоле, и я надеюсь, что завтра до полудня я сожгу всю их работу.

– Хе! – сказал маленький рыцарь. – Тогда я устрою вылазку. Во время пожара у них начнется переполох, уж не говоря о том, что им и в голову не придет, что мы сделаем вылазку днем. Завтрашний день может быть лучше сегодняшнего, Кетлинг.

На сердце у них было легко, и они поговорили еще некоторое время. Наконец, отправились спать, потому что были очень утомлены. Но маленькому рыцарю не пришлось проспать и трех часов, как вдруг его разбудил вахмистр Люсня.

– Пан комендант! Есть новости! – сказал он.

– Что такое?! – воскликнул Володыевский, сразу вскочив на ноги.

– Пан Мушальский вернулся.

– Господи, что ты говоришь?!

– Вернулся! Я стоял у пролома, вдруг слышу, кто-то кричит по-польски с противоположной стороны: «Не стрелять, это я». Гляжу и вижу – идет пан Мушальский, переодетый янычаром.

– Слава богу! – сказал маленький рыцарь.

И он бросился приветствовать знаменитого стрелка. Уже светало. Пан Мушальский стоял по эту сторону вала в белой шапке и парацине и так был похож на настоящего янычара, что глазам не верилось, что это был не турок. Увидав маленького рыцаря, он бросился к нему навстречу, и они радостно поздоровались.

– Мы уже оплакивали вас! – воскликнул Володыевский.

Подошли и другие офицеры, а с ними и Кетлинг; все были поражены и, перебивая друг друга, стали расспрашивать стрелка, почему он в одежде янычара, а

Мушальский сказал:

– Возвращаясь, я споткнулся о труп янычара и, падая, ударился головой об ядро; хотя шапка моя была подшита проволочной сеткой, я потерял сознание, ибо от удара, нанесенного мне Гамди, не совсем еще оправился, и всякое потрясение очень чувствительно для головы. Очнувшись, я увидал, что лежу на мертвом янычаре, как на постели. Ощупал голову, было немного больно, но даже раны не оказалось. Я снял шапку, дождь освежил мою голову, и я подумал: чего лучше! И пришло мне в голову раздеть янычара, переодеться в его одежду и идти к туркам.

Ведь я по-турецки говорю, как по-польски, и лицом тоже на янычара похож. Узнать меня трудно. Пойду послушаю, что там говорят. По временам мне страшно становилось, вспоминалась моя прежняя неволя у турок. Но я пошел. Ночь была темная. Кое-где только был свет, и, скажу вам, я ходил среди них, как у себя дома. Многие из них лежали во рвах, под прикрытием, и я пошел туда. Кто-то меня спросил: «Чего шляешься?» А я говорю: «Спать не хочется». Другие из них, собравшись в кружок, толковали об осаде. Они очень смущены. Я собственными ушами слышал, как они бранили присутствующего здесь нашего хрептивевского коменданта (тут пан Мушальский поклонился Володыевскому). Я повторю их собственные слова, ибо брань врагов лучше всяких похвал! «Пока, – говорили они, – этот маленький пес (так они, собаки, вашу милость называли) защищает крепость, мы ею не овладеем». Другие говорили: «Его ни пуля не берет, ни железо, а от него, как от чумы, веет смертью!» Тут они все стали роптать. «Мы одни сражаемся, а другие войска ничего не делают. Джамаки лежат себе на спине, татары занимаются грабежом, шаги шляются по базарам. Падишах говорит нам: «Милые мои овечки». Но, видно, не очень-то мы ему милы, если нас привели на убой. Мы выдержим здесь недолго, потом вернемся в Хотим, а если нам не позволят, то слетят головы и знаменитейших наших пашей».

– Вы слышите, панове, – крикнул Володыевский, – когда янычары взбунтуются, султан сейчас испугается и снимет осаду.

– Как Бог свят, я говорю сущую правду, – продолжал Мушальский. – Янычарам недолго до бунта, а им уже очень не по себе. Я так полагаю, что они попытаются еще раз-другой бомбардировать, а потом и оскалят зубы на янычар-агу, каймакана и, пожалуй, даже на самого султана.

– И так и будет! – воскликнули офицеры.

– Мы выдержим еще и двадцать штурмов, – говорили офицеры.

Зазвенели сабли, и пылающие взоры поляков устремились в сторону шанцев, лица всех вспыхнули воодушевлением. Слыша это, маленький рыцарь в восторге прошептал Кетлингу:

– Новый Збараж! Новый Збараж!

Пан Мушальский продолжал:

– Вот все, что я слышал. Мне жаль было уходить, потому что я мог бы еще кое-что услышать, но я боялся, что скоро начнет рассветать; я пошел в сторону шанцев, где не стреляли, чтобы оттуда в темноте пробраться в крепость. Гляжу, а там и часовых нет, и только целыми толпами слоняются янычары. Подхожу к большой пушке, меня даже не окликнули. А вы, пан комендант, уже знаете, что я взял с собой

гвозди для заклепки пушек. Всунул я гвоздь в запал – не входит, его бы надо молотком вколотить. Но ведь Господь Бог дал мне кое-какую силу в руках (вы не раз видели, панове, ее доказательства), вот я и ударил ладонью, больно было, но гвоздь вошел по самую шляпку... Я ужасно обрадовался!

– Господи, неужели вы это сделали? Заклепали большое орудие?! – раздалось со всех сторон вопросы.

– Я сделал и еще кое-что; коли сразу все пошло так хорошо, мне жаль было уходить, и я подошел к другой пушке. Рука немножко болит, но зато гвозди влезли.

– Мосци-панове! – воскликнул Володыевский. – Никто из нас не совершил такого подвига, никто не заслужил такой славы. Виват пан Мушальский!

– Виват! Виват! – повторили офицеры. За офицерами закричали «виват» и солдаты. А стрелок, сияя от радости, поклонился офицерам и показал им свою могучую руку, похожую на лапу; на ней были два кровоподтека, и он сказал:

– Ей-богу, правда. Вот вам и доказательство.

– Верим! – крикнули все в один голос. – Слава богу, что вы благополучно вернулись!

– Я пробрался меж бревен, – ответил Мушальский. – Мне хотелось поджечь эти работы, но нечем было.

– Знаешь что, Михал, – воскликнул Кетлинг, – мои тряпки готовы. Надо мне заняться этим делом. Пусть они знают, что мы задеваем их первые.

– Начинай! Начинай! – воскликнул Володыевский.

А сам он бросился в цейхгауз и отправил в город новую весть:

«Пан Мушальский не убит во время вылазки; он вернулся, заклепав два больших орудия. Он был среди янычар, которые замышляют бунт. Через час мы сожжем у турок деревянные щиты, и если можно будет сделать вылазку, то непременно сделаю».

Не успел еще гонец перейти через мост, как стены дрогнули от грохота орудий.

На этот раз замок вступил в бой. В бледной мути рассвета полетели пылающие тряпки и падали на бревна в виде пылающих знамен. И хотя после ночного дождя дерево сильно отсырело, бревна вскоре загорелись. Вслед за тряпками Кетлинг стал осыпать сооружения гранатами. Измученные янычары ушли с окопов. Не заиграли даже зори. Приехал сам визирь во главе нового войска, но, очевидно, сомнение охватило и его, ибо паши слышали, как он бормотал:

– Им приятнее битва, чем отдых. Что за люди сидят в этой крепости!

В турецких войсках со всех сторон слышались тревожные восклицания: «Маленький пес начинает кусаться», «Маленький пес начинает кусаться».

XX

А когда прошла эта счастливая ночь, полная предзнаменований победы, наступил день 26 августа, которому суждено было стать знаменательным в истории этой

войны. В крепости ожидали, что турки напрягут свои последние силы. И действительно, с восходом солнца с левой стороны замка опять раздались подземные удары, такие сильные, громкие, как никогда. Очевидно, турки поспешно подводили новую мину, еще более опасную, чем предыдущая.

Эту работу охраняли большие отряды войска, которое стояло вдали. Шанцы зашевелились, словно муравейник. По множеству разноцветных уборов, которыми, как цветами, покрывалось все поле со стороны Длужка, можно было видеть, что подъезжает сам визирь, чтобы лично руководить штурмом.

Турки втаскивали на шанцы новые орудия, кроме того, бесчисленные толпы их расположились в новом замке, скрываясь во рвах и среди развалин, чтобы быть наготове к рукопашной атаке.

Как уже было сказано, крепость начала канонаду так успешно, что произошел полный переполох в турецких шанцах.

Но бимбаши[27] тотчас снова выстроили янычар; в то же время загремели и турецкие орудия. На головы осажденных полетели ядра, гранаты, картечь, осколки камней, штукатурка, кирпич... Дым смешивался с пылью, жар пламени с солнечным зноем. Нечем было дышать, ничего нельзя было разглядеть. Гром пушек, треск гранат, скрежет пуль о камни, крики турок, крики защитников слились в один страшный хор, который эхом отдавался в скалах. Ядра засыпали замок, засыпали город, все ворота, все башни. Но замок отчаянно защищался: на пушечные залпы отвечал залпами; дрожал, сверкал огнем, тонул в облаках дыма, гремел, дышал смертью и уничтожением, как будто охваченный гневом, как будто поклявшийся заглушить турецкие залпы, провалиться сквозь землю или победить.

Внутри замка, под градом пуль, среди огня, пыли и дыма, метался маленький рыцарь, бросаясь от орудия к орудию, от одной стены к другой, от одного угла к другому, подобно всеуничтожающему пламени. Казалось, он двоился, троился; был везде, кричал, ободрял, воодушевлял. Где погибал канонир, там он заменял его и, приободлив одних, бежал к другим. Его увлечение передавалось солдатам. Они поверили, что это последний штурм, после которого наступит мир. Вера в победу придавала им мужество и стойкость, боевой пыл охватил их. То и дело из их груди вырывались крики и вызовы неприятелю. Некоторые приходили в такую ярость, что бросались за стены крепости, чтобы столкнуться с янычарами в рукопашном бою.

Под покровом порохового дыма янычары дважды толпой бросались к пролому и оба раза отступали в полном замешательстве, оставляя за собой целые груды трупов. В полдень им было прислано большое подкрепление из ополченцев и джамаков, но это было плохо обученное войско; джамаки были диким голосом и не хотели идти на приступ, несмотря на то, что их сзади подгоняли копьями. Приехал каймакан, но ничто не помогло. Каждую минуту мог наступить всеобщий переполох, граничащий с безумием, а потому приказано было отступить, и только пушки по-прежнему работали без отдыха и метали громы и молнии.

Так проходили целые часы. Солнце уже перешло зенит и смотрело на эту битву бесцветное, багровое, дымное, точно заслоненное заревом. Около трех часов пополудни грохот пушек был так ужасен, что в крепости невозможно было расслышать даже громкого крика. Воздух в замке накалился, как в печке. Вода, которой поливали пушки, моментально испарялась, и пар этот, смешиваясь с дымом, заслонял солнечный свет. А пушки все гремели.

В четвертом часу у турок были разбиты три больших орудия. Несколько минут спустя была разбита и мортира, которая стояла недалеко от пушек. Канониры гибли, как мухи. С каждой минутой становилось очевидным, что этот неприступный замок берет верх в борьбе, что он заглушит гром турецких орудий и скажет последнее слово победы.

Турецкий огонь стал понемногу ослабевать.

– Скоро конец! – крикнул изо всех сил своей груди Володыевский на ухо Кетлингу, желая, чтобы он расслышал его среди пушечных залпов.

– Я тоже думаю. Завтра или дольше!

– Может быть, дольше. Но сегодня победа за нами!

– И благодаря нам!

– Нам надо подумать об этой новой мине.

Турецкий огонь все ослабевал.

– Стреляй из пушек! – крикнул Володыевский.

И бросился к канонирам.

– Огня, ребята, – крикнул он, – пока не затихнет последнее турецкое орудие. Во славу Пречистой Девы! Во славу Речи Посполитой!

Солдаты, видя, что штурм близится к концу, ответили громким радостным криком и с еще большим жаром начали стрелять в сторону турецких шанцев.

– Вечернюю зорю, собаки, зорю вечернюю вам сыграем! – воскликнули солдаты.

Вдруг случилось что-то странное. Все турецкие пушки сразу умолкли, словно по чьему-то мановению. Утихли и янычарки в новом замке. Старая крепость гремела еще некоторое время, но, наконец, офицеры стали переглядываться друг с другом и спрашивать в недоумении:

– Что такое? Что случилось?

Кетлинг, несколько встревоженный, тоже прекратил стрельбу. Один из офицеров сказал вслух:

– Под нас мину подвели и хотят взорвать, что ли?

Володыевский, окинув офицера грозным взглядом, сказал ему:

– Подкоп еще не окончен, а если и кончен, то от взрыва пострадает только левая сторона замка. Но даже в развалинах мы будем защищаться до последнего издыхания. Вы поняли?

После этого наступила тишина, которую не нарушил ни один выстрел ни в городе, ни в турецких шанцах. После грохота, от которого дрожали стены и земля, в этой тишине было нечто торжественное и вместе с тем зловещее. Все с напряжением

смотрели в ту сторону, где находились турецкие окопы, но за облаками дыма ничего нельзя было разглядеть. Вдруг с левой стороны крепости послышались равномерные удары ломов.

– Я говорил, что мину только подводят! – заметил Володыевский.

И он обратился к Люсне:

– Вахмистр! Возьми двадцать человек и осмотри тотчас же новый замок.

Опять наступила тишина, нарушаемая лишь предсмертными хрипами, икотой умирающих и ударами под землю.

Они ждали довольно долго; наконец вернулся вахмистр.

– Пан комендант, – сказал он, – в новом замке нет ни души.

Володыевский с удивлением взглянул на Кетлинга.

– Уж не сняли ли они осаду? Сквозь дым ничего нельзя разглядеть.

Наконец дым развеяло порывом ветра, и из его облаков показался город.

Вдруг с башни кто-то крикнул ужасным, испуганным голосом:

– На воротах белое знамя! Мы сдаемся!

Услышав это, офицеры и солдаты оглянулись на город. Недоумение и изумление отразилось на их лицах, слова замерли на устах, и сквозь облака дыма они продолжали смотреть на город.

В городе на Русских и Ляшских воротах действительно развевались белые знамена, виднелось и еще одно знамя на башне Батория.

Лицо маленького рыцаря вдруг побледнело и стало таким же белым, как те развевающиеся знамена.

– Ты видишь, Кетлинг, – прошептал он, обращаясь к товарищу.

– Вижу! – ответил Кетлинг.

Несколько минут они безмолвно смотрели друг другу в глаза и сказали ими все, что могли сказать такие два рыцаря без страха и упрека, которые никогда в жизни не нарушали своего слова и которые поклялись перед алтарем скорее погибнуть, чем сдать замок неприятелю. И вот теперь после такой обороны, после такой борьбы, напоминающей осаду Збаража, теперь, когда штурм был отбит и победа была за ними, им приказывают нарушить клятву, сдать крепость и жить.

Как незадолго перед тем над замком носились зловещие ядра, так теперь в их голове пронеслись зловещие мысли. Сердца их сжимались от безумной безмерной скорби – скорби о двух дорогих существах, скорби о жизни, скорби о счастье, и как безумные, как мертвецы, они глядели друг на друга; порой они устремляли полные отчаяния взгляды на город, словно желая убедиться, не обман ли это зрения, действительно ли пробил их последний час.

Между тем со стороны города послышался конский топот, и минуту спустя прискакал к крепости юный Гораим, ординарец генерала подольского.

– Приказ коменданту! – крикнул он, осадив коня.

Володыевский взял приказ, прочел его молча и спустя минуту, среди гробовой тишины, сказал офицерам:

– Мосци-панове! Комиссары уже переправились через реку в Длужек для подписания договора. Через минуту они вернутся... Мы должны до вечера удалить из крепости войско и вывесить белое знамя немедля.

Никто не произнес ни слова. Слышно было лишь учащенное дыхание. Наконец, Квасибродский нарушил молчание:

– Надо вывесить знамя. Я сейчас соберу людей!

Тотчас в нескольких местах послышалась команда. Солдаты начали строиться в ряды и вскинули ружья на плечи. Лязг мушкетов и мерный топот отдались эхом в безмолвии крепости.

Кетлинг подошел к Володыевскому.

– Пора? – спросил он.

– Подожди комиссаров, надо узнать условия. А главное – я сам сойду туда.

– Нет. Я сойду! Я лучше тебя знаю погреба, знаю, где что лежит. Дальнейший разговор был прерван криками:

– Комиссары возвращаются! Комиссары возвращаются!

И, действительно, спустя некоторое время в замке показались три несчастных посла. Это были: судья подольский, Грушецкий, стольник Жевуский и хорунжий черниговский, пан Мыслишевский. Они шли понурив головы, на плечах у них были затканые золотом кафтаны, полученные ими в подарок от визиря.

Володыевский ждал их, опершись на теплое и еще дымящееся орудие, обращенное к Длужку.

Все трое молча поздоровались с ним, и он спросил:

– Какие условия?

– Город будет не тронут. Жителям обеспечены и жизнь, и имущество. Каждый, кто не пожелает остаться, имеет право отправиться, куда ему угодно.

– А Каменец?

Комиссары опустили головы.

– Султану... во веки веков.

Потом комиссары ушли, но не через мост, где уже собрались толпы народа, а в сторону, через южные ворота. Спустившись вниз к реке, они сели в челн, чтобы отправиться к Ляшским воротам. В низине между скалами, вдоль реки, начали уже показываться янычары. Из города стекались все новые толпы народа и заняли площадь против старого замка. Многие хотели бежать в замок, но, по приказанию маленького рыцаря, их удерживало войско.

А он, отправив войска, позвал пана Мушальского и сказал ему:

– Старый товарищ, окажи мне одну услугу, походи сейчас к моей жене и скажи ей от меня...

Тут слова застряли в горле маленького рыцаря.

– И скажи ей от меня: это ничего! – прибавил он быстро.

Лучник ушел. За ним медленно выходило войско. Володыевский сел на коня и следил за выступлением войска. Замок пустел мало-помалу, но медленно: развалины и обломки мешали выступлению.

Кетлинг подошел к маленькому рыцарю.

– Я иду, – сказал он, стиснув зубы.

– Иди, но повремени немного, пока войско не уйдет... Иди...

Тут они обнялись и замерли в объятиях на некоторое время. Глаза у обоих блеснули необыкновенным светом... Кетлинг бросился по направлению к пороховым погребам...

Володыевский снял с головы шлем, с минуту поглядывал на развалины, на то место, где имя его покрылось такой славой, на груды камней, на трупы, на обломки стен, на вал, на орудия, затем поднял глаза к небу и стал молиться.

Его последние слова были:

– Дай ей, Господи, силу перенести и это, дай ей спокойствие.

Увы! Кетлинг слишком поторопился, не дождавсь даже выхода войск.

Заколебались бастионы, страшный гром потряс воздух: стены, башни, лошади, пушки, люди, живые и умершие, глыбы земли, все это, подхваченное взрывом, перемешалось, сбилось, словно в один страшный заряд, и взлетело на воздух.

* * *

Так погиб Володыевский – Гектор каменецкий, первый рыцарь Речи Посполитой.

* * *

В Станиславове, посередине костела, стоял высокий катафалк, окруженный множеством свечей, а на катафалке в двух гробах, оловянном и деревянном, лежал пан Володыевский. Гроб уже был заколочен, близился момент погребения. По желанию вдовы его должны были похоронить в Хрептиева, но так как вся Подолия была теперь во власти турок, то временно приходилось похоронить его в Станиславове, ибо в этот город были отосланы под турецким конвоем все каменецкие «выходцы» и переданы в распоряжение гетманского войска.

Звонили во все колокола. Костел был переполнен народом, шляхтой и воинами, которые в последний раз хотели взглянуть на гроб «Каменецкого Гектора», первого кавалера Речи Посполитой. Были слухи, что сам гетман должен приехать на похороны, но так как его все еще не было, и каждую минуту могли подойти татарские чамбулы, то было решено не откладывать печальной церемонии.

Старые солдаты, друзья и подчиненные покойного окружили катафалк. Были здесь пан Мушальский, пан Мотовило, пан Снитко, пан Громыка, пан Ненашинец, пан Нововейский и многие другие, прежние офицеры станицы.

По странной случайности здесь были все те, которые когда-то проводили вместе вечера в Хрептиеве; все они остались живы в этой войне и только тот, кто был их вождем, кто служил им примером, этот рыцарь добрый и справедливый, страшный для врагов и кроткий со своими, только он, фехтовальщик из фехтовальщиков, человек голубиной кротости, лежал здесь высоко, окруженный свечами, лежал под крыльями славы, но в тишине смерти.

Закаленные в долгих войнах сердца солдат сжимались от жалости при виде этого зрелища; желтое пламя свечей, отражаясь в слезах, пливших из глаз воинов, освещало их строгие, скорбные лица. Посреди них, ничком на каменном полу церкви лежала Бася и рядом с нею старый, одряхлевший, убитый горем, трясущийся пан Заглоба. Она пришла сюда пешком из Каменца, следуя за дрогами, на которых везли дорогой гроб.

Теперь настала минута предать этот гроб земле. Всю дорогу она шла, ничего не сознавая, как будто не от мира сего, и теперь у этого катафалка она бессмысленно повторяла: «Это ничего», повторяла потому, что это ей велел передать любимый ею человек, потому что это были его последние слова; но эти слова были только пустым звуком, лишенным всякого содержания и правды. Нет, это было не «ничего» — это было горе, мрак, отчаяние, смерть, это было непоправимое несчастье, разбитая жизнь и страшное сознание, что для нее нет уже милосердия, нет надежды, а есть только пустота, всегда пустота, которую сможет заполнить один лишь Бог, когда ниспошлет ей смерть.

Колокола звонили. У главного алтаря кончилась обедня. Наконец раздался высокий голос ксендза: «В блаженном Успении вечный покой». Бася вздрогнула, и в ее голове, лишенной всякого сознания, вдруг промелькнула мысль: «Уже, уже! Сейчас его отнимут у меня!»

Но это не был еще конец церемонии. Рыцари приготовились к речам, которые должны были быть произнесены во время опускания гроба в могилу. Между тем на амвон взошел ксендз Каминский, тот самый, который раньше часто бывал в Хрептиеве и который во время болезни Баси готовил ее к смерти.

В костеле народ стал откашливаться, как это всегда бывает перед началом проповеди, потом все утихло, и глаза всех устремились на амвон.

Вдруг с амвона раздался барабанный бой.

Слушатели изумились. Ксендз Каминский забил тревогу; вдруг оборвал, и водворилась тишина. Опять раздался треск барабана, и вдруг ксендз Каминский швырнул палочки на пол, поднял обе руки вверх и воскликнул:

– Пан полковник Володыевский!

Ему ответил сдавленный крик Баси. В костеле стало просто страшно.

Пан Заглоба встал и с помощью пана Мушальского вынес бесчувственную Басю из костела. А ксендз продолжал:

– Ради бога, пан Володыевский! Бьют тревогу, война, неприятель на границе! А ты не вскакиваешь? Не хватаешься за саблю, не садишься на коня? Что сделалось с тобой, солдат? Разве ты забыл свою прежнюю доблесть, что оставляешь нас одних в горе и тревоге?

Переполнились горем сердца рыцарей, и в церкви послышались громкие рыдания и стоны, и повторялись они каждый раз, когда ксендз начинал прославлять Володыевского, его доблести, его любовь к отечеству, его мужество. И проповедник увлекся собственными словами. Он побледнел, чело его покрылось потом, голос дрожал. Его охватила жалость к маленькому рыцарю, ему стало жаль Каменца, жаль погубленной исповедниками полумесяца Речи Посполитой, и он закончил свое слово такой молитвой:

– Твои храмы, Господи, будут обращены в мечети, и там, где мы читали твое святое Евангелие, будут звучать слова Корана. Ты поверг нас в бездну горя, отвратил лицо свое от нас и предал нас во власть нечестивых турок. Неисповедимы пути твои, но кто теперь, о, Господи, окажет врагу сопротивление? Какие войска защитят границы? Ты, перед коим ничто не сокрыто, ты знаешь, что лучше нашей конницы нет в мире войска. И вот ты, о, Господи, отнимаешь у нас таких защитников, которые могли бы защитить все христианство, прославляющее твое имя! Отче, Всеблагий! Не покидай нас! Окажи милосердие. Пошли нам защитника, пошли того, кто поразит нас, пусть ободрит нас, павших духом. Пошли его, о, Господи!

В эту минуту у входа в костел поднялся шум, и вошел пан гетман Собеский. Глаза всех устремились на него, а он, звеня шпорами, шел к катафалку, великолепный, величественный, с лицом римского Цезаря...

Его сопровождала толпа закованных в сталь рыцарей.

– *Salvator!*[28] – воскликнул в пророческом увлечении ксендз.

А он, преклонив колени перед катафалком, начал молиться за упокой души Володыевского.

Эпилог

Год спустя после падения Каменца, когда утихли на время несогласия партий, Речь Посполитая выступила, наконец, на защиту своих границ на востоке.

Она выступила активно. Великий гетман Собеский пошел с тридцатью одной тысячей войска, конницы и пехоты, в султанскую землю, под Хотим, чтобы напасть на несравненно более многочисленное войско Гуссейна-паши, стоявшего под хотимским замком.

Имя пана Собеского было уже грозным для неприятеля. В течение одного года, после падения Каменца, он, имея в своем распоряжении только несколько тысяч войска, так потрепал бесчисленную партию падишаха, уничтожил столько чамбулов, столько народу освободил из плена, что старый Гуссейн – хотя у него было больше войска,

хотя он стоял во главе превосходных полков и получил подкрепление от Каплана-паши – не решился сражаться с Собеским в открытом поле и предпочел защищаться в укрепленном лагере.

Гетман окружил лагерь со всех сторон войском, и всем уже было известно, что он хочет взять его приступом. Некоторые, правда, считали неслыханным в истории войн, чтобы можно было с меньшими силами идти против больших, да еще вдобавок защищенных валами и рвами. У Гуссейна было сто двадцать орудий, а у поляков всего пятьдесят. Турецкая пехота численностью своей в три раза превосходила польскую пехоту; одних янычар, столь страшных в рукопашном бою, в стенах крепости было более восемнадцати тысяч.

Но гетман верил в свою звезду, в чары своего имени и в войско, которым он командовал. С ним были опытные и закаленные в бою полки, люди, привыкшие с детских лет к войне, совершившие много походов. Многие из них помнили еще страшные времена Хмельницкого, Збараж и Берестечко; многие из них участвовали в войнах со шведами, пруссаками, русскими, вели междоусобные войны, участвовали в войне с венграми. Были здесь отряды, состоявшие из одних ветеранов, были и солдаты из станиц, для которых война стала тем, чем для других бывает мир: привычным порядком и образом жизни. Под началом воеводы русского было пятнадцать гусарских полков; с конницей этой, по мнению иностранцев, не могла равняться ни одна конница в мире, были тут и полки легкой кавалерии, те самые, во главе которых, после падения Каменца, гетман нанес столько поражений рассеянным татарским чамбулам; была здесь и полевая пехота, которая бросалась на янычар, зачастую даже не стреляя и пуская в дело только ружейные приклады.

Этих людей воспитывала война, как воспитала она в Речи Посполитой целые поколения; но до сих пор они были всюду рассеяны или находились на службе у враждующих партий. Теперь, когда внутри государства водворилось спокойствие, все они соединились под одним знаменем, и гетман надеялся с ними победить могущественного Гуссейна и не менее могущественного Каплана. Эти люди шли под командой опытных полководцев, имена которых неоднократно упоминались в истории тогдашних войн, с их переменной судьбой – победами и поражениями.

Сам гетман, как солнце, стоял во главе всех и своей волей направлял эти тысячи. Но кто были другие начальники, которые должны были под Хотимским лагерем покрыть свое имя бессмертной славой? Тут были два литовских гетмана: великий гетман Паи и польный – Михаил Казимир Радзивилл.

Эти последние за несколько дней перед битвой соединились с коронным войском, а теперь по приказанию Собеского расположились на холмах, соединявших Хотим с Жванцем. Они имели в своем распоряжении двенадцать тысяч войска, в том числе две тысячи отборной пехоты. К югу от Днестра стояли союзные валахские полки, которые накануне битвы ушли из турецкого лагеря, чтобы соединиться с христианским войском. Рядом с валахами расположился со своей артиллерией Контский, который не знал соперников в искусстве осаждать крепости, вести земляные работы и направлять артиллерийский огонь. Этому искусству он научился за границей и вскоре превзошел в нем самих иностранцев. За Контским стояла русская и мазурская пехота Корицкого; дальше – гетман польный Дмитрий Вишневецкий, двоюродный брат больного короля. Он командовал легкой конницей. Рядом с ним расположился с собственным войском пехоты и конницы пан Андрей Потоцкий, бывший противник гетмана, теперь преклонявшийся перед ним. За ним и за Корицким расположились, под началом Яна Яблоновского, воеводы русского, пятнадцать полков гусар, в блестящих панцирях, в шлемах, бросающих грозные тени на лица, с крыльями за

спиной. Целый лес копий поднимался над ними, но сами они стояли спокойно, уверенные в своей несокрушимой силе и в том, что они решат участь сражения. Из менее известных, хотя и храбрых воинов, был пан каштелян подлясский Лужецкий, брат которого был убит турками в Бодзанове, за что он поклялся им в вечной мести; был пан Стефан Чарнецкий, племянник великого Стефана, писарь польный коронный. Будучи сторонником короля, он стоял во время осады Каменца во главе шляхты под Голембем и чуть, было, не возбудил междоусобной войны; теперь он хотел отличиться на поле сражения. Был пан Габриель Сильницкий, вся жизнь которого прошла в войнах и который теперь был стар и сед; были тут воеводы и каштеляны, славные участники предыдущих войн, которые и теперь еще жаждали славы. А из рыцарей, не носивших высокого звания сенатора, выделялся пан Скшетуский, знаменитый збаражец, воин, который служил примером для всех рыцарей; он принимал участие во всех войнах, какие только вела Речь Посполитая за последние тридцать лет. Седина покрывала уже его голову, но зато его окружали шесть сыновей, которые силой своей могли тягаться с медведем. Из них старшие были уже знакомы с войной, а двое младших шли в первый поход и потому так жаждали войны, что отцу приходилось неоднократно сдерживать их пыл.

С большим уважением смотрели рыцари на отца и сыновей, но еще большее удивление вызывал пан Яроцкий, который, будучи слепым на оба глаза, по примеру короля чешского Яна, все же отправился в поход.

Ни детей, ни родственников у него не было, слуги вели его под руки с обеих сторон, – и у него была одна только надежда: сражаясь, сложить голову, принести пользу отчизне и прославить свое имя.

Там же был пан Ржечицкий, отец и брат которого погибли в этом году. Там же был пан Мотовило, который, только что освободившись из татарской неволи, отправился в поход вместе с паном Мыслишевским. Первый хотел отомстить за неволю, а второй за оскорбление, нанесенное ему в Каменце, когда, вопреки договору, невзирая на его шляхетское достоинство, янычары избили его палками. Были и давнишние рыцари из днепровских станиц, – одичавший пан Рушиц и несравненный стрелок из лука пан Мушальский. Он уцелел под Каменцем благодаря тому, что маленький рыцарь послал его к своей жене с поручением; были и пан Снитко, и пан Ненашинец, и пан Громька, и самый несчастный из всех, молодой пан Нововойский. Даже друзья и родственники желали ему смерти, так как для него уже не было утешения. После своего выздоровления он целый год уничтожал чамбулы, особенно яростно преследуя липков.

После того как пан Мотовило был разбит Крычинским, он в погоне за Крычинским изъездил всю Подолию, не давая ему ни минуты отдыха, всюду его преследуя. В это время в его руки попал Адурович, – он велел содрать с него кожу; для пленных не знал пощады, но в горе не нашел утешения. За месяц перед этой битвой он поступил в гусарский полк воеводы русского.

Во главе таких рыцарей подошел пан Собеский к Хотиму. Все солдаты жаждали отомстить врагам не только за обиды Речи Посполитой, но и за свои личные обиды: почти каждый из них в этих постоянных стычках с язычниками лишился кого-нибудь из близких и носил в своем сердце воспоминание о страшных несчастьях, постигших его на этой земле, пропитанной кровью. Великий гетман, видя, что ярость в сердцах его солдат не уступает ярости львицы, у которой охотники отняли львят, спешил вступить в бой.

Война началась 29 ноября 1674 года. Полчища турок с утра выступили из-за вала;

польские рыцари кинулись к ним навстречу. Люди погибали с обеих сторон, но потери турок были значительнее. Все же как у поляков, так и у турок погибло сравнительно немного знатных воинов. В самом начале сражения турецкий спаг пронзил кривой саблей пана Мая, но за то младший Скшетуский одним взмахом почти отрубил голову этому спагу, за что заслужил похвалу отца и стяжал себе славу.

Вначале сражались только кучками или поодиночке, вступая в рукопашный бой друг с другом, и все с большим воодушевлением. Между тем отряды войска расположились вокруг турецкого лагеря, кому где назначил гетман. Сам он, стоя за пехотой Корицкого, на старой Ясской дороге, мог объять взором весь огромный лагерь Гуссейна, и на лице его было то невозмутимое спокойствие, какое бывает у знатоков своего дела, перед тем как они приступают к работе. Время от времени посылал он ординарцев с приказаниями и задумчивыми глазами смотрел, как сражались наездники. Под вечер приехал к нему воевода русский.

– Окопы так растянуты, – сказал он, – что невозможно наступать сразу со всех сторон.

– Завтра будем на окопах, а послезавтра в три четверти часа перережем этих людей, – ответил спокойно Собеский.

Между тем наступила ночь. Наездники оставили поле битвы. Гетман приказал всем отрядам в темноте подойти к валам, чему Гуссейн сопротивлялся, как только мог, обстреливая поляков из пушек большого калибра, но все было напрасно. Под утро польские отряды опять двинулись немного вперед. Пехота насыпала небольшие шанцы. Некоторые полки приблизились к лагерю на ружейный выстрел. Тогда янычары усилили стрельбу из ружей. По приказу гетмана из польского лагеря на эти выстрелы почти не отвечали, зато пехота приготавливалась к ручной атаке. Солдаты ожидали только приказания, чтобы ринуться вперед. Над их растянувшейся линией со свистом и шумом, как стая птиц, пролетали ядра и картечь. Артиллерия пана Контского, начав битву на рассвете, не замолкала уже ни на одну минуту. Только после сражения обнаружилось, какие страшные опустошения она произвела своими выстрелами, направленными туда, где стояли шатры спагов и янычар.

Так прошло время до полудня, но ввиду того, что ноябрьские дни коротки, им приходилось торопиться. Все барабаны, литавры и трубы сразу загремели. Несколько десятков тысяч голосов слились в одном крике, и пехота, подкрепляемая легкой конницей, всей массой двинулась в атаку.

Гетман атаковал турок сразу в пяти местах. Ян Деннемарк и Христофор де Боган, опытные воины, вели чужеземные полки. Первый, пылкий по природе, гнал своих так стремительно, что раньше других достигнул окопов и чуть, было, не погубил свой полк. Он был встречен несколькими десятками тысяч выстрелов.

Сам он был убит; его солдаты пришли в замешательство, но именно в эту минуту на помощь им пришел де Боган и прекратил замешательство. Он спокойным шагом, в такт музыки, как будто это происходило на маневрах, прошел со своим полком все пространство до самого турецкого лагеря, на выстрелы отвечая выстрелами; а когда ров был уже завален фашинами, он первый перешел через него; под градом пуль, спокойно сняв шляпу, он поклонился янычарам и первый пронзил насквозь хорунжего. Солдаты, следуя примеру полковника, кинулись на турок, и началась страшная резня, в которой опытность и стойкость иностранцев соперничала с безумной храбростью янычар. Тетвин и Денгоф вели спешившихся драгун от деревни Тарабанов; другой полк вели Асвер Гребен и Гайдеполь; все они были превосходные солдаты, и

все, за исключением Гайдеполя, сражались еще под началом пана Чарнецкого в Дании и стяжали себе бессмертную славу. Народ это был рослый и сильный, набранный из подданных королевских имений, пригодный и для пехоты, и для конницы.

Ворота защищали джмаки, то есть иррегулярное войско из янычар, и оттого, хотя их было много, они сейчас же смешались и начали пятиться. А когда дело дошло до рукопашного боя, они защищались единственно для того, чтобы иметь возможность отступить. Эти ворота раньше других были взяты, и через них конница могла проникнуть внутрь окопов. Во главе польской пехоты напали на окопы в трех других местах пан Кобылецкий, Михаил Жебровский, Петрокович и Галецкий.

Самый горячий бой закипел у главных ворот, ведущих на ясскую дорогу, где мазуры сцепились с гвардией Гуссейна-паши. Гуссейн старался во что бы то ни стало отстоять эти ворота, ибо через них в лагерь могла ворваться польская конница, и потому он решил упорно защищать их и то и дело посылал туда новые отряды янычар.

Польская пехота, сразу овладев воротами, тоже напрягала все свои силы, чтобы удержать их за собой. Ее засыпали ядрами и градом ружейных пуль, из облаков порохового дыма то и дело появлялись все новые и новые толпы воинов, шедших в атаку. Тогда пан Кобылецкий, не дожидаясь, пока они дойдут, кинулся на них, словно разъяренный медведь. Две живые стены напирали друг на друга, сталкивались вихрем и топтались на месте в потоках человеческой крови, на грудах человеческих тел. В ход было пущено всякое оружие: сабли, ножи, ружейные приклады, лопаты, колья, камни; порою люди, сцепляясь друг с другом, дрались кулаками и кусались зубами. Гуссейн дважды пробовал натиском конницы сломить пехоту, но пехота каждый раз бросалась на нее с такой необыкновенной решительностью, что конница должна была отступить.

Сжалился, наконец, над ними гетман и послал в подкрепление всю обозную челядь.

Во главе ее стоял пан Мотовило. Обозная челядь, обычно не принимавшая участия в сражениях и вооруженная чем попало, бросилась в бой так лихо, что это удивило даже самого гетмана. Быть может, ее воодушевила жажда добычи, быть может, ее охватил тот пыл, который в этот день сообщился всем войскам, – как бы то ни было, они ударили на янычар так стремительно, что первым же натиском принудили их отступить от ворот на расстояние ружейного выстрела. Гуссейн бросил в этот водоворот новые полки, и битва возобновилась снова и продолжалась несколько часов. А в это время Корицкий с отборными полками осадил ворота; вдали задвигались гусары, подобно огромной птице, лениво готовящейся к полету, и двинулись к воротам.

В то же время, с восточной стороны лагеря, к гетману прискакал ординарец.

– Пан воевода бельский на валах! – крикнул он, задыхаясь.

И тотчас прискакал другой.

– Литовские гетманы на валах!

Вслед за ними прискакали и другие все с той же вестью. Наступали сумерки, но лицо гетмана сияло светом. Он обратился к пану Бидзинскому, стоявшему в эту минуту рядом с ним, и сказал:

– Теперь очередь конницы, но она пойдет только завтра!

Никто, однако, ни в польском, ни в турецком лагере не знал и не предполагал, что гетман отложит решительный штурм до утра. Наоборот, – ординарцы поскакали с приказом к ротмистрам – быть каждую минуту наготове. Пехота стояла в боевом порядке, конница не выпускала из рук сабель и копий. Все с нетерпением ожидали приказа, так как все были голодны и иззябли.

Но проходили часы, а приказа все не было. Наступила темная ночь. Еще днем начался дождь; в полночь же поднялся ветер с ледяным дождем и снегом. Порывы ветра морозили кровь, лошади еле могли устоять на месте, люди коченели. Самый сильный мороз не мог бы так истощить людей, как этот ветер, снег и дождь, который хлестал по лицу, как бичом. В постоянном ожидании приказа нельзя было даже думать о еде, питье или разведении костра. Погода с каждым часом становилась все хуже и хуже. Это была памятная ночь, «ночь мучений и скрежета зубовного». Голоса ротмистров: «Смирно! Смирно!», раздавались ежеминутно, и, привыкший к дисциплине, солдат стоял терпеливо, не двигаясь, в ожидании битвы. А напротив, под дождем, на ветру, в ночной темноте стояли в той же боевой готовности окоченевшие турецкие войска. И среди них тоже никто не разводил костров, никто не ел, не пил. Атаку всех польских войск можно было ожидать с минуты на минуту, а потому спаги не выпускали сабель из рук, а янычары стояли стеной с мушкетами наготове.

Выносливый польский солдат, привыкший к суровой зиме, мог перенести такую ночь, но эти люди, выросшие в нежном климате Румелии или среди пальм Малой Азии, страдали свыше сил. Гуссейну стало, наконец, ясно, почему Собеский не начинает атаки: этот ледяной дождь был лучшим союзником ляхов. Было очевидно, что если спаги и янычары простоят так двенадцать часов, то на другой день они будут падать, как снопы, не пробуя даже сопротивляться, по крайней мере, до тех пор, пока их не согреет жар самой битвы.

Поняли это и поляки, и турки. В четвертом часу ночи к Гуссейну пришли два паши: Яниш-паша и Кияя, начальник янычар, старый воин, опытный и знаменитый. Лица их были печальны и озабочены.

– Господин, – сказал Кияя, – если «овечки» мои простоят так до рассвета, они падут без пуль и мечей.

– Господин, – сказал Яниш-паша, – спаги замерзнут и завтра биться не будут!

Гуссейн рванул себя за бороду, предвидя поражение и собственную гибель. Но что ему оставалось делать? Если бы он хоть на минуту позволил людям выйти из строя, развести костры, согреться теплой пищей, – неприятель тотчас же перешел бы в атаку. И так уже время от времени со стороны окопов раздавался звук труб, точно конница готовилась к наступлению.

Кияя и Яниш-паша видели только один выход: не ждать атаки неприятеля, а самим ударить со всеми силами. Это ничего, что он стоит наготове, он не ожидает атаки, так как намерен атаковать сам. Может быть, удастся прогнать его с валов; во всяком случае, если ночью поражение вероятно, то завтра утром оно неизбежно.

Но Гуссейн не решался последовать совету опытных воинов.

– Как же так, – говорил он, – вы изрезали весь лагерь рвами, видя в них единственное спасение от этой адской конницы. А теперь мы должны сами переходить

через эти рвы и подвергаться очевидной гибели. Это был ваш совет и ваши предосторожности, а теперь вы другое говорите!

И приказа он не отдал.

Он только разрешил стрелять из пушек по направлению к валам, на что пан Контский тотчас стал успешно отвечать. Между тем дождь становился все холоднее; ветер шумел, выл, пронизывал насквозь и замораживал кровь в жилах. Так прошла эта долгая ноябрьская ночь, во время которой уменьшились силы воинов ислама; сердца их охватило отчаяние и предчувствие гибели.

На самом рассвете Яниш-паша еще раз отправился к Гуссейну с советом отступить в боевом порядке к самому мосту через Днепр и там осторожно начать сражение.

«Ибо, – говорил он, – если наше войско не устоит против конницы, то мы перейдем через мосты на другую сторону, и река будет нам защитой от неприятеля».

Но Киая, начальник янычар, был другого мнения. Он полагал, что совет Яниша уже запоздал, и притом боялся, что приказ об отступлении вызовет панику в войске. «Спаги при помощи джамаков должны выдержать первый Натиск конницы неверных, хотя бы им пришлось погибнуть до одного человека. В это время янычары придут им на помощь, а когда первый натиск неверных будет отражен, быть может, Бог пошлет нам победу».

Так советовал Киая, и Гуссейн последовал его совету. Отряды турецкой конницы выдвинулись вперед, а янычары и джамаки стали за ними, возле палаток Гуссейна. Ряды их представляли великолепное и грозное зрелище. Белобородый Киая, «лев божий», который до сих пор вел солдат лишь к победам, объезжал их сомкнутые ряды, ободрял их напоминаниями о бывших подвигах. Солдаты тоже предпочитали начать битву, чем стоять в бездействии под дождем и ветром, пронизывающим насквозь; и хотя их окоченевшие руки едва могли держать ружья и пики, они радовались, что согреются в битве.

С гораздо меньшим мужеством ожидали атаки спаги: во-первых, потому, что среди них было много жителей Малой Азии и Египта, и они, не привыкшие к холоду, были еле живы после этой страшной ночи. Немало страдали и лошади; несмотря на попоны, они стояли, понурив головы и выпуская из ноздрей клубы пара. Солдаты, с посиневшими лицами, с потухшими взорами, и не думали о победе. Они думали только, что смерть лучше такой муки, а самое лучшее – это бегство туда, в родные края, под палящие лучи южного солнца.

В польском войске несколько десятков человек, у которых не было теплой одежды, замерзли под утро на валах, но в общем пехота и конница перенесли холод гораздо легче, чем турки, так как их поддерживала надежда на победу и слепая вера, что раз гетман решил, чтобы они коченели от холода, то, наверно, им это мучение пойдет на пользу, а туркам на гибель.

Но и они с радостью приветствовали первые лучи солнца. В это самое время пан Собеский появился на валах. В тот день утренней зари не было, но она была в лице гетмана: когда он понял, что неприятель решил принять сражение в окопах, он был уже уверен, что этот день будет для турок днем страшного поражения.

И он объезжал полки и повторял: «За осквернение храмов! За хулы Пресвятой Девы в Каменце! За обиды христиан и Речи Посполитой! За Каменец!»

Солдаты поглядывали грозно, будто желая сказать: «Мы едва стоим! Пусти нас, великий гетман, и ты увидишь!»

Серое утро с каждой минутой прояснялось; из-за тумана все отчетливее выступали ряды лошадиных голов, человеческие фигуры, копья, знамена, наконец, полки пехоты. Они первые двинулись вперед и поплыли в тумане, по обеим сторонам конницы, словно две реки, прямо к неприятелю; потом двинулась легкая конница, оставляя только посредине широкое пространство, куда в нужную минуту должны были броситься гусары. Каждому полковнику пехоты, каждому ротмистру были даны нужные инструкции, и каждый знал, что ему делать. Артиллерия пана Контского начала усиленный обстрел, вызывая со стороны турок не менее энергичный ответ. Вдруг послышалась ружейная пальба, страшный крик поднялся в лагере – атака началась.

Все было подернуто пеленой тумана, но отголоски битвы доносились до места, где стояли гусары. Слышен был лязг оружия, крики людей. Гетман, который до этого времени оставался с гусарами и разговаривал с воеводой русским, вдруг умолк и начал прислушиваться, а потом сказал воеводе:

– Пехота бьется с джамаками, которые стоят впереди шанцев.

Спустя немного времени отголоски выстрелов стали постепенно утихать, но вдруг совершенно неожиданно грянул сильный залп и тотчас за ним другой. Было очевидно, что легкая кавалерия опрокинула спагов и встретилась с янычарами.

Великий гетман, прищпорив коня, молнией помчался к месту битвы с группой приближенных; воевода русский остался один с пятнадцатью полками гусар, которые стояли в боевом порядке, готовые по первому знаку броситься в бой и решить исход битвы. Ждать им пришлось довольно долго, а между тем в глубине лагеря шум все усиливался. Битва, казалось, перемещалась то вправо, то влево, то в сторону литовских войск, то в сторону воеводы бельского. Артиллерийский огонь турок становился все беспорядочнее, зато артиллерия пана Контского стреляла с удвоенной силой. По прошествии часа воеводе русскому показалось, что центр сражения перешел опять в середину лагеря, прямо против его гусар.

В это время во главе своих людей прискакал великий гетман.

В глазах его горел огонь. Осадив коня, рядом с воеводой русским, он крикнул:

– Вперед, с Богом!

– Вперед! – закричал воевода русский.

И за ним команду повторили ротмистры. С страшным шумом склонился к конским шеям целый лес копий, и пятнадцать полков конницы, которая привыкла ломать все на пути, двинулись, подобно громадной туче, вперед.

Со времени трехдневной битвы под Варшавой, когда литовские гусары, под командой Полубинского, врезавшись клином во всю шведскую армию, пробили ее насквозь, никто не помнил такой стремительной атаки. Рысью двинулись с места эти эскадроны, но, сделав двести шагов, ротмистры скомандовали: «Вскачь!», а солдаты ответили криком: «Бей! Руби!» и наклонились к седлам; лошади помчались во весь дух. Эта лавина вихрем мчащихся коней, железных рыцарей, склоненных копий была как необузданная стихия. И она неслась, как ураган, как бешеная волна, с

грохотом, шумом. Земля стонала под ее тяжестью, и было очевидно, что если бы даже никто из гусар не ударил копьем, никто не вынул сабли, то одним своим натиском и тяжестью они должны свалить с ног, растоптать, уничтожить все перед собою, как буря ломает и опрокидывает деревья.

Так доскакали они до устланного трупами и залитого потоками крови поля, где кипела битва. Легкие отряды конницы сражались еще с турецкой кавалерией и оттеснили ее назад, но в середине стояли еще густые ряды янычар, как непоколебимая стена. Несколько раз уже разбивались о них легкоконные полки, как разбивается волна во время прилива о скалистый берег.

Их сломить и уничтожить было теперь задачей гусар. Несколько тысяч янычарок грянуло разом, словно стрелял один человек. Еще минута – янычары стараются крепче упереться ногами в землю; некоторые из них при виде этого страшного наводнения закрывают глаза, у некоторых дрожат руки, у всех бьются сердца, все дышат учащенно и сжимают зубы. А те уже мчатся все ближе и ближе, слышится храп лошадей, вот она – гибель, смерть, уничтожение...

«Аллах... Иисус, Мария!» – два ужасных, словно и нечеловеческих вопля слились воедино. Живая стена колеблется, гнется, распадается; глухой треск ломающихся копий заглушает на мгновение все другие звуки, затем раздается лязг железа и удары, – словно это тысячи молотов ударяют о наковальню, – и стук, – словно это тысячи цепов молотят на гумне, – крики, стоны, отдельные выстрелы из мушкетов и пистолетов, вой ужаса.

Турки и поляки смешались, клубятся в каком-то вихре; наступает резня, струится кровь, теплая, дымящаяся, наполняющая воздух сырым запахом.

Первый, второй, третий и десятый ряды янычар уже превращены в груды тел, истоптанных копытами, исколотых копьями, изрубленных мечами. Но белобородый Кияя, «лев божий», бросает в бой все остальные ряды.

Не важно, что они стелются, как колосья в бурю, – они еще сражаются. Бешенство овладевает ими, смертью дышат и смерти жаждут. Лавина коней грудью напирает на янычар, опрокидывает их, топчет, но они колют лошадей ножами в брюхо, тысячи сабель рубят их без передышки, лезвия поднимаются с быстротой молнии и падают на головы, плечи, руки, а янычары рубят всадников по ногам, по коленям, извиваются и кусают, как ядовитые змеи, и мстят, и погибают.

Кияя, «лев божий», бросает новые ряды в пасть смерти; он криком поощряет их к бою и с кривой саблей сам бросается в водоворот. Вдруг великан-гусар, истребляющий все по пути, как пламя, настигает белобородого старика, привстает на стремянах, чтобы нанести страшный удар, и, взмахнув, опускает лезвие сабли на его седую голову. Не выдержал удара сабли кованный в Дамаске шлем, и Кияя, разрубленный почти пополам, падает на землю, как пораженный громом.

Пан Нововейский (это был он) уже и раньше производил страшное опустошение в рядах турок, и никто не мог устоять перед его силой и мрачной яростью. Но теперь он оказал величайшую услугу в этой битве, убив старика, который один и поддерживал ужасный бой. Янычары, увидав своего полководца убитым, крикнули страшным голосом, и несколько десятков ружей нацелились в грудь молодого рыцаря; он повернулся к ним лицом, мрачный, как ночь. И прежде чем другие рыцари подоспели к нему на помощь, грянули выстрелы, и пан Нововейский бессильно перегнулся в седле. Два товарища подхватили его под руки; тогда давно невиданный

гость – улыбка – озарила его мрачное лицо, глаза закатились, а побледневшие губы шептали какие-то слова, которых нельзя было расслышать в шуме битвы. Между тем заколебались последние ряды янычар. Храбрый Яниш-паша хотел еще возобновить битву, но солдатами уже овладел безумный страх, и не помогли никакие усилия; ряды смешались и склубились, поляки напирали на них, топтали, рубили, и турки не могли уже выстроиться снова. Наконец последние ряды разорвались, как разрывается слишком натянутая цепь, и люди, как отдельные звенья, рассыпались во все стороны с воем, криком, бросая оружие и закрывая головы руками.

Конница гналась за ними, а они, не находя места для свободного бегства, сбивались по временам в одну сплошную массу, за которой по пятам мчалась конница, оставляя за собой потоки крови. Храброго Яниша-пашу грозный стрелок пан Мушальский так страшно ударил саблей по спине, что у него брызнул, спинной мозг из разрубленного хребта и запачкал шелковый кафтан и серебряный карагин.

Янычары и джамаки, разбитые польской пехотой, и часть конницы, рассеянной еще в самом начале битвы, словом, все турецкое войско спасалось теперь бегством в противоположную сторону лагеря, где над глубокой пропастью находится крутой обрыв в несколько десятков футов высоты. Туда страх гнал безумцев. Многие бросались в пропасть не для того, чтобы спастись от смерти, но чтобы не погибнуть от руки поляков. Этой обезумевшей толпе преградил дорогу пан Бидзинский, стражник коронный, но волна народу унесла его вместе с людьми и столкнула на дно пропасти, которая вскоре наполнилась до краев горами убитых, раненых и задавленных.

Со дна доносились страшные стоны, тела судорожно металась, толкая друг друга ногами или царапая друг друга ногтями в предсмертных конвульсиях. До вечера раздавались эти стоны и до вечера копошилась масса тел, но все тише, все незаметнее; наконец, с наступлением сумерек, все стихло.

Страшны были результаты атаки гусар. Восемь тысяч янычар, изрубленных мечами, лежали у рва, окружающего палатки Гуссейна-паши, не считая тех, которые погибли во время бегства или на дне пропасти. Польская конница овладела шатрами, пан Собеский торжествовал. Трубы хриплыми звуками возвестили победу, как вдруг совершенно неожиданно битва разгорелась опять.

Великий гетман турецкий, Гуссейн-паша, во главе своей конной гвардии и уцелевшей кавалерии бежал после поражения янычар через ворота, ведущие в Яссы, но, наткнувшись там на полки Дмитрия Вишневецкого, гетман вернулся обратно в лагерь, искать другого выхода, точь-в-точь как зверь, окруженный в логове, ищет, как ускользнуть от охотника. Он вернулся так стремительно, что в одно мгновение разбил наголову легкоконный полк казаков и привел в замешательство пехоту, которая занялась грабежом в лагере, и подошел к гетману на половину пистолетного выстрела.

«Будучи уж в самом лагере, мы чуть не проиграли битвы, – писал впоследствии Собеский, – и если этого не случилось, то только благодаря исключительной стойкости гусар». И в самом деле, атака турок, совершенная в порыве крайнего отчаяния, была тем ужаснее, что произошла неожиданно. Но гусары, еще не остывшие от боевого пылу, помчались к ним с места во весь опор. Первым ринулся полк Скшетуского, а затем вся конница, пехота и обозная челядь; как кто стоял, где кто был, – все с яростью бросились на неприятеля, и завязалась битва, хотя и несколько беспорядочная, но по своей ярости не уступающая атаке гусар на янычар.

С удивлением вспоминали рыцари после битвы храбрость турок: когда Вишневецкий и гетман литовский окружили их со всех сторон, они защищались так отчаянно, что – хотя гетман и разрешил брать турок живыми – пленить удалось только несколько человек. Когда наконец полки тяжелой конницы разбили их после получасового боя, небольшие кучки и даже отдельные всадники, призывая Аллаха, сражались до последнего издыхания.

В этой битве было совершено много блестящих подвигов, память о которых не исчезла. Гетман польный литовский собственноручно зарубил могущественного пашу; этот паша еще раньше взял в плен пана Рудомина, пана Кимбара и пана Рдултовского. Но гетман, наехав на него вплотную, одним ударом отрубил ему голову. Пан Собеский на глазах у всего войска зарубил спага, который выстрелил в него из пистолета; пан Бидзинский, стражник коронный, который каким-то чудом выбрался из пропасти, хотя и был побит и ранен, тотчас бросился в самую гущу битвы и сражался до тех пор, пока не лишился чувств от утомления. Он долго хворал потом, но через несколько месяцев, выздоровев, снова пошел на войну и стяжал себе великую славу.

Среди офицеров особенно яростно сражался пан Рушиц, вырывая стражников из строя, как волк вырывает из стада овцу. Отличался и пан Скшетуский, возле которого, как разъяренные львята, сражались его сыновья. С грустью и скорбью вспоминали потом рыцари, какие подвиги мог бы совершить в этой битве великий мастер фехтовального дела пан Володыевский, если бы не то, что вот год уже, как почил он в бозе. Но все же другие, которые вышли из его школы, стяжали довольно славы и для себя, и для него на этом кровавом поле.

В возобновившейся битве из прежних хрептиевских рыцарей, кроме пана Нововейского, пало еще двое: пан Мотовило и грозный лучник пан Мушальский. Несколько пуль сразу пронзило грудь пана Мотовило, и он повалился, как вековой дуб. Очевидцы говорили, что он погиб от руки тех братьев-казаков, которые под предводительством Гоголя до конца сражались на стороне Гуссейна против матери-отчизны и христианства. Пан Мушальский – странная вещь! – погиб от стрелы, которую в него выпустил, спасаясь бегством, какой-то турок. Она пронзила его горло как раз в ту минуту, когда после окончательного разгрома язычников он засунул руку в колчан, чтобы послать вдогонку убежавшим еще несколько гонцов неминуемой смерти. Его душа, должно быть, соединилась с душой Дыдюка, чтобы скрепить дружбу, завязавшуюся на турецких галерах, узами вечности. Прежние хрептиевские товарищи нашли на поле битвы их тела и простились с ними горькими слезами, хотя и завидуя столь славной смерти. У пана Нововейского была улыбка на губах и тихое спокойствие в лице; пан Мотовило, казалось, мирно спал, а у пана Мушальского глаза были устремлены к небу, словно он молился. Их похоронили вместе на славном хотимском поле, под скалой, на которой на вечную память велели вырезать их имена под крестом.

Вождь всей турецкой армии, Гуссейн-паша, спасся бегством на быстроногом анатолийском коне, но лишь затем, чтобы в Стамбуле получить из рук султана шелковую веревку. Из блестящей турецкой армии от погрома уцелели только незначительные отряды. Остатки конницы Гуссейна войска Речи Посполитой передавали друг другу из рук в руки: гетман польный гнал ее к гетману великому, а тот к гетману литовскому, гетман литовский – опять к польному, – и это продолжалось до тех пор, пока почти все конники не погибли. Из янычар не уцелел почти никто. Весь огромный лагерь был залит кровью, смешанной с дождем и снегом, по всему полю лежала такая масса трупов, что только морозы, вороны и волки были причиной того, что не было чумы, которая всегда идет из местности, зараженной

гниющими трупами. Польские войска, воодушевленные победой, не отдохнув еще хорошенько после битвы, взяли Хотим. В самом лагере была захвачена несметная добыча. Сто двадцать пушек, а с ними триста знамен и значков переслал великий гетман с этого поля, на котором уже второй раз в столетие польские войска одержали блестящую победу.

Сам пан Собеский расположился в шатре Гуссейна-паши, расшитом золотом и бисером, и рассылал оттуда во все стороны гонцов с известиями о победе. Потом все войско – конница и пехота, все польские, литовские и казацкие полки – выстроилось в боевом порядке. Отслужили благодарственный молебен – и на том самом поле, где еще вчера муэдзины выкрикивали: «Лаха иль Аллах!», загремела песнь: «Тебе, Боже, хвалим!»

Гетман слушал обедню и молебен, распростершись ниц на земле; когда он встал, слезы радости текли по его величественному лицу. Увидев это, толпы рыцарей, с рук которых не сошла еще неприятельская кровь и которые дрожали еще от усталости после битвы, трижды огласили воздух громким криком:

– Vivat Ioannes victor!!![29]

А десять лет спустя, когда его величество король Ян III разбил в прах турецкое могущество под Веной, – крик этот повторялся от морей до морей, от гор до гор, по всему миру, где только колокола сзывали верующих на молитву...

Примечания

1

Конвокация (*sejm konwokacyjny*) созывалась в Речи Посполитой для предварительных распоряжений на предмет избрания короля. Созывал ее ксендз-примас, как заместитель короля во время междуцарствия (*interrex*); избрание короля происходит на элекционном сейме. – Примеч. перев.

2

Троил – герой древних сказаний о Трое.

3

Камедулы – монашеский орден, известный строгостью уставов, в Польше вел деятельность с начала XVII в.

4

Подгаецкие трактаты. В октябре 1667 г. в лагере под Подгайцами Собеский успешно отразил натиск неприятельских сил.

5

Дорогой брат (лат.).

6

Изыди! (лат.).

7

Да прославится... (лат.).

8

Помни о смерти! (лат.).

9

Да здравствует Иоанн, предводитель! (лат.).

10

Моя вина (лат.).

11

Подсчитано, взвешено, измерено (по-арамейски).

12

Принц Людвиг Бурбон Конде (1621–1686) – один из знаменитейших полководцев. К 1660–1669 годам относится его кандидатура на польский престол. Противниками этой кандидатуры была выдвинута кандидатура герцога лотарингского и герцога нейбургского. – Примеч. перев.

13

В первом браке (лат.).

14

Пришел, увидел, победил (лат.).

15

Тишина (лат.).

16

Да здравствуют и процветают! (лат.).

17

Перкулаб – начальник округа города в Молдавском княжестве, сборщик податей.

18

Эчмиадзинский патриарх – т. е. католикос, глава армяно-грегорианской церкви.

19

Для памяти (лат.).

20

Следует выслушать и другую сторону (лат.).

21

Речь идет о Павле Сапеге, воеводе виленском и великом гетмане литовском. – Примеч. перев.

22

Пашалык – турецкая административная единица. – Примеч. перев.

23

Виноват, кругом виноват! (лат.).

24

У поляков радость всегда сопровождается криками и грохотом (лат.).

25

Как раз (лат.).

26

Провидение, судьба (тур).

27

Бимбаши – офицерский чин.

28

Избавитель, спаситель (лат.).

29 Да здравствует Иоанн победитель! (лат.)